

34.12.83 2.1/6
У 435

**БОРИС
УКАЧИН**

НА МОЙ ВЗГЛЯД...



538679

Adm

**МАТЕРИ МОИХ ТРЕХ СЫНОВЕЙ
К.Е. УКАЧИНОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭТА КНИГА.**

Автор



БОРИС УКАЧИН

НА МОЙ ВЗГЛЯД...

ПУБЛИЦИСТИКА

ОЧЕРКИ

СТИХИ

ВОСПОМИНАНИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МИНИАТЮРЫ



Барнаул
Алтайское книжное издательство
1996

My

ББК 84Р7

Ук 4Б5

34 (2Р00-417) 6

Редактор В. Казаков

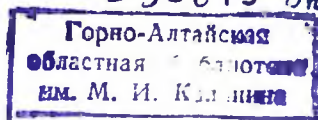
Художественное оформление В. Кошкарлова

Макет художника-вклейки В. Еврасова

Укачин Б. У.

Ук 41 На мой взгляд: Публицистика, очерки, стихи, воспоминания, литературные миниатюры. (Вступительное слово — автора). Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1996. — 416 с.

Самобытному, известному алтайскому писателю Борису Укачину всегда есть что сказать читателям. В новой и первой подобного рода своей книге алтайский поэт, прозаик и публицист отстаивает свое понимание как чисто творческих проблем, так и проблем национальных, делится своим восприятием творчества других известных писателей, размышляет об истоках национальной культуры, в том числе и алтайской.



У 4702010202—05

М 138(03) 96

ISBN 5-7405-0209-8

ББК84Р7

© Б. У. Укачин, 1996

МОЯ САМАЯ ДОЛГАЯ КНИГА ИЛИ АВТОРСКОЕ СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Я являюсь рядовым тружеником в родной литературе вот уже более тридцати лет. За эти годы мною написаны и изданы на алтайском, русском и других языках около сорока книг: сборники стихов, рассказов, повестей... Но эта книга, которую предлагаю, и для меня особая, хотя бы потому, что ни одна из предыдущих не писалась так долго и медленно. И это при том, что замысел ее возник и жил во мне, можно сказать, с того момента как я осознал себя литератором. Более того, начиная выступать со стихами, я пытался овладевать и другими литературными жанрами — писать остропублицистические статьи на актуальнейшие темы, рецензии и отзывы на книги и на отдельные произведения своих собратьев по перу, причем не только работающих и живущих лишь в Горном Алтае, но и за пределами моей «малой родины». Писал и продолжаю писать также и творческие портреты хорошо мне знакомых литераторов, чьи имена и произведения широко известны в России и бывшем СССР. Включил в предлагаемую книгу также и свои воспоминания о давно и совсем недавно ушедших из жизни прекрасных, на мой взгляд, поэтах и прозаиках, творческими восхождениями и неповторимыми находками которых гордятся не только те народы, чьими сынами и дочерьми были они, но вся наша многонациональная литература. Словом, в этой самой долгой, а значит, и упорной книге читатели смогут познакомиться с моими воспоминаниями о Борисе Слуцком, и о Кайсыне Кулиеве; о Николае Рубцове и Арсении Тарковском; об Эйжене Веверисе и Сергее Маркове; о Флоре Васильеве и Юрии Казакове...

Все эти очерки-воспоминания какими-то отдельными деталями, черточками, гранями непременно и постоянно касаются алтайской литературы и, понятно, моей личности.

По мере своих сил и творческих возможностей попытался я отразить мудрость и величие алтайских сказаний и их певцов-кайчи, какими являлись и являются Николай Улагашевич Улагашев, братья Аднай и Айлычи Туймешевы; поделиться своими воспоминаниями о первом алтайском профессоре Сазоне Саймовиче Суразакове; рассказать о творческом пути поэтов-земляков Аржана Адарова, Георгия Кондакова и других.

Считая нужным отметить, что в жанровом отношении подобной книги или сборника на сегодня нет пока что ни у кого из писателей алтайцев, тем не менее честно признаюсь, что в ней, в книге, очень, возможно даже чрезмерно, много меня — моего «я», моей позиции, моих взглядов и понимания природы поэзии, моих глупостей и легкомыслия. И все же при этом надеюсь, что, пролистывая страницы книги, читатели не только отметят, но и поймут почему я без утайки перед ними и злого умысла не скрываю своих просчетов и ошибок, которых, конечно, больше чем моих же трудных успехов.

Дело в том, что в общественной жизни и в литературе я, как мне кажется, не совсем «свой» и удобный человек. С первых же шагов по литературной стезе как только меня не третировали, в чем только не обвиняли и не корили, за что только не критиковали и не пугали. Прежде всего упрекали в нескромности, граничащей якобы с хвастовством и саморекламой, и всего лишь потому, что я, с мальчишеских лет заболев литературой, норовил печататься не только в школьной стенной газете, но и в серьезной большой печати. Жажда увидеть свои стихотворные опусы опубликованными, я почти через день отправлял их в редакцию областной газеты «Алтайдын Чолмоны». А их не печатали. И это заставило меня однажды отправить в редакцию письмо с вопросом: «Почему не печатаете мои стихи?!» После этого, войдя в очередной раз в наш класс, Василий Константинович Плакас, директор областной национальной средней школы, сверкая своими яркими очками, посмотрел на меня с высоты своего почти двухметрового роста и громогласно объявил:

— Нашего неугомонного поэта приглашают в редакцию областной газеты... Иди, я отпускаю тебя со своего урока...

Так впервые я перешагнул порог редакции газеты «Алтайдын Чолмоны» и очутился рядом с наголо бритым и большеголовым человеком. В комнате он был не один. Тут же, за письменными столами, сидели еще несколько важных лиц, которые также были в темно-синих диагоналевых кителях.

— Вот твои стихи, мальчик, — бритоголовый человек пододвинул ко мне уже перепечатанные на редакционной бумаге стихи. — Я их обработал... Ты прочти и, если согласен с моими поправками, подпишишь под ними. Потом мы их, возможно, напечатаем.

Начал я читать, а строчки и буквы, напечатанные на редакционной бумаге, как живые и резвые ягнята, прыгают и скачут перед глазами. Но все же я одолел свою робость и скованность и прочел стихи до конца. Прочел и удивился: слова-то оказались не все мои. Вместо моих, поставили почему-то другие слова и строчки!.. Значит, и стихи эти, выходит, не мои...

— Прочитал? — тихим голосом спрашивает бритоголовый. — Коль хочешь увидеть свою фамилию напечатанной, тогда — подпишишь под стихами.

Что и говорить, велик был соблазн под своим именем увидеть стихи, но...но ведь они не мои, эти стихи. Как быть? Что делать?.. И все же, как бы ни была велика тяга напечататься, я в тот раз отказался подписаться под ними и, почему-то заплакав горькими слезами, тихо и молча вышел из редакционной жаркой комнаты. А этим бритоголовым человеком, оказывается, был поэт и очеркист Чалчик Анчинович Чунижеков. Это я узнал намного позже, когда уже довольно часто начал публиковать свои стихотворные опыты-опусы на страницах все той же газеты «Алтайдын Чолмоны».

По сей день радуюсь тому, что выдержал тогда и перешагнул, как говорится, себя, отказавшись напечатать под своим именем фактически чужие стихи.

Позволю сослаться еще на один факт моей «творческой нескромности».

Всерьез увлекаясь поэзией Владимира Маяковского, я однажды вслух попытался доказать, что, мол, Маяковский не прав, когда писал, что «поэзия — вся! — езда в неизвестное». По-моему, все должно быть наоборот: — поэзия — езда по известным и проторенным путям, по которым многие люди, проходя и проезжая, не увидели, не удивились и не заметили того, что увидел и открыл в своих стихах поэт.

— Ишь ты,— смеялись надо мной,— даже самого Маяковского осмеливаешься поправлять! Нет элементарного такта и скромности!.. Побойся, парень, Бога-Кудая! Ведь по определению самого Сталина — Маяковский — «... лучший поэт советской эпохи».

Так что же такое «творческая нескромность»? Надуманный термин, скорее всего. Вот почему мне кажется, что иногда под видимой и наружной скромностью, некоторые прячут свою трусость, незнание и бездарность. В народе о таких говорят: козел не видит бороды своей, дурак не видит глупости своей...

В годы горбачевской «перестройки» (трудно это забыть) меня жестоко и предвзято обвинили мои же коллеги по литературе. В письме, отправленном в Отдел культуры тогдашнего ЦК КПСС, «честные писатели-коммунисты», как они сами писали о себе, дружно, но подло сообщали буквально следующее: «...он не согласен с политикой Горбачева по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Он антиполитичен, идет против верной линии нашей родной партии, отсюда следует подчеркнуть, что Укачин против перестройки и демократии».

В этой же клятвенной кляузе «честные писатели-коммунисты» лгали, что я, якобы, имею какие-то «...контакты с некоторыми творческими группировками в Казахстане, Москве и Ленинграде». О каких таких сомнительных группировках идет речь — мне неизвестно и неведомо по сей день.

Или вот еще один «сюрприз» из того же письма: «...весьма странным выглядит, — жалуются мои земляки-коллеги, — факт того, что в последнем издании «Краткой литературной энциклопедии» под редакцией А. А. Михайлова весь 120-летний путь развития письменной алтайской литературы сведен всего лишь к двум именам — П.В.Кучияка (30—40гг.) и Б.У. Укачина».

Далее мои оппоненты, изливаясь в верноподданических чувствах перед отделом культуры ЦК, видимо, от желчи и неутешной зависти доходят просто до смешного: «Мы полагаем, — заявляли они, — что редакция «КЛЭ» еще должна будет извиниться перед нашей алтайской литературой публично в своей заведомой лжи».

Почему редакция «Краткой литературной энциклопедии» должна извиниться перед алтайской литературой — непонятно! Разве в нашей литературе не был, не жил и не действовал такой замечательный и в тридцатые-сороковые годы широко известный поэт, прозаик, драматург, кроме всего, непревзойденный артист, кайчи — бесподобный исполнитель горлового пения, подражатель голосов и своеобразных выходок почти всех зверей и птиц любимого и кровного ему Горного Алтая?.. Его произведения давно вошли в школьные учебники, и хотя он умер давно, в 1943 году, но он, Павел Васильевич Кучияк, жив до сих пор!.. Он был и остается одним из классиков современной алтайской художественной словесности... А что касается моей собственной личности, и моего места в алтайской литературе, думаю, точнее всего подкажет и покажет будущее...

В наше архисложное время, помнится, кто-то заметил: «Человек, говорящий правду — редкость». Видимо, так оно и есть. И пусть, то что было в действительности — будет. Но вот ложь и клевета не только ранят, но и надолго остаются в твоей душе. И об этих горьких «уроках и уколах» не могу не говорить, хотя бы для того, чтобы облегчить душу и успокоить свои расшатанные нервы и многократно попорченную кровь. Поэтому приведу еще один пример из жалоб тех же «честных писателей-коммунистов»: «...Укачин даже будучи не делегатом III-го съезда

Союза писателей СССР избран членом ЦРК, т.е. центральной ревизионной комиссии».

После этих, для них горестно-печальных сообщений, они плачут и спрашивают: — А как же тогда нам быть с принципом гласности и демократии — особенно в такой среде, как наша?..»

Как же действительно им быть?.. По моему глубокому убеждению надо каждому сесть за свой рабочий стол и писать, если хочешь чего-то добиться и горишь нетерпением что-то нужное и важное сказать, хотя бы своим близким друзьям, родственникам и любимой женщине, а не подозревать всех и каждого...

В 1971 году издательство «Детская литература» выпустило сборник моих стихов и баллад под названием «Я жду улетевшего лебедя» в переводе Бориса Слуцкого тиражом 50000 экземпляров. Разумеется, я радовался выходу этой небольшой книжки, куда не включалось ни одно стихотворение, которое печаталось до этого сборника. Подписывая дарственной надписью новую книжку некоторым землякам, друзьям и знакомым, совершенно не предполагая о последствиях, может быть, не без тайной гордости шутил:

— Подумай, дорогой, сколько всего нас, алтайцев, на этой грешной земле, в этом подлунном мире?.. Немного больше пятидесяти тысяч человек, не так ли? — После этих объяснений, тем же тоном шутливо добавлял: — Так вот, с выходом этих стихов почти каждому алтайцу, выходит, я преподнес по одной книге собственного сочинения!..

Смешки и злые отклики не заставили долго ждать:

— Хвастун! — расплозились слухи. — Ишь, каждому алтайцу по книжке.. Нужны эти его стишки!..

— Слуцкий, видишь ли, перевел его на русский язык!.. Как будто его стихи перевел сам Эдуард Асадов...

— Как говорится, Ивану покажи Европу, он туда вздумает перемахнуть...

— Правда, что наш Укачин связан с Солженицыным, с этим ярым антисоветчиком?!..

Причина всех этих злых выдумок и слухов — опять же зависть... Ах, эта зависть, зависть!.. Что же с ней делать?.. Как избавиться от нее, от ее зуда и яда?.. Трудно тут не вспомнить строчки Назыма Хикмета из его знаменитого стихотворения «Автобиография», — помните:

Не испытывал зависти
ни к кому,
даже к Чаплину.

Вот у кого бы нам поучиться, вот кому по-доброму завидовать. Но для этого всем нам надо быть хотя бы чуточку Назымом Хикметом, доброжелательным и независимо-талантливым.

Говоря обо всем этом, отнюдь не хочу утверждать, что я безгрешен, что чуть ли не ангел небесный... Все, что свойственно любому смертному — присуще и мне. Постигая, скажем, окружающий мир, я довольно много врал. К таким шагам толкала меня сама жизнь, ее порою

неловкие и трудные обстоятельства. Иногда приходилось врать затем, чтобы отвести от себя бесчестные удары и поклепы. Больше всего вынужден был врать потому, что в данный момент просто нельзя было сказать правду. Такая бездумная и беспощадная правда могла бы на всю жизнь оставить человека калекой или неожиданно свалить его наповал и убить.

Признаюсь и в другом не менее страшном грехе. Я, вызывая к себе отвращения и даже ненависть, довольно часто и много пил спиртного. Особенно это было в начале моих литературных шагов. Почему я пил и продолжаю, пусть намного меньше, чем в те далекие годы юности, употреблять это злое зелье?.. Резкая остановка повлечет и остановку сердца — это первое, чем я пытался оправдать себя. Второе: куда деться, скажем, от подобных увлечений известных наших предшественников — классиков?.. Что, я хуже их, что ли? А как быть с молодым тщеславием? А как можно в каком-нибудь уютном домике, местечке, ресторанчике с желанной женщиной сидеть без бутылки шампанского или другого доброго вина, не говоря уже о встречах с друзьями, провожаниями и прочими угощениями.

Бывает пьешь от тяготы и жестокости жизни, чтобы не видеть, не замечать все, что творится на каждом шагу... Хочется забыть все и забыться... хочется закрыть глаза, уши и рот, чтобы не видеть, не слышать, не говорить и не переживать. Ведь пьяному море по колено...

Что поделаешь! В жизни было все: и мед, и яд. Видимо, жить по-другому я не мог. Но неизлечимым алкоголиком, кажется, все же не стал. При всех своих человеческих недостатках и многочисленных заблуждениях, я всегда старался и стараюсь быть предельно честным, откровенным и естественным. Стараюсь, черное называть черным, белое — белым.

... И вот перед вами моя очень долгая и мучительная книга.

Почему эта книга писалась так долго?.. Потому что после каждой миниатюры, вошедшей в эту рукопись, после каждого литературного портрета, посвященного тому или другому писателю, после каждой статьи и эссе я, как автор, выдыхался и на какое-то время «умирал».

О таком чувстве и ощущении у меня есть строки:

Чувствую, как музыкой звуча,
Холодея, грея, и звеня,
Жарко обжигая, щекоча,
Время протекает сквозь меня.

Протекает Время — и во мне
Умирает прежний человек,
И, как будто возродясь в огне,
Возникает новый человек.

(Перевод И. Фонакова)

Вот этот-то новый человек должен снова в руки брать перо и написать что-то действительно новое, не повторяя ни других, ни прежнего самого себя. Вот почему эта книга рождалась так долго.

Впрочем, она еще и не кончилась. Она еще долго будет продолжаться и «печататься» в моей голове, в моей душе, покуда я буду жить и видеть все, что творится на многострадальной земле и во мне.

И последнее...

Эта книга должна была увидеть божий свет еще в 1990 году. Но, к великому моему сожалению, неожиданно загредел яростный и беспощадный гром другого времени. Распался Советский Союз. Все кругом перевернулось, все пошло вверх дном!.. Неслыханная, всеядная дороговизна и дефицит бумаги, головокружительное повышение цен на типографские расходы. Ведь моя книга — не остросюжетная фантастика, не детектив, не говоря о других сиюминутных и легких чтивах, как, предположим, сексуально-порнографические издания, за которыми ныне сломя голову гоняются, и которые столь «модны» сейчас.

Слава Богу-Кудаю, что на нашей земле еще не перевелись добрые люди, которые мне помогли, нашли средства и возможность, чтобы эта моя книга наконец-то раскрылась перед читателем.

Я от души и сердечно благодарю тех, духовно щедрых и поистине бескорыстных спонсоров, помогавших мне и давших зеленый свет продвижению и выходу моего детища!..

Бег времени неумолим!..

Читатель, может быть, помнит, что я в свое время написал и выпустил повесть «До смерти еще далеко». Скажу без лишнего пафоса и фальши — с годами во мне былой оптимизм медленно начинает угасать. Как узнать, как предугадать, быть может, эта моя последняя книга при жизни?..

О, не важно мне, сколько пойдет людей

Вслед за моим телом!

А важней мне, сколько пойдет людей

Вслед за моим делом...

Автор

с. Ай-Балык

АВТОПОРТРЕТ

Волосы, как трава на кочке, торчат строптиво,
А порою клубятся, как облака...
Лоб раскинулся — большой, как нива.
Сеть морщин глубока.

То ли это морщины, то ли
Борозды в распаханном поле.
А быть может, морщины — строки,
Которые выстраданны и строги?

Широкоскулый и большелицкий,
Опечалюсь — холоден стану, как лед,
Черны

нахохленные, как птицы,
Брови мои вразлет.

Узкие, как лезвие, глаза сощуря,
Гляну — ласков лукавый взгляд.
...Были радости, были бури —
Они вопросом в глазах горят!

Нос — бугорок, а не горный кряж.
Печально синеют губы.
Бывает,

я так разозлюсь — аж
Скрипнут зубы

Сколько преград на путях вдохновенных,
Если характер крут.
Времени бег
непрерываем

в моих венах,
Где прошлое и грядущее вместе поют.

(Перевод Т. Бек)

*Бывает так, что спит народ,
Но бодрствует Поэт.
А может быть, наоборот?
Мудрец ответил: нет,
Тем непробудней спит народ,
Коль спит его Поэт...*

(Перевод И. Фонякова)

1

**НА МОЙ
ВЗГЛЯД...**

У ПРАВДЫ ОДНО ЛИЦО

(Диалог с корреспондентом газеты «Алтайская правда»
Григорием Кудряшовым)

— Борис Укачинович, у творческой интеллигенции в свое время большой отклик вызвало решение Политбюро ЦК КПСС об отмене постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Сейчас мы понимаем, что постановление было направлено не только против журналов, но и всей творческой интеллигенции. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Сейчас не по себе от того, что, слушая в годы учебы преподавателей, читая доклад Жданова, я верил каждому слову, верил тем характеристикам, которые были даны Зощенко и Ахматовой. Мало того, я их осуждал вслед за «великим идеологом». Тень постановления висела над нами, не позволяла задуматься, задаться вопросами и попробовать найти ответы. Многие из нас, не прочитав ни строчки из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», не познакоившись ни с одним произведением Солженицына, ничего не зная о деятельности академика Сахарова, бездумно и легко митинговали против них.

Почему мы так дружно поступали? Почему, словно по мановению волшебной палочки, становились единомышленниками? Да потому, что нас так воспитывали с колыбельного возраста, потому что идеологический процесс выработал в сознании слепую веру во все то, что произносилось с трибун, особенно Сталиным. У моего поколения — в то время молодых людей — в период культа личности в душах тихо и незаметно поселились безропотное послушание, ложь, страх и доноительство. Поэтому никто из нас не только не мог усомниться в несправедливости обвинений известных писателей, но и попытаться подать голос в их защиту.

— Вы сказали, что идеологический пресс давил на литературу и искусство. Этой участи не избежала и алтайская национальная культура?

— Алтайцы еще до Октябрьской революции имели свою письменность. Автобиографическая повесть писателя-просветителя Михаила Чевалкова вошла в знаменитый и уникальный сборник В. Радлова «Образцы народной литературы тюркских племен Южной Сибири и Джунгарской степи», вышедший в 1866 году в Санкт-Петербурге. А через три года была издана первая «Грамматика алтайского языка». Несмотря на эти факты, во времена Сталина утверждалось, что до Великого Октября алтайцы не имели своей письменности, эстетики и народной этики. Позднее алтайский язык стал все активнее уходить в бытовую сферу, изучаться только как предмет школьной программы и то не во всех школах. При таких обстоятельствах алтайские дети стали пренебрежительно относиться к родному языку и литературе... Одним махом закрыли районные газеты. Самостоятельное издательство сделали отделением Алтайского книжного издательства. Газету «Алтайдын Чолмоны» объединили с редакцией русской газеты «Звезда Алтая». Все это явилось явным нарушением ленинской национальной политики в области развития языка и литературы.

Алтайская культура тоже пострадала. В тридцатые годы были репрессированы и уничтожены автор первой замечательной поэмы о Ленине поэт Павел Чагат-Строев и художник-живописец Чорос Гуркин. К их именам можно добавить и других представителей интеллигенции, партийных и советских работников, участников революции, основателей автономной области. Именно в черные годы сталинщины в самые глубины и тайники души моего народа незаметно вкрались страх и робость, подавленность и покорная молчаливость.

Говорят, что в Грузии установлен памятник первому букварю, а мы не то чтобы памятник поставить, улицы не можем назвать именами зачинателей нашей словесности и культуры. В областном центре до сих пор нет литературного музея, выставочного зала, в котором можно было бы познакомиться с полотнами того же Гуркина. И в то же время не прекращаются разговоры о расцвете за годы советской власти национальной культуры, литературы и искусства алтайского народа. Это не что иное, как самообман, диктатура бюрократизма.*

Если же заглянуть правде в глаза, мы увидим поруганные природу и самобытную историю народа. За примерами далеко ходить не надо. Каковы сейчас древние курганы—Пазырыкские, Башадарские, Туяктинские, Катандинские? Найденные в них вещи и изделия увезены в музеи страны, в том числе в Эрмитаж. На месте раскопок—груды камней. Почему бы места крупных курганов не огородить, не установить вывески, рассказывающие о том, что здесь находилось. Но на это ума не хватило, зато из камней знаменитых курганов строили скотные дворы и кошары. Вот оно отношение к истории, к нашему прошлому! Что говорить о руководителях хозяйств, сельских и районных исполкомов, если об историческом и культурном значении курганов не заботятся алтайские историки, археологи, географы, общество охраны памятников.

— *А как вы относитесь к строительству Катунской ГЭС?*

— В связи с ГЭС меня волнует два вопроса. Первый: судьба малочисленного алтайского народа. И судьба тех же курганов, многочисленных каменных изваяний, наскальных рисунков, которые попадут в зону затопления. Никому неизвестно, сколько памятников истории и культуры окажется под водой. Только разведка долин Кызыл-Ялан и Томыс-Кан показала, что в каждой из них находится по сотне археологических объектов.

Второй вопрос: когда заводятся речь о строительстве Катунской ГЭС, я невольно думаю о Кузбассе, о горькой судьбе шорского народа — наших соседей, родственных по языку, укладу жизни и культуре. Развитие горнодобывающей промышленности ни в коей мере не способствовало развитию языка и культуры шорцев. Случилось обратное. Где гарантия, что когда поднимется плотина гидроэлектростанции, такая же участь не постигнет алтайцев?

Странно получается: мы говорим об ущемлении прав американских индейцев, а в своей стране эти проблемы не замечаем, не интересуемся судьбой малых народов. Надо же оберегать и нашу древнюю и современную культуру и язык, и нас самих, жаждущих во что бы то ни стало выжить в этом заиндустриализованном мире. Не скрою: во мне сидит страх — вдруг в какой-то момент истории исчезнет мой родной язык и полностью ассимилируется мой народ. Что останется от нас, какие памятники?..

— Борис Укачинович, позвольте не согласиться с вами. Да, эпохи культа и застоя нанесли тяжелый удар по национальным языкам и культурам. Исчезло, как утверждается, около 90 народностей и языков. Но времена меняются к лучшему. Думаю, что многое зависит и от самого народа, его самосознания и стремления к исторической значимости. Никакой народ нельзя ассимилировать, если сам он этого не захочет.

— Я высказываю свое мнение. Уверен, что степень воздействия может быть такой, что народ ничего не сможет сделать, чтобы сохраниться.

— Однако вернемся к разговору о памятниках.

— Об этом трудно молчать. Особенно удручает отношение к каменным изваяниям. До недавнего времени они стояли во многих долинах и урочищах, но их выкопали и развезли чуть ли не по всей стране ученые, археологи, работники музеев и охочие до экзотики люди. Сейчас груды каменных изваяний лежат на территориях Горно-Алтайского, Бийского и других музеев. Зачем, спрашивается, убрали каменные изваяния с мест, где они стояли веками? Не пора ли их вернуть на прежние места?

Или взять Улалинскую долину — стоянку древнего человека в Горно-Алтайске. Значение ее трудно переоценить, тем не менее на этом месте пасутся коровы и свиньи. А следовало бы соорудить исторический ансамбль или воздвигнуть художественную пирамиду. Это стало бы достопримечательностью города и всей Сибири. Спросите: где же взять средства для такого сооружения? Думаю, что такие возможности есть у Всесоюзного общества охраны памятников. И Академия наук, полагаю, не осталась бы в стороне. Нужно только проявить инициативу, а она должна исходить от нас.

— Борис Укачинович, вы говорите об исторической правде, но сами более двадцати лет назад написали хвалебную оду «всесоюзному старосте» — стихотворение «М. И. Калинин в Ойрот-Туре». Оно вошло в школьную программу национальных школ и кочует из учебника в учебник.

— Сейчас я этого стыжусь. Мое отношение к Калинин, когда я узнал горькую правду, изменилось. Теперь я не согласен с тем, что областная библиотека носит его имя, что перед входом стоит его бюст.

Можно назвать библиотеку именем того же Чевалкова. Кстати, у нас много безымянных учреждений. Почему бы областному национальному драматическому театру не присвоить имя Павла Кучияка. Или взять областную национальную среднюю школу. Ее директором долгое время работал русский педагог-интернационалист — Василий Константинович Плакас, которого называли алтайским Сухомлинским. Он давно умер. Но свет его доброты и бескорыстной помощи алтайским детям остался в памяти народной. Мне, одному из первых его учеников, кажется заслуженным увековечить память о нем, назвав школу его именем.

Перестройка многие явления и события назвала своими именами. Так будем же следовать исторической правде. У нее одно лицо...

1989 г.

ПИСЬМО К ПОТОМКАМ

С большим удовлетворением читал я «Маадай-Кара»* — одно из множества героических сказаний, созданных творческим гением алтайского народа. Как мы знаем, появление на страницах толстых журналов нашего времени фольклорных произведений стало явлением довольно-таки редкостным. Потому-то публикации этого оригинального поэтического наследия на страницах «Сибирских огней» мы и приветствуем как возрождение давней горьковской традиции на заре возникновения советской многонациональной литературы.

«Маадай-Кара» состоит из двух основных частей. В первой части повествуется о жизни и поражении старого алып-героя Маадай-Кара. Хан-иноземец Кара-Кула нападает на страну одряхлевшего Маадай-Кара, разоряет ее, угоняет его белый скот, уводит в плен вместе с ним весь его народ.

Во второй части воспевается сражение Когюдей-Мергена — сына старого батыра и освободителя родного народа. Вскормленный духом родной земли, обретший богатырскую силу и волю, молодой Когюдей-Мерген вступает в смертельную схватку с «бессмертным» угнетателем Кара-Кулой, побеждает его, разгоняет темные силы подземного мира, помогающие ненавистному захватчику.

Надо сказать, что эта героическая поэма, составляющая около восьми тысяч строк, не единственная в своем

* «Маадай-Кара» — алтайский героический эпос. Журнал «Сибирские огни», №№ 3, 4, 1977 г.

роде в арсенале алтайского эпоса. Мы хорошо помним и знаем о том, как в тридцатые и начале сороковых годов переводились на русский язык и публиковались в различных изданиях Сибири и Москвы многие наши сказания о богатырях. Одним из первых был переведен и издан в Москве в издательстве «Академия» героический эпос «Когутей», легенда «Зажглась золотая заря» и другие алтайские народные песни и сказки. Затем столь благородная работа, к сожалению, прервалась вплоть до настоящего времени, что является большим упущением собирателей, исследователей, а также нашего брата — писателей, а значит, и нашей Горно-Алтайской писательской организации. Между тем героические поэмы алтайского народа всегда интересовали наших рядовых читателей, знатоков и ценителей фольклора, да и Горно-Алтайский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы по крупицам продолжал собирать и издавать на родном языке эти произведения. Свидетельством тому является серия «Алтайские богатыри», девятый том которой вышел в конце 1977 года. Но было бы лучше, если бы мы свой эпос издавали параллельно на русском языке вместе с солидными научно-художественными комментариями, что, безусловно, возвысило бы авторитет нашего эпоса.

От этих размышлений общего порядка хотелось бы перейти непосредственно к анализу перевода «Маадай-Кара».

В алтайском стихосложении, как правило, преобладает начальное анафорическое единозвучие с концевыми рифмами. Конечно, при всем желании при переводе на русский язык воссоздать всю стихотворную ткань алтайского стиха представляется очень сложным, да в этом, лично на мой взгляд, нет особой необходимости. И отраднo, что переводчик — профессиональный поэт из Новосибирска Александр Плитченко, взяв образность, нужные и точные детали эпоса, его буйный метафорический ход в качестве исходной точки, нашел свое решение. Рифмы у него в переводе всюду парные и в большинстве случаев, как и в оригинале, глагольные. Это близко к алтайскому тексту и вообще духу нашей поэзии. По-моему, русский текст звучит так же хорошо и поэтично, как и его оригинал:

Светлей огня — алыпa лик.
Народ в стране его — велик.
Миролубив и светлолик,

Красноречив, остроязык —
Заполнил солнечный Алтай
И перелился через край,
Живет, не ведая нужды,
Глаза любого — две звезды.

Каждая строка в оригинале состоит из восьми-девяти слогов. Переводчик не отходит и от этого канона героических поэм. Ритм, избранный им — ямбический восьмисложник, как мне кажется, наиболее удачен, он соответствует подлиннику. Вот подстрочный перевод эпоса: «Дыханье коня, как белый туман, многочисленный разномастный скот, касаясь (друг друга) шерстью, пегую гору, заслонившую долину от месяца, как акация покрывая бродит». Подстрочник этот, на мой взгляд, несколько тяжеловат и не очень-то поэтичен. Но посмотрим, как зазвучали эти стихи в переводе.

Как белый утренний туман
Дыханье мощного коня.
В траве долин, в тиши полян
Под солнцем ласкового дня
Пасется разномастный скот,
По склонам с топотом идет.
Стада, отары, табуны
Неисчислимы и шумны.
Как будто летние кусты,
Листвой покрытые — густы...

Вот что значит вкус переводчика, его понимание природы поэтического слова, проникновение через дебри подстрочника в глубинную суть оригинала.

В любом эпосе нашего народа мы знаем как удивительно точно и динамично описывается красота и мощь богатырского коня. И это тоже удастся переводчику:

Стать аргамака высока.
Стрижет ушами облака.
Всех обгоняющий коней
Сильнее прочих скакунов,
Отборных табунов ценней —
Алып аргамак таков...

Мне думается, тому, кто прочтет настоящую поэму об алтайском богатыре, станет ясным мир сказителя-кайчи, его художественные приемы и индивидуальная образная система:

Той длится восемьдесят дней,
Худые псы — овец жирней,
Пир длится девяносто дней,
Рабы — властителя вольней.

Гиперболизм — особая черта всех алтайских народных сказаний. Может быть, именно в этом своеобразии и красота нашего фольклора. Передать же и сохранить естественность и глубокую поэтичность оригинала в системе русского стихосложения, думается, не так уж и легко. И тем не менее Александру Плитченко это удалось. Судите сами.

Он летней ночью начал петь,
Он зимним днем закончил петь.
Луну заставил он играть
На лбу клыкастого коня.
Заставил солнышко плясать
На крупе славного коня.

Кстати, данный размер стиха характерен для нашего древнего эпоса, который исполняется особым горловым пением — каем, напоминающим медленный утробный речитатив.

О кропотливой и ответственной работе переводчика свидетельствует и такой вот интересный подход к тексту поэмы — не бояться предпочитать и пользоваться там где нужно не подстрочником, а самим оригиналом. Так в подстрочнике сказано: «Здравствуйте, здравствуйте, старики! Живы ли, здоровы ли, почтенные? К вам, пожилым людям я, Тастаракай, заехал». Переводчик же «убегает» от подстрочника и, обращаясь к оригиналу, делает следующий художественный ход: «Хозяева, эзен, эзен! //Почтенные, эрмен, эрмен! // К вам, проезжая этот край, // Заехал я, Тастаракай».

В этом мы видим, как поэт проникает в самую стихию языка, использует слова приветствия так, что, создавая необходимый колорит, в то же время придает ему необходимое благозвучие.

Мой народ, в течение долгого пути, в темных ночах угнетения мечтал о светлой и счастливой доле, о тепле и свободе, о восходе солнца жизни над ущелиями гор и о просторах родной земли. Однако ему мешали жить не только напасти самой суровой природы и дикие звери, обитающие в ней, но и сами исторические обстоятельства прошлого. Злые завоеватели тех кошмарных дней и ночей не раз пытались его подкосить под самый корень, стереть с лица земли. Но он никогда не терял свою светлую надежду на волю и свободу. Потому-то устами своих сказителей-мудрецов пел он, мой черноголовый народ, о грядущем дне освобождения, о роли и месте человека в этом всегда сложном мире.

Читаю ли я талантливые произведения современных авторов о нашем времени или древний эпос далеких и давних времен, все-то мне кажется, что они есть и будут дорогим и заветным письмом к потомкам грядущих лет, к новому поколению людей. Ведь та идея бессмертна, в глубине которой лежит доброта и человечность.

Вот и «Маадай-Кара», лишний раз убеждает насколько глубоконароден и высокохудожествен наш древний эпос, что несет он в себе светлую идею наших дней о всеобщей радости и благополучии. В этом сила и жизнь, новизна нашего сказания о старом, но добром богатыре Маадай-Каре, о его доблестном сыне — освободителе Когюдей-Мергене, которое передаваясь из поколения в поколение, дошло до наших дней. Я бы сказал, что не только дошло, но и счастливо завоевало нового многоязычного читателя при помощи могучего русского языка. Давайте же передадим эту мудрость, это заветное письмо моего народа, переведенное поэтом Александром Плитченко еще дальше, к новым поколениям людей грядущего.

1977 г.

ПЕСНЯ — НЕПОВТОРИМЫЙ МИР КОЧЕВНИКОВ

(Из выступления на пленарном заседании
международной встречи советских
и монгольских писателей в г. Горно-Алтайске)

Нет, пожалуй, в мире такого народа, который не сложил бы свою песню, с присущей только для нее мелодией. Не найдется народа, который ухитрился бы существовать без созидательного труда. Раз есть труд, стало быть, рождаться и песне. Ведь песня — это ритм труда, выражение людских радостей и печалей, словом, зеркало души и сердца. А зеркало отражает не только голубизну неба и цветение весны, но и перепады погоды, пыль и грязь преодолеваемых нами дорог.

Готовясь к встрече с монгольскими друзьями, я перелистал и перечитал ряд книг, переведенных на русский язык с монгольского и в том числе сборник «Песни аратов», изданный в 1973 году одним из авторитетных издательств нашей страны — «Художественная литература». Это щемящие, очень близкие умонастроению алтайских кочевников песни монгольских аратов блестяще, на мой взгляд, перевел Наум Гребнев.

Так вот, перечитывая эти неповторимые и очень «монгольские», что ли, песни, я поразился схожести их с нашими очень «алтайскими», изначально народными песнями. Будто бы их сложил один и тот же народ или, говоря по-современному, один и тот же автор. Они

похожи не только по манере стихосложения и интонации, по вариациям употребляемых образов и тематике, — у них, как я совершенно уверен, духовное родство и общая основа. Вот для примера послушайте монгольскую песню-благопожелание:

По передней поле одежды твоей
Пусть бегают жеребята,
По задней поле одежды твоей
Прыгают пусть ягнята.

Почти такое же благопожелание есть и у моего народа...

По передней поле одежды твоей
Пусть играют дети твои,
По задней поле одежды твоей
Ходит пусть скот твой белый.

Одно и то же доброе человеческое желание, почти одна и та же песня, не правда ли? Видимо, это оттого, что жизнь и быт наших народов весьма схожи, как рождение ребенка, восход солнца или мучительный закат белой луны за Западные горы. Мы — кочевники. Но кочевка от зимнего пастбища до летнего — не праздная жизнь, не бездумное веселье. Это условие существования, своеобразный тяжкий труд и бесконечные думы о благополучии семьи и скота...

В песнях кочевников, как впрочем и в других фольклорных жанрах, не случайно столь красочно и ярко воспевается образ коня, друга и помощника, труженика и спасителя от различных напастей и бед. Послушайте слова монгольской песни о коне. Как гиперболически, образно и по-человечески славится конь-побратим:

Был еще скакун красивый,
Лучше не было коня—
От хвоста коня до гривы
Путь лежал не меньше дня.
А ушей у скакуна
Сто локтей была длина.

Как это здорово сказано — «от хвоста коня до гривы Путь лежал не меньше дня»!.. Так может думать и воображать только кочевник, только человек, любящий по известному выражению Сергея Есенина «братьев наших меньших». А сколько песен и сказаний у алтайцев о крылатом скакуне-аргамаке или просто о рядовом коне-

труженике. Давайте послушаем, как выглядит конь алтайского батыра Маадай-Кара.

Могучий конь Карыш-Кулак,
Чья грива, будто водопад,
Струясь, колышется, густа,
Чьи, укрывая след, висят
Сто прядей длинного хвоста.
Летит огонь, рокошет гром
От стука четырех подков,
И лунно-солнечным тавром
Скакун помечен с двух боков.
Глаза прекрасные черны,
Глядят на обе стороны,
И все дороги им видны.
Всех обгоняющий коней,
Сильнее прочих скакунов,
И целых табунов ценней—
Алыпа аргамак таков.

Вот таков он, конь батыра, не уступающий любому коню из героических легенд и сказаний.

Примечательно и то, что кони из народных песен и героического эпоса, как и их владельцы — разные. Так, кони алтайских батыров Малчи-Мерген и Алтай-Бучай разные не только по масти, но и норовом. Вместе с тем, все они верно служат своим хозяевам, никогда не предадут предназначенных судьбою им батыров. Они вернее любого из воинов, вернее служебных беркутов и псов. Словом, конь издревле был и донине остается крыльями кочевников, спасителем и даже жизнью их, другом и душой. Я бы сказал, да так оно и есть — кочевник будет больше верить своему коню, чем любимой жене, будет прославлять его и воспевать ярче, чем красавицу невесту. Все вышесказанное характерно, на мой взгляд, и для песен и сказаний монгольских аратов. Впрочем, присуще не только это. Возьмем, к примеру, внешнюю форму монгольского и алтайского стиха. Мне она кажется похожей на спичечную коробку. Нет ни одного лишнего угла, нет ни одной, выпячивающейся, длинной строчки. Непременное анафористическое звуковое начало и рифмованная концовка.

Говорят, что трудно передать на другом языке всю внешнюю инструментовку и украшения такого стиха. Однако кропотливая заинтересованная работа опытных переводчиков достигает своей цели. В этом смысле показательна работа русского поэта-переводчика Владимира Корчагина. Он, переводя на русский язык стихи монгольского поэта Лодонгийна Тудэва, сумел убедитель-

но продемонстрировать свое мастерство. Монгольское анафористическое единоначатие сохранено им с завидной бережностью и чуткостью.

Горная плывет, клубится мгла,
Гордый снег вершинный обнимая.
С ветром ель беседу завела...
Светлый полдень. Синий звон Алтая.

Рассыпает искры, мчит, бурля,
Радужный поток меж трав зеленых...

Думается, что даже в этих строчках видна настоящая творческая и вдумчивая работа переводчика-мастера, а не халтура, с целью во что бы то ни стало умножить количество строк, пусть даже в ущерб подлинному содержанию оригинала, не говоря уж о форме и структуре стихотворения национального автора. Кстати, о форме...

В начале шестидесятых годов нашего времени новая генерация алтайских поэтов как-то дружно отказалась от традиционной формы родного стихосложения. Вольно или невольно взоры наши обратились на Европу. Мы начали учиться не только у богатейшей по форме и интонации великой русской поэзии. Нас заинтересовали метод и необычная «одежда» стиха американца Уолта Уитмена, испанца Антонио Мачадо, француза Жака Превра и многих других поэтов мира. Нами двигала жажда познания, вечный дух поиска и стремление общими усилиями добиться обновления родной алтайской поэзии. Думаю, что это закономерно. Горизонты нашего видения расширились. Мы родными алтайскими словами, но при помощи новых форм пытались сказать что-то новое прежде всего своему читателю, и, если это удастся, даже народам всего мира. По-моему, в этом нет ничего предосудительного! Это лишь нетерпеливое проявление энергии поиска нового слова и нового подхода к вечно загадочной природе древней матушки, называемой поэзией.

В результате этих нетерпеливых мучений и «необходимой боли» в нашей алтайской поэзии сегодня мы имеем таких поэтов новаторского духа, как Паслей Самык, Шатра Шатинов и в чем-то, казалось бы, традиционного по стилю и форме — Аржана Адарова.

Что касается моей личности, то я, как говорится, наломал немало дров в «очаге и доме» родной алтайской поэзии. То писал вольными рифмованными стихами, то нарочито прозаизированные сюжетные стихи-рассказы,

прибегал и к белым стихам, чем интересуюсь иногда и сейчас. Учился у Маяковского, Назыма Хикмета, подражал им... Часто перелистываю книги Гарсиа Лорки, Пабло Неруды, великих поляков — Юлиана Тувима и Константа И. Гальчинского.

А что в конечном счете?.. В результате поисков моих товарищей по перу и своих блуждений обнаружилось весьма интересное — куда бы мы ни прыгали и ни заглядывали, с каким бы усердием ни занимались «переливанием кровей» из одной поэзии в другую, но изначальный дух родного фольклора все равно дает о себе знать в твоей, пусть даже сверхноваторской, работе. Видимо, мелодии детства, звуки колыбельной песни матери навеки остаются в тебе, в твоей крови и в каждой клетке живут, не умирая и не исчезая. И это относится не только к нам, алтайским стихотворцам. Это я физически ощутил, например, читая книги известного монгольского прозаика, поэта, видного общественного и политического деятеля, чьи стихи я уже цитировал выше, — Лодонгийна Тудэва, с которым лично имел радость познакомиться и подружиться.

Поэзия Лодонгийна Тудэва, как и стихи другого монгольского поэта, к великому нашему огорчению, недавно умершего Бегзийна Явуухулана, лауреата Государственной премии МНР, — остро современны. Рядом с нежнейшими стихами о матери, детях своих и жене, в его сборнике «Вершина», — переведенных видными русскими поэтами — Владимиром Солоухиным, Василием Федоровым и другими, мы находим трагические стихи о людях и камнях Хиросимы; по соседству со стихами о белоснежном Алтае, читаем сказанье о далекой Мексике или гаванском старике-гробовщике Жеррадо, тайно помогавшим Кубинской революции, доставляя оружие партизанам Фиделя Кастро. И хотя, повторяю, его стихи и поэмы согреты огнем и заботой современности, тем не менее «в жилах» его произведений бродят соки монгольского фольклора, от них веет «дымом отечества». Потому убежден, что многие мои монгольские друзья вслед за Лодонгийном Тудэвым тоже могут повторить: «В далеких странах //Видел я дворцы, // Они красивы. //Но родную степь// С ручьем звенящим, //С древними следами //Былых кочевий //Разве позабуду?.. //Где б ни был я // — Монголия мой дом!..»

Для меня же эти известные строки Тудэва являются еще и убедительным доказательством того, что — великие

уроки и влияния народной мудрости всегда с нами, постоянно присутствуют в нас. Иногда эту древнюю, седую мудрость народа мне хочется сравнить с младенцем, который держится за подол взрослого и куда бы он ни шел — не отпускает его, настойчиво идет вслед за ним. Вот и мы, писатели, в поисках нового и свежего слова стараемся отходить от традиционной и архаической формы и стиля народных песен, сказок и эпических баллад. Оказывается, все это мираж и очередная видимость! Как нельзя человеку отрывать надолго от родной почвы, так и слово невозможно отделить от его изначальной и естественной формы.

И если писатель серьезно намерен показать духовный и нравственный характер своего народа, то трудно ему обойти мудрость родной земли, ее историю и многотрудную судьбу. Устное народное творчество помогает создавать верные, реалистические и естественные, как в жизни, характеры. В этом еще раз убеждаешься, читая, к примеру, нашего незабвенного Лазаря Кокышева. В его романах, поэмах и стихах рассыпаны алтайские песни, пословицы и поговорки, своеобразные шутки и юмор. Все это особенно ярко и мастерски поэт использовал в популярной в Горном Алтае поэме «Туба».

Вечные уроки великого фольклора мы найдем на страницах книг и монгольских друзей, и бурятских, и калмыцких писателей.

Народные легенды и притчи украшают повести и романы Чингиза Айтматова, колумбийского прозаика Габриэла Гарсиа Маркеса, роман «Стон горы», повести «Снежная страна» и «Тысячекрылый журавель» японского писателя, лауреата Нобелевской премии Ясунари Кавабата и так далее. Список этот можно множить и множить, не рискуя при этом ошибиться...

Возвращаясь к фольклору наших монгольских друзей, к произведениям сегодняшних монгольских поэтов, скажу, что их взоры, как и взоры большинства наших поэтов, обращены на дивный и белоснежный Алтай. И это не случайно. Мы не только соседи, но и духом и видением окружающего мира едины. Наши летние и зимние стойбища соседствуют с давних пор. Поднебесную струю голубого дыма наших юрт можно увидеть с высоты приграничных гор. И для меня не трудно вообразить и представить, как по родной для него степи едет арат на свое джайлау и поет...

Вечно белыми покрыт снегами,
Полон драгоценными камнями,
Ты обилен и могуч, наш край,
Ты богаче всех, наш хан Алтай.
Каждый склон твой травы покрывают,
Над тобою птицы пролетают.
Ты обилен и могуч, наш край,
Ты богаче всех, наш хан Алтай!

.....
Все пять видов, пять родов скотины
Переполнили твои долины.
Ты обилен и могуч, наш край,
Ты богаче всех, наш хан Алтай!

1982 г.

СО ВРЕМЕН «ДЖАМИЛИ»

(К 50-летию Чингиза Айтматова)

Города и села, океаны, моря и реки, горные системы и вершины нашей Родины, да и всего земного шара, давно отмечены и внесены в географические атласы специалистами-картографами. Но появление новой литературной планеты, вызываемой к жизни талантом писателя, прежде всего определяется свечением высокой души его и наличием подлинной индивидуальности.

Так, еще в двадцатые годы на донской земле появилась одна из самых крупных литературных столиц нашего века — Вешенская, где неизменно жил и творил М. А. Шолохов. А современная русская поэзия, как мне кажется, в течение многих лет двигалась и движется вокруг планет В. Маяковского и А. Твардовского, ибо, как сказал Б. Пастернак, «талант — единственная новость, которая всегда нова». Как хорошо и точно подмечено! Именно потому читающий мир не сводит глаз с этой поистине «единственной новости», когда появляется настоящий талант.

Таких литературных центров мировой известности сегодня в нашей стране немало. Например, в Казахстане — это Мухтар Ауэзов, в Вологде — Василий Белов, в Красноярске — Виктор Астафьев, на Алтае — Василий Шукшин, в Иркутске — Валентин Распутин. А как ярко и гордо светит с высоких вершин Кавказских гор пламя сердца и души Кайсына Кулиева, Расула Гамзатова, Алима Кешокова. Из Калмыцких степей доходит голос мудрости и свет поэзии Давида Кугультинова, а через

Уральские хребты мы слышим и узнаем неповторимый голос Мустая Карима.

Или вот еще одна, ранее совершенно неведомая нам планета, открытая в 70-е годы колумбийским прозаиком Габриэлом Гарсиа Маркесом, автором знаменитого романа «Сто лет одиночества». Эта густонаселенная, с очень необычными литературными героями страна называется Макандо. И пусть в действительности на карте мира нет такой земли. Однако открытая фантазией и воображением писателя, она полюбилась читателям как реальная земля людей.

В начале шестидесятых годов, а именно со времени появления на страницах «Нового мира» повести Чингиза Айтматова «Джамиля», мне думается, многонациональная наша литература неожиданно сделала заметный крен в сторону братской Киргизии, где и здравствует гений великого богатыря Манаса, родина которого, как известно, наш древний Алтай.

Да, талант — это, без шутки, высокий дар! А талантливое произведение — это, конечно, счастье. «Джамиля» — прежде всего счастье тридцатилетнего киргизского прозаика, в то время слушателя Высших литературных курсов при Литинституте Чингиза Айтматова.

Мы, любители литературы и почитатели нового таланта, помним, что вслед за «Новым миром» «Джамилю» сразу же перевели на десятки языков нашей страны и за рубежом. Судьбы Джамили и Данияра покорили и восхитили мировую общественность. Свидетельством тому является перевод повести молодого национального прозаика Луи Арагоном — маэстро французской литературы, всемирно известным писателем. Он не только перевел эту небольшую по объему книгу, но и стал одним из первых ее пропагандистов.

«Необходимо было, — писал Луи Арагон, — чтобы маленькая книжка Айтматова, как можно скорее, стала свидетельством тому, что лишь реализм способен рассказать историю любви...»

«Джамиля» — и моя собственная радость, и моя горячая любовь. Почему? Да потому, что, когда я ее впервые взял в руки и стал читать, передо мной прежде всего открылись доселе неизвестные мне чувства и ощущения, история земной и неземной будто бы жизни, человеческой любви и горькой печали. Кроме того, я как литератор, как бы заново понял и открыл для себя возможности так называемых «малых литератур» нашей

страны, получил, так сказать, предметный урок. В дальнейшем уроки Чингиза Айтматова и «Джамиля» продолжались в несколько ином плане — я стал эту повесть переводить на родной алтайский язык. Переводя, я все чаще заглядывал и вчитывался в оригинал этой уникальной вещи, изданной под одной обложкой наряду с другими произведениями Айтматова под общим названием «Обон», что значит «Мелодия». Книга эта, изданная в 1959 году на киргизском языке, занимает и по сей день одно из почетных мест в моей домашней библиотеке как память о том далеком времени, когда я впервые прикоснулся к красоте и мощи языка родственного нам киргизского народа.

Да, «Джамиля», повторяю, и моя особая радость, и моя горячая любовь, ибо без этих чувств я бы, наверное, не смог передать на родном языке жизненность образов и слог Чингиза Айтматова. И еще я горжусь (и не хочу скрывать), что повесть эта на моем языке впервые появилась из-под моего скромного пера и по душе пришлась алтайскому читателю. Посему смею сделать вывод, что произведение, переведенное с любого языка народов нашей планеты, становится достоянием и гордостью культуры того народа, на языке которого оно стало звучать. Так, знаменитая «Джамиля» Чингиза Айтматова, вышедшая в 1961 году на алтайском языке, стала украшением и нашей растущей литературы.

Со времен «Джамиля» читающий мир, убежден, все пристальней и заинтересованней следит за движением пера Чингиза Торекуловича. А помнит ли наш читатель, что до «Джамиля» и других не менее психологически острых и ярких повестей были опубликованы и другие произведения юбиляра? Небезынтересно, думается, будет узнать нашему алтайскому читателю с чего начиналось творчество известного ныне писателя, родившегося в долине Талас, в маленьком аиле-селении Шекер.

Он, как и другие сельские жители, в юности испытал немало трудностей, освоил немало житейских профессий. После шести классов работал секретарем сельского Совета, агентом по сбору налогов с населения, учетчиком и зоотехником, не уставая при этом смотреть на окружающий мир восхищенными глазами первооткрывателя. С таким же трепетом и восхищением читал он и книги. Об этом свидетельствует его собственное признание: «...я восхищался каждой буквой, а человек, написавший книгу, мне неизменно представлялся только таким, как Пушкин

и Толстой». Мог ли он знать, что уже в это время в нем самом где-то во глубине души живет и с каждым днем потихонечку набирает силу маленькая, но яркая крупца Пушкина и Толстого? Как бы там ни было, свою литературную деятельность начал он статьей «О терминологии киргизского языка». Статья эта, появившаяся в 1952 году в газете «Советская Киргизия», была полемически острой и смелой. В ней автор критиковал бедность лексики школьных учебников, пособий, предназначенных для вузов, словарей и т. д. В этом же году в литературном ежемесячнике «Киргизстан» появились первые его рассказы — «Газетчик Дзюйдо» и «Ашим». Потом, в середине пятидесятых годов, молодой прозаик публикует «Сыпайчи», «Трудную переправу» и другие рассказы. Следом за ними читатель, пока что киргизский, знакомится с его повестью «Лицом к лицу». В ней речь идет о дезертире по имени Исмаил, в трудный момент предавшем Родину, о пробуждении внутренней ответственности, гражданского долга в душе Сейды — его жены. Уже в этой своей работе Айтматов показывает себя мастером психологического портрета и столкновений различных человеческих характеров и качеств.

В 60-е годы им уже созданы произведения, ставшие, можно сказать, классикой нашей многонациональной литературы. Это и «Первый учитель» — о скромном и добром Дюйшене и его ученицы Алтынай, впоследствии ставшей академиком, и «Верблюжий глаз» — о злом Абакире-трактористе и поначалу беспомощном романтике, но все-таки победившем невежество и зло молодом еще Кемеле.

А кто не читал и не знает «Материнское поле», «Прощай, Гульсары», «Белый пароход» и другие широко известные произведения? Если кто и не читал, тот, думаю, видел кинофильмы и спектакли по этим произведениям. Что же касается меня, читая и переводя его произведения, встречаясь и беседуя с самим Чингизом Торекуловичем, я все больше убеждаюсь, что и на мир и на жизнь он смотрит глазами восточного мудреца. О нем не скажешь, как об урбанисте. Он более похож на манасчи — исполнителя народного эпоса, несущего могучий дух, чистоту его правды, благородство древней и нынешней эстетики, мудрость и жизнестойкость нравственных основ человеческого гуманизма.

Мысли и откровения его, высказанные несколько лет

тому назад, мне кажется, ныне приобретают значительный и новый смысл.

«Как-то меня спросил один молодой литератор, — вспоминает писатель, — почему вы пишете на сельскую тему? Ведь это не модно. Нынешний литературный кумир — это интеллектуальный герой». — «Как мне хотелось повести его на целину, к казахстанскому комбайнеру Василию Петровичу Ярошенко... Работая на своем комбайне, он добывал хлеб и этому молодому литератору. Я решил доказать свои убеждения на деле. Я снова написал произведение на «сельскую тему», это моя интеллектуальная поэма о хлеборобе». После таких откровений как не вспомнить его повесть «Материнское поле», мужественных и стойких героев — тетушку Толгонай, мужа ее Суванкула, их четырех сыновей и сноху Алиман. Говоря об этих «земляках» писателя, людях трагических и высоких судеб, всем существом преданных родному аилу и большой Родине, мне еще раз хочется подчеркнуть, что уроки нравственной чистоты и гражданского мужества Чингиза Айтматова продолжают. Продолжаются и в нашем Горном Алтае, ибо сегодня в областном национальном драматическом театре на русском и алтайском языках идет спектакль «Материнское поле».

Сию на спектакле и смотрю на Толгонай (актриса А. Балина) и на милую и трагическую Алиман (актриса И. Охрина), слышу голос Матери-Земли, то есть Поля, и мысленным взором вижу галерею других женских образов. Все они удивительно красивые и поистине мужественные женщины, как сама Мать-Земля. Это Алтынай из «Первого учителя», Калина — жена злого Абакира из «Верблюжьего глаза», Асель из «Тополька моего в красной косынке» и многие другие. Мне кажется, что сюда же можно добавить и глубоко философичные, несущие особую нагрузку и мудрость самой окружающей природы образы Рогатой Матери-Оленихи из «Белого парохода», Рыбы-Женщины из «Пегого пса, бегущего краем моря».

Женщины и дети в произведениях Чингиза Айтматова занимают особое место. Женщина-мать — основа и благородное начало жизни и быта, очага и семейного уюта. Дети — продолжение всего человеческого рода, боль земли, радость и нежность жизни, надежда и будущее всей планеты.

Об этом свидетельствует мальчик по имени Кирискан

из «Пегого пса...» В океанской пучине, среди крошечной тьмы он остается живым, дитя человеческое, а все взрослые погибают... Таким образом, мальчик Кирискан дальше продолжил род малочисленных нивхов, живущих на краю безбрежной земли. И мне невольно хочется предположить, что этот самый Кирискан — не есть ли Владимир Санги, ныне широко известный прозаик из древнего рода нивхов, который сегодня всему миру демонстрирует нравственный дух своей нации?

Помнится, со времен «Джамили» прошло три года и я опять обратился к творениям Чингиза Айтматова. Будучи студентом Литературного института, начал я переводить на алтайский язык сразу две его повести «Тополек мой в красной косынке» и «Верблюжий глаз».

Не спешил быстрее закончить перевод. Работал медленно, изучая для себя прежде всего трудную тайну сюжетопостроения, систему образов и стиль письма мастера.

В 1964 году мои переводы вышли под одной обложкой — «Повести гор и степей» называлась эта книга Чингиза Айтматова на алтайском языке. В том же году я поехал в Киргизию. Мне захотелось увидеть землю Чингиза Айтматова, землю великого Манаса, землю, по которой ходили многочисленные герои повестей этой солнечной страны.

С тех пор прошло четырнадцать лет. После моих переводов Чингиз Айтматов еще раз заговорил на алтайском языке устами Танабая — главного героя одной из самых лучших, на мой взгляд, повестей писателя «Прощай, Гульсары!». Эту его вещь перевел Дибаш Каинчин. Вышла она в 1972 году.

...Со времен «Джамили» прошло не так уж много лет. Талант Чингиза Айтматова рос и креп, как говорится в народных сказках, не по дням, а по часам. На самом деле не удивительно ли в тридцать лет написать небольшую по объему повесть и ею покорить сердца миллионов читателей? А кто к тридцати пяти годам своей жизни в нашей стране стал лауреатом Ленинской премии? Опять же скажем, что это редкость и, как говорится, удел отнюдь не многих. А на пороге своего пятидесятилетия Чингиз Торекулович Айтматов стал Героем Социалистического Труда.

Скажем же Чингизу Торекуловичу — нашему брату по языку и духу великий алтайский Алкыш-быйан за его титанический и прекрасный труд. Скакать ему на быстро-

ногом аргамаче и жить, радуя людей земли, долгие и счастливые годы!

ПОСТСКРИПТУМ. После этой моей публикации Чингиз Айтматов в периодической печати страны и за рубежом опубликовал немало ярких публицистических статей, а также провел ряд острых диалогов на тему современного художественного слова и искусства с советскими и иностранными деятелями литературы и журналистами. Все они вошли в третий том собрания его сочинений, выпущенного издательством «Молодая гвардия» в 1984 году.

А в 1983 году его роман «И дольше века длится день» («Буранный полустанок») удостоен Государственной премии СССР. Затем в 1986 году журнал «Новый мир» (№ 6,8,9) опубликовал его новый, весьма острый по тематике роман «Плаха»...

В декабре же 1983 года Чингиз Торекулович Айтматов избран действительным членом Европейской академии наук, искусств и литературы в Париже.

Чем нас, читателей, в дальнейшем порадует, прямо скажем, этот великий писатель современности, как говорится, поживем — увидим...

1989 г.

КНИГА ЛЮБВИ И УДИВЛЕНИЯ

Представьте себе: перед вами огромный многоэтажный современный жилой дом, последнее, что называется, слово архитектуры конца двадцатого столетия. И в этом доме поселились не просто разные по характеру и духу люди, а каким-то чудом или по волшебству в нем живут буквально все хорошие, простые душой и добрые сердцем единомышленники. К тому же все они мужественные, кровью сердца и силой оружия защищавшие Родину, по-настоящему совестливые, ко всему честному относятся как к родному — нежно и ласково; искренне и всерьез влюбленные в красоту жизни.

— Разве такое может быть? — усомнятся многие, — ибо даже соседи, ближние и дальние, нередко ссорятся и не ладят. Нет, это не жизненно, а чистая фантазия автора.

Спешу успокоить недоверчивых: это не моя выдумка, а сама правда жизни, если жилым домом считать хорошую книгу, а жильцами — произведения, вошедшие в нее. Сравнение это, как мне кажется, более всего

применительно к сборнику стихов настоящего поэта, если считать, что каждое стихотворение, образно говоря, есть человек со своим самобытным словом и языком, присущим только ему обликом и характером. Именно таким домом увиделся мне новый сборник стихов Героя Социалистического Труда Михаила Дудина «Дерево для аиста», выдвинутый на соискание Государственной премии СССР.

Михаил Дудин — один из самых читаемых и любимых поэтов нашей многонациональной страны со времен его знаменитого стихотворения «Соловьи», созданного им в самый разгар войны — в 1942 году. Впрочем, любители поэзии имя поэта, возможно, запомнили даже еще раньше, скажем, с момента публикации одного из первых его сборников «Фляга», названного по одноименному стихотворению, помещенному в нем. Что значит для солдата простая фляжка? Оказывается, она необходима всюду и всегда. В походе и в жару глоток воды из нее не только утоляет жажду, но и возвращает силы. Он, глоток воды, заново может преобразить и оживить мир с его голубым небом, зелеными травами, цветами, и, конечно же, деревьями для аистов. Словом,

И все живущие родней,
И прошлое с грядущим схоже.
А радость? Чем она трудней,
Тем превосходней и дороже...

Михаил Александрович Дудин, безусловно, добрый и счастливый человек. Но счастье его отнюдь не легкое, а завоеванное кровью и неутомимыми поисками на пути литературном. В одной из своих статей он свидетельствует: «...попал на страшный перекресток адского холода и смертельного огня, на ту ленинградскую полосу земли, что зовется Гангут... Там ко мне пришли стихи как спасение от боли и страха, и поэзия стала моей судьбой, школой мужества, последней необходимостью перед товарищами, перед жизнью и смертью...».

Именно, «как защита жизни» для поэта-фронтовика навеки остался «неиссякаемый запас любви и удивления», помогающий и обязывающий его постоянно и пристально наблюдать за движением времени, прислушиваться к его голосам, а значит, и жить среди людей и для людей.

Читая и перечитывая книги Михаила Дудина, лично я, ощущаю, как важны для него, нет, не монолог, а беседа с читателем, так сказать, двусторонняя связь. Возможно потому еще, всему, что он говорит мне, своему читате-

лю, верится до единого слова, ибо сказано оно емко, поэтично, взвешано...

Однако вернемся к «Дереву для аиста» — книге, на мой взгляд, состоящей из десяти отдельных частей, а еще точнее, из десяти поэтических сборников, освещенных красотой и добрым светом одной человеческой души, тонко и мастерски украшенных всеми цветами земли и неба. Убежден, внимательный читатель найдет на ее страницах цвет бесконечной любви к родине и тоски о ней; цвет ненависти к ее врагам и недругам; цвет доброты к многочисленным друзьям и единомышленникам автора.

«Дерево для аиста» не просто один из лучших сборников стихов последних лет всей многонациональной советской поэзии. В то же время он является продолжением и развитием чисто дудинского ощущения окружающего мира: высокая гражданственность и патриотизм, песенный дух русского народа, цельность самой натуры лирического героя и в конечном счете постоянная жажда познания чего-то нового. Даже общеизвестная истина из-под его пера звучит свежо и трогательно:

Отошла давно блокада
Жизнь торопится, спеша.
Но жива у Ленинграда
Ленинградская душа.

Так он сказал другому мужественному воину, яростной защитнице родного города, поэту, товарищу по литературному оружию, Ольге Федоровне Берггольц в день ее шестидесятилетия. В связи с этими строчками хочу сказать о том, что Михаила Дудина считают ленинградским поэтом. Да, это так. Местожительством поэта Михаила Александровича Дудина действительно давно является великий город над Невой, названный именем Ленина. Но мне думается, что он, как любой из широко известных и высокоодаренных мастеров слова, — явление всенародное. Значит, его блистательный талант, гражданский голос поэта-патриота принадлежит не одному городу, каким бы великим и культурным центром Ленинград* ни был, а всей стране, всем городам и всем народам нашей многонациональной Родины, потому что «он сердцем принял боль времен и сделал собственную

* В 1991 году вновь обретший свое первоначальное имя — Санкт-Петербург. (Прим. ред.)

болью». И это действительно так. Если русский поэт Михаил Дудин не был бы настоящим интернационалистом, не болел бы чужой болью, разве обратил бы он свое внимание на очень и очень горькие, до слез правдивые и щемящие стихи колумбийского поэта Хорхе Саламеа. Просто не могу не процитировать некоторые строфы из этого, на мой взгляд, великого стихотворения в прекрасном переводе Михаила Дудина:

— Лепешки из маиса мне только саднят рот.
Монет холодный никель — как языки огня.
И новая рубашка мне больно кожу жжет.
Я — черный мальчик, мама,
И все — не для меня.

— Нет, ты из меда сделан, из молока, сынок,
Как все на свете дети, чтоб дышать легко.
Ты пахнешь этим медом от головы до ног.
— Но мед был черным, мама,
И черным — молоко.

О Михаиле Дудине много пишут и говорят, что он подлинно русский поэт. Да, никакого спора не может быть, что он по национальной принадлежности русский человек, как он сам в недавней своей прозаической книге о поэзии поведал о том, что «мой род... это был род скоморохов, бродячих артистов и поэтов, людей жизненно стойких, не унывающих в беде, знавших цену острого слова и умевших постоять за други своя и за себя...». И эти качества его родословной подтверждаются во многих произведениях, посвященных войне и послевоенному мирному труду, любви к женщине, матери родной и матери-природе, личным друзьям и товарищам, живущим повседневным трудом и тревожным ожиданием своего завтра.

Есть аксиома, что параллельные линии не пересекаются. Но это относится к математическим наукам, а пути поэзии этим строгим законам не подчиняются. Да, Дудин пишет на родном русском языке, но его читают и понимают, тому сам свидетель, и горцы Кавказа, и горцы моего снежного и голубого Алтая, и многоязыкие народы древних степей всей Азии. Подобное могло случиться прежде всего лишь потому, что русский язык — язык Пушкина, Лермонтова, Маяковского и других гениев величайшей в мире культуры стал для нерусских национальностей Советского Союза вторым родным и близким языком.

Не случайно, ведь, что стихотворцев, называющих себя высоким званием поэт, а пишущих скучно, без внутреннего огня и явного чувства поэзии, никто и ни на каком языке не понимает. Бездарность остается бездарностью и от нее ничья душа, ничье лицо никогда не озарится светом радости и восхищения. А вот у настоящей поэзии свой, особый дух и только ей присущий язык. Поэзию, как и музыку, можно и должно понимать без перевода. Когда перед тобой подлинный поэт, то без особого труда ощутишь глубину и музыку поэтического слова и поэтического жеста. Именно этим чудо-языком проникнуты почти все стихи Михаила Дудина, включенные в книгу «Дерево для аиста». И если бы я не знал ни единого слова на русском языке, слушая автора, почему-то кажется, что все едино понял бы, что вот эти, к примеру, стихи о горах...

Недвижны горы и могучи.
Им страсть и время нипочем.
Гора к горе уходит в тучи,
Расталкивая их плечом...

А как это здорово, когда умудренный жизненным опытом поэт становится на какой-то миг восторженным ребенком, как бы заново для себя открывая человека и природу. «Я ничего от вас не скрою, //Всю душу выложу до дна: //Живу в лесу, дружу с горою// Напротив моего окна». Чтобы «дружить с горою» и, чтобы она к тебе приходила в тиши ночной, надо прежде всего быть настоящим поэтом и волшебником.

Михаил Дудин очень много переводил и переводит на русский язык стихи советских поэтов — своих друзей-ровесников, сделав их произведения доступными широкому кругу читателей. И в этой большой итоговой книге, о которой идет речь, мы встречаем отличные переводы стихов Кайсына Кулиева, Михаила Квливидзе, и даже шведской поэтессы Эдит Седергран. А как прекрасно и много в свое время он переводил Мустая Карима. Говорю об этом, потому что убежден, но и чтобы подчеркнуть — и в работе разноязыких и больших поэтов наблюдаются завидные элементы взаимной учебы, единого взгляда на мир природы и человека. Впрочем, судите сами.

В ущелье Верхнего Чегема
Глядит луна, и перед ней
Жилга, цыганкой из гарема,
Бежит, танцуя меж камней...

Стихи эти принадлежат перу Кайсына Кулиева...
А вот стихи Михаила Дудина.

Прислушайся. На всей планете
Замедлен времени полет.
Форель играет в лунном свете,
И вся вселенная поет...

Неправда ли как много даже в четырех строчках воздуха, свежести, приятной прохлады и очищающей души чистоты? Пойдем дальше и процитируем еще не менее прекрасные строчки: «Женщина купается в реке, //Солнце замирает вдалеке» — принадлежащие опять же Кайсыну Кулиеву. Уверен, что этот лирический гимн красоте жизни знают многие читатели кулиевской поэзии. Между тем стихотворение это завершается, примерно, той же мыслью и картиной, что и в приведенных ниже строчках Михаила Дудина: «В мире нет ни вьюги, ни зимы, //Нет тюрьмы на свете, нет сумы, // Войн ни на одном материке...// Женщина купается в реке». И хотя стихи Кайсына Кулиева на русский язык перевел не Михаил Дудин, а поэт Наум Гребнев, тем не менее, думается, взаимовлияние поэтических чувств и ощущений мира обоих поэтов очевидно, ибо души, на мой взгляд, двух разноязычных друзей обнялись и слились, а параллели их поэзии в данный момент, как никогда пересеклись, начисто забыв, что существует известный геометрический закон о двух линиях.

Да, души настоящих поэтов — сестры, а сами они — всегда духовные братья. Вот почему Михаил Дудин переводил и переводит Кайсына Кулиева и других близких ему поэтов на родной русский язык. Это очень серьезная и нужная работа, ибо в результате выигрывает наш всегда жаждущий познания и открытия прекрасный и взыскательный читатель.

Выросшее из сердца поэта «Дерево для аиста» — уже стало счастливым обретением для миллионов читателей страны. Во всяком случае, мне было и радостно и хорошо, когда я однажды в доме рядового чабана Исака Темитовича Саблакова, у которого десять детей, живущего и работающего среди немыслимо далеких гор и степей Кош-Агачского аймака, граничащего с МНР, среди других книг его скромной библиотеки увидел «Дерево для аиста» Михаила Дудина. Невольно душа моя встрепенулась несказанной гордостью за ее автора — моего русского брата по перу. И в который раз подумалось, что совер-

шенно справедливо выдвинули именно эту книгу любви и удивления поэта-фронтовика, одного из активных борцов за мир и дружбу народов на соискание Государственной премии СССР*, ибо, повторяю, это не просто очень светлая и мужественная книга, — в ней совокупность нашего сложного времени и пространства. И слава Богу, что добрая и трудолюбивая душа поэта, нашего выдающегося современника Михаила Александровича Дудина, как и в молодости, как сорок лет тому назад, по-прежнему не устает опять и снова подниматься против черного зла; что для него высоким и необходимым мучением были и остаются: Свобода, Песня и Любовь.

1981 г.

ПОСТОЯНСТВО

(О Георгии Васильевиче Кондакове)

Неумолимо быстро летит время!

Хорошо помню: двадцать с лишним лет тому назад, когда я учился в Горно-Алтайской областной национальной средней школе, к нам в девятый класс вошел высокий, красивый и по-деловому строгий человек — наш новый учитель русского языка и литературы Георгий Васильевич Кондаков. Было ему тогда всего лишь двадцать пять лет. Энергичный, влюбленный в свой предмет, в своих воспитанников — детей пастухов родных ему гор.

Преподавательскую деятельность Георгий Васильевич Кондаков продолжает до сих пор. Он — кандидат филологических наук, в настоящее время работает в педагогическом институте, находится в постоянном и неутомимом творческом поиске. Как ученый-филолог он успешно исследует и публикует свои строго аргументированные статьи и книги по вопросам русско-алтайских литературных связей, а как поэт, член Союза писателей СССР, выпустил несколько сборников стихов в различных издательствах страны...

«Нет карьеры поэта — есть судьба поэта», — писал и любил повторять Самуил Маршак, один из замечательных переводчиков и мастеров советской многонациональной поэзии. И действительно так. Бывают, к сожалению,

* За книгу стихов «Дерево для аиста» М. А. Дудин в 1981 году стал лауреатом Государственной премии СССР. (Прим. ред.)

стихи, читая которые, судьбу поэта или лирического героя как-то не чувствуешь и не ощущаешь. В стихах же Георгия Кондакова — многотрудная и романтическая судьба человека гор, цельная и многокрасочная.

«Два дела — вот моя судьба. // Они мои Земля и Небо», — пишет поэт в одном из своих стихотворений. Да у нашего автора действительно «два дела», две любви: педагогическая работа и писательская. И Георгий Васильевич Кондаков вот уже в течение многих лет ни одному из своих «двух дел» не изменил, он постоянен и трудолюбив, до жадности и доброй зависти!

Поэзия — всегда голос земли, свет души и лица, горечь и радость людей, о которых решается поведать поэт. Поэзия Георгия Кондакова живет и трудится высоко в горах древнего и вечно молодого Алтая, который сам он называет то «орлиным краем», то «высокой землей», и, благоговей перед ними, он, русский человек, как древний алтаец-пантеист, говорит: «... просто встану на колени, // из родника воды попью».

И все же в поэзии Георгия Кондакова я прежде всего чувствую и слышу эхо войны. Война опалила его душу, и он до сих пор помнит, как «пахнет бийскою махоркой // последний поцелуй отца». Поэт, с лихвой познавший испытания тех трудных для нашей страны лет, с достоинством солдатского сына говорит новому поколению людей: «Меня голодом — не железом — // в ту годину пытала судьба». И мне думается, что победивший голод может говорить и помнить об этом, чтобы не увязнуть в сытости и благополучии нынешних дней. Полагаю, что не менее трудная и ответственная задача нашего современника — стать настоящим Человеком высокой чести и совести. Слово и дело, поступок и характер поэта Георгия Кондакова не расходятся. Его личные качества — добросовестность и трудолюбие, неутомимое стремление довести дело до конца должны и могут служить примером для многих из нас...

Давно отгремели победные залпы Великой Отечественной. Но в душе людей остались неутешные боль и утраты. Над нами ясное небо и тишина. Но и ныне горше нету слова, чем «война».

«Мне не хватает одной улыбки, — пишет Г. Кондаков, — мне не хватает одного рукопожатия человека, которого я любил». Это он говорит об отце, который не вернулся с кровавых полей «сороковых-роковых годов».

Небольшое стихотворение о войне автор заканчивает пронзительными строками: « Двадцать миллионов улыбок, //двадцать миллионов рукопожатий// навсегда унесла война».

В новой его книге «Иней» немало стихов о войне и военном детстве. Поэт пишет не только о детях и подростках далекого тыла, живущих и страдающих в горах и долинах родного ему Алтая. В одном из его стихотворений мы слышим, как «гремит над землей»// словно колокол, //пискаревский плакун-гранит», и читаем с душевной болью: « Как бойцы, //ленинградские дети // умирали у невской воды»...

Георгий Кондаков как давний переводчик алтайских поэтов, неплохо владеющий языком оригинала, в свою книгу включил стихотворение Лазаря Кокишева « Буренушка» — тоже о войне и трудностях тех лет. Я хорошо знаю это стихотворение на родном языке. Лирическое и горькое повествование о доброй корове — крестьянской кормилице и о ее последнем дне:

Ее в лесу искали до утра мы.
Пригнали. Но в сеньях слегла она,
Глазами будто спрашивала маму,
Как быть с детьми, еще идет война...

Стихотворение, на мой взгляд, переведено отлично и занимает достойное место в книге нашего земляка.

Четко очерченная линия в творчестве Георгия Кондакова — судьба алтайской природы и ее людей. Отсюда глубокий, неподдельный интернационализм. В советской литературе выдвинут прекрасный лозунг: « Дружба литератур — дружба народов». Это доброе, благородное чувство у поэта в крови. Оттого, наверное, иные читатели, ознакомившись с его стихами, могут подумать, что они созданы не русским, а национальным, алтайским поэтом:

Ветер — дорога Чуйская,
Ветер в крови моей,
Мчусь на машине,
а чудятся
Мягкие гривы коней.

Мне, сыну алтайского табунщика, безразлично признание русского поэта:

« Ба-а-быр-ган! » — звучит сурово,
Но я давно знаком и с ним,

И это древних тюрков слово
Мне стало близким и родным.

В связи с этим мне хочется отметить: во многих стихотворениях Георгия Кондакова проявляется привычка исследователя — языковеда: «Ему (В.М. Шукшину — Б.У.) нравилось слово Сростки, // — рост включало оно и ростки»; «Зовут цветок бубенчиком, // а этот — погремком»; «Придумывает тонко // названия народ: // на камне камнеломка // упорная растет»; «То снег, то дождик с неба, // — куражится апрель. // Стрелю из-под снега — // стремительный прострел» и т.д.

Учителями Георгия Кондакова, уверен, являлись не только повседневный труд и учеба, трудные страницы многих книг, опыт поэтов, им любимых, но и сама природа родных алтайских гор, ее многообразные краски, древний и неповторимо образный фольклор алтайского народа.

Георгий Кондаков постоянен и всегда верен теме своего поэтического да и исследовательского творчества — теме Горного Алтая. Алтайские горы воспитали его характер, определили образность и интонацию его поэтического духа. В этом убеждают нас страницы из книги «Иней».

Высоко в подоблачных горах живут и трудятся чабаны, геологи, горняки и гидрологи, исследователи богатств современного Алтая, а среди них в неустанном поиске находится поэзия Георгия Кондакова. Потому-то некоторым его стихам присущи черты очерковой достоверности. Например, читая стихи о Кыгинском саде, что на берегу Телецкого озера, мы видим колоритную фигуру Николая Павловича Смирнова, чей подвиг по выращиванию фруктового сада в суровых сибирских климатических условиях широко известен в нашей стране. Или возьмите того «могучего ямщика с курчавой бородой», который, «...оглядев коня в упор, // примерился, пролез под брюхо, // взвалил на плечи // и — попер! » И этот силач находился рядом с В.Я. Шишковым, известным советским писателем, когда в 1913—1914 годах Вячеслав Яковлевич работал как инженер-путеец в Горном Алтае, проектировал Чуйский тракт — напряженную жилку моей родной земли.

Отмечу цикл очень хороших, на мой взгляд, и очень алтайских стихов под общим заглавием «Чорос» о труд-

ной судьбе выдающегося алтайского художника Григория (Чороса) Ивановича Гуркина.

Стоят у коновязи кони в мыле,
И юрта шестигранная дымит.
В нее он входит, и за ним в аиле
Трахомным взглядом нищета следит.

В таких условиях вырос алтайский мальчик Чорос Гуркин. Но при помощи и поддержке русских людей, в частности знаменитого пейзажиста И.И. Шишкина, он, этот мальчик, впоследствии станет замечательным художником Алтая, из-под кисти которого «камни розово засверкают, //словно иволги, запоют».

В этих и других стихах поэта мы находим удивительно свежие и, я бы сказал, опять-таки очень алтайские образы: «Слово вырвется, //словно из ножен клинок», «Месяц выставил в ночь //свое белое ухо», «На дикой шее скакуна //тугая молния аркана». Или вот такие лирические нежные строчки: «Узнавали цветы голос твой... //Но цветам без тебя было горько, // и засохли они от тоски».

«Поющая птица на ветке. // Но что-то ее испугало, // успела она улечь...». Однако поэт все же заметил, что «...только дрожащая ветвь // как будто бы петь продолжала». Читая такие строчки, радуешься щемящей музыкальности и точности поэтического слова...

На карте поэзии моего горного края оставили яркий след многие русские поэты, в том числе Иван Ерошин, Илья Мухачев — высокоодаренные и тонкие лирики нашего советского времени. И очень отраднo, что именно их поэтические и интернациональные традиции продолжает мой друг и современник Георгий Кондаков...

...Как быстро мчится время!

Вот и Г. Кондаков на пороге своего пятидесятилетия. А мне кажется, ему по-прежнему двадцать пять как в том далеком году, когда мы его видели в нашем классе или на школьной площадке, играющего со старшеклассниками в волейбол. Могу утверждать: так оно и есть — в моих глазах он остался таким же энергичным, полным творческого поиска и красивым, как у Владимира Маяковского, «... в душе ни одного седого волоса».

СЛОВО ЖИВОЕ И МЕРТВОЕ

(Выступление на научно-практической конференции
«Актуальные проблемы алтайского языка
на современном этапе»)

Разговор о языке, тем более о родном языке, всегда волнует и трогает меня. С того самого дня, как я осознал себя не просто человеком, а алтайцем, алтай-кижи и не просто алтай-кижи, а одним из стихотворцев своего численностью небольшого народа, судьба и дальнейшее развитие языка, на котором я пишу и ежедневно общаюсь, мыслю, несу свое скромное слово родному народу — стали моей первой песней, постоянной и душевной болью моей, заботой и живой тревогой. Ибо язык — есть наше прошлое, настоящее и будущее. Более того, он фундамент родной культуры, начало духовного мира и познания.

Сегодня, когда идет большой разговор о нашем алтайском языке, когда в нем принимают самое активное участие не только мы, живущие и работающие в Горном Алтае, но и наши уважаемые гости — крупные и именитые ученые страны, то это само собой говорит об актуальности проблемы изучения алтайского, нашего кровного, языка. Значит, язык наш нужен нам, значит, он еще долго будет служить в деле развития и дальнейшего роста национальной культуры автономной области.

Сегодня, когда в этом зале мы друг другу высказываем сокровенные мысли о нашем алтайском языке, наша Родина широко отмечает 40-летие начала Великой Отечественной войны. Она отмечает эту дату с неутешимой материнской болью, оплакивая своих сыновей и дочерей, оплакивая тех двадцать с лишним миллионов, павших за Родину.

Гитлеровский фашизм являлся беспощадным и бездумным истребителем человеческого разума, разрушителем чьей бы то ни было культуры, ценностей искусства и красоты. Фашистские варвары, как известно, были ненавистными врагами всех наречий и языков, кроме, конечно, немецкого. Они всей своей коварной сущностью жаждали, надеялись уничтожить даже великую русскую культуру, онемечить великий русский и остальные народы нашей страны. Ярким свидетельством тому — слова академика архитектуры СССР Алексея Викторовича Щусева, опубликованные в газете «Советская культура»: «Когда

я был в Ясной Поляне,— пишет знаменитый архитектор,— я с негодованием выслушал рассказ об одном лошеном офицерике, который, указав на крестьянского мальчика, презрительно процедил: «Этот через десять лет уже не будет говорить по-русски»...

Данный пример я привел, чтобы сказать — среди тех двадцати миллионов жертв фашизма немало воинов — солдат и офицеров, наших дедов, отцов, братьев и даже сестер, говоривших на алтайском языке, на языке одного из малочисленных народов нашей многонациональной родины. Они погибли, защищая не только идею социализма и родину, но и защищая нас и наш язык, наше искусство, нашу национальную культуру.

Фашисты просчитались, ибо жива не только русская речь, русская культура, но и вместе с ними расцветают культуры и языки остальных народов-братьев СССР. А среди других языков живым потоком пульсирует наш алтайский язык, звучит живое алтайское слово!

О мертвых молчат или только тихо вспоминают. Коль мы сегодня с высокой трибуны самым серьезным образом ведем разговор об алтайском языке, значит, он живет, действует, работает и будет еще нужным. Он будет нужным, может быть, для создания в недалеком будущем такой же силы романа, каким является «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова или «Жестокий век» русского писателя Исаея Калашникова, жившего в Бурятии, к великому сожалению, не так давно ушедшего от нас. Может быть, я переборщил, сказав, что на нашем языке появится великий роман?.. Нескромно?.. Возможно. Но поймите меня правильно: без такой мечты и надежды любому из нас, пишущих, нечего жить, нечего тогда в руки брать карандаш и садиться за рабочий стол!

Давайте теперь более конкретно перейдем к живым и мертвым словам...

Лет где-то около пятнадцати тому назад, мне пришлось быть редактором одного весьма тяжеловесного романа. А редактором того «тяжеловеса» стал я, разумеется, не по доброй воле. Меня, в то время молодого и еще неопытного, только что окончившего институт литератора, просто вынудили.

Дело в том, что два уважаемых автора заранее, оказывается, сделали заявку об издании их произведения. А издательство, учитывая их должностные авторитеты

и упорство, включило в темплан издания их будущий роман. Таким путем новоиспеченный «кирпич» оказался на моем столе. Назывался он «Крутые тропы», а создавался сразу на двух языках — на русском и алтайском. Авторами его являлись член Союза писателей Александр Демченко и бывший председатель областного телерадиокомитета Н.Г. Куранакوف.

Долго мучался, долго редактировал я алтайский вариант этого романа. Скажу честно, что там нет ни одной страницы, которой не коснулась бы рука редактора, более того — нет ни одной фразы, где бы я не заменил и не уточнил какое-либо слово. К тому же язык романа был ужасно сухим и протокольным, что ни предложение — слова не на том месте. Обо всем этом я и говорил авторам, даже попытался отказаться быть редактором. Но уважаемые авторы были терпеливы и настойчивы. Они очень старались, чтобы увидеть свое детище изданным. И еще: по темплану роман должен быть, как сейчас помню, ровно 18 печатных листов. А романисты представили более 600 страниц, т.е. двадцать пять авторских листов, на целых семь листов больше намеченного. Ведь за лишние листы должны быть лишние деньги.

Наше издательство небогатое. Где взять эти деньги?... И вот мой директор спокойно предлагает: «Сократи на семь листов». Сказать-то легко. А как сокращать, с чего начать? Пойдут ли на это авторы?.. Говоря грубо, из живого организма, если он живой, надо было вырезать где-то около двухсот страниц!.. Двести страниц! — подумайте... Это примерно столько же, как объем знаменитой повести, скажем, Чингиза Айтматова «Белый пароход»! Если я по своей воле уничтожу «Белый пароход» или имеющий тот же объем, «За рекой, в тени деревьев» роман знаменитого американца Эрнеста Хемингуэя, так ведь меня самого могут уничтожить читатели! И будут правы. Не так ли?.. Признаюсь, тогда я об этом не думал. Послушался своего директора и «сократил» тяжеловесный роман ровно на семь листов... А что думаете было потом?.. Ничего. Авторы были рады и довольны, что вышло их долгожданное произведение.

А где русский вариант романа?.. Как я знаю, Александр Михайлович Демченко не один раз предлагал его различным издателям — и краевым, и издателям Новосибирска, и союзным, — увы! — роман до сих пор, хотя прошло уже более 14 лет, не увидел света. Почему?

Смею полагать, что главной причиной тому не тематика и поднимаемые в нем проблемы, а наличие на его страницах мертвых, безжизненных слов.

Да, все начинается с языка. Будь ты трижды от рождения талантливым, будь у тебя великий опыт и знания жизни, но коль не владеешь словом, к тому же с грамматикой родного языка не в ладу, скажу честно, — лучше не берись за литературное дело. В корне нашего ремесла лежит живое слово, а не мертвое, глубокое знание языка, на котором тот или другой создает свое произведение...

В прошлом году мне пришлось ознакомиться с рукописью одного из своих товарищей, пишущего на алтайском языке, даже имеющего — изданные книги и сборники. Прочитав его рукопись, я понял, что у автора где-то в душе бродит художественное чутье, что он начитан и даже по-европейски образован. Но, к сожалению, языком владеет из ряда вон плохо, современную алтайскую грамматику вовсе не знает и даже пренебрегает ее законами. Если наших издателей уж очень интересует такая рукопись, допустим, по актуальности поднимаемых проблем, то автору надо помочь найти более грамотного и опытного литообработчика, иначе он самостоятельно не управится со своей рукописью, то есть она не станет книгой. Ведь автор-то «безъязыкий». А он, автор, как раз не хочет этого признать. Он считает себя уже сложившимся писателем. У него же имеются изданные книги! Как быть?... Конечно, прежде не надо было его издавать. Попросту говоря, надо было ждать, пока такой автор не научится правильно строить хотя бы предложения на родном языке. А мы «помогаем», хотя от «помощи» такой никакой пользы...

Хочу еще раз подчеркнуть, что не зная тонкостей родного языка, не слыша его многообразные звуки, не различая краски и оттенки слов, даже коротенького четверостишия не создашь. Лишь тот поэт, кто умеет восхищаться, найти, заметить что-то новое и необыкновенное. Например, с давних времен в европейской поэзии месяц сравнивается с серпом. Кто первый это заметил, тот был настоящим поэтом с божьим даром. А все последующие и повторившие этот образ, по меньшей мере явление только вторичное. Поэзия не терпит стертых слов и образов. А вот один рязанский парень в двадцатые и тридцатые годы, приехав в наши алтайские горы, нашел

здесь себя. Алтайские горы и фольклор моего народа помогли ему стать настоящим поэтом. Это был Иван Ерошин, который взглянув на тот же серпообразный месяц над горами, сравнил его с когтем орла. Вот это истинная находка!..

Вместе с тем мне думается, что численно небольшой народ может стать великим при помощи своего языка, своей литературы и культуры. Наш алтайский язык среди многих тюркских языков — не менее богатый и даже великий язык. Бедным, бесцветным и слабым языком «Маадай-Кара» и другие шедевры нашего эпоса не создашь. Но чтобы народ стал в полном смысле слова Народом, нужна настоящая и большая литература, настоящая и большая культура. Голосом народа всегда были и остаются его поэмы, его поэзия, его неподражаемая и неповторимая культура. Понимая это, мы сегодня стараемся продолжить великую традицию нашего слова, нашего фольклора, чтобы на их основе создать новую и по таланту, и по тематике литературу...

Свое короткое и беглое выступление мне бы хотелось завершить стихотворением о живом и родном слове:

Одинокое слово беспомощно, тускло, мертво,
Словно уголь потухший, забывший о жаре печном,
И таким оно будет, пока не поставишь его
В ряд к собратьям-словам, что живым полыхают огнем.

А когда ты найдешь ему место в их жарком строю,
Переймет оно вновь у соседей их пламенный цвет,
Словно вспомнило слово горячую сущность свою—
Ведь недаром его с красным углем равняет поэт.

Слово—как человек: в одиночестве никнет, грустит
И в дурную компанию может попасть от тоски,
И пойти по рукам, забывая и совесть, и стыд...
Ты друзей подари ему — верных, как те угольки!

Чтобы слово от слова, как сердце от сердца, зажглось,
Чтобы вспыхнул до неба огонь, разгоняющий мрак,
Чтобы черного слова, которое с истиной врозь,
Не посмел бы сказать даже самый последний дурак!

(Перевод Ильи Фонякова)

23 июня 1981 г.

«И ПРИШЛО НАШЕ ВРЕМЯ»...

«Я до капли из вен //выжму старую рабскую кровь»,— говорит поэт Аржан Адаров в своем новом сборнике «Колдовское дерево», выпущенном московским издательством «Советская Россия». И вот, в связи с выходом, на мой взгляд, этого талантливого сборника стихов хочется поделиться своими впечатлениями и раздумьями с русским читателем о творчестве этого поэта...

Когда знакомишься со стихами А. Адарова, слышишь его задумчивый и немногословный голос, не покидает тебя чувство времени. Оно, наше высокое и сложное время, со страниц его книг стихов незаметно входит в тебя, начинает волновать и радовать, заставляя многое вспомнить и пережить заново.

Сравнивая переводы стихов с их оригиналами, вновь убеждаюсь, что русские поэты Е. Стюарт, И. Фоняков — давнишние друзья нашей алтайской литературы — и на этот раз потрудились добросовестно и плодотворно. Впрочем, следует сказать, что с расширением тематики автор «Колдовского дерева» приобрел и новых переводчиков в лице москвичей А. Смольникова и Е. Храмова, которые в основном тоже успешно справились с трудной задачей.

Много и интересно работает Аржан Адаров, за последние годы издавший в местном и московских издательствах несколько сборников. Вот и в новой книге встречаются не только стихи, но и поэмы «Гоби-Алтай», «Тийин», созданные автором в последние годы. Все это говорит о широте и размахе, многообразности тематического и жанрового диапазона поэта. Об этом же свидетельствуют и романтически приподнятые стихи о героях гражданской войны в Горном Алтае, о преемственности боевых традиций, и произведения, воспевающие неповторимую красоту родных мест, далекое прошлое родного народа, и любовь, конечно...

Истоки поэзии Адарова — в горах древнего Алтая, в краю снежных вершин, и ослепительно синих гор, голубых рек, и солнечных альпийских пастбищ в нашем с ним Каярлыке, где мы родились. Он далеко, наш родной Каярлык. Сразу и не отыщешь его даже на карте нашего края. Но я мысленно вижу свою деревню и вместе с поэтом говорю:

2

Листаю страницу за страницей. Много, очень много поистине хороших, свежих стихов, по-настоящему живописных, образных, взволнованных и предметных. Но, к сожалению, все-таки встречаются и описательно-информационного характера, вроде «Звезды» и «Планеты» из сборника «Земля, поднятая к солнцу». Не могу не упрекнуть своего друга и в том, что он иногда заканчивает то или другое стихотворение вот таким избитым пожеланием:

(Перевод А. Смольникова)

Когда в интересных стихах встречаешь безвкусные строчки, конечно, обидно. Еще более бывает досадно, когда их плюсует переводчик. Для примера остановлюсь и скажу хотя бы несколько слов о переводе на русский язык поэмы Адарова «Двери» Алексеем Смольниковым...

«Одно из волнующих таинств искусства — перевод с языка на язык, и в особенности перевод стихов», — отмечал в «Вопросах литературы» поэт Константин Ваншенкин. И с этим нельзя не согласиться.

51

говорит нам следующее: «Я курю, я смотрю на родные дома», «Я курю. Я молчу. Я иду на крыльцо, как идет обреченный на свой эшафот»...

Мне думается, что такие «находки» не сочетаются с тем, что «переводчик поэзии — соперник оригинала». Пусть меня простят Смольников и Адаров, который очевидно, авторизировал перевод своей поэмы до выхода сборника стихов «Колдовское дерево», но, скажу прямо, что такое «соперничество» мне не по душе...

За последние годы Аржан Адаров много ездит по стране и за ее рубежи, и самое отрадное, — он не возвращается без новых стихов и поэм. И выходит так, что мой земляк пригласил меня и вас, своих многочисленных читателей, путешествовать вместе с ним. Вот мы и преодолеваем с ним горные перевалы, встречаемся с «творцами золотого руна», разговариваем с геологами, заходим к табунщикам и пьем прекрасный напиток — кумыс. Мы идем по тайге, где никогда не ступала человеческая нога, где ходят только ветры да звери и в белом тумане с яростным грохотом летят со скал водопады.

В горах Джайлау
 колыбель моя,
Поближе к тучам,
 что плывут высоко.
У края ледников
 родился я
Поближе к звездам,
 где летает сокол.

Адаров — сын колхозного чабана. Колыбель его детства — летние и зимние стоянки пастухов. Вот почему в его сборнике встречаются счастливо найденные строки о пастушеской работе. И видишь: стихи не случайны, написаны не со стороны и не с чужих, пусть ярких, слов. Поэт сам работал в колхозе, сам знает, каков труд чабана, как нелегко годами жить далеко от людей, в горах. Посмотрите, какие руки у одного из героев стихотворения. Это же не только его, но и мой, и ваш знакомый:

Они трудились много, верно, щедро,
Не зная лени, — эти две руки.
Их пальцы крепки, словно корни кедра,
И, как поля, ладони широки.

(Перевод И. Фонякова)

У каждого поэта есть свой любимый уголок на земном шаре и своя любимая тема. Для Адарова таким уголком и такой темой является его Горный Алтай, народ, живущий среди гор, на берегах бурных и пенистых рек. Для них он ищет нежные краски и яркие сравнения. Свидетельством тому и поэма «Тийин», герой которой наш современник, кавалер ордена Ленина, живущий и работающий в Ининском козоводческом совхозе Онгудайского аймака. Не каждый поэт возьмется писать поэму о реально живущем и рядом с ним работающем человеке. А у Адарова это получается зримо и поэтично и поэтому — он смело берется за такие актуальные темы.

Но как бы ни были дороги и близки горы и камни, травы и реки родного Алтая, поэт любопытен, его зовут неизвестные ему дали и страны, и вот он снова в пути.

Байаннор — это синие чаши озер
На ладонях оранжевых гор.
Байаннор — скакунов быстроногих полет
И широкий, как степь, разговор.

Эти стихи о братской Монголии, где поэт гостил и приобрел там много новых и настоящих друзей, где вел он «широкий, как степь, разговор». И вот мы слышим, как «под шелест песка запекает черноглазый хозяин степей».

Байаннор — ты любовь молодая, —
Он поет
Байаннор — нет на свете быстрее коней, —
говорит.

(Перевод А. Смольникова)

Вот мы с Аржаном Адаровым находимся в другой стране и бродим по улицам Стамбула, «под поблекшей рекламной луной». И вдруг встречаемся с человеком, «плохо выбритым, мятым и сутулым». А вокруг лопочет толпа «по-английски, турецки, французски». Человек тот спросил у поэта: «Вы — советский?» «Да!» — с гордостью ему отвечает лирический герой стихотворения. Это небольшое по своему объему произведение, мне думается, построено и оригинально, и неожиданно. «Как бы я тоску нарисовал, //если бы художником я стал?» — спрашивает поэт в начале стихотворения сам себя и устами незнакомца дает нам знать, что такое «тоска»?

...Снег теперь, наверное, в России —
Очень тихо сказал он мне.

А глаза его громко просили:
« Расскажи о моей стране! ..

Далее мы чувствуем, как размышляет автор над судьбой « русского иностранца » и в этом мы четко видим позицию автора:

...Пусть моя Отчизна далеко!
Под какой бы ни бывал я крышей,
Мне повсюду дышится легко,
Я везде ее дыханье слышу.
Завтра уезжаю я в Москву.
Здесь сегодня мой последний вечер.
Если рисовал бы я тоску
Я бы вспомнил вот об этой встрече...

(Перевод И. Фонякова)

Имя Аржана Адарова широко известно в Горном Алтае. Его книги стихов « Песни сердца », « Кочевники », « Колдовское дерево », сборники рассказов « Возвращение », « Ночные звезды », повесть « Цель » и другие говорят, что называется, сами за себя.

Высок наш Горный Алтай. Своими белоснежными вершинами он чуть ли не задевает солнце, но не этим славится; он знаменит делами людей, у которых « скучают без работы руки ». Вот они-то и есть верные друзья поэта, приближающие Алтай к солнцу грядущих дней. И поэтому-то, мне думается, что, приглашая к путешествию своего русского читателя по страницам своих книг, Аржан Адаров, как поэт и как потомок древних кочевников, который « до капли из своих вен выжал старую рабскую кровь », сегодня с достоинством говорит от имени своих земляков-алтайцев:

...К новой жизни мы шли,
крепко сидя в седле.
Сто веков прокатились,
и пришло наше время,
И не гости теперь
мы на этой земле.
Мы хозяева здесь,
мы кочевников племя...

(Перевод И. Фонякова)

1971 г.

*Здесь мой край. И совсем не чудо,
Что в рассветной плывущей мгле
Мне слышней бывает отсюда
Поступь Времени по земле.*

(Перевод И. Фонякова)

2

**СПЕШИТЕ
ДЕЛАТЬ
ДОБРЫЕ
ДЕЛА**

АЛТЫН-КЕЛЬ: ЧАС ДО БЕДЫ*

За последние десятилетия интенсивная деятельность людей привела к глобальным экологическим проблемам мирового масштаба, одной из которых на повестку дня современности жестко встал вопрос питьевой воды. В прошлом году на Байкале по инициативе писателя В. Распутина собралась инициативная международная группа писателей и общественных деятелей, которая возглавила «Байкальское движение», названное так по месту проведения конференции. Учредители движения заявили: «Пресные озера и все источники питьевых вод — это общее достояние народов мира; дело их рационального использования и охраны — общее дело всего человечества».

Поначалу в «Байкальское движение» вошли три озера: Байкал (РСФСР), Севан (Армения) и Бива (Япония). Нам же кажется, что список пресных озер, требующих защиты общественности, по праву должно продолжить и наше Телецкое озеро, экологическое состояние которого дошло до опасной грани.

Телецкое озеро на языке алтайцев, издревле охотившихся на его кедровых берегах, называется Алтын-Кель, то есть «Золотое озеро». Легенда объясняет суть названия тем, что один охотник в голодный год швырнул в воду самородок золота с конскую голову, отчаявшись обменять его на краюху хлеба. Но не о легендах и красотах Телецкого мы сейчас ведем речь, хотя и того и другого здесь предостаточно. Мы говорим об озере как об одном из основных источников питьевой воды для Западной Сибири.

В Алтын-Кель впадает около семидесяти горных рек и речушек, а вытекает только одна Бия, которая слива-

* Статья написана в соавторстве с писателем Евгением Гуциным.

ется с Катунью, берущей начало на ледниках Белухи, и эти две реки образуют великую Обь. Заметим, что половина обской воды при слиянии — телецкая, и уже один этот факт должен нас заставить задуматься о судьбе алтайского озера как о верхнем водоеме — накопителе всей нижней Оби.

Телецкое называют младшим братом Байкала. Говорят, Телецкое — Байкал в миниатюре. Озера действительно похожи. Бросается в глаза поразительная их родственность. На Телецком озере — берега байкальского типа, но они разделены всего несколькими километрами воды, а не десятками километров, как на Байкале. По размерам алтайское озеро меньше упомянутых трех озер. Его площадь составляет всего 230 квадратных километров, зато максимальная глубина — 325 метров!

Итак, Телецкое лежит в горах, заполнившее собой глубокое и узкое ущелье. Оно вытянулось при пятишестикилометровой ширине почти на восемьдесят километров. Яснее ясного, что при такой глубине и относительной узости зеркала, это озеро должно быть очень холодным. Летнее солнце не может его прогреть еще и оттого, что озеро окружено высокими горами, почти отвесно поднимающимися от воды. Здесь поздно появляется солнце и рано закатывается. В июле зачерпнешь телецкой воды, и то зубы ломит. А в остальное время года? Охлаждение всей толщи воды Телецкого озера ниже 4 градусов продолжается больше полугода, а нагревание свыше 4 градусов — значительно меньше. Поэтому по температурному режиму Телецкое приближается к озерам полярного типа.

Поскольку воды озера очень холодны, к тому же на большом протяжении прибрежные скалы обрываются сразу на значительную глубину, в озере мало растительности, а значит, и жизни. Водятся, правда, ценные рыбы: таймень, ленок, хариус, несколько видов сига. Но в принципе Телецкое рыбой не богато. Вот уже чего в нем много, так это самой воды. Более сорока кубических километров!.. По десять тонн на каждого жителя нашей планеты. И какой воды! Вода Телецкого поистине золотая — самого наивысшего качества, исключительно чистая, вкусная, мягкая, обогащенная кислородом, не требующая никакой дополнительной очистки и обработки. Черпай и пей живьем. Это одно из редких озер страны, где еще можно пить сырую воду. Получается, что Алтын-Кель

идеальный, созданный самой природой водоем высшего качества воды, обновляющийся раз в пять лет. Этот запас можно назвать стратегическим, не портящимся благодаря низким температурам и глубинным течениям. Это огромная ценность в наше время. Это национальное достояние, которое следует оберегать. Что нужно для того, чтобы и в будущем не иссяк телецкий запас пресной воды? Надо, чтобы озеро оставалось таким, каким создала его природа. Не больше. Но в этом-то как раз и вся трагедия.

Площадь бассейна озера превышает водную площадь самого озера в 90 раз. Телецкое, как мы уже сказали, исключительно богато впадающими в него реками и речками. А сами горы — исключительно кедровые, с вкраплениями осинника, пихтача, реже березника. Лучшие кедровники не только Горного Алтая, но и страны в целом — вокруг Телецкого озера.

Что дает человеку кедр? Попробуем перечислить хотя бы самые главные его достоинства. Диетологи считают, что по калорийности кедровые орехи превосходят мясо, яйца, сливки. Ядро кедрового ореха богаче жиром, чем грецкий орех или миндаль, не говоря уже о сое, подсолнечнике и других масленичных. Из кедрового ореха можно получать масло, близкое к прованскому. Кстати, кедровое масло можно использовать в консервной промышленности взамен покупаемого на валюту оливкового. Из этого же масла изготавливаются иммерсионные смеси, незаменимые при микроскопировании и космических исследованиях. Из кедровой живицы изготавливают оптический бальзам, которым склеивают линзы телескопов и других приборов. Великолепны лечебные свойства кедра. В ядрах содержится сложный комплекс витаминов, способствующих росту человеческого организма, укрепляющих нервную систему. А препарат из кедровой живицы способен быстро заживлять открытые раны. Именно кедровая живица, применяемая советскими медиками в годы Великой Отечественной войны, спасла тысячи и тысячи жизней раненых. Много добра и под пологом кедровых лесов. В первую очередь это соболь, другая пушнина и мясная дичь, грибы, ягоды, маралий корень, золотой корень, пантокрин из рогов марала, живущего в кедровниках, ценный дубитель-бадан, разнообразные медоносы, да мало ли еще чего!

А что значит кедр для самого озера? Оказывается, и для озера кедровые леса жизненно необходимы, по-

сколько кедр — главный накопитель и хранитель воды. Кедровники накапливают осадков в 3—4 раза больше, чем сосняки и лиственничники. По данным Красноярского института леса, три четверти общего стока рек на Алтае собирают и фильтруют именно кедровые леса. Как же относится человек к этим зеленым великанам приозерья? В Горном Алтае отношение к «хлебному дереву», коим считается кедр, было бережным. Плодоносящие кедровники вблизи деревень берегли всем миром. Рубить кедр считалось непростительным грехом. Именно благодаря высокой пищевой ценности кедрового ореха в 1921 году В.И. Ленин подписал специальное постановление Совета Труда и Оборона об организации сбора и переработки кедровых орехов. Создали «Кедропром», открыли три маслобойных завода. Один из них на Алтае. Успехи промысла в 1931 году Совет Народных Комиссаров закрепил новым постановлением о развитии кедро-ореховых хозяйств. Был организован «Союзкедр». Однако кедровые хозяйства просуществовали недолго. Приближались другие времена, печально памятные и в нашей истории, и в лесном деле.

Первые леспромхозы на Алтае угнездились в 1937 году. Видимо, появился избыток дармовой рабочей силы, ее надо было куда-то направлять, вот и стали плодиться в тайге леспромхозы. Именно в 1937 году зазвенели топоры в элитных кедровниках прителецкой тайги. Что же касается резко изменившегося отношения к кедру, то в этом не было ничего странного. Шло повальное репрессирование лучших людей общества, что уж говорить о деревьях. Началось варварское, ни с чем не сравнимое уничтожение кедровой тайги. Вырубки потянулись по берегам и поймам рек, по пологим и крутым склонам; рубили везде, где можно взять. Уже более пятидесяти лет трещит алтайский кедр под топорами и бензопилами леспромхозов. До сих пор этот процесс в нашей тайге остановить некому.

В начале шестидесятых годов засветила, правда, надежда. На Алтай приехали комсомолцы, энтузиасты лесного дела, решившиеся на уникальный для страны эксперимент по комплексному использованию богатств кедровой тайги. В газетах замелькало слово «Кедроград».

Краевое управление лесного хозяйства, для которого главным показателем была и остается заготовка древесины, мешало кедроградцам как могло. Еще бы! Лесозаготовители теряли огромный кусок кедровых угодий. Как это

возмущало В. Чивилихина, писателя и публициста, который принял идею кедроградцев всей душой и постоянно поддерживал их на страницах «Комсомольской правды» и «Литературной газеты». Враги Кедрогграда стали врагами Чивилихина.

Кончилась кедроградская эпопея тем, что управление во главе с В.Вашкевичем экономически задушило хозяйство комсомольцев. Рассказывают, что еще долгое время он, заканчивая какое-либо совещание, напутствовал лесорубов такой фразой: «И поменьше чивилихинщины!» То есть жалости к кедру.

«Кедр в Сибири... по-прежнему рубят в устрашающих размерах. Каждый год сплошь оголяется около пятидесяти тысяч гектаров кедровой тайги. И я не могу больше об этом писать: «чем больше пишешь, тем злее кедр хлещут», — горько признавался Владимир Алексеевич в 1979 году. Мы же, девять лет спустя, с той же горестью повторяем его слова. Кедр как уничтожали, так и уничтожают.

Кедра в стране вообще мало. На его долю приходится всего 2 процента лесных запасов страны. И на территории Горно-Алтайской автономной области его остались жалкие крохи. Но вместо того, чтобы использовать кедровники прижизненно, брать от них то, чего не возьмешь от других деревьев, ими затыкают дыры в порубочных планах. Кедр рубить выгодно, он очень кубатурист. Другого подхода к лесу наши леспромхозы не знают и знать не хотят. Для них кубометр — святая святых. И даже отдел Горно-Алтайского опытного лесокомбината, призванный заниматься охотой, сбором орехов и лекарственно-технического сырья, называется отделом «побочного лесопользования». Вот оно, отношение к тайге. Главное — свалить дерево, все остальное — побоку. И ведь речь идет о комбинате, отстроенном на месте погибшего Кедрогграда на берегу Телецкого озера.

Если объективно, то комбинат никакой не опытный. Он даже не лесокомбинат, а самый заурядный леспромхоз, поскольку только валит лес, и основная продукция, то есть лес — кругляк, сплавляется «модем» по реке Бии до Бийска, где в свое время соорудили гигантский лесозавод, способный «переваривать» до миллиона кубометров древесины в год. Ошибка в проектировании Молоха-миллионщика была вызвана переоценкой лесов региона. Виновников ошибки теперь не найдешь, но приговор

алтайской тайге, и в частности прителецкой, был вынесен именно тогда.

Уже несколько лет как Горно-Алтайский опытный лесокombинат, уничтоживший две трети прителецкой кедровой тайги, зашел в тупик. Все уголья с более или менее пологими склонами выбиты, на их месте — изъязвленные овраги, размытые грязекаменными потоками. По идее, надо сокращать, перепрофилировать или вовсе сворачивать производство. Но управление лесного хозяйства на это не идет, а нацеливает рубить больше лиственных пород, которые раньше, при кубатуристом кедре, и в упор-то не видели. Министерство лесного хозяйства РСФСР никак не хочет снижать планы рубки кедра на Алтае. Оно и понятно: кубатура — это живые деньги, за счет которых содержатся и штаты министерства и управлений на местах.

Лакомым, но запретным куском для лесорубов долгие годы была Пыжинская орехопромысловая зона, находящаяся под защитой Совмина РСФСР. И именно туда, в золотую Пыжинскую тайгу хотелось влезть лесокombинату с бензопилами и тракторами-трелевщиками. И способ они нашли. Вот что об этом рассказывает в журнале «Сибирские огни» № 6 1987 г. бывший кедроградец, навсегда связавший свою жизнь с Телецким озером, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Биологического института СО АН СССР Г. Собанский: «Тогда на помощь, как это у нас нередко бывает, когда надо найти обоснования для бесцеремонного вторжения в природу, была призвана наука... Научный сотрудник Новосибирского отдела леса Красноярского института леса и древесины СО АН СССР (тогда еще кандидат сельскохозяйств) В. Воробьев, к тому времени уже более десятка лет изучавший на средства краевого управления плодоношение кедра, быстро переориентировался и начал, опять же на деньги лесозаготовителей, искать возможности рубок в сверхпромысловой зоне... Все «биологические основы ведения лесного хозяйства в орехопромысловой зоне» В. Воробьев благополучно свел к вырубке кедровников, то есть сделал именно то, что от него ждали лесозаготовители».

И началось «пиршество» лесорубов в лучшем кедраче страны. Общественность края забеспокоилась. В газетах и журналах появились статьи в защиту алтайского кедра. Горно-Алтайский облисполком принял постановление

«О состоянии и мерах по дальнейшему развитию лесного хозяйства области», где защищает уже напрочь вырубленные некогда водоохранные кедровые массивы и реки, несущие теперь в Телецкое озеро ил и порубочные остатки с лесосек. Один из пунктов запретил Горно-Алтайскому опытному лесокомбинату и рубки ухода за плодоношением в орехопромысловой зоне. Ну, допустим, уйдут лесорубы из Пыжинской тайги, хотя за этим властям не мешало бы проследить. А куда они уйдут? И вот тут озадачивает пятый пункт постановления, где сказано: «Начиная с 1988 года во всех предприятиях перейти на несплошные рубки в кедровых и лиственничных лесах и более полное освоение лиственных пород, не снижая общего объема лесозаготовок и выпуска продукции».

Как говорят, хоть сову о пенек, хоть пеньком по сове, а все одно — сове не жить. То же самое для прителецкого кедра сплошные и несплошные рубки. Почва на горных склонах очень ранима. Трелевщики нарушают корни растущих деревьев, и их много потом вываливается. Вокруг любой несплошной рубки — кольцо засыхающих кедров. А восстанавливается это дерево очень непросто. И еще напрашивается вопрос: как работать леспромхозам, не снижая общего объема лесозаготовок? Какими методами? Может, как недавно в одном из леспромхозов, тянуть на сопки стальные тросы и спускать по ним хлысты, чтобы те перепахивали склоны? Или на лесосеках выбривать все подчистую? Постановление облисполкома явно половинчатое, признающее законным истребление кедра, несмотря на его малочисленность. Знаменательный факт. В конце ноября прошлого года по краевому телевидению шла передача «Судьба алтайского кедра», и с экрана главный лесничий краевого управления лесного хозяйства Я. Ишутин заявил, что кедр будет вырубаться и впредь. И сослался на кого бы вы думали? На М. С. Горбачева, который по его словам, в одном из выступлений говорил о дефиците древесины. И вот они, алтайские лесорубы, готовы восполнить недостающую древесину кедром. Так и слышалось в конце выступления главного лесничего края знакомое: «И поменьше чивилихинщины!» Перестроились, называется.

Но нет, не вывелись еще мудрые люди в Сибири. На южной границе ареала кедра сибирского в Омской области все насаждения включены в состав орехопромысловой зоны, и в них лесозаготовки не ведутся.

В Новосибирской области с 1971 года полностью прекращена рубка кедра. Взял кедр под свою полную защиту Кемеровский облисполком. Красноярские ученые отстояли хакасские кедрачи. Читинцы берегут чикойские массивы. И только для алтайского кедра 37 год еще не кончился.

Телецкое озеро гибнет в полном смысле этого слова. Дорубаются водоохранные леса по его угодьям, озеро мелеет, загрязняется наносами с лесосек. Погибнет прителецкий кедр, погибнет и озеро. Нет надежды, что Министерство лесного хозяйства РСФСР и краевое управление лесного хозяйства перестроятся, изменят отношение к алтайскому кедру. Значит, нужны усилия общественности края в защиту кедра. Это наш общечеловеческий, гражданский долг перед родной землей.

1988 г.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Розовые, красные, белые, синие, бархатисто-голубые — какие тут замечательные цветы! Это можно увидеть только в мечте и волшебном сне поэта... Цветы, цветы, куда ни взгляни, всюду живые и удивленные. Они радуют глаза и душу. Рядом, почти под твоими ногами, чистая и журчащая гладь воды — лазурное зеркало древнего Алтая — Алтын-Кель. Мягко переливаются его очарованные бездонностью неба волны. Иногда они мне кажутся снежными барсами, вышедшими на волю и под лучами тихого осеннего солнца играющими на поляне, барахтаясь друг с другом.

Теплынь. Ясно. Не оттого ли алтайское небо так высоко, безукоризненно чисто. Разве что на миг загорая живая солнце и бросая на большое лицо земли и на твое лицо легкую тень, проплывет лишь могучий беркут — подоблачный хозяин задумавшихся гор.

Вдалеке дымчатые горы-великаны. Они, словно вечные стражи алтайской эрдине-жемчужины и благоухающей осенней тишины. Нет, они, скорее, тени древних богатырей — Алтай-Бучая, Алып-Манаша, Маадай-Кара и других. Они встали в многовековой караул красоты и земного покоя.

Протяни руки, и кончиком пальца сейчас же заденешь лепестки какого-нибудь цветка. Каждый из них вырос из-

под теплой ладони человека. Прикоснулась рука человека-труженика и ожила, проснулась земля. И не только земля — камни ее, мхи, даже старые пни. Ожили и молча рассказывают были о доброте человека.

В саду Лилии Юрьевны Жебровской проникаешься высокой музыкой. Он стоит над каменистой бухтой Телецкого озера.

С хозяйкой этого поистине волшебного сада мы сидим на летней веранде, что каким-то чудесным образом висит на прибрежной скале прямо над озерными волнами. Веранда эта, конечно, появилась не без выдумки человека-художника. Построил ее Михаил Дмитриевич Холод — генерал в отставке, вот уже несколько лет живущий тут, среди тишины и первозданного покоя. Сожалею, что к моему прибытию на Телецкое генерала дома не оказалось. Он уехал отдыхать и подлечиться на курорт в Крым. А у меня была мысль, попытаться писать очерк о ветеране войны, с которым познакомился в прошлом году во время совместной поездки по Турачакскому району.

Хотя хозяина нет, но мне показалось, что он как-то незаметно присутствует рядом, ибо всюду видны дела его рук.

— Веранду эту построил он, — говорит Лилия Юрьевна, — один носил бревна, тес и вот эти большие чурки.

Я так же узнал, что генерал не любит для дров валить деревья. Вместо этого им используется «плавник», что ежедневно подкатывают волны Телецкого озера. Достаточно его, так сказать, «выудить» и высушить прямо на берегу.

Труд Михаила Дмитриевича и Лилии Юрьевны, безусловно, не легкий и не праздный. Он граничит с человеческим вдохновением и красотой. Я не зря сказал, что тут цветут не только земля, но и камни, которые к тому же умеют и петь. Посмотрите на эти голубые плиты, что звенят под вашими ногами, когда вы идете по аллеям сада. Их много, несколько тонн. Добыл их Михаил Дмитриевич со дна озера и умело, с художественным вкусом, разложил по аллеям, собрал просто кругами среди цветов и растений, там и тут воткнул их в землю, еще больше украсив интерьер сада. Я слышал, что примерно, такие же сады есть в Японии, и что японцы очень гордятся.

Камни поют не только здесь. Они еще звонче и прекраснее звучат в Чире, на другом конце Телецкого

озера, там, где вот уже пятьдесят лет цветет и плодоносит сказочный сад Николая Павловича и Доры Захаровны Смирновых. Но о них разговор особый...

Не скрою, мне бы хотелось, чтобы обратили внимание мои земляки-алтайцы, живущие в Челушманской долине на эти мои заметки и слышали песни яблонь и голубых камней, воспевающих славу человеческому труду и мудрости его рук.

Итак, мы говорим с Лилией Юрьевной Жебровской. Эта пожилая женщина много видела на своем веку. Очень интересно ее слушать. У ней ясный и открытый лоб, чуть печальные глаза. Мне показалось, что они, как бы опережают слова ее и рассказывают и таят, и в то же время выражают многое. Они живые, глубокие и мудро заинтересованные.

В ее саду невольно привлекает внимание одна из клумб. Семена цветов были заложены внутрь буреломного пня. И вот выросли они, словно из живого волшебного дерева. Смотрят удивленно, как только что, в это самое росное утро, появились. Чтобы на миг взглянуть на пробуждающийся голубой мир, на лучи солнца, медленно встающего из-за зеленых гор и впадин. А потом, насмотревшись на новизну мира, опять исчезнуть для того, чтобы наутро снова восхищенно раскрыть глаза и любоваться всей большой природой и человеком на земле.

— Это «Лилия Тибетская», — говорит Лилия Юрьевна, — с белыми форматными цветами, а между ними выглядят «Анютины глазки» — темно-голубые, темно-фиолетовые и тут же красавица-ромашка.

Они тихо качаются на своих тонких «ножках» и так же тихо лепечут на своем цветочном языке, как бы узнав хозяйку и радуясь ее появлению. Тут я замечаю и убеждаюсь, что глаза Лилии Юрьевны очень уж похожи именно на анютины глазки...

Теперь небольшое деловое отступление, поясняющее историю цветов и сада в Яйлю. Ведь без истории ничего не бывает.

История же эта, как известно, связана с именем Дмитрия Степановича Рачкина и уходит в тридцатые годы. Именно тогда, впервые здесь на возвышенности его руками посажены были около ста саженцев, будущего фруктового сада. Усилом Дмитрия Степановича вспахана была и первая борозда и первые капли его соленого пота оросили эту каменистую, непослушную землю. Он был настоящим инициатором-мичуринцем. Подвиг человека,

заложившего прекрасный сад среди диких алтайских гор, доныне не забыт и не забудется, ибо такие же оазисы цветут и благоухают на плоскогории Беле, миниатюрном полуострове Чири.

— Нельзя скрыть, — говорит Лилия Юрьевна, бывший селекционер Яйлунского сада, — мы стоим на грани гибели фруктовых насаждений, что на территории нынешнего заповедника. Заповедник, конечно, дело благородное, но сад...

— Но сад не радость, а тягость нашему заповеднику, — объяснил мне другой житель поселка Яйлю, коммунист-пенсионер Николай Иосифович Шутков, который долгое время работал лесником, потому хорошо знает не только всю многотрудную историю здешнего сада, но и всей Прителецкой тайги и каждого человека, обосновавшего свою жизнь в ней. Прямо скажем, что начальство заповедника много «мудрило», а теперь пришло к такой хитрости, — сад этот в их бумагах, что отправляются в вышестоящие органы, числится, как лесные, дикорастущие культуры, поэтому им дозволяется списывать его, т.е. тихо, незаметно, с каждым годом понемногу. Ведь им невыгодно указывать, что фруктовые культуры ежегодно плодоносят. Тогда бы им не разрешили списывание...

— Интересно, почему руководство заповедника так поступает? ..

— Считают обременительным — вот и весь секрет, — сказал старый коммунист, — надо выполнять план, ставить дело на научную основу, как это полагается по закону садоводства.

— А было как?

— К моменту организации заповедника тут располагался леспромхоз. Директором его работал в то время Константин Иванович Рослик. О нем вспоминают, как о большом любителе и энтузиасте садоводства. Тогда и планировалось заложить по всему побережью Телецкого озера 500 гектаров плодоносящего сада. Эта благая идея в то время поддерживалась всеми. Тогда приехала сюда, в Яйлю, из Барнаула Лилия Юрьевна Жебровская, чтобы стать агрономом-селекционером садов Прителецкой тайги.

— Тут была соковыжималка, — говорит Лилия Юрьевна, — теперь она так и лежит заброшенная...

— Да, — подтвердил это и Николай Иосифович Шутков, при этом добавив и такую, на мой взгляд, немаловажную деталь: — Тогда фрукты обрабатывались тут же, на месте, и отправлялись на Турачакский винзавод.

Хорошо помню, что в 1967 году наш сад дал 118 тонн различных фруктов и получил прибыль где-то в пределах 18 тыс. рублей. Скажите, разве это дело не нужное для района и области?

Судьба садов ныне находится под угрозой гибели. Судите сами, из 127 гектаров сегодня осталось не более сорока, да и те плохо обрабатываются, нет обновления, нет, подсадки и т.д.

— Саду нужен уход, как растущему ребенку,— подтверждает и Лилия Юрьевна,— ведь живой организм, так же, как человек, и дышит, и радуется, когда за ним следишь.

После этих встреч и разговоров я понял ту несказанную печаль, которая спряталась в глазах Лилии Юрьевны.

— Сюда приезжают люди с «чемоданным» настроением,— высказывает наконец причину своей боли Лилия Юрьевна,— им, говоря честно, не нужны богатства тайги, ни сад, ни красота. Большая текучесть руководящих кадров — вот где корень всех неурядиц...

Да, это так. Но мне, все-таки непонятно, хотя кадры заповедника не подчиняются местным властям, но ведь есть же партийные органы, где состоят на учете его работники. Почему бы, например, Турачакскому райкому не поинтересоваться судьбами садов, находящихся на территории района?..

А теперь после делового отступления, давайте снова вернемся к началу очерка, к человеку, творящему красоту,— к Лилии Юрьевне Жебровской. Она — поэт труда и земли. Поэт — всего прекрасного под голубым небом Прителецкой тайги.

— Мы к красоте не равнодушны,— тихо говорит она. И в этих словах, в интонации ее нет никакой ни позы, ни гордыни. Так она привыкла с детства — творить красоту и жить ею.

Потом я заметил, что во всем их хозяйстве, кроме цветов и деревьев, ничего другого нет. Даже кошки.

— У нас три богатства,— продолжает Лилия Юрьевна,— Цветы, деревья и ... книги.

У них действительно большая библиотека, очень много редких книг по садоводству, военной науке да и немало художественной литературы.

— Любовь к цветам, отсюда к садоводству ко мне перешла от матери,— продолжает Лилия Юрьевна.— Мы

до войны жили в селе Белокуриха Алтайского края. Любили выращивать цветы...

Выяснилось, что по деду и матери она латышка. Приехали на Алтай давно, еще до революции. Ее дед Федор Эрнстович всю жизнь работал кузнецом. Хорошо знал свое дело, был в почете среди рабочего люда. Потому что был опять же поэтом. Поэтом железа, мастером кузнечного цеха. Соседи его почему-то звали Федором Горнастаевичем, а не Эрнстовичем. Жил он долго, трудился много и в памяти людей остался Федором Горнастаевичем.

Мать Лилии Юрьевны — Мильда Федоровна жива и здорова. Живет с дочерью. Я ее, глубокую старушку, видел не раз, как она ходит среди бесчисленных цветов и деревьев, то подрезая что-то, то подправляя подставки под помидорами. Видать, без дела не может сидеть, привыкла трудиться, общаться с красотой.

— Красота, — утверждает Мильда Федоровна, — сотворенная вдохновением человека, не может исчезнуть бесследно и тем более погибнуть от его же руки.

В этих словах, мне думается, есть большой смысл, относящийся к судьбе Яйлунского сада.

Мы с Лилией Юрьевной идем по ее усадьбе. Она рассказывает мне о себе и каждом цветке и дереве. В начале сороковых годов Лиля поступила в Омский сельскохозяйственный институт. Закончив его, приехала в Горно-Алтайск и стала работать в школе садоводов, которая в то время была при нынешнем зооветеринарном техникуме. Затем, когда эту школу перевели в Барнаул, стала селекционером по выведению новых сортов в Горно-Алтайской плодово-ягодной станции. Работала вместе с академиком М.А. Лисовенко.

— В общем, вся моя жизнь отдана саду и цветоводству... А тут, в Яйлу, лучше всего растут многолетние цветы. Например, ирисы, люпины. Приглядитесь к ним, — раскинула она руки, застенчиво улыбаясь.

Отовсюду на меня смотрели цветы, — розовые, синие, красные. Любо смотреть, радостно и легко дышать. Приятно смотреть и на Лилию Юрьевну, когда она улыбается и счастлива своим трудом. В этот момент с ее лица исчезают тени усталости и печали...

Осень — какое удивительное время у нас, в горах. И особенно она прекрасна цветочным половодьем. Куда ни взгляни, всюду цветы, и все одинаково прекрасны.

— Нет, — мягко возразила Лилия Юрьевна, — у каж-

дого из них свой характер. Для примера возьмите хотя бы эту герань. В простонародье ее зовут «Цветком рабочих окраин». Особенно интересен сорт «Метеор». Его надо поливать почти горячей водой. А как он цветет! .. Иногда до 20—30 бутонов дает.

Интересна ее «лекция» про цветы. Опыт жизни и уроки ее поучительны. Кстати, в связи с «Цветком рабочих окраин» Лилия Юрьевна вспоминает о том, как садоводство и вообще все прекрасное, окружающее нас, помогает людям жить, становится чище, освобождаться от дурных привычек. Когда она работала на барнаульской опытной станции по садоводству, в свободные часы приходила на помощь труженикам завода, чтобы научить их ухаживать за своими садами, делать вовремя прививки, подрезки, подкормку. По ее мнению, особенно людям больших промышленных предприятий очень нужны сады. В свое время она брала шефство, например, над садами рабочих барнаульского завода «Трансмаш» и сама стала свидетельницей, как люди влюбляются в цветы.

— Поверьте мне, — утверждает Лилия Юрьевна, — на моих глазах многие рабочие стали смотреть на жизнь по-другому, ценить красоту научились. Большинство тех, кто увлекся садоводством навсегда бросили пить. Дело ясное — после трудного рабочего дня человек тянется к свежему воздуху, тишине и природному раю. А там надо работать, покопаться — некогда, как говорится, заглянуть в рюмку.

Штрих за штрихом мне довелось узнать много интересного из жизни простой и скромной женщины. Наша жизнь и наши дни замечательны наличием именно вот такой нежной и ко всему участливой души людей.

— В Яйлю любят цветы, — с какой-то тайной гордостью сказала она, — много у нас цветочных садов. Вы сходите и посмотрите цветы у Альчи и Аксиньи Туймешевых...

Когда я пришел к Туймешевым, там, возле их домика, толпились и пестрели многообразные цветы. Среди цветов и зелени сидел сам Альчи Туймешев, шестидесяти с лишним лет старик. Он и его жена Аксинья Николаевна, когда я заговорил о цветах, почти в один голос сказали о том, что сажать цветы и ухаживать за ними их семью научила Лилия Юрьевна Жебровская.

— Она организует выставки цветов, — добавила ко всему Аксинья Николаевна. — Например, в прошлом году выставка была в Иогаче, при тамошней школе. И наши

дети со своими цветами заняли первые места. Не оплошали. Спасибо Лилии Юрьевне...

— Она Турачакскую школу обеспечивает семенами и корешками цветов,— сказали мне в Яйлунской почте,— все это она дает детям бесплатно, а мы со своей стороны ее посылки принимаем тоже бесплатно...

Эти признания, как мне кажется, лучше всего характеризуют людей, плененных красотой. У них единый порыв — сделать жизнь интересной, воспитать людей доброй и высокой души.

Цветы Лилии Юрьевны украшают приусадебные участки начальника Телецкой озерной станции Валентина Васильевича Селегея, пенсионерки Зои Владимировны Гладковой и многих других...

Как прекрасна земля, которой коснулась рука человека! Вот посмотрите хотя бы и на эти два вида дуба — монгольского и летнего, со сбрасывающими листьями. А кроны их какие могучие, шумят и качаются под куполом притецкого неба. Дальше — клен приречный, бархат амурский, орех маньчжурский,— все для жизни и радости.

— Уделите внимание вот этой красавице,— приостанавливается Лилия Юрьевна возле единственной в ее саду голубой ели,— ей нынче будет четырнадцать лет. Одинокaя сестра кремлевских голубых елей, как видите, хорошо приютилась на скалистом берегу Алтын-Келя. Я ее привезла из Барнаульского питомника. Надо бы рядом с ней посадить еще одну, чтобы она не скучала... Да, понимаю,— вдруг вырвалось у ней,— надо спешить...

Спешить — куда?.. И тут-то мне вспомнились строчки стихотворения известного русского поэта Александра Яшина о том, что не надо откладывать на завтра то, что можно выполнить, успеть сделать сегодня. Конечно, стихотворение это не только об этом, оно многопланово, говорится в нем о многих жизненных сложностях. Но все же, все же... Помните, как поэт «мечтал о многом, много обещал... в блокаде ленинградской старика от смерти б спас, да на день опоздал, и дня того не возвратят века... Спешите делать добрые дела...»

Путешествуя по Телецкому озеру, мне приходилось встречаться со многими замечательными людьми, которые обживают дикую тайгу. От прикосновения их животворных рук преобразилась земля и на ней сам человек. Один из таких самоотверженных людей, конечно, Лилия

Юрьевна Жебровская — женщина души высокого и поистине поэтического свечения.

Оттуда, скажу честно, привез я в душе не только радость общения с добрыми людьми, но и печаль, особенно о судьбе садов притецкого плато. Им надо помочь, и это не надо откладывать надолго.

Спешите, люди, делать добрые дела!..

1976 г.

ЕДИНСТВЕННОЕ ДЕРЕВО КОШ-АГАЧА

(Заметка)

Каждый раз, когда мне удастся быть в далеком и суровом Кош-Агаче, непременно почему-то душа тянет меня к единственному дереву этой полупустынной земли. Оно возвышается на востоке районного центра — мужественное, коренастое и одинокое. В час, когда из-за гольцов поднимается чудо-солнце, мне кажется, что оно поднимается над землей ради этого деревца-лиственницы, чтобы утренними лучами обласкать его.

Одинокое дерево в степном царстве... Оно позвало меня к себе и на этот раз, когда совсем недавно я был на земле пронзительных ветров и мужественных людей...

... Подхожу как к живой сказке среди серых песков и взвихренной пыли и тихо шепчу: «Здравствуйте, дерево Кош-Агача!».

Молчит, однако, дерево, выглядит плачевно-уныло, уронив свою желтую хвою на белесый песок.

Обхожу кругом, снова осматриваю, изучая взглядом, это чудо-дерево, с годами что-то в нем сильно изменилось, но сразу угадать и определить это не могу. Мощные его корни по-прежнему цепко держатся за родимую землю. Но многие из них, замечаю, торчат над землей. Видать, некому ухаживать за единственным деревом, некому накрыть землею голые его корни. Узловатые сучья тоже поределели. Дерево само заметно наклонилось к земле. Недалек, наверное, тот день, когда рухнет оно на землю, потому что во всем Кош-Агаче, похоже, ничьими руками никогда не обласкано.

И вдруг с ужасом вижу, что на его скрюченных, но сильных сучьях висят какие-то ржавые проволоки-петли. А неподалеку — валяется дохлая собака. Сразу стало

понятно: единственное дерево, которое выросло каким-то чудом и наперекор суровостям природы выдержало бой с временем, ветрами и лютой стужей, сегодня стало виселицей для никому не нужных кошек и собак. Больно! Разве сами вы слепые, дорогие люди Кош-Агача! И это в то время, когда идет всеобщая борьба за богатство и чистоту окружающей нас природы, за красоту человеческой души и сердца.

Стою у дерева и невольно вспоминаю стихотворение своего друга Георгия Кондакова, который как-то писал:

... Только здесь нужен лес
до зарезу,
Нету леса вокруг...
А вот,
Будто выковано из железа,
Меднокорое чудо растет.

Растет ли?.. Нет, скажем прямо, гибнет единственное дерево степного Кош-Агача!

Считают, что там, где сможет вырасти одно дерево, рядом может встать и другое. Но мне думается, что рядом с этим уникальным памятником природы, пожалуй, никто не попытался вырастить другого дерева, не говоря уж о каких-то там сказочных комсомольских и пионерских аллеях-садах.

Дерево Кош-Агача... Кто должен за ним присматривать и ухаживать? Мне думается, что это прямая обязанность местных комсомольских и пионерских организаций, школ и интерната. Разве детям, молодежи трудно сделать ограду или глиняный дувал вокруг этого дерева? Ведь оно действительно единственное во всем районном центре и действительно чудо и сказка!

Когда я о сегодняшнем состоянии дерева говорил в стенах районного управления культуры, то мне тут же дружно ответили в том смысле, что, мол, собак и кошек там вешают, конечно, не взрослые, а дети-озорники. А где, спрашивается, их, «детей-озорников», родители, учителя и просто взрослые люди? Куда они смотрят?.. Почему смирились?

Подумайте, дорогие кош-агачинцы, о судьбе своего единственного дерева. А мне хочется присоединить свой голос к поэту, который стихотворение заканчивает следующими строками:

Где берут лишь ветра
разбег,

Все же выросло сильное
деревце.
И его посадил человек.

1979 г.

ХРАНИТЕЛИ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

Медленно отчалив от берега тихого голубого озера, чуть покачиваясь, уходит белый теплоход. На берегу остаются четверо: старый кедр, два старых человека и старый пес. Двое медленно машут руками, глядя вслед теплоходу. И старый кедр, которому суждено целый век стоять на этом тихом берегу, тоже молча машет с каменных круч своими мохнатыми и вечнозелеными ветками, печалится и скрипит.

Уходит, удаляется белый теплоход, увозит в далекий, шумный и большой город Любу — дочь тех старых людей и милых внушек — Юлю и Жанну, которые все долгое лето жили тут, на безлюдном и очень уютном полуострове, радуя деда и добрую бабушку. И я уезжаю на этом же сказочно-белом теплоходе.

Над головой высокое рыжее солнце осени, а кругом тихие всплески бесконечно голубого озера. Смотрю на тот берег, где остались два старых человека, пес по кличке Дик и могучий кедр. Я тоже машу им рукой вместе с Любой и девочками Юлей и Жанной. Мы прощаемся... На память приходят стихи любимого Назыма Хикмета. Глядя на отдаляющийся берег, на взмах рук, шепчу печальные строчки великого поэта: «Стоим над водой — солнце, кошка, чинара, я и наша судьба. Вода прохладная, чинара высокая, я стихи сочиняю, кошка дремлет, солнце греет. Слава богу, живем! Блеск воды бьет нам в лица — солнцу, кошке, чинаре, мне и нашей судьбе...»

В дали, на мысу, остаются Николай Павлович и Дора Захаровна Смирновы, старый кедр и Дик. У бортов журчат светлые всплески, а над головой — большой диск осеннего солнца. Теплоход уходит и дети уезжают, а берег остается. Этот берег и эти люди надолго остаются тут, до следующего лета, до будущей встречи. Для них это всегда так: весна и лето, когда растают голубые снега гор и ущелий, когда раскроются голубые льды Телецкого озера — время прилета птиц, время долго-

жданных и радостных встреч. Только за последние годы, с появлением многочисленных туристов в этом, казалось бы, отдаленном краю, птиц всё же меньше стало. А осень — отлет тех, вечно приверженных алтайским горам, количественно редееющих птиц, расставание с детьми и многочисленными гостями... А потом долгая и глухая зима. Одиночество старых людей, любимого пса, старого кедра, в вечном карауле стоящего все на том же высоком берегу.

Иногда кажется, что человеческий мозг, каждая его клетка с годами медленно и тихо крошатся, как тонкие и твердые пластины камней и прибрежных вечных скал. Жизнь иной раз кажется долгой и вечной. Все помнить и удерживать в памяти трудно.

И вот опять наступила новая осень, пятьдесят первая осень Николая Павловича Смирнова на берегу Телецкого озера и среди этих величавых гор. Еще совсем молодым человеком в 1927 году прибыл он сюда, в Прителецкую тайгу. А точнее, на дикий берег бурливой, как снежный барс, никому не известной речки Чири. Тогда, понятно, никто не величал его Николаем Павловичем, был он просто приезжим русским парнем, просто Колей-Николаем. В то время на этом месте одиноко и печально, как в сказке, дымилась конусообразная юрта многодетного алтайца Чулмуса Казандыкова, недавно крещенного и после этого ставшего Захаром Матвеевичем Жарковым.

Смирнов в те годы был костистым, высоким и очень худым. Руки длинные, почти до колен. Голубовато-серые, очень умные глаза. Их взгляд, конечно, не мог пройти мимо младшей дочери Захара Жаркова — Доры, юркой и любопытной, со смущенно искрящимися, диковатыми глазами.

Русскому парню, прибывшему из глубин России, было тут все ново, непривычно и интересно: и люди, обитающие тут, их обычаи и нравы, и окружающая природа — горы и озера, охота на зверей, и отношения охотников между собой. Он прибыл зимой, и тут же, через два-три дня с местными охотниками ушел в горы. Завоевать доверие людей Прителецкой тайги и, как говорится, прижиться рядом с ними, скажем прямо, не так-то уж было просто. Хотя охотники-алтайцы были простыми и доверчивыми к нему, но он к ним почему-то относился настороженно и все ждал с их стороны каких-то подвохов. Теперь Николай Павлович сам вспоминает и смеется, как однажды опозорился перед новыми

знакомыми. Встав утром, после общего завтрака, перед тем, как идти снова в горы, он начал тщательно собирать свои вещи и, добытые на вчерашней охоте шкурки белок. Заметив это, алтайцы удивились:

— Ты что, не хочешь больше охотиться?

— Нет, почему же, буду охотиться,— ответил им Николай.

— А почему тогда собираешь свои пожитки и добычу..?

— Может быть, без нас придут посторонние и могут взять шкурки...

Посмеялись тогда над ним охотники. Аж неловко стало ему.

— Однако, друг,— сказали Смирнову,— ты плохой таежник и плохой человек.

— Почему? — в свою очередь удивился новичок.

— А потому,— сказали они дружно,— если в наш привал даже придут посторонние, они не будут трогать чужое добро. Да и посторонних-то тут не найдется. Горы свои, звери свои и люди свои, все знакомые. Коль кто придет, то самое большое, на что он может решиться, так это сварить еду, покушать и отдохнуть. Огонь и пищу мы таким самим оставляем. У нас такой обычай, брат...

Смирнов постепенно понял и полюбил их доброе отношение ко всему окружающему.

На следующее лето он женился на дочери Захара Жаркова. С тех далеких пор они живут тут. За это время у Доры Захаровны и Николая Павловича родилось всего семнадцать детей. Двенадцать из них живы и здоровы. Все они — в разных городах и селах нашей необъятной страны.

Сейчас они проводили, быть может, последних гостей нынешнего лета. Их старшая дочь Любовь Николаевна — работница новосибирского аэропорта, закончившая Иркутский университет, сегодня, после месячного отдыха на берегу Телецкого озера, уезжает домой. Торопится на работу. А с нею вместе дочь ее — Юля со своей сестренкой Жанной, родители которой живут и работают в городе Барнауле.

Год медленно чертит свои круги. Настанет весна. Опять оживут прителецкие горы и краса озера. Горы и небо будут звенеть от гортанных песен алтайских кукушек. Прибудут туристы — веселые и непоседливые гости здешних гор. По озеру опять поплывут белые теплоходы. Они после долгой и глубокой зимы привезут

Смирновым первых гостей и радостные вести со всех городов и сел.

Нет, наверное, труднее искусства в мире, чем воспитать детей и сделать их настоящими людьми. Ведь всегда с большим волнением и трепетом ожидают родители, когда их младенец сделает первые шаги, скажет первое слово. Глядишь, пройдут как-то быстро годы. Покинет их дитя родной очаг. Хорошо, если не забудет те дорогие для сердца и души слова: отец и мать. Чего греха таить, бывает и так, дети сердятся, дети забывают своих родителей, свой дом и пламя теплого очага.

Николай Павлович и Дора Захаровна не только отец и мать десятирех дочерей и двух сыновей. Они так же вырастили на этом диком и не вполне обжитом берегу суровой сибирской тайги замечательный сад, плоды которого не уступят знаменитым южным сортам. Имена и добрые дела этих испытателей, садоводов-мичуринцев алтайской глухомани ныне широко известны за пределами нашего края. Их вечная любовь—дети и деревья, праздник души и сердца. Но только деревья никуда не убегут, пока ты их не тронешь с места и сам их не посадишь где-нибудь на другом участке, у другого дома. А дети—улетают, убегают... Жалко отпускать их от себя. Где бы они ни находились, в душе остаются живою болью и светлой печалью. Да, дети и деревья—между ними для Смирновых есть какая-то нерасторжимая связь, любовь и постоянно утихающая тоска.

Год 1929. Дора подарила Николаю сына-первенца—маленького Пашку. В то время Смирнов страдал головной болью. Рождение первого сына для него было не только большой радостью, но и почти заново открытым миром, светлым, доселе невиданным. Ему так хотелось тогда жить, дышать хрустальным воздухом гор, слушать тишину, творить доброе и удивительное для людей. Сын!.. Ему тогда показалось, что это — дар природы и исцеление душевных недугов.

Первенца приняла мать Доры, удивительно добрая и ласковая старушка Надежда Егоровна. А всех остальных детей, после смерти тещи, принимал он сам, живя и работая метеорологом. Ведь он до сих пор, в течение десятилетий записывает в своем дневнике погоду, температуру воды и озера, направление и силу ветра.

Через два года, в 1931 году, в их семье появился второй сын—Владимир, который сейчас работает капитаном турбазовского теплохода «Бриз». А первенцу—Паше не суждено было долго жить...

Память, как и сам человек, устает с годами и стареет. Но Николай Павлович все, что касается его детей, помнит отлично, каким был и как рос каждый из них. Он так же с мельчайшей подробностью расскажет вам судьбу каждого деревца, растущего в своем уникальнейшем саду.

Люба родилась в 1933 году. Время было суровое, и голод узнали, и нужду. Трудиться приходилось день и ночь.

Когда родилась первая дочь, Смирнов сел на деревянную лодочку и пустился вниз по Телецкому озеру. После долгого и изнурительного пути, кажется, из села Кебезень привез маленькой дочери и жене подарки — по две пары чулок и гребенки. И их в то время достать было трудно. За них он отдал беличьи шкурки...

Плоды многолетнего опыта и труда — саженцы из его сада сегодня шагают, распространяются буквально по всему Алтаю и за его пределами. Например, сад, что на прителецком плато Беле, берет свое начало от смирновских саженцев. Посмотрите на сад пенсионера Сугунушева — алтайца, который живет у истоков Телецкого озера, в селе Балыкча. А как можно пройти мимо сада, в местечке Кайру, который носит имя первых в Горном Алтае Чолушманских коммунаров. И его судьба связана с трудом и думой того же Смирнова.

Интересно, кто привил любовь к саду и деревьям самому Смирнову? При этом вопросе Николай Павлович не может забыть, пожалуй, первого садовода-мичуринца по всей Прителецкой тайге, незабвенное имя которого Дмитрий Степанович Рачкин. Опять же он дал Николаю первый черенок и первое деревце. С них началось будущее замечательного смирновского сада.

Для того, чтобы расцвели плодоносящие деревья на полуострове Чири, требовалась не только любовь и нежность к своему детищу, но поистине титанический труд. Он день и ночь корчевал кусты и деревья. Там и тут на камнях-валунах разжигал костры, раскалял их огнем, пока не остынут, поливал холодной водой, чтобы расколоть их на небольшие куски. Потом таскал их на берег озера. Причем не просто таскал и бросал эти камни, а крепкой стеной складывал, чтобы шальные волны не выбегали на полуостров и не смывали, не уносили тонюсенькие саженцы и скудный чернозем, питающий эти поистине священные деревца. А сколько тонн перевозил он земли на лодке через речку Кыгу?.. Спросите у Чолушман-реки, как Николай Павлович ездил на своей

самодельной лодке за удобением-навозом в Балыкчу, где в то время был колхоз?.. Одним словом, труд и терпение, терпение и труд человеческих рук преобразили эту дикую землю в цветущий и прекрасный сад.

О Смирнове не скажешь, что у него мягкий и слишком податливый характер. Человек он сурового нрава. Любит труд. Воспитан трудом. И поэтому, иногда кажется, что у него единственное желание, чтоб люди, окружающие его — начиная от собственных детей и кончая всеми — понимали природу и труд так, как он их понимает, как он к ним относится. А сам он любое дело делает предельно точно, неторопливо и толково.

Смирновы и сегодня встают очень рано. Время шесть утра, а он уже на ногах. Коль глава семьи поднялся, то уж и остальные без слов должны. Хотя дети его давно уж стали взрослыми, но по давнишней привычке, кто бы из них сегодня ни ночевал в отцовском доме, все равно встает рано и начинает что-то делать по хозяйству. Говорят и вспоминают, что раньше было так: по утрам смирновская большая лодка, нагруженная черноземом или перегноем, всегда стояла на причале. Каждый из детей, встав с постели, должен принести на террасу, расположенную на солнечном склоне горы, не менее трех ведер земли и навоза, только потом может садиться за завтрак. А теперь, вот уж более трех десятков лет, на тех террасах растут и зреют не только огромные помидоры и огурцы, но и гроздья сладкого винограда, не говоря уж об арбузах. И все это в условиях суровой сибирской природы.

Дора Захаровна любит рассказывать о том, какими были и как росли ее дочки и сыновья. Павел, поскольку был старше всех, много трудился. Дрова колот, воду носил и поливал каждый куст в весеннем саду. Как бы ему не хотелось, но приходилось постоянно нянчиться с младшими братьями и сестренками, глядеть за ними. А Владимир немножко не такой был. Не очень-то любил домашнюю работу. Став чуть постарше, сразу же отличился в делах промысловых.

В трудные годы каждый ребенок желал что-то добыть сам. Володя с детства научился хорошо стрелять. Давно это было — первого курана-самца горной косули он свалил. Ой, как он гордился этой своей первой добычей для семьи. Однажды был такой потешный случай. Дети удили на берегу. Вдруг с криком домой прибежал Владимир. Оказывается, на его крючок попалась большая

рыба и он ее не смог вытащить. К тому же уронил удилище, а рыба, разумеется, ушла. Дора Захаровна, оставив дома грудного ребенка, тут же села на лодку и решила догнать уходящую рыбу. Куда там, раза два над волнами показался кончик белого удилища и ушел на дно за рыбой. Ай, как жаль удочки! Тогда ведь трудно было купить и простой крючок.

В смирновском саду под осенним солнцем всегда висят и зреют около сорока сортов выведенных им самим яблок. Вон красуется с богатой кроной и с большими плодами самая большая и старая яблоня — бельфлер-китайка. Одно это дерево дает не менее трех пудов яблок. Мичуринский сорт... А рядом — канадская мельба. Это будущее всей Чолушманской долины. Очень урожайное дерево. Кстати, а что такое Чолушманская долина?.. Тут придется сделать небольшое отступление. Ведь у Смирнова живой, пытливый ум и потому, говоря о Чолушманской долине, старожил тутошних мест, Николай Павлович, может быть, нечаянно роняет, как мне кажется, тщательно хранимую им мысль:

— Жаль, что козы съедают эту плодородную долину.

— Как? Вы хотите сказать, что козы съедают Алтай? — удивился я.

— Нет, я не обо всем Алтае и не обо всех горах и долинах говорю. Лишь имею в виду Чолушманскую долину...

— А в чем дело?

— Дело в том, — задумчиво продолжает Николай Павлович, — что козий пух, конечно, дорогое, доходное для совхоза дело. Но тем не менее, думается, что пух все же не дороже самой долины и прекрасной природы...

Дальше он поведал такую мысль, что с годами количество скота «Чолушманского» совхоза увеличивается. А сама долина узкая, как рукава алтайской шубы. Кругом скалистые горы. И так мало в долине деревьев и кустарников, а скоту надо кошары, людям новые дома и другие постройки. Ведь деревья и различные кустарники вырастают не за один год. Их рубят люди, а прибрежные кустарники съедают козы. А Чолушман, большая река, впадающая в Телецкое озеро, ежегодно обмывает и разрушает берега.

— При моих глазах в долине исчезли несколько островков, — говорит Смирнов и со вздохом продолжает: — Эх, как бы было хорошо, если бы в Чолушманской долине вместо козоводческого совхоза, сделать овоще-

садоводческое хозяйство. Оно бы обеспечило всю область дешевыми фруктами и овощами.

Это его собственные мысли и мечты. Возможно, он и прав. И на самом деле, ведь скоту и скотоводам нужен простор и много земли. А садоводы и овощеводы могут кружиться на небольших участках. К тому же всем ведь известно, что различные кустарники и деревья укрепляют берега рек, сохраняя всю красоту и мощь природы. Тем более, если к этому добавить, что совхоз «Чолушманский» не рентабельный. Например, в 1977 году убыток этого хозяйства составил 167 тыс. рублей. Для того, чтобы выработать 26 ц козьего пуха, совхозом затрачено 173 тысячи рублей, а продав этот пух, выручили всего лишь 160 тысяч рублей. Конечно, так-то оно так. Но тут свои трудности. Ведь все это связано с людскими судьбами и жизнью. А люди — не железо. Да и пастухов так быстро не перекуешь в садоводов и овощеводов.

— Можно, — не сдается Смирнов, — вы видели в той же Чолушманской долине сады коренного алтайца Сугунушева? О чем это говорит и доказывает?..

Возможно, повторяю, он прав. Но пусть эта весьма интересная мысль остается предметом размышления руководителей нашей Горно-Алтайской области. А я об этом говорю и пишу для того, чтобы люди — читатели мои ощутили, что герой моего очерка и в старости живет полнокровной жизнью, не удовлетворен ни собой, ни достигнутым; думает не только о себе.

Большая семья Николая Павловича Смирнова — действительно интернациональная. Жена его, Дора Захаровна, — алтайка. Зятья его — люди различных национальностей. Среди них есть и русские, и алтайцы, и украинцы. Дети его владеют алтайским и русским языками.

Вот Наталья. Она со своим мужем-алтайцем живет в Артыбаше, поселке, где расположена туристическая база, в устьи того же Телецкого озера. Анатолий Пыжанкин — муж ее — работает на теплоходе «Яков Баляев». У них четверо детей. Старший сын, Петр, уже отслужил в рядах Советской Армии. Теперь работает. Очень хороший, как говорит дед, смирный парень. Все умеет делать сам. Даже корову умеет доить, что редко встречается среди нынешних юношей. А вот Надежда закончила зооветтехникум, ныне работает в Чергинском совхозе по своей специальности. Ее муж Вилисов Семен — шоферит. Давно за рулем и неплохо трудится.

Правда, только редко они навещают родителей. Наверное, некогда. Нельзя на них сердиться. Ведь у них свои дети, своя забота. Как говорится, «маленькая, но семья».

Вчера, кажется, Наталья прислала с братом Владимиром матери подарок. Какую-то красивую посуду. «Зачем она нам, старым-то людям», — говорит Дора Захаровна. Но все-таки любо смотреть на подарок родной дочери.

В детстве очень любила трудиться Ирина. Камни таскала, кайлила и косила. После окончания Горно-Алтайского педучилища не вернулась домой. Осталась в областном центре. Теперь работает воспитательницей в детском саду. Она очень общительна. Любит ребятишек. Должно быть, неплохая наставница детей. Ведь сама выросла в большой семье. А муж ее, Павел Григорьевич Суханов, почтовый работник. Душевный человек. Стариков не забывает, приезжает на Чири. А вот Вера со своим мужем уехала аж в Саратовскую область. Как-то они там живут?.. Давно нет вестей.

Надо обо всех думать и помнить, хотя они взрослые и самостоятельные люди.

А возле стариков остался самый младший сын — Николай со своей женой Светланой Ивановной. Только жаль, что они детей своих отправили на Украину, к родителям Светланы. Могли бы в Артыбаше или в Иогаче учиться.

Вот так живут, трудятся и учатся дети Николая Павловича и Доры Захаровны Смирновых. Как в народе говорят, все они вышли в люди.

Сам Смирнов, семидесятишестилетний ветеран метеорологической службы и садовод-селекционер, по-прежнему встает рано. Каждое утро проверяет пост — меряет температуру воздуха Прителецкой тайги и уровень воды. Ухаживает за своим садом. Косит сено, ставит красивые островерхие стога. Он нежно любит Майку — белую, как снег на вершинах, лошадь. Вот жалко — Дик заболел и постарел, хороший и верный пес. Под старость лет человек ко всему относится с душевной жалостью и болью: и к озеру Золотому, и к деревьям прибрежным, и к травам и цветам. Мир природы, все окружающее, кажется иногда, держится за его большое и чуткое сердце. И потому, надо сказать честно, Николай Павлович и Дора Захаровна не любят тех, кто по-варварски относится к природе и ее богатствам. Не надо принуждать природу, вымогать у нее все, чего тебе хочется. Надо относиться бережливо, чтобы она цвела и красовалась,

радуя человека... И не случайно, когда в середине шестидесятых годов решили закрыть Алтайский государственный заповедник, а вместо него открыть на правом берегу Телецкого озера леспромхоз, против всесильного топора, электропил и различных машин одним из первых восстал Николай Павлович Смирнов. И слава Богу, что благодаря упорным и многочисленным усилиям многих не равнодушных людей, в том числе и специалистов лесного хозяйства, новым решением Совета Министров РСФСР до сих пор сохранился этот уникальнейший в Горном Алтае заповедник.

Те, кто на тайгу и природу привыкли смотреть как на место наживы и добычи для своего удовольствия, скажем опять же прямо, не любят стариков Смирновых. Правда, их, враждебно настроенных, в Прителецкой тайге мало, но все же есть, находятся. Смирновы таким уступки не делают. И в этом суть их многолетней жизни на берегу зеркального озера и на территории государственного заповедника. В этом их любовь и верность священным основам природы...

Осень — очаровательная пора в горах Алтая. На берегу голубого и тихого залива стоят четверо: старые люди, старый кедр и старый пес. Они прислушиваются. Тихо плещутся и барахтаются волны. И вдруг протяжный и долгий зов осеннего марала. Он трубит, зовет свою подругу, а горы таким же долгим и пронзительным эхом отвечают этой вечной музыке осени...

Николай Павлович и Дора Захаровна — долгожители моего любимого края, машут руками во след уходящему все дальше белому теплоходу. Тут, на теплоходе, их старшая дочь Любовь и милые сердцу внуки, Юля и Жанна. Они сегодня, как и другие их дети и внуки, уж который раз вышли навстречу доброму, многолюдному и бесконечно широкому миру...

Далеко голубеет и машет темными ветками вечный кедр родной алтайской тайги. И я, оглядываясь назад, вместе с их потомками машу рукой и, прощаясь, тихо шепчу все те же строчки любимого поэта, ставшими на какое-то время музыкой этой природы и единственной правдой этой долгой и прекрасной жизни: «Стоим над водой — солнце, кошка, чинара, я и наша судьба...»

Да, слава Богу, так живем и так понимаем друг друга!

ЗАВТРА ТОЖЕ БУДЕТ ЗАВТРА

(Из выступления на съезде учителей
Горного Алтая)

Все мы были детьми и школьниками. Блок и Есенин, Твардовский и Хикмет — многие известные писатели в свое время ведь тоже были учениками. А затем, преодолев многие жизненные барьеры, стали «инженерами человеческих душ». Этим я хочу повторить мысль нашего современника, известного советского поэта Евгения Винокурова: учитель должен воспитать ученика, «чтоб было у кого потом учиться». А ученик в свою очередь обязан стать достойным своего учителя и своего высокого времени.

Единственной и вечной задачей школьного учителя всех времен является воспитание в ребенке-школьнике настоящего человека. Человека умного, доброго, совестливого, и значит, общественно полезного гражданина страны.

Понятно, в школьный учебник всего не вместишь. Как говорится, нельзя объять необъятное. Но нельзя жить без большой и крылатой мечты нашим детям, юношеству и молодежи.

Один из ведущих советских писателей-педагогов С. В. Михалков отмечал, что даже самый идеальный учебник литературы никогда не заменит саму литературу, являющуюся учебником жизни. Стало быть, надо учить ребят любить литературу, читать ее творчески, самостоятельно анализировать, думать и излагать свои мысли.

Не прочитав ни одного художественного произведения, не проучившись в школе у учителя-словесника, Курчатов не стал бы, разумеется, Курчатовым, Королев — Королевым, Гагарин — Гагариным, которых мы знаем, помним, любим и гордимся.

Народный учитель!.. Он виден отовсюду! Профессия учителя незаменима. Она, эта благородная профессия, была и есть актуальна и современна. И нисколько не умаляя ее значения, я хотел бы коснуться некоторых проблем и прежде всего — проблемы изучения родного языка и истории в национальных школах Горного Алтая. Это один из самых болевых вопросов нашего культурного развития. Знать историю своей земли, где человек родился и живет, заглянуть в прошлое своего народа и хорошо знать родной язык — это, должно быть, одна из

самых больших радостей, одно из душевных удовлетворений. Но, к сожалению, сейчас среди выпускников средних школ, где изучается алтайский язык и литература, мало встретишь учеников, которые бы грамотно писали, свободно излагали свои мысли на бумаге. Это свидетельствует о том, что в школах недостаточно хорошо изучаются в особенности родной, а также русский язык и литература.

Работая многие годы в областном телерадиокомитете, я невольно и неожиданно для себя открыл по меньшей мере странные явления, касающиеся вопросов изучения родного языка и его грамматики. По долгу службы я был обязан записывать, как говорят радиожурналисты, «живые голоса». Так вот, пытаясь записать на магнитофон заслуженных людей — передовиков производства, а среди них были не только чабаны и механизаторы, но и с высшим образованием ученые-зоотехники, ветеринарные врачи, инженеры, агрономы, врачи, партийные и советские работники, — я обнаружил, что многие из них не умеют грамотно писать на родном языке. И не только на родном алтайском, но и на русском-то языке не могут написать приличное литературно грамотное предложение.

Пытался я делать и «бестекстовые» записи. В этом случае выявлялась другая крайность — эти люди разучились говорить на обоих языках. Говорили на каком-то «пестром», что ли, языке, перемешивая алтайские и русские слова. Такой «живой язык», говоря не в шутку, просто стыдно пустить в эфир. Хорошие люди, отличные труженики наших совхозов и колхозов, других отраслей производства, сами не подозревая того, себя же ставили в неловкое положение...

Напрашивается единственный вопрос: почему так случилось?.. Ответу: по причине недостаточного требовательного отношения к изучению родного языка и литературы. Ведь известно, что в автономных областях родной язык изучается только в стенах национальных школ. Дальше, поступив в вузы, вчерашние школьники не будут углубляться в родной язык. Поэтому, если мы хотим воспитать и иметь полноценные национальные кадры, например, журналистов и литераторов, работников культурного фронта, хороших агитаторов и пропагандистов, то учителя родного языка и литературы должны предъявить ученикам максимум требований, пока они находятся на школьной скамье.

Меня как литератора давно волнует и такой вопрос:

почему в русских школах Горно-Алтайской автономной области хотя бы обзорно не преподается алтайская литература? Может быть, для внеклассного чтения нет такого учебника? Говорить и утверждать подобное никто сегодня не может. Несколькими годами назад специально для русских школ области выпущена хрестоматия «Алтайская литература», тщательно составленная литературным критиком и педагогом В. И. Чичиновым и, конечно же, утвержденная облоно. В ней можно найти произведения от устного народного творчества до современной алтайской Ленинианы...

Мне кажется, в школах Горного Алтая мало рассказывают детям о доброй и древней народной эстетике, которая не противостоит требованиям современной советской эстетики, советского образа жизни и нашей педагогики. Например, о традиции уважать старших, ухаживать за младшими.

А как в школах относятся к историческому прошлому древней алтайской земли и к этническому составу и происхождению коренной нации — алтайцев? Всем известно, что без корней не могут вырасти под небом ни могучее дерево, ни даже самый малочисленный народ. Надо бы всем нам добиться, чтобы наши юноши и девушки росли интернационалистами и были исторически образованными. По-моему, очень правильно и хорошо говорил о том, один из руководителей прошлых лет нашего государства и страны: «Жизнь показывает, что экономический и культурный прогресс всех наций и народностей сопровождается неизбежно ростом их национального самосознания. Это — закономерный, объективный процесс. Важно, однако, чтобы естественная гордость за достигнутые успехи не превращалась в национальную кичливость или зазнайство, не порождала тенденции к обособленности, неуважительного отношения к другим нациям и народностям. А такого рода негативные явления еще встречаются. И было бы неправильно объяснять это только пережитками прошлого. Их питают порой и наши собственные просчеты в работе. Здесь, товарищи, нет мелочей. Здесь важно все — и отношение к языку, и к памятникам прошлого, и трактовка исторических событий, и то, как мы преобразуем села и города, воздействуем на условия труда и жизни людей».

Да, такие «просчеты в работе», к великому нашему сожалению, есть ныне и в нашей автономной области. Вот мы, поэты и прозаики, члены Союза писателей, часто ли

встречаемся с учащимися и студентами Горного Алтая? Скажу честно, что порою, мне кажется, некоторые учебные заведения нас приглашают лишь для того, чтобы где-то поставить «галочку» или кому-то показать, мол, мы провели такое-то важное мероприятие. А на самом деле эти «мероприятия» проходят без внутренней потребности и заинтересованности, то есть в холостую. На этот счет приведу лишь один пример. Мне много раз приходилось бывать в Горно-Алтайском педагогическом училище. Последний раз такая встреча, «вечер автографов», состоялась в декабре минувшего года, как раз в те дни, когда вся Советская страна и весь народ торжественно и вдохновенно праздновали 60-летие образования Союза ССР.

И вот мы — Аржан Адаров, Эркемен Палкин и автор этих строк в назначенное время являемся в училище. А тут никто нас не ждет. Двери закрыты наглухо. Обходим вокруг здания, чтобы найти вход. На дворе пурга. Через окошко объясняемся со сторожем. Старая и перепуганная женщина, выяснив, в чем дело, кричит нам через стекло о том, что, может быть, нас ждут в общежитии. В общем, когда мы пришли туда, увидели где-то около десяти-пятнадцати учащихся алтайского отделения и Розу Яковлевну Садыкову — преподавателя алтайского языка и литературы.

Помнится: сколько бы ни было подобных встреч в этом учебном заведении, где учатся более пятисот юношей и девушек, только одна Роза Яковлевна Садыкова агитирует питомцев, чтобы пришли послушать писателей. А руководству училища нет до нас дела. Ни директора, ни завуча мы ни разу не видели. Но самое главное и горькое, что учащихся русской национальности бывает очень мало, да и те приходят, как говорят, чуть ли не из-под палки. Наблюдать это больно и тяжело: как будто мы изнываем от безделья, сами напрашиваемся, навязываем свою волю. Хотя инициатива-то с их стороны была...

Почему я решил говорить об этом начистоту?.. Конечно, прекрасна природная красота Горного Алтая. Любоваться, как приезжим туристам, его поднебесными горами, живописными и ослепительно голубыми озерами, порожистыми реками и головокружительными перевалами никому не запрещается. Но плохо то, что родившись и живя в этом чарующем уголке земли, молодежь и даже взрослые люди недостаточно хорошо представляют историю жизни и происхождения коренных жителей — алтай-

цев, прекрасные легенды, пословицы и поговорки и, наконец, многотомный героический эпос, созданный гением этого народа, начавший издаваться на русском языке еще до Великой Октябрьской социалистической революции. Студенты пединститута или других учебных заведений, проучившись в нашей автономной области четыре-пять лет, уезжают отсюда по своим краям и республикам, так и не узнав порой, кто такие, собственно говоря, алтайцы и какую имеет историю сама эта древняя и прекрасная земля. Между тем Алтай и народы его с самых древних времен привлекали внимание многих ученых. Такие крупные исследователи истории тюркских народов, как В. Радлов и Н. Аристов, считали и утверждали в своих трудах, что именно Алтай является прародиной тюркских народов.

Один из самых ревностных и современных исследователей Сибири академик А. П. Окладников в черте нашего города Горно-Алтайска, на крутом берегу речки Уалалы в 1961 году обнаружил необычную палеолитическую стоянку древних людей. Самым серьезным и тщательнейшим образом, исследовав улалинские археологические находки академика, сопоставив их с геологическими разрезами на других территориях, ученые пришли к выводу, что человек начал обживать Горный Алтай полтора миллиона лет назад.

Хорошо, если бы на внеклассных чтениях учителя-историки постепенно рассказывали своим ученикам о подобных фактах, особенно ученикам национальных школ, чтобы дети знали прошлое своей родной земли и народа.

Если бы наши нынешние, «свои» школьники и те, кто к нам приезжает учиться, уносили с собой хотя бы вот такие беглые, информационного типа представления о многотрудном, кровавом и в то же время богатом прошлом моего малочисленного народа, тогда мы — горноалтайские учителя, преподаватели, историки и, конечно же, писатели считали бы, что как-то расширяем и углубляем кругозор учащихся и студентов, ведем национальное и патриотическое воспитание молодежи.

В исторических исследованиях, особенно, когда они талантливо написаны и дополнены достоверными, неопровержимыми аргументами, хотя и говорят о немислимо далеком прошлом, всегда, смею полагать, заложены предчувствия будущего той или другой земли и ее народа. Одной из таких талантливых, весьма и весьма интересной, касающейся моей «малой родины» работ, думаю, явля-

ется книга Льва Николаевича Гумилева — сына великой Анны Андреевны Ахматовой — «Древние тюрки», выпущенная издательством «Наука» еще в 1967 году.

Она привлекательна, на мой взгляд, не только глубиной научного исследования. По манере и стилю изложения труд этого автора близок к художественному произведению, к фольклору. Полистайте эту книгу, сколько вы найдете в ней поистине талантливых стихов, песен и легенд, связанных с происхождением народов и племен Востока и Сибири. Книга эта не только поучительна. Например, говоря о происхождении племени теле, прародителя современных алтайцев, Лев Николаевич приводит интересную легенду: «... одна из дочерей хуннского шаньюя, посвященная отцом небу, родила от волка сына, который стал прародителем телесских племен...». Ученый приводит много разных вариантов этой легенды. А на другой странице этой замечательной книги-эпопеи мы читаем: «В VII в. у тюрков уже был принят «звериный цикл», т.е. каждый год носил имя зверя и через 12 лет повторялся (у алтайцев это сохранилось и поныне — Б. У.). Такое исчисление времени существует и теперь у всех народов Средней и Восточной Азии...»

Любя все, что касается Горного Алтая и ссылаясь на авторитетнейших историков, исследователей прошлого, я, кажется, не заметил, как допустил в теме «перебор», потерял равновесие. Но тем не менее, убежден, что сегодняшняя наша жизнь невидимой и крепкой цепью соединена с началом человеческого рода, с его годами, днями и столетиями. И в то же время мы, живя в сегодняшнем мире, стараемся перекинуть мост в далекое будущее. И нет благороднее этого стремления, этого гражданского порыва, нравственного долга и чувства!

Вечных людей, как вечных двигателей, нет; все мы смертны. Но мы, помня об этом, при жизни — сейчас, сегодня должны воспитать себе настоящую смену. Быть уверенными в тех, кому оставляем дело своих рук, ума и сердца, кто будет строить завтрашний день.

Я где-то вычитал или услышал одно прекрасное изречение: «Живи для других, и ты не умрешь!» Мы — советские люди, интернационалисты. Давайте же учиться и стараться жить именно для людей и страны, воспитывать молодежь так, чтобы она тоже с первых шагов научилась жить не только ради своего удовольствия, но и ради друга, товарища, коллектива, ибо завтра тоже будет завтра, как вчера было свое вчера.

1977 г.

БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ, ЧЕЛОВЕК!

Дети-дошкольники играли на берегу тихой речушки. Лепили из глины и песка фигурки коней, ягнят, птичек. Некоторые строили дорогу, по которой стремительно мчались ими же сотворенные «автомашины» — «МАЗы», «газики», «Жигули». Играли они увлеченно, дружно. Наверное, краше их «коней» и «машин» в этом безоблачном весеннем мире ничего не было.

Мирную жизнь маленьких скульпторов нарушил подросток. Рослый и рыжеволосый. Он был опрятно одет. Открытое лицо, ясные глаза. Голубенькая рубашка, как само безоблачное небо детства. Видать, играющие знают его хорошо, ибо когда он высоко держал над своей головой какую-то игрушку и вихлялся туда-суда, малыши бегали за ним и, почти плача кричали:

— Отдай коня, Володя!.. Володь, ну не ломай машинку! — А тот, сверкая белоснежными зубами, смеялся, прыгал и бегал. Один из малышей, что в красной безрукавке и зеленоватых шортах, подпрыгнул и крепко схватил его за костистые плечи. Старший так круто и резко повернулся, что малыш не удержался и отлетел в сторону, как легонькая шапочка. Ударился о прибрежный камень, заплакал. Остальные мальчики продолжали гоняться за обидчиком, чтобы отнять свои игрушки. Вдруг тот миролюбиво остановился и как-то хитро посмеиваясь предложил:

— Если вы сейчас же все четверо встанете на колени, — тут он повернулся к тому мальчику, который только что был им отшвырнут. — Эй ты, нюня, — крикнул, поманивая рукой, и продолжил: — И дружно по моей команде твякните, как щенята: «Ав-ав», то получите свою глиняную стряпню. Ну, поняли? Давайте: раз, два, три... Ну, что вы, как истуканы, молчите. Давайте: «Ав-ав» и все... А-а, — мотнул он рыжей головой и опять хитро улыбнулся, — значит, не хотите. Значит, вам это не нравится, тогда смотрите...

Он смял в один комок птичек, козлят, жеребят, потом разорвал на несколько мелких частей и с силой бросил бесформенную глину в речку. Малыши перестали плакать. В их глазах был немой ужас.

Подросток на этом не остановился. Как ошпаренный сорвался с места, растоптал остальные игрушки, распинал их...

Откуда ни возьмись, перед четырнадцатилетним по-

громщиком вырос мужчина. Видать, отец того самого настырного мальчишки, что в красной безрукавке. Он, как говорится, взял Володю за ушко и повел его к родителям.

Как вы думаете встретили родители Володи заступника малышей?..

— А что тут особенного? — удивился отец Володи, солидный по возрасту. — Он же не растоптал вашего сына. Что касается игрушек, то они могут сколько угодно их налепить. Разве на берегу кончились глина и песок?!..

Мы удивляемся, откуда, мол, дурные выходки у наших детей. Откуда хулиганство и жестокость, равнодушие и привычка, мягко говоря, к антиобщественным явлениям. Не сидит ли все это в некоторых из нас самих?

Давайте приглядимся, не в наших ли квартирах, не у наших ли семейных очагов приютились зачатки античеловеческих выходок? А где наше уважение к себе и другим, совесть и человеческое достоинство? Мне думается, что уважающий себя человек не будет ущемлять достоинство другого. Понятие «мы», полагаю, начинается от изначального «я». Потому и нет и не может быть плохих народов, тем более языков и земель. Есть плохие люди, состоящие из отдельных «я», есть сквернословы, тоже из отдельных «я». Известно, что человечество состоит из дураков и умных, из трезвых и хмельных. Значит, задача умных — вылечить «дураков», коль те не понимают доброго, умного слова человеческого, порицая их судом общечеловечности и с помощью законов нашего государства. То же самое с «хмельными». Но ни в коем случае не поддакивать им, тем более привыкать терпеть их насилие. А мы иногда, к сожалению, терпим, как те маленькие детишки на берегу, лепившие свои нехитрые фигурки. Не только терпим, но самое страшное, мы привыкаем к их жестокостям и молча проходим, как будто ничего не заметили, мимо хулиганов и нарушителей своего же покоя.

Я говорю об этом и невольно думаю о своих сыновьях. У меня их трое. Как-то вырастут они, чем обрадуют или огорчат? В самом деле, что ожидает впереди и какими будут они людьми?.. Трудно сказать и предугадать. Я — не пророк, а всего лишь желающий добра своим детям родитель. Разве нас, таких, мало на белом свете?

Древняя мудрость и опыт человечества подтверждают, что четыре грозных силы в этом мире: Огонь, Вода,

Железо и Земля. Истоков наших радостей — четыре: Огонь, Вода, Железо и Земля.

Когда я говорю «Вода», то имею в виду не только ту, настоящую воду, которую мы ежедневно употребляем, и которая украшая, оплодотворяет нашу землю, но и водку, состоящую большей частью из воды. Не от нее ли начинается большинство из бытовых трагедий? Но как бы то там ни было, хочется верить в своих детей и не только в своих, но и будущему поколению людей и пожелать им, чтобы стали в жизни простыми хорошими тружениками.

...Будь счастлив, мой сын, человек — плод Любви, Солнца, Земли и всего прекрасного в этой бесконечно радостной и в то же время сложнейшей жизни...

Как-то я выхожу из центрального книжного магазина столицы автономной области Горно-Алтайска и вижу, что прямо у входа, возле зеленых тополей стоят трое парней. Один из них прижимает к груди маленького серенького котенка, гладит по мягкой спинке, нежит, ласкает: «Киса, бедненький. Васенок мой». Как хорошо. Пусть стоят, пусть ласкают, может, бездомного котенка. Не успел подумать и сделать два-три шага, как услышал душе-раздирающее мяуканье. Оглянулся и с ужасом увидел, что котенок, которого только что так нежил паренек, валяется меж его ног... По всей видимости, парень такого крохотного и доверчивого почему-то вдруг ударил о дерево или о твердый асфальт. Предательство? Жестокость? Они не слышат пронзительного, жалобного мяуканья беспомощного существа? Еще как слышат. Но издевательство продолжается: пугая беззащитного своими тяжелыми сапогами, часто-часто и громко топают о твердую землю.

Я не выдержал. Побежал к ним, с позволения сказать людям, не слыша своего голоса, что-то стал кричать, стараясь остановить эту дикую «пляску» парней над своей жертвой. А они, глядя на меня, «ржут». Один затем хватает меня за грудки и сквозь зубы зло, нечленораздельно рычит: «Ыгы-гы, а кто ты такой, а?!.. А может и тебя так, а?...»

Самое удивительное, мимо нас проходят граждане и стараются «не заметить». Что было делать?.. Говоря честно, передо мной стал вопрос, как освободиться от рук этих хохочущих жестоких зверей в человеческом облике. Вдруг кто-то из них заметил поворачивающийся в нашу сторону милицейский автомобиль. Полушепотом:

«Атас», — и все трое, перебежав дорогу, быстро скрылись во дворах противоположных домов...

У моего алтайского народа, живущего среди древних гор, есть много прекрасных поговорок и пословиц, в основе которых лежит одно назидание: воспитать человека достойным и толковым. Но в одной из них говорится: «Будь собака твоя даже снега белей — помни все же, что место ее — у дверей». Думается, что это очень глубокая и тонкая мудрость. Знать границы и место своих определенных качеств. То, что низко и недостойно человеческого духа, не надо поднимать высоко и тем более потакать, поддерживать, уступая дорогу.

Не слишком ли мы часто робеем перед хамством и жестокостью, трусливо закрывая глаза, постепенно и молчаливо привыкая и соглашаясь? Сегодня позволим растоптать маленькому хулиганишке игрушки детей, травя и оскорбляя их неустойчивые души; завтра равнодушно пройдем мимо обиды, наносимой «братьям нашим меньшим». Не дойдем ли до такого момента, что и сам человек-властелин потеряет свое высокое имя?.. В некоторых случаях у нас получается примерно так, как сказано в народной мудрости о чрезмерной ласковости: «к щенку хорошо относишься, а он тебя старается в губы лизать и не понимает, хорошо это или плохо». Жестокость не имеет права падать на наши головы. Но нет-нет да пропускаем мы ее и не стараемся немедленно объявить ей дружный и крепкий бой.

Будь Человеком, человек!..

Недавно я ездил в Онгудайский аймак, что в родных горах моего голубого Алтая. Был в селах Ело и Каярлык, где прошло мое детство, туго перетянутое кожаным ремнем военных годов. Конечно, в который раз вспомнились друзья-ровесники. Мне захотелось посмотреть на скальные надписи и рисунки, которые находятся в трех верстах от села Каярлык, на невысоком перевале Таади-Кышту. Там руками древних мастеров высечены были многообразные фигуры диких зверей и домашних животных. Эти динамичные и своеобразные рисунки на каменной глади интересовали и до сих пор привлекают многих ученых, историков, этнографов, современных художников, поэтов и людей, связанных с киноискусством. Хорошо помню, как сразу же после войны в 1946 году, к нам, в Каярлык, приезжал кинорежиссер из Новосибирска. Был он первым, наверное, человеком с таким чудным «жуужащим» аппаратом и поэтому фамилия его осталась

в памяти каярлыкцев того времени — Минорский. Он сперва черным углем отретушировал те рисунки и надписи для того, чтобы было четко «видно глазу «аппарата», затем привел туда нас, тогдашних школьников. Сюжет его будущей киноинформации был прост: дети алтайских пастухов и охотников случайно наткнулись на красивые рисунки, что на камне и взмахом рук зовут друзей посмотреть найденное. А главным «артистом» был назначен мой двоюродный брат Темитей Ирбичин, у которого шапка из рысьих лап. Минорский его просил и заставлял кричать и махать руками. А он будучи очень скромным и стеснительным мальчиком, не смог, как говорится, «сыграть» свою «роль» и наотрез отказался. Тогда пришлось надеть его шапку мне и звать остальных детей-школьников, спрятавшихся за скалами и деревьями. Теперь Темитея нет в живых, нет и других моих ровесников — Кучабая Тужумаева, Текеша Кудачина, Мотора Дибакера — безымянных «артистов», снятых тогда на документальный экран всей Сибири, а возможно, и всей страны. Но рассказ мой не о том, как мы случайно стали «киноартистами». Просто, вспомнилось дорогое и далекое наше детство. Пусть за эти воспоминания меня простят те, кто читают сегодня эти заметки. И все же они как-то связаны с темой моего столь серьезного разговора.

Дело в том, что сейчас нет в моем Каярлыке тех рисунков и надписей, оставленных резцами художников далекого прошлого. На их месте красуются новые «памятники», то бишь имена нынешних школьников, да и взрослых. Примерно вот такие: «Галя, Миша, Яков, Т. Содон, Борбошев». Далее можно найти и такое вот любвеобильное объяснение: «Каран, помни я тебя люблю!» и т. д. Как это можно понять?.. Разве это не варварство?

Почему мы в свое время не оставили, с позволения сказать, таких «памятников»? Ведь тогда не было никакого общества охраны природы и памятников старины. Конечно, я не думаю, что в прошлом было лучше, чем сегодня, или дети моего поколения были воспитаннее и культурнее, а их знания были богаче, чем нынешние. Нет, я всего лишь хочу спросить: «О чем думают родители тех же самых Галь, Миш и других?..» А ведь их родители — дети моего поколения... Куда смотрят местные учителя и другие ответственные органы, прежде всего руководство, например, той же Каярлыкской фермы

и всего Еловского совхоза, большого и богатого?.. Им, очевидно, не до таких «пустяковых» дел. Подумали бы мои земляки, хотя бы одно мгновение, что тем и подобным им древним надписям и наскальным рисункам не было и нет цены. Как, впрочем, и нет такой силы, чтобы вернуть утраченное. И нет таких денег, при помощи которых можно воскресить мертвого, сделать старого молодым, прошлое — новым!

Время, заклинаю тебя, вылечи нас, людей, от дурных поступков.

...Человек!.. Как это непостижимо высоко и гордо звучит. И как он, к всеобщему удивлению, иногда низко падает. Падает, но не разбивается, а продолжает, к стыду нашему, влачить жалкое существование. И это случается в наше светлое и столь ответственное время.

Я не помню такого случая, чтобы в моих родных местах так запросто избивали человека. Уж это стало бы неслыханным явлением, всеобщей тревогой и страхом. Каярлык моего детства остался гостеприимным, щедрым и добрым, хотя и жили там очень трудно, голодно и холодно. Жили трудом непрекращающимся и думой о лучшей жизни, при этом хорошо разделяя границы добра и зла. Неужели сегодня забыт сам Человек? Неужели чёска козьего пуха или заготовки кормов и другие сельскохозяйственные планы стали важнее, чем личность и душа самого Человека-творца и связанные с ним проблемы общественной этики?.. Нет, человек по-прежнему на первом и на главном месте, если верить утверждениям наших партийных и государственных деятелей. Но, кроме всего прочего, человек должен заботиться сам о себе, уважать себя, достойно нести свое гуманное предназначение. Свет именно такого к себе и другим отношения, разумеется, украшает общество, в котором он живет. Но иногда человек, скажу больше, даже целый коллектив забывает о своем общественном лице и авторитете. Например, прежде в очень тихих и уютных селах Ело и Каярлык, далеких от проезжих дорог, с недавних пор стали происходить неслыханные случаи.

Я не следователь по уголовным делам, поэтому не хочу затрагивать, кто кого убил и при каких обстоятельствах все это произошло. Но меня глубоко волнует и тревожит другое — общественное отношение к некоторым чрезвычайным и уму непостижимым фактам.

Казалось бы, в вечно тихих и мирных переулках родных мне мест убиты два человека. Два отца. Нет сегодня двух товарищей и родственников, которые вчера работали, ходили, смеялись и говорили. Проходят дни, сливаются в месяцы, но в коллективах нет никакой тревоги и возмущения. Как будто ничего не произошло: кто пил — по-прежнему продолжают пить, есть и даже петь. Почему не думает коллектив о своем завтрашнем дне и авторитете?.. Ведь у каждого есть отцы и матери, дети — сыновья, дочери. По какой дороге они пойдут, что их ожидает, — кто должен об этом заботиться, если не само общество, коллективные силы? Нельзя забывать: когда спят общественные силы и их руководители, то «бодрствуют» пьянчуги и связанные с ними хулиганы и другие недостойные выродки, отдельные отщепенцы.

Мы, услышав слово «рак», «спид», чуть ли не падаем в обморок. Боимся так же туберкулеза и немедленно бежим в больницу, к врачам. А ведь от них гораздо меньше страдают и гибнут люди, чем от той же злополучной водки. Корни и устои общества куда как успешней расшатывает пьянка, чем все редкие и страшные болезни. Но тем не менее к пьянке пока что открыты все дороги и возможности.

Я наблюдал в том же Ело и Каярлыке с вечера, примерно, с семнадцати и до двадцати двух часов магазины спокойно торгуют водкой и другими алкогольными напитками. Люди, возвратившись с полей и ферм, вместо отдыха толпятся у магазина (конечно, я имею в виду любителей злчных мест и постоянных алкоголиков), на ходу спотыкаются и падают. Наутро те же преждевременно сморщенные лица опять увидишь у «подножия» магазина. Отсюда можно сделать следующий вывод: «были друзьями пьянчуги, пока в ташауре была арака. Только лишь кончилась арака — в драке помяли друг другу бока!»

Одной из самых трудных загадок мира является сам человек. Великие умы всех времен вертятся вокруг того же человека, как земля вокруг своей оси. Ясно одно, что с рождения человек не бывает плохим. Никто не рождается заведомо хулиганом, сквернословом, тем более алкоголиком или... убийцей. Все мы в детстве плачем и смеемся на одном языке. Все мы питались сладостью материнского молока. Поэтому в такой прекрасной стра-

не, как в нашей, в такое замечательное время, как наше,
советское — давайте же не будем забывать друг друга,
т.е. Человека — творца, властелина и разум всей земли.

Присуще Небу — высоким быть,
Присуще Горам — высокими быть.
А что присуще тебе, Человек?
Тебе присуще Высоким — жить!..

(Перевод И. Фонякова)

1976 г.

*Друзья мои умирают.
Копая могилы для них.
И рядышком всякий раз
Себе оставляю место.*

*Друзья меня обгоняют—
Как будто не хватает земли.
И снова копать мне могилы,
Себе припасая место.*

*О, сколько моих могил
Подле могил моих близких!*

*За что ж я приговорен
Друзей хоронить ушедших
И для своей могилы
Рядом отмеривать место?*

(Перевод Т. Глушковой)

3

ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ

ЗАВЕТНЫЙ АДРЕС

(О Литературном институте имени
А. М. Горького)

Начну с вопроса, заданного мне в письме, обратный адрес которого: Москва, К-104, Тверской бульвар, 25, Литературный институт имени А. М. Горького.

«Что дал Вам, как литератору, наш институт?»

«То есть, как это, что дал?!»

Все дал,— подумалось.— Разве что по моей собственной вине, лени или еще по каким-то причинам я не смог взять всего того, что он предлагал, ибо Литературный институт может и впрямь дать все, что необходимо начинающему литератору. Тем более, если тот приехал в столицу с далекой окраины нашей поистине необъятной страны...»

Ну, а если конкретно?..

Оказывается, на этот вопрос ответить не так-то просто.

Литинститут ко мне шел очень медленно. О нем я мечтал, им грезил еще в середине пятидесятых годов, будучи учеником Горно-Алтайской областной национальной средней школы. В то время в нем учились мои старшие товарищи — Аржан Адаров, Лазарь Коқышев, Эркемен Палкин и своими, хотя и редкими письмами, мне, начинающему стихотворцу (в обратном адресе которых были те самые для меня магической силы слова: Москва, Тверской бульвар, 25) лишь подогревали мое желание. И поэтому, заканчивая среднюю школу, ни о каком другом вузе я и думать не желал. Более того, даже дал себе слово, что если не попаду в него, то вернусь в родной Каярлык и стану табунщиком в колхозе. Поэзия и кони — были и остаются моим вечным увлечением и пристрастием.

Однако настал радостный день — я закончил школу. Вот теперь-то, думаю, все карты в моих руках: через месяц еду в Москву и поступаю в желанный храм науки.

Но не тут-то было. Обстоятельства сложились иначе — вместо Москвы я попал в армию и поехал на «товарняке» на далекую дальневосточную станцию. Но и там институт постоянно мерещился мне. И я, не теряя тайной надежды, продолжал писать нехитрые свои стихи о солдатской службе и родном доме, где ждут меня мать, сестры и братишка. И только после многих путей-дорог, а именно в 1962 году, суждено было осуществиться моей мечте, желанной и заветной.

Нужно ли доказывать, что и сегодня отчетливо помнятся самые первые дни, когда мы были еще абитуриентами, гордыми и великодушными, что ли, друг к другу? Знакомясь, спрашивали: «Откуда?.. Поэт или прозаик?»

И хотя большинство из нас не было еще ни теми, ни другими, но все мы считали себя «гениальными». Понятно, что много спорили, читали друг другу не ахти какие вирши, отстаивали свои выстраданные истины. Теперь-то понимаю, что при всем этом были мы и наивными, и смешными.

В связи с этим хочется вспомнить два случая, которые не забываются все эти годы.

Первый произошел при собеседовании...

По вызову в зал заседания входит один из абитуриентов — мой новый товарищ, который, кажется, приехал «из страны белого золота». Звали его, по-моему, Арсланбеком. И вот у него-то и спрашивает тогдашний ректор Литинститута Иван Николаевич Серегин:

— Арсланбек, скажи мне, пожалуйста, водку пьешь?

— Пью, товарищ директор, — отвечает Арсланбек так быстро, словно готовился отвечать именно на этот вопрос, и продолжает: — Если примите, то не буду пить...

Разумеется, такой искренний ответ вызвал дружный смех. И все же ему не отказали в приеме и посоветовали готовиться к экзаменам.

Второй случай произошел опять же с ним, с Арсланбеком. На вступительных экзаменах большинство из нас писали сочинение на тему: «Традиции Маяковского и современная советская поэзия». Так вот, сочинение нашего Арсланбека состояло из нескольких строк, которые и приведу полностью:

«Маяковский жил. До войны читал. А во время войны некогда было читать. После войны как-то не пришлось читать Маяковского.

Если меня примите в Литературный институт име-

ни А. М. Горького, то я тут же начну Маяковского читать и изучать»...

Я намеренно привел этот редчайший случай из практики института. Не всегда, разумеется, бывает так. Правда, Арсланбек был от природы одаренным человеком, писал в стиле народной традиции юмористические стихи. Именно эту сторону его таланта взыскательные экзаменаторы, очевидно, заметили; учли и то, что одаренному провинциалу необходимо получить основательное образование, потому-то он и был принят, да и учеба в таком единственном и престижном институте студентам из национальных республик и областей, кроме теоретической подготовки, давала знание русского языка, что переоценить, безусловно, невозможно.

А как можно забыть наши семинарские занятия, обсуждения произведений друг друга?! Были они, мягко говоря, самыми безоглядными, но зато принципиально живыми, честными и без каких-либо подстраховок и подхалимства друг перед другом. Вспоминая их, я и сейчас ощущаю пульс жизни, постоянных поисков и счастливых находок своих товарищей по институту.

Но и это еще не все. Мне, стихотворцу из далеких Алтайских гор, Литинститут дал еще и прежде всего — знакомство с Москвой. Полагаю, что это мое высокое чувство лучше выразить стихами, переведенными на русский язык поэтом Борисом Слуцким, который в свое время также был студентом этого учебного заведения.

Как мальчонка не выпускает подол
Мамкин,
 всю свою жизнь за Москвою я шел:
Худо мне — за Москвой,
Хорошо мне — за Москвой
Шел,
 и буду идти я, покуда живой.
Хвалят или поносят меня — все равно,
Потому что сквозь самую черную ночь
Мне Москва,
 как светящее окно,
Светит, греет и обещает помочь.

В переводах Бориса Слуцкого в Москве вышло два моих сборника стихов — один в 1970 году в «Советском писателе», другой в «Детгизе» в 1971 году. Говорю не ради бахвальства. Убежден, если бы в свое время я не учился в Литинституте и не получил бы необходимой закалки и подготовки в его стенах, то вряд ли бы взялся

переводить мои опусы такой взыскательный к себе и другим мастерам слова, каким был Борис Слуцкий.

Думаю, что, кроме прекрасных лекций о литературе и искусстве, которые в течение пяти лет читали нам такие знатоки словесности, как Геннадий Николаевич Поспелов и Валерий Яковлевич Кирпотин, Сергей Дмитриевич Артамонов и Валентина Александровна Дынник и многие другие, Литинститут дал возможность познакомиться и подружиться со многими поэтами и прозаиками нашей страны.

Близки и дороги мне имена и многих литераторов-москвичей.

Одним из них был известный советский критик Александр Николаевич Макаров, с которым я впервые познакомился в правлении Союза писателей РСФСР на совещании молодых. Этот человек оставил в моей душе очень яркий и неугасимый огонек. На том совещании Александр Николаевич тепло отозвался о моей первой московской книжке стихов — «Ветка горного кедра», вышедшей в «Молодой гвардии» в 1966 году.

После глубокого аргументированного обзора произведений молодых поэтов и прозаиков Российской Федерации, когда объявили перерыв, Александр Николаевич подошел ко мне, заинтересовался моей родиной — Горным Алтаем, поинтересовался много ли там пишущих братьев-писателей; а узнав, что я скоро заканчиваю Литинститут и собираюсь ехать домой, где у меня семья и нет самого главного в жизни семьянина — квартиры, не долго думая, привел меня к самому Леониду Сергеевичу Соболеву.

— Мы хвалим молодого поэта за его стихи, — начал Макаров, подойдя к Леониду Сергеевичу, и, представляя меня, сказал: — а он, оказывается, там, в Горном Алтае, живет почти под открытым небом. У него нет квартиры, Леонид Сергеевич. Вы как депутат Верховного Совета Союза ССР могли бы помочь...

Соболев тут же достал лист бумаги и сказал:

— Напишите на мое имя заявление, да поподробнее, а я в свою очередь обращусь в ваш обком партии...

Этот сугубо личный случай я привел, чтобы еще раз подтвердить свою мысль, что Москва и ее люди по отношению ко мне всегда светят особым светом.

Да, один из наставников нашего вуза Александр Николаевич Макаров был не только известным критиком страны, но и очень уважаемым и хорошим человеком.

О его простоте и искренности поэт Константин Ваншенкин — бывший выпускник нашего института, ныне его преподаватель, в своей весьма, я бы сказал, неожиданной книге «Наброски к роману» пишет: «Макаров разговаривал со мной совершенно на равных, проявляя интерес к моей более чем скромной персоне. Это было одно из его человеческих качеств — органическое внимание к молодым, уважение и заинтересованность...»

Я горжусь, что учился в Литературном институте и, честное слово, был не самым худшим его студентом... Именно в его стенах имел возможность видеть Михаила Светлова, Илью Сельвинского (он был моим оппонентом при защите диплома), Александра Коваленкова, Дмитрия Ковалева, Александра Яшина, Веронику Тушнову и многих других. Я учился вместе и в одно время с такими теперь известными поэтами и прозаиками наших братских литератур, как азербайджанец Фикрет Ходжа, даргинец Газым-Бег Багданов, карачаевец Ахмат Кубанов, русские Василий Белов, Игорь Шкляревский, Борис Примеров, Валерий Гейдеко, Николай Буханцев, Руслан Киреев и всем нам бесконечно дорогой Николай Рубцов.

Поколение за поколением заканчивает наш родной институт, где за время учебы и долгие, горячие споры о судьбах литературы сближались сыновья и дочери разноязыких народов и краев. Годы беспощадно и яростно мчатся друг за другом, многих унося за собой, как говорится, «в мир иной», а многим оставляя на висках седины-льдинки. Уносятся в вечность воды рек, гаснут на небесах недавно ярко горевшие звезды, а на их местах рождаются новые, пока еще безымянные и мало кому известные... Но тем не менее, диалоги, начатые в стенах института и общежития между нами, живыми, не прерываются,—слава Богу!—и поныне. Мы встречаемся и вновь радостно общаемся, дружески обнимаемся в Домах творчества, на съездах и пленумах Союза писателей, обмениваемся, к сожалению, довольно-таки редкими письмами, а также новыми книгами. Словом, так или иначе, Литинститут нам не дает забыть друг друга. Кто-то из нас, прочитав книгу своего бывшего сокурсника, по горячему следу пишет и публикует рецензию; кто-то кому-то, положим, посвящает стихи-воспоминания и даже книги. Доказательством тому, думаю, могут служить и стихи старосты нашего курса, уральского поэта Владлена Машковцева, являющиеся, на мой взгляд, своеобразным воспоминанием о нашей альма-матер той поры...

Всем свой путь предназначен,
Но в конце-то концов,
Где ты, Боря Укачин?
Где ты, Коля Рубцов?
Где Багданов — прекрасный?
Где другие живут?
Вспоминается часто ль
Наш родной институт?
Все не выскажешь в строчке...
Ждя в судьбе перемен,
Жили там мы, как в бочке
Жил чудака Диоген.
Изучая истории
Наших дней и веков,
Мы с профессором спорили,
Потрошили богов.
И в горячке, с апломбом,
Ставя точки над «и»,
Мы бросали, как бомбы,
Афоризмы свои...
Может, было нам тесно,
Разошлись без обид.
Кто-то станет известным,
Кто-то будет забыт...

Да, вне сомнения, кто-то из нас более известен, кто-то менее, но всегда будут летать самолеты и будут мчаться поезда со всех концов необъятной страны, где пассажирами будут юные, дерзновенные поэты, стремящиеся в Москву — на Тверской бульвар, 25...

1982 г.

У МОГИЛЫ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

Не стоит над могилою этой креста—
Солнце утром само над могилой встает.
И луна по ночам
Тихий свет свой над холмиком льет.
А холмы без числа
И без края поля,
Все четыре стороны света,
Вся земля
Поднимаются, встают как живые
И бегут, подбегают к холмику без креста.

Сколько нужно земли человеку?
Три аршина всего!
Тесен мир. Мало воздуха в нем.

Кроме хлеба и кроме земли,
Человеку свобода и правда нужны.

И поэтому он своей правды искал,
И поэтому бога искал своего,
И поэтому не признавал ничего.
Мир не принял и против властей выступал.

Сколько нужно земли человеку?
Три аршина всего!
Небо ниже и ниже спускается к холму
Потому, что оно в самом деле
Ниже холма.
Вся природа пришла поклониться ему.
И печально задумавшись,
У могилы стоит.

(Перевод Б.Слуцкого)

СЛЕПОЙ ПОЭТ

Запрокинув лицо, без пальто, налегке,
По бульвару столичному тихо и строго
Он проходит—

и черная палка в руке,
Как фонарик,
ему освещает дорогу.

Мы глядим ему вслед.
Мы глядим и — молчим.
Так с рожденья

без света

живет он на свете.

Не видал он родных материнских морщин,
Солнца, неба
И собственных строчек в газете.

Но стремительной жизни зовут голоса—
И на них откликается сердце.

И резче

Прорезаются

в кончиках пальцев

глаза,

И становятся видимы люди и вещи.

Видят клейкие иглы на ветке сосны,
Видят старого клена морщинистый панцирь,
Видят нежную руку любимой жены
Эти чуткие пальцы, волшебные пальцы.

Кто придумал, что звезды ему не горят?
Он их чувствует кожей!

Без ноток фальшивых
Набежавшие ветры ему говорят
О цветах, магазинах, дорогах, машинах.

Он не станет слезу проливать над собой,
У него, человека, решительный норов:
Разругавшись однажды с неправой судьбой,
Больше с ней не желает иметь разговоров!

Черной тряпкой глаза повязав поутру,
Захотела смирить человека?

Не выйдет!
Зрячий сердцем, поэт не приемлет игру
В эти подлые жмурки!

Он хочет — и видит!

О, взгляните же в это лицо, наконец,
Осторожные люди, на чувства скупые:
Если видеть (как зрячий) умеет слепец —
Стыдно зрячим ходить по земле, как слепые.

Вот смотрите сюда: без пальто, налегке,
По бульвару столичному

тихо и строго
Он проходит—

и черная палка в руке,
Как фонарик, ему освещает дорогу.

(Перевод И. Фонакова)

ТУЛААН— МЕСЯЦ ВОЗРОЖДЕНИЯ

(Об алтайском кайчи Николае Улагашеве)

Март, как известно, первый месяц весны. По-алтайски он называется Тулаан, то есть месяц Возрождения. Действительно, в это время вся природа оживает, и все растет, тянется к солнцу — травы, деревья. О меся-

це Тулаане в моем народе бытует много интересных пословиц и поговорок. Есть и такая, например, притча, что в это время пробуждаются семь слепцов подземного мира, при этом имеют в виду кротов, сусликов, сурков, барсуков, медведей и других зверей, которые спят всю долгую и холодную зиму.

Об этом месяце с символическим названием я не зря так подробно говорю. Если на Тулаан-месяц смотреть через годы и жизнь, через пути развития алтайской литературы, то он самыми тесными узами связан с рождением и многотрудной жизнью замечательного кайчи-сказителя Николая Улагашевича Улагашева, имя которого в Горном Алтае произносят с уважением, ставят высоко. Слава его с годами не гаснет, а, наоборот, обретает все больший общественный резонанс.

Помнится, на одном из литературных вечеров, посвященных жизни и творчеству Улагашева, интересную мысль высказал наш гость поэт Марк Юдалевич: «Март, оказывается, действительно имеет обновляющее значение не только в алтайской природе. У месяца Возрождения огромная заслуга еще и перед алтайской литературой. В этом месяце в долине Сары-Кокша родился великий сын небольшого по численности алтайского народа — Николай Улагашев! Разве это ни о чем не говорит?!»

И предложил в марте проводить Улагашевские чтения.

Теперь, вот уже несколько лет подряд, они проводятся успешно и широко. На них побывали многие гости — литераторы и ученые братских республик, областей.

О жизни и творчестве Николая Улагашева не так-то много написано. В свое время его творчеством и судьбой интересовались Павел Кучияк, Афанасий Коптелов и Сазон Суразаков. Однако та же Анна Гарф — фольклористка из Москвы — об Улагашеве упоминает лишь в связи с алтайскими сказками, которые она переводила на русский язык. Нам же неизвестны, к сожалению, даже подробности бытовой жизни сказителя... Каков был его характер, голос, каковы его привычки, чем он интересовался, что его привлекало более всего? Нет напечатанных воспоминаний о нем его родственников и близких. Знаем, что родился он в 1861 году в Сары-Кокше, а в середине тридцатых годов встретился с нашим писателем и первооткрывателем Павлом Васильевичем Кучияком, затем переехал жить в город; за свои героические сказания о борьбе богатырей против кровопролитных войн и различных несправедливостей он одним из первых в Горном

Алтае был награжден орденом «Знак Почета». Вот, в сущности, и все сведения, которыми располагает нынешний читатель. А жаль. Ведь то, что было утеряно, забыто вчера, трудно восстановить сегодня, и еще труднее будет это сделать завтра, через годы. К сожалению, касается это не только Улагашева. В нашей литературе и архивах области нет воспоминаний о зачинателе советской алтайской литературы Павле Васильевиче Кучияке. А надо бы помнить всегда о том, что человек не вечен! Вечна только память о человеке, о его добрых деяниях... Мне думается, что пока здравствуют, ходят среди нас и работают, почти ежедневно общаются с нами дочери и сыновья Павла Кучияка, следовало бы немедленно начать сбор нужных документов, материалов и воспоминаний о писателе, чтобы потом не сказать: опоздали. Также пора бы уже подумать и о сборе материалов о жизни и творческом пути другого нашего писателя — Чалчика Чунижекова, поэта и прозаика Лазаря Кокышева, ученого и литератора Сазона Саймовича Суразакова. Время идет. А настоящих очерков-эссе об этих писателях и общественных деятелях алтайской литературы и культуры пока нет. Исклчением является документальная повесть Аржана Адарова «Дорога в большой мир», посвященная Лазарю Кокышеву. В народе, видимо, не зря говорится, что одна голова хороша, а две лучше. Воспоминанием лишь одного из нас все же трудно, мне думается, воссоздать живой и полнокровный образ того или другого человека, даже если он был твоим лучшим другом и братом. Что-то, безусловно, упустишь, что-то останется вне твоего поля зрения.

Возвращаясь к личности сказителя-кайчи Николая Улагашева, вот о чем хочу рассказать. Десять лет назад я работал в областном радиокомитете. Мне, как литератору, поручили сделать радиопередачу о Николае Улагашеве, об этом удивительном и мудром слепце. Слепота и книги, безграмотность и мудрость — как все это сочеталось в нем? Мне захотелось найти и сказать о нем свое слово, выразить личное отношение к нему. Но с чего начать, как сделать это интересней?.. В фонотеке областного радио не сохранилась пленка с голосом кайчи. Куда там! Очевидно, тогда было еще труднее записать и сохранить кай — древнейшее искусство горлового пения, кстати, сохранившееся не у многих народов нашей страны. Наш кай — это не такой, скажем, как у тувинцев, у которых лишь воспроизводится музыкальный речитатив

посредством горлового пения. Кай алтайского сказителя-кайчи непременно сопровождается рассказом-сказанием о бесстрашной борьбе богатырей за правду, против несправедливости и черного зла. Вся сложность исполнительского искусства алтайского сказителя-кайчи заключается, на мой взгляд, в оркестровой многозвучности. Имея под рукой лишь один музыкальный инструмент — двухструнный топшур, волшебством собственного голоса всего один человек умудряется передать звон и ярость мечей, богатырских доспехов, пение птиц, шелест трав и листьев, топот коней и так далее.

Делать о жизненном и творческом пути кайчи радиопередачу без его живого голоса, не используя каких-то других записей, документальных рассказов, немыслимо. Заранее ясно, что такая передача будет скучной, вероятнее всего, никого не заденет и не заинтересует. А как быть? Много ли осталось живых свидетелей, близко знавших моего героя? И тут-то я вспомнил учительницу Чолушманской средней школы, что в Улаганском аймаке, внуку великого старца-сказителя Лидию Иннокентьевну Улагашеву. Школа, где она работает, находится недалеко от знаменитого Телецкого озера; на левом берегу впадающей в озеро большой горной реки Чолушман стоит селение с веселым названием Балыкчи, что значит «рыбак». Туда можно добраться вертолетом. А почему бы не полететь?.. Так я прилетел в село Балыкчи и встретился с Лидией Иннокентьевной Улагашевой. Она охотно вспоминала, со знанием дела рассказывала о своем дедушке и о том, как училась сама на тогдашнем рабфаке.

И вот ныне, в месяце Тулаан-Возрождения, ровно через десять лет, среди своих бумаг я обнаружил текст той радиопередачи. Перечитываю, конечно, с интересом, полагая, что запись не утратила своего значения. Жаль только, что на русском языке трудно будет передать всю прелесть, неповторимость и поэтическую красоту речи рассказчицы Лидии Иннокентьевны Улагашевой, не говоря уже о диалектных особенностях, которые, на мой взгляд, как-то детализируют и показывают языковое своеобразие кокшинских тубаларов.

Итак, используя воспоминания внучки Н. У. Улагашевой, решаюсь поразмышлять о личности удивительного сказителя, о нашем времени.

Л. И. Улагашева: «Когда имя моего дедушки узнали многие люди, пошла странная молва, что, мол, в Ойрот-Туре (бывшее название г. Горно-Алтайска.— Б. У.) живет

кайчи Улагаш, у которого полный дом богатства, а все долины Алтая заполнены его белым скотом... Куда там, какое богатство, какой там белый скот! Бедняк, как говорится, вот и все! Видать, люди многократно, тут и там слыша его имя, по привычке подумали: вот новый бай появился! Раньше-то громко так восхищались только богатством баев да зайсанов... Слава, неожиданно упавшая на его седую голову,—вот и всё его богатство!» — Лидия Иннокентьевна громко смеется. На широком лице сияет радость, и в то же время глаза смотрят испытующе. Потом продолжает:—«Деда своего я помню с малолетства, лет с четырех. В то время мы жили в Паспауле. Слыхали, в Чойском аймаке есть такое селение небольшое? А дедушка жил отдельно, в другом месте, в Сыгын-Тале. Сыновья его Сарыбей-ага и Карман-ага были тогда живыми и здоровыми. Они сопровождали деда, когда тот приезжал к нам в гости. При каждом приезде дедушка нам привозил кедровые орехи, медвежье сало, талкан. Он любил угощать... Нет, я все помню. Даже хорошо помню!.. Дедушка, хотя был слепым, но лазал по кедром ловко — такого искусного мастера трудно найти!.. Подымись на любой кедр осенью, покачай его крепко, стукни ногами по сучьям, и тут же на землю посыпятся переспелые шишки. Дедушка был очень сильным человеком... Кроме того, хотя и не помногу, но все же по две коровы держали они — дедушка и его дети. Значит, молоко имелось, сырчик алтайский тоже. Из квашеного молока, как все, варили араку. Надо сказать, что дедушка очень любил алтайскую араку. «Это же сок чистейшего молока!» — помнится, не раз говаривал дедушка, отпивая из деревянной пиалы. Она у него была сделана из нароста березы. А его сыновья—Сарыбей-ага и Карман-ага? Если им не охотиться на медведя, на других зверей, чем же еще заниматься? Вот и охотились. Убивали и медведей, и волков, и маралов, и прочих больших и малых зверей. У деда и старшего сына его была в Сыгын-Тале небольшая юрта, крытая белым войлоком, рядом с которой стояла маленькая избушка. А в нашем Паспауле жили русские и алтайцы. Смешанное население, дружное...»

Лидия Иннокентьевна—человек общительный. Долгие годы работая учительницей, привыкла — это заметно сразу — говорить четким и ясным голосом, не торопясь и доходчиво. Слушая ее рассказ, я про себя отмечаю

¹ Талкан — мука из жареного ячменя, молотая на каменной зернотерке. (Здесь и далее прим. ред.)

интересные слова, мне до сих пор незнакомые обороты. От некоторых из них современные литераторы и журналисты отказываются. И зря. Надо их знать и уметь использовать. Иногда одно единственное слово восстановит, расскажет, нарисует многое... Как хорошо, что в наше время имеются различные записывающие аппараты! Вот и мой «Репортер-6» работает вместе со мною, записывая мои вопросы и ответы Лидии Иннокентьевны.

«Когда приезжал к вам дедушка, какие люди собирались в вашем аиле, всегда ли кайларил Николай Улагашевич?» — спрашиваю я.

«Понимаю-понимаю, — живо откликается Лидия Иннокентьевна. Как забыть? Просто невозможно! Как только соседи заметят у нашей коновязи дедушкиного черного коня без единой отметины и коней моих братьев, будто по команде направятся все к нам — и старики-старушки, и девушки, и парни. Придут к нам, как на большой праздник, — красиво и чисто оденутся. Если это случится зимой, то в избе жарко и тесно. В железной печи трещат дрова. Дедушка пел, подыгрывая себе на топшуре¹. Коль он приехал летом, то в юрте будет большой огонь. Красное пламя, красные лица. Гудит пламя, гудит дедушкин голос. Всегда было так. Пока он находится у нас — в нашем доме будет звенеть кай! Неизменный черный казан будет кипеть на огне очага. Различные рассказы и разговоры будут продолжаться и длиться день и ночь. Всегда так.

Дедушка всегда гостил у нас по неделе. Нас, жителей Чойского аймака, зовут тубинцами. Говор у нас — тубаларский. Так вот все тубинцы или тубалары Паспаула соберутся к нам, пока дедушка находится тут. Дед наш, как очаг или костер какой-то. Сидят вокруг него, словно греются. Все будут следить за его лицом, как птенцы следят за матерью, севшей на край гнезда, иногда забывая, что уже настало утро, не замечая, как давно землю накрыла темнокрылая ночь, слушая богатырские сказания об Алтай-Буучае и Алып-Манаше. А мы, особенно девушки, любили слушать «Сынару» — горькую сказку о девочке-сироте, о ее сначала тяжелой, а под конец радостной судьбе.

Дед сперва просто рассказывать начнет, потом возьмет топшур и густым, завораживающим голосом начнет петь. Слушая эту удивительную сказку, раньше всех не сдержат

¹Топшур — двухструнный алтайский народный музыкальный инструмент.

слезы, конечно, женщины, какая-нибудь старушка, а в след за ней — мы, девчушки... А дедушка словно забудет, что вокруг него сидят люди — еще сильнее начнет петь. Забыв о нас, как говорится, начисто, он совсем уйдет в страну своих сказаний. Да, он забывал о нас. Бывало, тут же начнет вести какие-то разговоры и беседы с героями-батырами своих сказаний. Удивительное дело!.. Он глубоко верил всему, что происходило в древних преданиях. Сколько раз видела я своими глазами, как страдал и плакал дед мой, поведав о тяжелой судьбе, о страданиях и гибели добрых батыров. Бывало, и радовался, как ребенок, когда побеждали богатыри, воскресали, живыми, радостными, возвращались к своим очагам, в «солнцеподобный солнечный Алтай». В честь победы и счастья своих героев дед непременно выпивал пиалушку араки. Да, да... За правду он болел и страдал, за ложь и коварство тоже болел и страдал. Но всегда любил повторять за Сай-Солонг-батыром, победившим злого Кара-Кулу: «Под рваной шубой бедняка может оказаться храбрый богатырь, под старым алтайским потником может оказаться крылатый аргамак...»

Великий сказитель-кайчи Николай Улагашевич Улагашев родился, как уже говорилось, 17 марта 1861 года в долине Сары-Кокша. Об этом знает, видимо, каждый школьник Горного Алтая. В 1946 году, когда ему было 85 лет, умер он в Ойрот-Туре. Как видите, прожил он большую жизнь. Долгая была его дорога, но и горе его не меньше длилось. В годы революции, в начале советской власти было Николаю Улагашеву всего сорок пять лет. Но эти его годы — от детства до зрелости — прошли в темноте. Цветущим юношей в шестнадцать лет он ослеп от трахомы.

С 1937 года имя Николая Улагашева стало звучать как имя даровитого кайчи Ойротской автономной области. Потом слава его разнеслась по всей Сибири. Через новосибирских деятелей культуры, поэтов, обратившихся к творчеству сказителя, И. Мухачева, А. Коптелова, Е. Стюарт, А. Смердова об Улагашеве узнали в Москве. Переводы его эпических песен стали печататься на страницах журнала «Сибирские огни», о нем писали в центральной прессе, а журнал «Октябрь» в двух номерах за 1939 год напечатал обширный очерк Павла Кучияка «В гостях у кайчи».

— Много ли сказок вы знаете? — однажды спросили у кайчи.

— Много! — ответил сказитель и после некоторого раздумья уточнил. — Больших поэм знаю десятка три, а простых сказок, пожалуй, более сотни.

Все ли эти сказки сохранены? Нет, к великому нашему сожалению, не все. В некоторых случаях сказки и сказания великого кайчи записывали не имеющие достаточного опыта люди. Не все записи в свое время были обнародованы. Они как-то забылись, а со временем оказались утраченными.

Но все ли? Как знать, может быть, где-нибудь какая-то из записей сказок Улагашева лежит как найденный самородок. Крайне необходимо провести розыски в различных хранилищах и архивах; всем, кто причастен к слову, надо покопаться среди своих личных бумаг, вдруг вы наткнетесь на одну из сказок великого и мудрого старца-алтайца!..

Однако предоставим слово вновь внучке великого кайчи...

Л. И. Улагашева: «Да, дед мой знал много сказок и обширных сказаний. Иногда он во время большого вдохновения, что ли, с утра и до утра, не смыкая глаз, мог петь. Удивительно, но он никак не поддавался сну...

Но вот дедушка начнет собираться домой. Тут опять придут люди. Они никогда деда не отпустят без подарков. Где там... Переметные сумы наполнят ячменем и пшеницей. Дадут на дорогу, чтобы в пути, как говорили провожающие, смачивал горло, кожаный тажуур, полный араки.

У Карман-ага светло-серый конь. А у моего дедушки конь чисто вороной масти. Черный, как бархат. Шерсть его, отдохнувшего, пока хозяин находился в гостях, сверкала под лучами солнца, как ворс черной выдры. Смирный конь, большой и сильный. К тому же — быстроходный. А дед мой был широкоплечий и высокий. Руки его были, помню очень хорошо, длинные, а ладони

Кроме вороного коня, другому трудно будет поднять и по горным дорогам везти дедушку. Карман-ага навьючит мешки с зерном на своего коня и поедет поводом вперед. Между Паспаулом и Сыгыз-Талом будет около пятидесяти верст. Так и едут...

Кажется, стоял 1928 год. Да, так. Мне — шесть лет. Думаете, в это время в Сыгын-Тале люди жили гурьбой, в одном месте?.. Нет уж, совсем не так. У каждой семьи — свой излюбленный ложок. Свои покосы. Причем все мы делились по родам-сеокам. В одном логу — комножи, в другом — дюсы и т.д. По соседству с нами жили Акпыжаевы из рода дюс. А сыновья дедушки жили в своих юртах, отдельно. Все были женатыми. Гостей и там бывало много. Приезжали отовсюду, через броды больших рек, из-за высоких гор... Собирались, как ни говори, специально для того, чтобы только слушать кай моего дедушки. Приезжали из Куюм-Бажи, Толгоека и других дальних мест. Я забыла вот какую деталь: дедушка летом кайларить не любил. Очень редко пел. А вот настанет зима — дело другое. Он пел по ночам и при этом говорил, что укорачивает длинную шею скрипучей и злой зимы...»

Б. У. А потом?

Л. И. «Мы опять в Паспаул перекочевали. А в Сыгын-Тале началась коллективизация. Мой отец, став членом колхоза, работал на вытапливании серы из еловой коры. Там же еще, в местечке Арок, он гнал деготь. Сарыбей-ага и Карман-ага в это время жили и работали в Бирюлинской артели...

Б. У. А где жил ваш дед?

Л. И. Дедушка до самого тридцать седьмого года жил у нас. Жить-то жил, но не кормился за наш счет. Наоборот — нам помогал. Дед любил работать. Я уже говорила, что у него была большая сила. Только дай ему работу в руки, обеспечить работой, а там дело пойдет. Дед был прекрасным шорником. Мастером своего дела. Колхозу мастерил узды и шлеи, седла. Председателем нашего колхоза был Ермила Болотов, который очень любил деда и помогал ему во всем...

Как, спрашиваете, назывался наш колхоз? Тогда длинных названий колхозам-совхозам не давали. Наш колхоз назывался «Тан-Чолмон». А у Ыжи-Бажи, где располагался этот крохотный колхоз, земля была жирной

¹Тан-Чолмон — утренняя звезда.

и богатой. Хочешь — держи и корми скотину; хочешь — паши землю, сей и выращивай ячмень. Там колхозники держали и оленей. Огромный и высокий был загон для них. Он бесконечным кругом обходил большую гору. Помнится, мы любовались оленями... Нашими соседями были Мекийт Сеулеков, Василий Батканов, Санат Кардаев. Хорошие люди. Все они — и старшие, и младшие приходили к нам. Подолгу сидели, молча ожидая, когда дедушка возьмет в руку свой двухструнный топшур. А иной раз тихо мне на ушко шептали: «Лида, поговори с дедушкой, пусть нам расскажет новую сказку или ту, которую в прошлый раз не успел закончить»... Смех и горе! Я до сих пор удивляюсь, как может слепой человек «увидеть», что я в середине сказки вдруг начинаю засыпать. Поэтому дед, прежде чем начать рассказывать сказку или петь сказания, всегда подтрунивал надо мной: «Нет, я такой ленивой внучке не буду сказывать сказки. Она всегда спит. Не люблю засонь...»

Нас, детей, в семье было пятеро — четыре девочки и один мальчик. Младшую звали Зоей. Дедушка всех больше и сильнее любил именно ее, Зою, очень жалел и баловал. Они всегда ходили вдвоем в магазин. Сестричка моя держалась за дедов посох... Приносили пряники, печенье, конфеты... Ох, какие сладкие! Теперь, кажется, таких нет... Так мы жили и росли...

Я спустилась с гор в Ойрот-Туру. Город! Столько тут людей, лучше молчи... Кружилась голова, трудно среди них ходить, конечно, после тишины Сыгын-Тала. Я поступила на рабфак и стала там учиться. Вот в эти самые годы деда привезли в город. Его, как говорили тогда, словно про иголку, нашел в урочищах Чойского аймака Павел Кучияк. Говорили, что сказки деда «подошли законам» нашей новой власти. Когда дедушка переехал в город, я к нему прибегала не раз и не два. И мой отец, и другие дети, внуки и внучки бывали у него часто.

Никак не могу забыть, как деда отправляли в Москву, чтобы вручить орден. Говорили, что сам Михаил Иванович Калинин даст ему орден. Не вручит, как бы мы сказали, а даст. Об этом много шло разных разговоров по городу и по всем аймакам области. Как не быть разговорам-то?! Ведь не каждый же день награждают, тем более таких стариков, каким был мой дед. «Знак Почета» — хороший орден, почетный орден. Мы брали его в руки, любовались

¹Н. У. Улагашев. Алтай-Бучай. Ойротский народный эпос. Под редакцией А. Коптелова. Огиз. Новосибирск, 1941, стр. 15 — 16.

и бережно гладили ладошками. Но в то же время недоумевали, почему об этом так много толкуют. Казалось бы ничем не отличается, например, от значка МОПР, а разговоров... Но нам терпеливо объясняли, мол, орден — это великий почет, большая, небывалая в жизни бывшего алтайского бедняка честь и радость. А если хочешь иметь значок МОПР, пожалуйста, вступи в организацию и у тебя такой будет...

Дед тогда жил у Павла Васильевича Кучияка. У него, у Кучияка, была большая семья. Вот прибавился дед, да еще приходили к нему гости из Чои, родственники, внуки и внучки, вроде меня... Уму непостижимо, как только тогда писал и работал сам Павел Васильевич! Причем когда мы приходили к ним целой гурьбой, никогда не смотрел на нас косо. Был всегда веселым и общительным человеком, гостеприимным и шутливым. Таким его помню. Да, если бы не Павел Васильевич, откуда моему дедушке стать орденоносцем и таким знаменитым! Действительно, выходит, что его, темного, никому не известного старика, отыскивали и показали всему светлomu, читающему, чистому миру. И в этом первая заслуга ума и благородства писателя Кучияка! Сильно и вовремя он помог. И потому для моего деда дороже, мудрее, грамотнее Кучияка не было человека.

И на самом-то деле тогда кто мог сравниться в знании культуры Алтая с Павлом Кучияком? И сегодня такой талант не сразу найдешь.

Дедушку весной провожали в Москву. Помню, как я провожала его до городской пекарни. Широкая спина деда все удалялась, а я стояла и плакала, мне казалось, что дедушка больше к нам не вернется...

С ним поехала сестра моя — Уренчи. Сопровождал сказителя до самой Москвы и обратно Василий Кокушев, человек интеллигентный, очень — по тому времени — грамотный.

Уренчи — старшая дочь старшего сына дедушки. Они уехали, а я все стояла на том же месте. Под ногами мокрая весенняя земля. Солнце сияет. Тает, шуршит снег...

Прошли дни. Как-то прихожу в рабфаковскую столовую, подруги мне говорят:

— Лида, в газетах приклеили карточку твоего деда! Там он как живой стоит! Иди, глянь...

Смотрю. Правда! Мой дедушка! Он же смотрит на меня?! Потом выяснилось, оказывается, на станции Алтайка сфотографировали деда, стоящего на ступени

вагона, в котором он едет. В черном пальто, в такой же черной шляпе. Мне теперь думается, что, глядя именно на этот богатый снимок, люди придумали ту самую легенду о сказителе-богаче.

Вернувшись из Москвы, он остановился в Ойрот-Туринской гостинице и некоторое время жил там. Мы ходили к нему в номер. Дедушку моего, как большого кайчи, кормили белым хлебом. Ясно, и мы лакомились. Каким бы ни был хлеб белым и пышным, но дедушка оставался все равно недовольным. Говорил: «Алтаец должен есть нарезанное кусками мясо. А где найдешь сытнее и вкуснее пищи, чем талкан? А что может сравниться с кочё'? Вот что сварили бы мне сейчас. Кто бы приготовил кочё в паршивой Ойрот-Туре?» — Сердился и жаловался старик. А мы, с Уренчи-эде, слушая его, удивлялись и смеялись. Не может быть, чтобы алтайский талкан был лучше белого хлеба! Может быть дедушка шутит с нами, хитрит?!..

Б. У. А вы сами не пытались записывать сказки своего дедушки?

Л. И. Позже дед жил на улице Ойротской, дом 22. Хотя туда я ходила часто, но в голову даже не приходило, чтобы самой заниматься сказками. Да он и не стал бы рассказывать мне. Такой маленькой, как я, доверял бы старик! Ему подай серьезного человека, такого, как Кучияк...

Дедушке дали отдельную квартиру. В одной из комнат, тут же рядом, жила секретарь, записывающая его сказки. А Кучияки, кажется, тогда жили на Карагужинской улице.

Я хорошо знала Анфизу Сергеевну Роголеву — девушку, которая записывала сказки деда. Она училась в педучилище. Красивая была, стройная, большеглазая. Простая и разговорчивая.

Много читала, много знала. Сама из Чолушманской долины, где теперь работаю я. Ее родина стала моей родиной.

Анфиза Роголева сразу же понравилась дедушке. Видимо, она сумела найти к нему подход. К тому же, у Физы была отличная память. Слушала деда и запоминала сказку. Слово в слово. Потом уже переносила все на бумагу. Старый сказитель к ней относился ласково. Старался медленнее и доходчивее говорить, когда Физа

'К о ч ё' — алтайское национальное блюдо, бараний суп-отвар.

начинала записывать. А старик был вообще-то с характером. Даже упрямым! Кто не по душе, хоть что делай — рта не раскроет. Или нарочно начнет говорить быстро-быстро, чтобы потом сердиться, возмущаться: почему плохо записываешь? А то и вообще отказаться от дальнейшей работы с таким человеком: «Что, у тебя дырявая голова? Нет, мне не нужен человек, у которого голова, как сито!» Конечно, после этого сам не захочешь работать с задиристым и вредным стариком. А Физа Роголева умела работать быстро и бережно. Я не один раз слышала, как хвалил ее дед, когда ему читали записи сказок: «Наша Физа, — говорил дедушка громко, — умница! Ни одного моего слова не уронила и ни одного от себя не добавила. Вот молодчина-якши! Грех исказить жизнь батыров, дочка. Позорить святых батыров никак нельзя! А ты хорошо пишешь!..»

Роголева, под диктовку деда, с его слов записала много сказаний. Они почти все изданы. Закончила она педучилище и уехала работать. После этого секретарем дедушки стал в то время тоже студент (впоследствии ставший доктором филологических наук и профессором, изучая именно алтайский народный фольклор, в частности, глубоко исследуя жанр эпоса — Б. У.) Сазон Саймович Суразаков. И Александра Федоровна Саруева, ставшая известной поэтессой Горного Алтая, записывала сказки деда. Тогда Саруева была тоненькой девчушкой, стройной и остроглазой...

Началась кровавая война. В то время Александра Федоровна, наверное, была уже в Ленинграде. Училась там... А секретарем деда стала другая... Маскачакова Бабадай. Я и ее хорошо помню. Муж ее был русский, детей много, кажется...

Бабадай была доброй женщиной. Беда, что, видать, она не умела записывать. Дед отказался от ее записей. Коль он отказывается, стало быть, ни одна редакция ими не заинтересуется. И потому записи ее отдельными книгами на свет не появлялись. Где они? А так и растерялись. Жалко, конечно... Возможно, что в них-то и заключены еще какие-то новые страницы нашего богатого и нескончаемого эпоса? Бабадай давно умерла. Кажется, в Эликманаре живет кто-то из ее детей. Но кому, скажите, нужны какие-то старые непонятные записи, на разных клочках, между строчками старых газет?..

Б. У. Видно, дед был человеком действительно строгого характера.

Л. И. И не говорите!.. Он был и строгим, и ласковым. Как только я приду из рабфака, перешагну лишь порог его дома, он услышит мой голос, тут же позовёт: «Подойди сюда, дочка-кызым, а что ему делать, коль глаза не видят? Погладит меня осторожно, «посмотрев» так, вздохнет глубоко и непременно скажет: «Законы Советов учат тебя, балам'. Если не хочешь быть темной, то старайся, учись хорошо, не ленись...» Потом придвинет к себе ящичек стола, достанет оттуда деньги и даст мне. Покормит белым хлебом. Чтобы выучить меня, дедушка сильно старался, ничего не жалел. В те трудные годы, если бы не помощь дедушки, мне не закончить бы рабфак!..

Б. У. На вашей родине, я имею в виду Чойский аймак, много ли было сказителей, подобных Николаю Улагашевичу?

Л. И. Такие, как дедушка, может быть, и были, не знаю. А вообще сказителей в наших местах, в нашей чащобе раньше, говорят, было много. Думаете, что дед мой сам по себе на пустом месте вырос таким знаменитым? Конечно, сперва он слушал других кайчи, приноравливался к ним, учился у них. Но тем не менее, о нашем роде шла молва, что мы потомственные, от самого Кудая-Бога, кайчи. Отец дедушки тоже был известным сказителем-кайчи. Он прежде был славен в нашей кедровой чаще. Но последним сказителем из нашего сеока-рода был и остался мой дед — Николай Улагашев, о ком мы с вами ведем долгую беседу. Как бы он (смеется — Б. У.) теперь не явился к нам, чтобы поругать за такое беспокойство!.. А сыновья его и не старались брать в руки топшура...

Б. У. У алтайского кайчи Николая Улагашевича Улагашева было мудрое сердце, волшебное и поэтическое. Он с малолетства боролся за свою правду, не боялся и ни перед кем не прятался за свое слово! Свидетелем тому является, например, очерк Афанасия Коптелова о талантливом сыне алтайского народа, предваряющий сборник переводов на русский язык алтайских героических сказаний:

«Однажды в долину Сары-Кокша приехал зайсан Сапрок со своей свитой из самых богатых баев. Все они были пьяны. Зайсан потребовал к себе Н. У. Улагашева:

¹Б а л а м — дитя

« Пусть поет самое хорошее. Скворцы своим пением славят тайгу, слепые старики — славят старших».

Но Улагашев ответил зайсану:

— Мои песни горьки.

— Пой и такие. Посмотрим, что за яд в них... Не будешь петь в проводники возьмем. Заставим дорогу показывать.

Николай Улагашевич молча сел на коня, конь вышел на тропу впереди всех всадников. Кайчи повернул голову и крикнул во весь голос:

— Слепые не могут обходиться без поводырей! Но если слепого берут в поводыри, значит есть люди слепее слепых...»

Улагашев — всегда оставался Улагашевым. Талант и доброта, как видно, крепкими узами связаны с мужеством и отвагой певца.

Л. И. Да, был он таким. За словом в карман не полезет. Остроязыкий. Но упрямства тоже не лишен. Молчание его длилось долго, коль на что-то обидится. Любил точность и прямоту. Особенно, если дело касалось его колхозного труда и заработка. За шорничество ему начисляли трудодни. Имел дело только с самим председателем артели. Мало доверял другим...

Как он начинает кайларить-петь, нельзя его останавливать, прерывать. Дело твое, как хочешь записывай! Иначе превратится в скалу и будет молчать. Прямо скажу, что труден путь к его сердцу. Но зато сумеешь открыть его душу — веселее и добрее не найдешь человека. А какой у него был голос! Сильный, бархатистый. Мне самой приходилось слушать его уже взрослой не один и не два раза. Доныне я голоса такого больше нигде не встречала. Когда училась на рабфаке, приближаясь к зданию областной почты, я невольно прислушивалась, чтобы услышать голос-кай деда. Музыка его кая всегда встречала меня. А от почты до квартиры деда, по меньшей мере, 500—600 шагов. Конечно, надо учесть и то обстоятельство, что в то время Ойрот-Тура была не таким, как нынешний Горно-Алтайск. Тогда по улицам и грязным переулкам Ойрот-Туры не бегало столько машин. Их было совсем не видать. Тихие и пустые улицы. Коль не мешают другие шумы, куда же деться музыке кая? Но голос деда все равно был мощным. В жизни своей я много слышала исполнителей кая, но такого до сих пор не хватает мне. У деда большая грудь, оттого-то у него дыхание длинное. Голос долго переливался, словно

там, где-то в гортани, имел он какие-то перекааты и через них непрерывными потоками бежали бурливые и чистые волны звуков.

Б. У. Выходит, Николай Улагашевич Улагашев должен быть человеком довольно счастливым. В 1939 году одним из первых, наряду с такими классиками советской литературы, как Алексей Толстой, Александр Фадеев, Михаил Шолохов, награжден орденом «Знака Почета». Не знаменательно ли, что народный сказитель был отмечен народным правительством...

Л. И. Да, сказки, я бы сказала, живут в крови, в душе народа! Любое устное народное творение, подумайте сами,— маленькая сказочка или огромный эпос,— прежде всего кому адресовано? С какой целью и зачем, спрашивается, создавали этот коллективный труд? Конечно, это жажда народа, мечтающего изменить окружающий мир, сделать жизнь свою лучше и красивей. Люди верили в свои слова и дела. Ведь я же говорила, что мой дед, проживший большую и долгую жизнь, глубоко и искренне верил в действительность тех событий, о которых он сам пел и рассказывал.

Б. У. Скажите, а как относится теперешняя молодежь Чолушмана к алтайскому каю, героическому эпосу, сказителям?

Л. И. Что ответить? Вот факты: где-нибудь на пастушьей стоянке, особенно в летнее время, ведь овцеводы далеко к белкам перекочевывают, хорошо, если есть приемник. Спасибо им, приемникам. При помощи их наши пастухи и их дети через горы и доли слушают голос родины. Говорю громкие слова?.. Но это на самом деле так!.. Вот по областному эфиру, допустим, звучит кай или народные песни. Я сама не однажды замечала и видела своими глазами, как молодые собираются вокруг радиоприемника, словно из-под земли встал кто-нибудь из кайчи и пришел к ним в гости. А среди этой молодежи много школьников. Они в летние каникулы находятся на стоянках, у родителей.

Слушая радио, некоторые юноши и девушки сами учатся играть на национальных инструментах. Интересуются топшуром, комусом, играют на икили. Молодежь никто не заставляет играть на этих древних инструментах. К сожалению, в наших школах нет пока специальных уроков, чтобы научиться играть на них. Конечно,

при этом никто не хочет отвергнуть, например, баян или гитару. Даже если и захочешь, ничего не получится — воля времени не зависит от нашей прихоти.

Далее хочу подчеркнуть и такую немаловажную деталь. Вы знаете наш Чолушман и его людей. В здешних местах еще в прошлом веке был построен монастырь. И потому-то тутошние алтайцы-теленгиты с давних времен приняли крещение. Чисто алтайские песни, музыкальные инструменты были отвергнуты церковниками. Чолушманские алтайцы редко поют народные песни. Народные музыкальные инструменты почти забыты. А теперь начинается новое рождение, там и тут стали звучать наши мелодии... В нашем Улаганском аймаке даже мало людей с алтайскими именами. Жива еще церковная традиция, послушайте: Магдалина, Онуфрий, Трифон, Севастьян, Исаак, Авраам... При помощи церковных запретов, насилия попы всеми силами старались погасить языческий дух народа, но, оказывается, вынуть душу народа невозможно. С приходом нового времени, советской светлой власти, народное возродилось и возвращается к народу, вновь им осваивается.

Всюду сегодня знают имя Алексея Григорьевича Калкина. Хотя он ныне живет в Усть-Канском аймаке, но является уроженцем нашего Улаганского, так сказать, крещеного аймака. Сказитель он очень хороший, и советского времени сказитель. Я с большой охотой слушаю передачи о нем, как он ездит почти по всей стране, пропагандируя алтайский кай. Я горжусь его именем, как именем родного деда. Иногда мне кажется, что будто воскрес мой дед и снова продолжает петь. Алексей Григорьевич Калкин еще юношей встречался с моим дедушкой.

Сейчас у нас много стихов, поэм. Много выходит книг на алтайском языке — сборники рассказов, повести, даже толстые романы есть. То есть, хочешь читать — выбирай на вкус. Но в то же время, на фоне современных достижений алтайской литературы, древние поэмы-сказания значения былого не теряют. Тома «Алтайских богатырей» сегодня в каждой семье и в любом доме есть. Значит, маршруты древнего эпоса еще больше расширяются, особенно в связи с переводом их на русский язык. Таким образом, древние богатыри живы и действуют среди нас, помогают людям трудиться и вдохновляться на хорошие дела. Нет, нет, о маршрутах эпоса я сказала не без обоснования, послушайте... Живет в Чолушмане

ветеран Великой Отечественной войны Пантелей Семенович Тужалов. Однажды он приходит ко мне и рассказывает такую историю: «Поэма вашего деда Николая Улагашевича Улагашева «Малчы-Мерген» во время войны была всюду со мной — и в тяжелой солдатской дороге, и на полях сражения, и в окопах. Книгу эту мне прислали родственники с Алтая. Они писали мне, чтобы я всюду помнил святую алтайскую землю, был непобедимым батыром в кровавой войне, как Малчы-Мерген. Если ядовитой пулей поранят тебя, заклинали родственники, если даже убьют тебя, ты воскресни и побеждай своего врага! Так что и книга вашего деда сражалась с фашистами... Вот она, эта книга, ее обратно привез я с кровавых полей фронта на родной Алтай, в родные горы Чолушмана...»

Так мне говорил, показывая книгу деда, фронтовик Пантелей Семенович Тужалов. Видите, какие маршруты у батыра-алтайца Малчы-Мергена! Уверена, что все зависит от нас самих. Наследники этих богатств мы, алтайцы! Отсюда следует — как мы будем относиться к родному и древнему слову, так оно и отзовется: и в настоящем и в будущем...

Много воды утекло, много времени ушло, как не стало Николая Улагашевича Улагашева. Но река великого алтайского эпоса течет из седой древности, питая звонкие ручьи современной поэзии моего народа. Исполненные, а может быть, и сотворенные Улагашевым эпические поэмы — душа и плоть алтайской письменной литературы. Собрание героических сказаний «Алтай-Батырлар» открывается поэмами Николая Улагашева. Неподражаемая эпическая музыка его сказаний до сих пор волнует и покоряет нас, людей конца двадцатого века.

Кай — это великое достояние моего маленького по численности и гордого народа. Хорошо, что древняя наша песня живет сегодня вместе с нами, и ныне оставаясь бесценным богатством Горного Алтая и всего тюркоязычного мира. Бессмертная и жаркая песня кая, как огонь, бежит по двум струнам древнего алтайского топшура.

Ныне у нас широко известно имя Алексея Григорьевича Калкина, одного из самых талантливых последователей Улагашева.

От А. Г. Калкина записан «Маадай-Кара», этот поистине великий эпос. В 1973 году он вышел в серии

«Эпос народов СССР». Позже «Маадай-Кара» переведен на русский язык поэтом Александром Плитченко. В Горно-Алтайске и Новосибирске поэтический перевод вышел в великолепном оформлении художника Игната Ортонулова, завоевал широкую популярность среди многонациональных читателей Алтая, Сибири.

Один из алтайских богатырей — легендарный Сартакпай — был строителем. Не просто строителем, а мостостроителем...

Духовный мост дружбы народов с древних времен перекинулся к нашему веку. Пути эпических богатырей наших и многих других народов сами за себя говорят, что они складываются прочно, надолго и счастливо.

Годы не стоят на одном месте. Мчатся друг за другом в прошлое. И спасибо им за то, что они позволяют крепко держаться нашим кайчи-сказителям за гривы бурных и порывистых аргамаков. В наши дни не исчезают, а, наоборот, из народных глубин рождаются новые кайчи, неожиданные молодые имена.

Вот один из них — Таныспай Шинжин. Он, если так можно сказать, современный кайчи. Много у него других званий и занятий...

Хочу заметить, что и сегодня еще нередко бытует, к сожалению, восприятие кайчи-сказителя, как обязательно малограмотного, обремененного каким-то физическим недостатком человека. Эту отсталую привычку, это заблуждение, этот предрассудок отвергло само время.

Наш Таныспай Шинжин имеет высшее образование, является научным сотрудником сектора народного творчества Горно-Алтайского НИИИЯЛ, членом Союза писателей СССР.

Мы радуемся, что с годами голос его крепнет, растет, обретает большой напор, силу, вбирая опыт своих предшественников. Особенно многому Таныспай научился и учится у А. Г. Калкина, ставшего не только примером и наставником его, но и близким другом, подобным кровному брату.

Известно, что Таныспай Шинжин недавно закончил научную монографию о жизни и многолетней творческой деятельности Алексея Григорьевича Калкина, чьим оригинальным и эпическим видением мира вот уже много лет гордится Горный Алтай. Коль разговор идет о кайчи, я не могу не сообщить еще об одной радости, которая связана с именем моего друга Таныспая Шинжина.

Недавно выяснилось, что Таныспай в течение ряда лет, оказывается, работал с известным в Горном Алтае чорчокчи Н. К. Ялатовым, осуществил запись огромного эпоса «Янар», насчитывающего более тридцати четырех тысяч стихотворных строк...

Об этом сказании есть свидетельства известного исследователя эпоса Горного Алтая доктора филологических наук Сазона Саймовича Суразакова в одной из статей, напечатанных в «Ученых записках» Горно-Алтайского НИИИЯЛ (1958 г., выпуск II, стр. 95).

Кроме того, С. С. Суразаков об алтайском «Янаре» (по его транскрипции «Дьянгаре») довольно подробно говорил в своем докладе, прочитанном на Всесоюзной конференции в 1972 году в Элисте. Текст доклада алтайского ученого напечатан в том же году в сборнике «Проблемы алтаистики и монголоведения», откуда можно привести следующие строки: «У алтайцев существовал свой «Джангар» — «Дьянгар». В эту эпопею входило 77 древних героических сказаний...»

О работе Таныспая Шинжина говорю довольно настойчиво еще и потому, что «Янар» имеет отношение к имени Н. У. Улагашева. Об этом свидетельствует статья проф. Л. П. Потапова (журн. «Советская этнография», 1944 г., № 6), в которой ученый вспоминает свою встречу с Улагашевым. Крупный алтайский сказитель своему гостю при беседе сообщил о бытовании в Горном Алтае очень большого эпического произведения «Янар», о батыре, живущем в «вечнозеленой стране».

Лично я, нисколько не сомневаюсь, что «Янар» вызовет со временем большой интерес среди читателей и ученого мира, займет свое достойное и почетное место. А может быть, кто знает, станет во главу угла вообще всего фольклора алтайского народа, ибо является сводным эпосом. В нем действуют многие герои известных ныне алтайских сказаний...

Десять лет назад беседовали мы с Л. И. Улагашевой... Пройдут еще десятилетия. Но замечательные народные поэмы — «Алтай-Буучай», «Алтын-Коо», «Алып-Манаш», «Малчы-Мерген» и многие другие, записанные со слов Николая Улагашевича Улагашева, будут всегда находиться на сияющей вершине алтайской культуры. Больше того...

¹Чорчокчи — сказочник, рассказчик.

Покуда будет жить и трудиться мой алтайский народ,— будет звучать и наш язык, будет расти и крепнуть среди других больших и малых литератур наша новая, письменная, алтайская литература. А вместе с ней, уверен, в ее добром и прекрасном поэтическом многоголосье будет внятно и незамолкающе звучать древнее слово алтайского кайчи Николая Улагашевича Улагашева, живым ритмом будет стучать его мудрое и много испытывавшее сердце...

1981 г.

ДОБРОТА РАНЕНОГО КАМНЯ

(О Кайсыне Кулиеве)

Женщина купается в реке,
Солнце замирает вдалеке,—

Как только вспомню эти строки, слышу живой, до боли знакомый голос Кайсына Кулиева. Вижу взмах его руки, взлетающей над головой под яркими лучами люстр; его орлиный нос; зажигательно-веселый взгляд и снова слышу неповторимый хрипловато-гортанный голос. И предстают — огромное ясное летнее небо, солнце в просторном зените, зеленое поле, далекие очертания гор, всплеск воды и купающаяся женщина в реке:

Рядом с ней, касаясь головы,
Мокнет тень береговой листвы.

Затишают травы на лугу,
Камни мокрые на берегу.

Плещется купальщица в воде,
Нету зла, и смерти нет нигде.

В мире нет ни выюги, ни зимы,
Нет тюрьмы на свете, нет сумы.

Войн ни на одном материке...
Женщина купается в реке.

Какая мирная и радостная картина! Все это увидел замечательной души художник Кайсын Кулиев и это прекрасное мгновение уловил, сумел нарисовать простыми, ясными словами и преподнести нам, чтобы мы вместе с ним восхищались и радовались этой земной красоте жизни. Но при этом художник напоминает нам, что она, жизнь, не так уж умирительно красива. Хотя под мирным

небом «женщина купается в реке», но мы ощущаем памятью своей, многотрудным опытом жизни своей, что на земле есть зло и смерть, глухие двери черных тюрем, что не до конца убиты и уничтожены человечеством кровопролитные войны, где-то все еще слышатся их проклятые громы и эхо.

Убежден, что это одно из лучших творений в лирике середины двадцатого века. Небольшое, но изумительное по красоте и выразительности стихотворение написано Кайсыном Кулиевым в 1964 году и тогда же переведено на русский язык Наумом Гребневым. Своей трудной, поистине подвижнической работой переводчика, Наум Гребнев сделал всем нам, читающим и любящим поэзию, великий подарок. Ибо этот чегемский жемчуг давно проник в наши души и живет в каждом из нас живой болью и радостью. Более того, забегаю вперед, скажу, что «Женщина купается в реке» и многие другие прекрасные творения Кайсына Кулиева обогатили прежде всего великую русскую и через нее многонациональную советскую поэзию, поскольку на какой язык переведено то или другое создание человеческого гения, оно становится достоянием и богатством того народа...

До личной встречи и знакомства с автором этого стихотворения, видел я его не один раз со стороны, идущим, разговаривающим с кем-то, сидящим в президиумах, но вошел он в мою жизнь, читающим именно эти прекрасные строки.

Поэт Кайсын Кулиев был настоящим рыцарем по отношению к женщинам. Он их глубоко уважал и любил. Потому-то великое множество стихов он посвятил женщинам. А в книге «Так растет и дерево», вышедшей в 1975 году в издательстве «Современник», в его «Страницах автобиографии» мы читаем:

«Женщина — одно из непостижимых и загадочных явлений жизни. Я постоянно считаю, что женщина выше меня, она была моей матерью, вскормила человечество. А что касается поэзии, то она и женщина никогда не расстанутся. Женщина не давала остыть очагу мировой лирики, ей мы обязаны шедеврами Пушкина и Петрарки, Тютчева и Лорки, Хафиза и Блока, Есенина и Пастернака».

Школой мудрости всей жизни для поэта Кайсына Кулиева была «доброта, терпеливость и трудолюбие» простой горской женщины — крестьянки, матери родной, которую звали Узеирхан. Он этим именем мечтал и хотел

назвать всех новорожденных девочек и всех тех женщин, добрых и мудрых, подобных матери. Мать поэта умерла в 1963 году, через семь лет после того, как вернулась из Средней Азии точнее, из Киргизии, на свою родину, на вечно любимую землю своих отцов и дедов. В упомянутой уже автобиографии, поэт признается, как больна и горька потеря матери:

«Вот тогда-то я, сорокапятилетний мужчина, почувствовал себя настоящим сиротой».

Именно в это безутешно-печальное время к его великолепной по искренности и глубине чувств лирике о женщинах добавился цикл «Памяти матери», состоящий из двадцати одного стихотворения, полных сыновней боли и неприкрашенной человеческой правды. В одном из стихотворений этого горького и мужественного цикла Кулиев клянется перед могилой матери:

Ты людям будь всегда товарищем, сынок, —
Ведь в нашей жизни смысл не что-нибудь, а люди.
И если спутник твой упал и занемог,
Ты не бросай его, подумав: «Трудно будет!»

Так говорила ты до смерти за два дня
И так жила всегда, хоть это трудно было.
Да будет твой завет законом для меня!
Ты слышишь? В том клянусь я у твоей могилы.

Поэт и человек Кайсын Кулиев в жизни был верен этим добрым и не всегда легким законам бытия. А еще он был щедрым и бескорыстным человеком. Умел находить среди людей настоящих товарищей и умел щедро знакомить своих друзей меж собою, чтобы шире был круг единомышленников и талантливо-светлых людей. В этом Кайсын-ага видел свое счастье и одну из главных черт поэта — посла своего народа. Именно он, Кайсын Кулиев, познакомил меня со своими друзьями, большими и именитыми поэтами нашей многонациональной страны — Михаилом Дудиным, Константином Ваншенкиным, переводчиками Яковом Хелемским и Наумом Гребневым и с другими. Однажды, когда в его номер в гостинице «Москва» пришел Наум Гребнев, Кайсын-ага позвонил мне (а до этого он помог в этой же гостинице получить мне комнату), чтобы я спустился к нему и пообедал вместе с ним. Сразу же после знакомства, при мне, Кайсын-ага попросил Гребнева, чтобы он пожелал переводить и мои стихи. Разумеется, я не ожидал такого оборота и смутился. А когда, позже, Наум Гребнев все же перевел на

русский язык мои более чем скромные стихи, при встрече Кайсын Кулиев попросил показать ему эти переводы. Скажу честно, что переводы мне были не совсем по душе и об этом я сказал Кайсыну-аге. Посмотрев их, он удивился:

— Хорошие стихи в хороших переводах. Чем они тебе не нравятся?

— Переводчик отошел от оригинала...

Разговор наш состоялся в комнате Кайсына Кулиева в Доме творчества писателей в Дубултах в присутствии поэта из Ростова-на-Дону Даниила Долинского, который заведовал отделом поэзии журнала «Дон». Он тоже поинтересовался переводами, и прочитав их, вдруг предложил:

— Давайте их мне, я напечатаю в нашем журнале.

Мне было как-то неловко отказывать. Ведь Гребнев переводчик известный и с большим опытом. К тому же, как я понял, Кайсын-ага любил и высоко ценил его работу. Так единственный раз в жизни в одном из номеров «Дона» в 1976 году появились мои стихи в переводах Наума Гребнева. Правда, после этого Гребнев не переводил больше мои стихи, а из его переводов я в своих книгах печатаю всего два стихотворения. Но доброе, дружеское отношение с этим профессиональным переводчиком между нами продолжается до сих пор.

Кайсын-ага нежно любил людей и радовался от души чужим успехам. В 1974 году издательство «Советская Россия» выпустило сборник моих стихов «Ветка горного кедра» с предисловием Бориса Слуцкого. Я не знаю, каковы были личные отношения между Кулиевым и Слуцким. Но ознакомившись с предисловием, Кайсын-ага, как ребенок, искренне радовался и поздравил меня.

Впрочем, я, кажется, отвлекся. Видимо, все же надо досказать, что я думаю о его «женской» лирике, с чего начал эти заметки-воспоминания. О женщинах, о немеркнувшем очаге любви и жизни, мне думается, поэт ни на минуту не забывал. Потому-то в любой его книге мы найдем немало искренних стихов о наших матерях, сестрах, невестах, об их щемящей боли и искрящейся радости.

Когда в июле и августе 1975 года мы вместе отдыхали и работали в Дубултах, Кайсын-ага кивком показал мне на одну пожилую, очень красиво-гордую женщину и тихо шепнул, назвав имя одного весьма известного, но рано умершего поэта:

Я не знаю, где, при каких обстоятельствах вспомнила, но говорят, весьма высоко оценила именно это стихотворение нашего Кайсына-аги, одна из самых великих и уважаемых женщин мира, ставшая символом и матерью всей Индии — Индира Ганди.

Для Кайсына Кулиева женщина была не только матерью и подругой, но и светом, и духовной красотой земной жизни. Он до конца жизни был верен этой своей бессмертной идее и этой вечной теме лирики со дня творения единственного разума и хозяина земли — человека. Он, даже умирая, думал о них и желал им неувядающей красоты, нежности и сердечной доброты. Последним дыханием шепча: «О, женщины Балкарии», успел отправить в родные горы «Послание женщинам Балкарии», где мы найдем такие благодарственные строки, идущие из глубины горячей и влюбленной души:

Вы расцветали розами на скалах,
Суровость скал венчая красотой,
Нас, как на крыльях, на руках усталых
Качали и роднили с высотой.

И этот последний гимн поэта, адресованный женщинам гор, заканчивается вдохновенным призывом:

Светите! Не померкнуть вам! Вы ярки,
Как гор и первоцветья белизна.
Хвала и слава вам, мои балкарки,—
Моей души и гор моих весна!..

Вот я пишу о моем любимом Кайсыне Кулиеве. О Кайсыне-аге, к которому обращался всегда так при встрече ли в Москве, Дубултах, разговаривая ли по телефону,— всегда, везде — Кайсын-ага. Работая над этими заметками, я на свой письменный стол поставил портрет поэта, чтобы он, как и прежде, смотрел на меня задумчиво-добрыми глазами, не давая вступать в прекраснодушную и хвастливую лживость: мол, я знал и дружил с таким крупным человеком, всенародно любимым поэтом нашей страны. Поэтому я постараюсь не цитировать «выгодные» для меня строки из его писем ко мне и автографов, оставленных на книгах, подаренных в разные годы. Ибо он, по присущей ему щедрости и доброте, мне кажется, устно и письменно перехвалял и переоценивал мои работы в родной литературе и посильные мои возможности.

Конечно, я понимаю, что встречи и общения с Кай-

сыном Кулиевым—это счастье, причем не только мое, но и моих близких: двух старших сыновей и жены, которые имели радость тоже видеть и общаться с этим высочайшего и заразительно-живого духа человеком.

Велик и неисчерпаем опыт его жизни. Когда думаешь о нем, самому хочется быть таким же щедрым и мудрым, высокообразованным и ясным, в то же время простым и естественным, как зелень весны, снег зимы, дождь и небо, а в конечном счете, как сама многотрудная и добрая земля.

Жить среди людей, считал Кайсын-ага, счастье и дар самой жизни. Но найти среди тех же людей человека, подобного Кайсыну Кулиеву, я бы добавил,— это редкость. А может быть, веление самого Неба, хотя мы говорим и убеждены, что Бога нет. Но ведь Небо-то постоянно над нами, реально светит светом мудрости радуя нас и наши глаза.

И я благодарю ширь земли и многообразие жизни, что они так богаты настоящими людьми — прекрасными сыновьями и дочерьми, что привели меня к встрече с одним из них, зовут которого Кайсын Шуваевич Кулиев...

Одиночество я ненавижу,
Без людей кляню я жизнь свою.
Если долго я людей не увижу,—
Словно от работы устаю.

Так думал он, так писал и повторял неоднократно, что «с людьми — беда мне не беда!». Он верил в нерасторжимую дружбу людей и стран. «Без людей могут жить только волки!» — говорил поэт в своих «Страницах автобиографии». Другими его были не только большие и известные, подобные ему люди литературы и искусства, но и внешне ничем не приметные пастухи и рабочие, трудами чьих рук живет и цветет земля, кому дорог мир без вражды и войны, кто любит детей, хлебные колосья и свет высоких звезд.

Как известно, труд создал человека и лишь трудом ценятся вся деятельность и деяния его. Кайсын Кулиев на протяжении всего своего творческого пути не переставал восхищаться красотой человеческого духа и тела, умом и мудростью, умением и творением его волшебных рук. Кто не читал, то пусть прочитает хотя бы строки из его великолепного стихотворения «Глухонемой».

Разжигает он черную печь,
Поднимает свой молот сурово

И руками, обретшими речь,
Произносит заветное слово.

Я не удержусь, чтобы это стихотворение не привести до конца:

Я смотрел на работу его,
На широкие, смуглые плечи.
Мне казалось — его мастерство
Обладало и слухом и речью.

Закалял он железо в огне,
И своими большими руками
Говорил он такое, что мне
Не сказать никакими словами.

... Какие были хорошие дни! Кайсын-ага веселый и здоровый. Мы лежим на золотом песке на берегу Рижского взморья. Он рассказывает о том, как впервые семнадцатилетним джигитом из ущелья горского аула Верхний Чегем приехал в Москву и поступил в Театральный институт имени Луначарского (ГИТИС).

— Я люблю музыку, — говорит Кайсын-ага и, как будто кто-то чиркнул спичкой, — в памяти моей вспыхивают строки.

Хоронят бойцов — тех, кто пал за свой гордый народ.
И ветер о скорби притихшим деревьям поет,
Над бездной времен — безучастных снежинок полет:
Играют Шопена.

И это многократно повторенное «Играют Шопена», словно током пронизывает мое тело.

Говорили мы с ним, конечно, не только о литературе. У меня слабость, встречаясь с людьми, в особенности родственными по языку, сравнивать слова, составлять, так сказать, устный словарь. Делом этим мы с Кайсыном-ага занимались почти каждый день. И надо сказать, Кайсын-ага тоже любил такую «игру в слова». Спрашивал и удивлялся.

— Смотри, и по-балкарски голова — баш, а глаза — кос! Живем друг от друга так далеко, а говорим почти на одном языке, употребляем одни и те же слова. Родина, говоришь, — Ада-журт? И у нас есть такое понятие, но в основном говорим и пишем — Ватан... Вода — су, хлеб — отмок... А как по-алтайски стихи?

— Стихи — улгер, — отвечаю.

— А у нас — назму или назмула.

Кайсын Кулиев был настоящим интернационалистом, любил и уважал все народы, на каком бы языке они ни говорили. Я часто возвращаюсь и перечитываю его статью «Каждый язык — целый мир». Это его выступление на сессии лингвистов, организованной АН СССР. Проблема изучения и сохранения языков в наших автономных областях и республиках и доныне вопрос весьма острый и спорный. Поэтому мне хочется еще раз напомнить о том, как думал и что сказал Кайсын Кулиев о национальных языках народов нашей страны в своем выступлении на сессии АН СССР:

«Язык каждого, пусть даже самого малочисленного народа, — это целый мир, полный прелести и волшебства... Но, к сожалению, порой приходится сталкиваться и с безобразием, когда иные горе-ученые видят в языке, который народ создавал веками, только способ для защиты диссертаций и относятся к родной речи без должного уважения. Мы вовсе не должны закрывать глаза на такие явления... Я помню, еще недавно раздавались голоса о том, что скоро умрут языки так называемых малых народов. Но нет таких пророков, которые могли бы предсказать день и час смерти каждого из наших языков. Не ими языки созданы, не им предопределять их конец. Это решит сама жизнь, а не мудрствующие всезнайки...»

Да, именно так. Будучи большим поэтом малочисленного балкарского народа и уважаемым всеми человеком, он, на мой взгляд, говорил и от имени нас, детей малых национальностей, любящих свои родные языки, говорящих и пишущих на них.

«Я хочу, — подчеркивал он, — чтобы мой язык — первое сокровище моего народа — жил и развивался».

И я этого хочу. Поэтому пишу и говорю на родном алтайском языке. Учю своих детей, чтобы они знали и не забывали язык своих отца и матери; древний и красивый язык ушедших в даль истории предков. И сегодня вслед за Кайсыном Кулиевым еще раз хочется повторить его слова: «... еще рано хоронить наши языки!»

До встреч наших я не знал, что Кайсын двадцатитрехлетним парнем с 1940 года служил в рядах Красной Армии, а с первых дней начала Великой Отечественной войны, будучи автором сборника «Здравствуй, утро!» и нескольких переводных пьес для республиканского национального театра, уже став членом Союза писателей СССР, сражался тут, на латышской земле против гитлеровских захватчиков.

— Я был военным парашютистом, — подтвердил Кайсын-ага. — Эта трудная и опасная служба мне нравилась... Был молодым....

С войной столкнулся тут, в Латвии. Страшно было. Фашисты озверело бомбили день и ночь. Горели люди, хутора и дома, горело и дымилось все вокруг. Даже камни горели и вода!

С тех пор, думаю, и полюбилась солдату-защитнику эта «зеленая страна Латвия». Сюда, в Дубулты, он приезжал каждое лето со своими средними сыновьями Алимом и Азаматом, тогда еще школьниками. Здесь не жарко. Спокойно. Хорошо работается. На дне морского побережья нет больших и острых камней. Мягкий песок. Приятно по нему ходить босиком, особенно по утрам. В ранние часы.

Кайсын, видевший эту землю в кромешном аду, спасавший ее с оружием в руках, как всякий человек, радовался ее возрождению и мирным дням. Он, на этой земле переживший смерть друзей боевых, гибель безвинных людей — детей и стариков, горевших в огне ее городов и хуторов, имел безусловное право говорить...

О, Латвия, твой путь да будет светел,
Благословен и мирен каждый кров.
Пусть никогда не превратится в пепел
Никто отныне из твоих сынов...

В летние месяцы в прибалтийских республиках всегда многолюдно. Не только трудно туда прибыть, но и также трудно оттуда выехать — не достать билета. Особенно тогда, когда тебе надо неожиданно и срочно выехать.

Однажды я стал свидетелем такого случая. У одного поэта из Москвы, когда он находился в Дубултах, случилась какая-то беда дома и ему немедленно надо было вылететь. Но в кассах билетов не оказалось. Как быть?.. Поэт обратился именно к Кулиеву за помощью, хотя в это время в Доме творчества были и другие известные писатели — депутаты Верховного Совета СССР. Кайсын Шуваевич для этого случая специально надел свой темно-коричневый костюм, на лацкане которого горел депутатский знак и пошел в юрмалинскую аэрокассу. Через какое-то время он принес и вручил поэту билет в Москву.

Говоря об этом, хочу подчеркнуть, что Кайсын Шуваевич никогда не был чиновником, а о добре и товариществе не просто говорил и писал, а доказывал это своими конкретными действиями.

...Будучи' мальчишкой, пережив кроме потери отца, позже — матери, а еще позже — утраты фронтовых друзей, так же стойко он пережил и свои тяжелые ранения. Но самым большим ударом и черной бедой для него оказалось переселение в годы войны его народа с Северного Кавказа, с родной земли предков в Среднюю Азию.

— Это был удар неожиданный и подобный смерти, — признавался он. — Но и в те, тяжелейшие для моего народа годы, я не махнул рукой на жизнь, не разуверился в ней. Старался не уронить свое человеческое достоинство...

Те, кто знал Кайсына Кулиева, знают и эту его страшную боль, и то, что он был честным человеком и мужественным солдатом. Правде смотрел, как бы она тяжела и сурова не была, в глаза. Не могу не привести из его биографии такой вот случай. После ранения Кайсын-ага лежал в симферопольском госпитале. И вот к нему в палату неожиданно пришел командующий армией.

— «...Я лежал в гипсе, не мог встать, — пишет Кайсын Шуваевич в своих «Страницах автобиографии». — Командующий, подойдя к моей койке, сказал, что привез мне орден Отечественной войны II степени, которым я награжден. Я ответил генералу, что мой народ переселен, моя мать и близкие тоже. И, может быть, я теперь не имею права на орден...»

Нужно ли говорить, что так мог сказать лишь кристально-честный человек, не скрывая своего горя и не боясь последствий, поскольку верил в свой народ. Факт яркий и, безусловно, говорящий о многом... Пусть же и он останется примером для моего и последующих поколений, как и то, что когда балкарцев переселили в Среднюю Азию, а воину и поэту Кайсыну Кулиеву было разрешено правительством жить там, где он захочет (за исключением Москвы и Ленинграда), он, как истинный сын своего народа, твердо решил находиться там, где пока живет и трудится его народ.

Как-то я признался Кайсыну Шуваевичу, что мне известно о его литературной деятельности в Киргизии, о том, что был он там даже председателем Русской секции писателей, делал подстрочные переводы произведений киргизских поэтов на русский язык. Но вот почему он перевел на родной балкарский поэму Лермонтова «Демон», ведь в то время у них книги на балкарском языке не издавались?

Он ответил не задумываясь:

— Для себя! — Затем добавил: — С того дня, как начал познавать русскую поэзию, люблю Михаила Юрьевича. И запомни, брат: в любое время, в любых обстоятельствах учиться никогда не поздно... Я и теперь продолжаю учиться у великих мастеров.

— Вы, наверное, верили, что Ваш народ вернется на родину и будет все восстановлено, как было прежде?

— Разумеется, — сказал он. — Веру в справедливость я не терял. Потому писал там не только горькие стихи, но и гордые, радостные писал...

Узнав, что я тоже знаком с Чингизом Айтматовым и даже перевел его три повести на алтайский язык, Кайсын Шуваевич потеплевшим голосом, хотя и без грусти, заметил:

— А мы, когда я жил и работал во Фрунзе, вместе с молодым Чингизом перевели на русский язык роман Тугельбая Садыкбекова «Тоо арасында» — «В горах»... Слышал о таком прозаике?

— Не только слышал, Кайсын-ага, а и читал этот роман, — ответил я ему. — Даже, будучи в гостях в Киргизии, был у Тугельбай-ага дома.

— Да?! В его лауреатском доме? — Весело улыбнулся Кайсын-ага. — Тугельбай хороший человек. Меня он поддерживал всячески. За роман «В горах» он стал лауреатом Сталинской премии. Вот почему я сказал, что дом его лауреатский... Считается одним из классиков киргизской прозы, — добавил он и вдруг спросил: — А у вас, в алтайской литературе, есть свои классики?

— Истоки алтайской письменной литературы начинаются с дореволюционного периода, — начал я. — Был у нас такой писатель-просветитель Михаил Васильевич Чевалков. Он переводил Крылова и подражая ему, сам писал нравоучительные стихи, басни, собирал фольклор. Он же является автором первой алтайской прозы. Его автобиографическая повесть «Жизнь Чевалкова» («Чоболкоптин дьюрюми») самая первая реалистическая проза в нашей литературе. Повесть эта еще в 1866 году печаталась в книге академика Радлова «Образцы народной литературы тюркских племен»...

— А язык повести как? Близок к современному алтайскому?

— Богатый, чистый язык... Правда, значения некоторых слов без особой подготовки, конечно, трудно понять. Но мы считаем его классиком и основоположником своей письменной литературы.

— Правильно считаете. А в вашем городе памятник ему есть?

— Нет... Разве когда-нибудь догадаются поставить,— смутился я.

— А еще, кроме Чевалкова, были значительные писатели? — продолжал допытываться Кайсын Шуваевич.

— Конечно, были. Например, Павел Кучияк, Чагат-Строев.

— Почему у них у всех русские имена?

— Они, как у нас говорят, происходили из северной группы алтайцев,— как мог пытался объяснить я Кайсын-ага,— а северные алтайцы почти все крещенные. Потому-то они были грамотными и стали первыми учителями, первыми алтайскими писателями...

— А у нас, в Балкарии, был один великий поэт и звали его Кязимом Мечиевым.

— Почти, как Кайсын! — пошутил я.— Нет, правда, Кайсын-ага, очень созвучны — Кязим и Кайсын...

— Спасибо,— сказал он просто,— пусть это будет твоей находкой.— Кязима Мечиева я очень люблю и считаю его своим первым учителем. Горжусь его поэзией! Горжусь, что Кязим родился, жил, трудился в наших горах!

— Я знаю, что Вы любите его, писали о нем...

— Писал, и еще буду писать! Потому что он значительный человек и истинный поэт. В полном смысле этого слова — Поэт!.. Вот, может быть, поймешь, как Кязим звучит на моем языке,— почему-то при этом, почти шепотом Кайсын-ага произнес:

Бири къача, бири къууча,
Жеткенлерин жолда бууа,
Аны ызындан палах тууа,
Хатасызла аны жууа!

— Понятно?..

Я задумался. Кайсын еще раз повторил это четверостишие, но уже медленнее, отделяя каждое слово и произнося очень ясно и четко, стараясь, чтобы я понял.

— Бири — один,— догадался я,— къача — убегает или бежит,— добавил:— Значит, один убегает?..

— Верно,— обрадовался он,— побудешь в Балкарии с десяток дней и станешь вполне хорошо разговаривать на моем языке... Вот послушай Кязима Мечиева, хотя бы в моем подстрочном переводе,— и тут же перевел каждую строчку дословно: — Бири къача, бири къууча — один убегает, другой гонится за ним; жеткенлерин жолда

бууа — догоняет и душит на дороге... Затем рождается беда и за беду отвечают невинные... — Это стихи, и настоящие! — уверял он меня, заключая свой перевод.

И вот совсем недавно, читая его посмертную книгу «Человек. Птица. Дерево», я натолкнулся на небольшое стихотворение «Ушли великие поэты» и опять подумал прежде всего о нем самом и его любимом Кязиме Мечиеве.

Добру и правде послужив строкой,
Ушли от нас великие поэты.
Без них беднее был бы род людской
И ненадежнее авторитеты.

А те, чьим рвением черный гнет воспет,
Они полями прокляты и светом.
Когда и век озверевал, поэт
Был человеком, — потому — поэтом!..

... В Домах ли творчества писателей, в Москве ли в гостинице — всюду, где бы Кайсын Кулиев ни находился, в комнате его, на письменном столе всегда я замечал однотомники стихов Бориса Пастернака и великого испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки.

— Я эти книги постоянно беру с собой, — как-то сказал мне Кайсын-ага, — люблю их и всегда перелистываю. Учусь...

И в этом для меня тоже школа любви и постоянства неизменного. Ныне и я, куда бы ни поехал, беру с собой, на мой взгляд, очень хорошо изданную книгу Кайсына Кулиева «Звездам — гореть!» и перечитываю. Этот однотомник избранной лирики вышел в 1973 году в «Советской России». Очень хорошо составленная, в удобном формате и твердой обложке. В книге нет, правда, ни одной из его поэм. И все же вошли в нее, думается, лучшие стихи поэта, написанные до 1973 года. Нравится и портрет автора. Голова бритая. Аккуратная. Очень спокойный вид. Орлиный нос. Усы. Пристальный, живой взгляд. На лице ни тени болезни. Жаль, что такие люди уходят!.. Впрочем, и жил он, как сам признался однажды, — удивляясь.

Блистают звезды, цвет меняют горы,
Снега сползают, розы опадают,
Мне очень жалко тех людей, которых
На свете ничего не удивляет...

А через четверостишьё:

Я удивляюсь и цветам, и птицам,
Хоть мне их не понять, как ни пытаюсь.
Я удивляюсь и словам, и лицам,
Чужим стихам и песням удивляюсь.

Кто может сегодня так удивляться — «чужим стихам и песням»?.. К сожалению, таких среди нас не так уж много, говоря честно и откровенно. Кстати, примерно об этом, об отношениях между писателями, мы тоже говорили. Он ссылаясь тогда на двух представителей одной литературы из малочисленных народностей нашей страны.

— Друг друга терпеть не могли, — криво улыбался Кайсын-ага. — Враждовали, съедали один другого. М. написал хорошую пьесу. Поставили многие театры страны. Н. не только завидовал, даже раздражался вместо того, чтобы радоваться, что его собрат на его языке написал эту самую пьесу. Потом Н., как будто бы обогнал драматурга М., написал первый роман в истории своей литературы. В общем, они, два сына одного маленького народа, не ладили, досаждали друг другу... Кому от этого хуже? — Посмотрел на меня Кайсын-ага и сам же ответил: — Разумеется, от этого страдает дело, их культура... А как живете вы в горах Алтая?

Я вынужден был промолчать. Не дождавшись конкретного ответа, и, кажется, кое-что поняв, он с грустью заметил:

— Понятно... А жаль... Надо бы и вам всем жить дружно. Я говорил и говорю, что дружба людей есть великое благо...

Прожил Кайсын-ага сложную жизнь, в которой, как сам признавался, «прав бывал... и бывал неправ, плакать и смеяться — все случалось...». Понятно, что окружали его не только добрые люди и друзья. У крупных личностей, как известно, бывают не менее крупные противники, не считая мелких и ничтожных. О последних народная мудрость гласит: «На солнце тычат пальцами» или «Скале грозят кулаками». Ясно, конечно, что и над головой Кайсына в разное время по-разному грохотали громы, кружились тучи и бури. Впрочем, судите сами:

Никто из нас не застрахован
От зависти и от беды,
От оскорбительного слова,
От злобы — матери вражды.

Потемки души и повадки мелких людей всюду одинаковы. Об этом знал, разумеется, и Кайсын Шуваевич:

Здравствует твой враг недальний,
И я предположить могу:
Чем день твой горше и печальней,
Тем слаще твоему врагу.

Ему неважно, кто ты, что ты,
Ты для него — всего лишь враг.
Нет у него другой заботы,
Как ждать, чтоб ты попал впросак.

И все же поэт призывает не к мести, однако и не к смирению.

Стерпи все козни, все укоры,
Врагов своих удачей зли,
Но так живи, чтоб наши горы
Тебя стыдиться б не могли.

(«Стихи о врагах». Перевод Н. Гребнева)

Это он, как будто говорит лично мне, испытывшему и испытывающему «все козни, все укоры» литературных и прочих недругов. Глубокие и верные слова эти большого поэта и старшего друга своего я давно взял на вооружение и стараюсь по возможности следовать им, как бы не игнорировали меня мои же земляки, какие бы слухи не носились вокруг моего имени.

Бывая у Кайсына Кулиева, я встречал у него и слушал немало и других блистательных литераторов нашей страны. Многому старался учиться у них и многое для своей жизни, разумеется, вольно или невольно, перенял. И богатый, поучительный опыт их жизни по силе возможности пытаюсь ныне передать своим младшим братьям по перу и в особенности двум старшим сыновьям — артисту нашего областного национального драматического театра и также другому — художнику-оформителю, только что начавшему работать. Я им всегда напоминаю простые, но пронзительно-мудрые строчки Кайсына-аги: «Героем может он не быть,|| Но быть лжецом поэт не может», считая, что все люди своей жизнью и работой, как-то касающиеся любого вида и жанра искусства, в чем-то должны быть поэтами. Ведь в основе красоты светится поэзия. А те, кто творят искусство — творят красоту. Говоря об этом, я не могу пройти мимо кайсыновского стихотворения, обращенного к своему сыну, считая, что строки из него в полной мере относятся и к моим сыновьям...

Не надо, сын мой, не стремись к вершине,
Ты мал и слаб — я за тебя боюсь.

Ведь если слава на меня нахлынет,
Я за себя и то не поручусь.

Ты не безвестности страшись, мой сын,
А славы истинной, тем более ложной.
Как ни прекрасна белизна вершин,
Жить на вершине долго невозможно.

Действительно, на вершине высокой горы даже не живут мужественные и мудрые алтайские чабаны. Там не растут хорошие травы. Там холодные ветры и голые просторы поднебесные. Жить трудно. Но к духовным высотам все же надо стремиться. До них поднимаются только через трудности и труд, при этом любя жизнь и людей на земле...

В начале восьмидесятых я дважды побывал на Северном Кавказе, в одном из санаториев Железноводска. Не упустил, понятно, возможности посетить Нальчик и Чегемское ущелье, воспетое Кайсыном-ага. Ветры Чегема дули мне в лицо. И думал я тогда, что эти же ветры касались лица моего старшего брата по духу и труду, освежая и окрыляя его. Над моею головой голубело то же небо, — радость Кайсына. Далеко под солнцем блестили белизною снега вечных вершин великого Эльбруса. Я, может быть, в этот миг, на окружающий мир, на скалы, на придорожные камни, травы, на летящие головокружительные чегемские водопады и на скачущие живыми барсами волны горных рек смотрел глазами Кайсына Шуваевича, поэта, рожденного неувядающей красотой и высотой этих мест. И, конечно же, вспоминая полные мужества и доброты стихи его, — солдата и защитника Родины, поэта, жаром сердца и души любившего все живое и ушедшее:

Я над раненым камнем склоняюсь, горевал:
От огня почернел он, от горькой беды.
Он мне мертвым казался, и я тосковал,
Потому что хотел на нем видеть цветы.

Я над срубленным деревом в горе сидел,
Потому что хотел его видеть в листве,
Чтоб в тени его дети играли, хотел,
Чтоб лежала весь день его тень на траве.

Жизнь любить не до слез, не до боли нельзя.
Оттого-то и грустным порою я был:
Всех пропавших и павших оплакивал я,
Потому что живыми их очень любил.

«Всех пропавших и павших оплакивал я» — это не просто искренние слова поэта, умеющего радоваться чужой доброте и чужому успеху. Вот один из его афоризмов: «Был добр к тебе какой-то человек, //Его добра не забывай весь век». Он и в жизни своей не изменял этому своему правилу, по-настоящему любя друзей и постоянно помня о них. Например, мне он рассказывал, как до слез обрадовался, встретившись на фронте с Алимом Кешоковым, с поэтом и земляком.

— Алим спас меня раненого, — вспоминал он, — на спине тащил до санбата.

Или...

— А ты читал «Соловьи» Миши Дудина? Скажу тебе, что это значительное явление в лирике, созданной в годы войны. А вот мой Дава, Давид Никитич Кугультинов: «Дайте, дайте первую удачу!».

Восхищался Твардовским. Однажды, как бы смущаясь, будто подслушивают нас посторонние, Кайсын-ага сообщил мне, что ему передали друзья: перед смертью Александр Трифонович Твардовский, будто бы просил прочитать ему какое-то стихотворение Кайсына Кулиева. Позже, в декабре 1975 года, открыв его сборник «Вечер», подаренный мне автором, я прочел:

Земное завершая бытие,
Известный человек в своем народе
В свой смертный час просил читать мое
Стихотворенье в русском переводе.

Хорошо знал и помнил доброту Николая Тихонова, много говорил о великих грузинских поэтах Чиковани и Леонидзе; гордился дружбой с Мустаем Каримом и Чингизом Айтматовым, говоря, скажем, о Белоруссии, непременно вспоминал Аркадия Кулешова и его поэму «Знамя бригады». Таким был он — Кайсын Кулиев — широким и щедрым.

Не припомню, чтобы он жаловался на свои болезни. И вдруг получаю от него письмо, датированное 17 октября 1980 года. В этом письме, кроме того, что «он следит за моей работой», сообщал, что недавно «возвратился из Тбилиси. Был до этого в Москве и Ленинграде с Давидом у Миши Дудина». А в конце своего письма все же написал, написал впервые:

«Был в Москве на проверке. Случилось то, чего я больше всего боялся, ожидая этой врачебной проверки, — меня снова кладут в больницу. Сколько пробуду — не

знаю, ложусь 26 октября. Сразу после сессии Верховного Совета».

Кайсын Кулиев как настоящий воин и защитник Отечества, победивший кровавые ужасы прошедшей войны, тяжело переживший переселение своего народа в Среднюю Азию, как никто другой, умел быть мужественным в борьбе с несправедливостями, в любой беде, в самых трудных и сложных обстоятельствах научился быть верным себе и терпеливым, чтобы не уронить свое человеческое достоинство. Он считал, что терпение — это оружие героя, один из испытанных способов борьбы и победы.

Терпи, как пуля, сжатая в стволе,
Терпи, как порох, спрятанный в земле.

Как терпят боль от топора чинары,
Как терпит камень молота удары.

И вот его догнал ужасный недуг. Он пять лет подряд, не давая покоя ни днем, ни ночью, грыз его, как дикий зверь, как волк безжалостный зубами. Кайсын-ага, как подобает солдату и мужественному сыну горца, сражался с недугом и болью молча, как раненый камень, стойкостью и терпеливостью которого он всегда восхищался. Он свою боль хотел и старался победить любимой работой. И он работал, не выпуская из руки пера.

Не жил я праздно никогда,
Я дело делал, слава богу,
И днем, и в час, когда звезда
Свой свет бросала на дорогу.

Мне жизнь давалась нелегко,
Но я работал через силу,
Оправдывая молоко,
Которым мать меня вскормила.

Топил я горе, как в вине,
Работал до седьмого пота,
И силу возвращала мне
Та непосильная работа.

В ноябре 1980 года я приехал в подмосковный Дом творчества писателей имени К. А. Федина в Переделкино. Назавтра же стал искать через друзей Кайсына-аги телефон, чтобы позвонить ему в больницу. Дозвонился не без труда и услышал знакомый голос:

— Алло. Я слушаю...

— С Вами говорит Борис Укачин.

— Ва-ах! Здравствуй, дорогой мой брат! С моего Кавказа вернулся? Успел уже побыть дома?.. Как быстро летит время!

Договорился с ним встретиться. Приехал к нему со своим старшим сыном.

Встретились, обнялись. Обменялись последними новостями, происшедшими за время, которое не виделись. О болезни ни одного слова. Речь, большей частью шла о красоте Кавказа и Горного Алтая, о литературах, так сказать, малых народов и народностей. Тут он вспомнил о недавно ушедшем из жизни якутском поэте Семене Данилове.

— Жаль его,— сказал Кайсын-ага,— был весьма порядочным человеком и талантливым поэтом. Перед смертью писал статью обо мне и не успел напечатать. Так мы уходим, поэты...

Затем вспомнил о своей поездке в Ленинград, развеселился...

— Нас с Давидом Кугультиновым встретил Миша Дудин. Провели прекрасный вечер Блока. Были в гостях у блоковеда Владимира Николаевича Орлова. Очень хороший человек! Настоящий ученый, знаток всего творчества великого Блока...

Вдруг замолк. Задумался. Заговорил о поэтессе Людмиле Константиновне Татьяничевой. С доброй печалью поведал, что когда находился в предыдущий раз в этой же больнице, Татьяничева отправила ему в Нальчик свою книгу с дарственной надписью. Книгу эту Кайсын получил, приехав уже в родной Чегем. А в это время Людмилы Константиновны Татьяничевой не стало. И теперь ему некому ответить на те добрые благопожелания и на стихи.

— Жалко! — добавил он и будто бы прослезился. Видимо, подумал и о себе... Однако вскоре успокоился и вновь повеселевшим голосом предложил: — Давайте, я вам покажу наш сад...

Я подумал, что мы выйдем во двор. Но Кайсын-ага привел нас в какой-то большой холл, в котором росли живые зеленые деревья, работал фонтан, журчал ручеек и в нем жили быстрые небольшие рыбки. Ручеек был очень чистым и светлым, на дне виднелись красивые разноцветные камушки. Тут же была и своеобразная аллея с дорожкой, покрытой темно-красным гранитом. Были удобные сиденья. Мы опустились в кресла и продолжили беседу.





Село Бельтир. Юрта.

Старая алтайка в национальной одежде.







Находка из древних алтайских курганов.

Село Каярлык. У родного аила.





Алтайская юрта.

Конь в украшении перед скачкой.





*Кухонная утварь — ступа для приготовления талкана.
В гостях у поэта и кайчы Т. Шинжана
Из семейного альбома: жена и сын.*



Поэт на родине, с. Каярлык.

*Известный садовод-селекционер с берегов Телецкого озера
Н. П. Смирнов.*

*Памятник на могиле известного алтайского поэта
Л. В. Кокышева.*







*Дом творчества писателей. Дуболты, 1975 год.
Латышский поэт Э. Веверис, Б. Укачин.*

Поэты Б. Укачин и Е. Евтушенко.

*Год 1976. Георгиевский Зал Московского Кремля.
Съезд писателей СССР.*



Поэт Б. Укачин и известный поэт Б. Слуцкий.

*Удмурдский поэт Флор Васильев и автор книги
«На мой взгляд».*

*Поэты А. Адаров, И. Фоняков, Б. Укачин
(Прикатунская долина).*





Первый ряд слева направо: писатели А. Ередеев, Б. Бедюров, И. Шодоев, А. Адаров, К. Козлов; второй ряд: Т. Шинжин, К. Телесов, Г. Кондаков, Э. Палкин, Б. Самыков; третий ряд: зам. председателя Горно-Алтайского горисполкома Н. И. Тулинов, писатели А. Демченко, Д. Белеков, Б. Укачин.

Кайсын-ага сразу же спросил:

— Что сейчас пишешь? Что выходит нового? Где, когда?

Я ответил, что закончил новую повесть «Убить бы мне голод». Выйдет в будущем 1981 году на родном языке. А подстрочный перевод лежит в редакции журнала «Новый мир». На повесть имеется положительная рецензия Владимира Солоухина и он же пожелал ее сам перевести на русский язык.

— Очень хорошо. Молодец! — одобрил Кайсын-ага. — О чем эта повесть, почему назвал «Убить бы мне голод»?

Я как мог объяснил, что эта вещь о судьбах семерых женщин-доярок, оставшихся в годы войны без мужей в глубоком тылу, работавших, не зная, что такое отдых и веселье, и о их многочисленных детях, сражающихся как с личным врагом со страшным голодом. То есть, закончил я, повесть о нас, о моем поколении и о наших рано состарившихся и рано умерших матерях...

Кайсын-ага признался, что и он задумал написать роман или повесть в прозе.

— Будет называться «Была зима», — сказал он. — Много места уделю матери...

— А как будет по-балкарски «Была зима»? — поинтересовался я.

— «Кыш эди», — перевел он и тут же спросил: — А по-алтайски как это звучит?

— Так же, «Кыш эди» или «Кыш болгон», — ответил я и добавил: — Все же, Кайсын-ага, очень близки наши языки...

— До революции народы Кавказа изъяснялись на нашем, на тюркско-татарском языке, — подтвердил он. И тут же снова вернулся к своей предполагаемой прозе. Укорил себя: — Надо было гораздо раньше взяться за прозу, а я дурака валял, если сказать откровенно.

В связи с этим разговором, я позволю себе опять забежать вперед и процитировать одно место из его другого письма, касающегося работы над прозой.

«Ты — молод, — писал Кайсын-ага, — пока возраст хороший — трудись самозабвенно. Только это, в конечном счете, приносит радость и покой душевный. Сделай себе уроком и мои глупые ошибки... Я убил в себе прозаика. Слишком был занят застольями и прочими глупостями... Главное — не пей! Нет большего врага у человека...»

Говоря честно, все же бывает, что я нарушаю эти

дружеские советы моего дорогого Кайсын-аги, но помню об этом всегда и стараюсь как-то быть в норме и не упускать зря времени... В этот же раз я нашел нужным сообщить ему, что ко мне в Железноводск приезжал мой друг и однокурсник по Литинституту, карачаевский поэт Ахмат Кубанов. Оказалось, что моего однокашника он знает. Когда же я посетовал, что, будучи автором нескольких стихотворных сборников, Ахмат Кубанов до сих пор не принят в члены Союза писателей СССР, Кайсын-ага очень удивился.

— Разве?! — И обещал поддержать Кубанова и по возможности помочь. — Карачаевский язык почти не отличается от балкарского. Прочту обязательно его новую книгу. Как же, надо помочь соседу, если он действительно человек талантливый.

Последний раз я слышал голос Кайсына Кулиева в феврале 1985 года. А за день до этого я позвонил в Чегем. Мне домашние сказали, что он опять в Москве и лежит в Кремлевской больнице. Дали телефон. Я тут же набрал его номер. Услышав его хрипловатый, тяжелый голос, тихо сказал:

— Салам, это Борис! — Совсем другим голосом, весело, как бывало раньше, закричал Кайсын-ага. — Вассалам-алейкум, мой брат! Ты откуда звонишь? Ты в Москве? Из Горно-Алтайска?.. Очень хорошая слышимость. — Он говорил много и, как мне казалось, с большой охотой. Я тоже взбодрился, сообщив свои новости, передав ему неизменный привет от детей и моей жены Клары, а под конец прочел...

Кайсын, мне хочется в Чегем,
Под своды старой сакли.
Там угли в низком очаге
И хворост не иссякли.

— А-а, ты мне читаешь Мишу Дудина, — живо отозвался он. — Скажем Мише еще раз спасибо! Он из Ленинграда позвонит мне и я ему передам от тебя привет, ладно?

«И во главу угла стиха
По мановенью ока
Поставим посох пастуха
Как инструмент пророка.

Стадам овец нужна трава
И в полдень тень чинары.
А нам с тобой пасти слова,
Как звездные отары», —

продолжил я свое чтение.

— Ты любишь, значит, эти стихи? — прервал меня Кайсын-ага.— Ты мне делаешь большое удовольствие. Читай дальше, до конца. Там есть отличные мысли. Послушаем вместе Мишу Дудина.— И тут же вдруг спросил: — А ты читаешь по памяти или из книги?

Я сказал ему, что в руке держу книгу стихов Михаила Дудина «Дерево для аиста», на титульном листе которой автором написано, что «от вырубок и сеч святая красота Алтая становится не та». Книга лауреатская. Издана очень хорошо.

— Я знаю,— сказал Кайсын-ага.— У меня есть такая же... Прости, я прервал твоё чтение...

Я, конечно, вернулся к начатым стихам и прочел их до конца:

Чтобы над пропастью пустынь
Одна спаяла фраза
России трепетную синь
И седину Кавказа

Чтоб мы воочию смогли
Иные видеть дали,
Как сыновья одной земли,
Одной земной печали.

Чтоб наше слово мир, как цель,
Держало на примете,
Чтобы играло, как форель,
В Жилге при лунном свете.

— А ты читал его «Форель играет в лунном свете»? — Переключился Кайсын-ага на другое стихотворение Дудина.— Тоже о моей родине, о моем ауле Верхний Чегем.

Я сказал Кайсыну Кулиеву, что «Форель играет в лунном свете» почему-то напоминает мне его стихи «Женщина купается в реке». Он не согласился и добавил, что «Форель...» намного глубже и даже поэтичнее, чем его стихи. Кроме того, стихи Дудина имеют чисто горский колорит и поэтому, мол, тебе кажется так...

... В начале июня восьмидесят пятого года я уехал вместе с некоторыми нашими писателями в Кош-Агачский аймак, на границу с Монгольской Народной Республикой встречать и сопровождать литераторов — наших гостей из этого соседнего государства. Позвонив 6 июня домой уже из другого аймака нашей же области, из Усть-Кана, с ужасом узнал о кончине Кайсына Шуваевича Кулиева.

Моего Кайсына-аги! Об этом телеграфировал из Нальчика Адам Шогенцуков, председатель правления Союза писателей Кабардино-Балкарской АССР...

И все же на столь печальной ноте мне не хочется заканчивать свои заметки. Лучше я процитирую одно место из письма Кайсына-аги от 12 июля 1983 года. Кажется, мои старания что-то сделать для него приятное, как говорится, не прошли даром... Впрочем, пусть лучше скажет о том сам Кайсын Кулиев. «В больнице, где я лежу, прекрасная библиотека. Взял журнал «Знамя» № 4 и долго держу его у себя в палате. Читал и перечитывал твои письма ко мне.— Это он имел в виду мои стихи, посвященные ему и напечатанные в этом номере «Знамени». Я до сих пор рад, что на эти стихи своими глазами смотрел сам Кайсын-ага и, по его словам, они понравились ему.— ... Ты оказал ими мне большую честь,— писал он в этом последнем мне письме.— Я очень рад и признателен тебе. Замечательные стихи...»

Так мог радовать своего собрата по перу лишь Кайсын-ага — человек и поэт души высокого свечения. Я уверен, что его свет никогда не погаснет, пока существуют в мире люди и земная, нетленная красота поэзии...

Что же касается моих стихов, которые живыми глазами успел увидеть и читать сам Кайсын-ага в переводах Ильи Фонякова, то я нахожу нужным привести их в данных воспоминаниях о моем старшем друге...

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ПОЭТУ КАЙСЫНУ КУЛИЕВУ, ОТПРАВЛЕННОЕ С ДОРОГИ

Тот берег мы покинули вчера.
Без нас теперь пойдут на Рижском взморье
В извечном ритме дни и вечера,
Светиться будут зори и подзорья.

Мне кажется, и в нашей жизни есть
Свой скрытый ритм, закон чередованья:
Вослед печальной — радостная весть,
Сегодня встреча, завтра — расставанье.

Бывает, заночуешь в шалаше,
Наутро снова дальняя дорога.

Оглянешься — и защежит в душе:
Тот малый кров — уже родной немного.

И в каждой из гостиниц, где ты жил,
Где чемодан ты свой дорожный ставил,
Где строчку хоть единую сложил, —
Ты что-то невозвратное оставил.

Что ж тут дивиться! Целый мир вокруг
О человеке, о тебе хлопочет,
Тебя хватает тысячами рук,
Тобой живет и отпустить не хочет.

Мы жили здесь, на рижском берегу,
Бок о бок жили, целый месяц ровно,
И за двоих я говорить могу,
Что здешний кров родной теперь нам кровно.

Пройдут года, иные уголки
Своей земли узнаем и полюбим.
Но будем помнить рижских дюн пески,
Возникшей дружбы узел не разрубим.

Журчит вода, кусты шумят во мгле,
Сверкают звезды в темно-синей тверди.
Но только человеку на земле
Доступна мысль о жизни и о смерти.

И потому, должно быть, потому
Он никогда покоя не находит.
Все, что проходит, дорого ему.
Проходит все — и все же не проходит.

Мир — в нас, мы — в нем, и нет прочней родства.
Ему принадлежим душой и телом.
Уйдя какой-то частью существа,
Останемся и мы на свете белом!

**ВТОРОЕ ПИСЬМО
ПОЭТУ КАЙСЫНУ КУЛИЕВУ,
ОТПРАВЛЕННОЕ В ДЕНЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ
В ГОРНЫЙ АЛТАЙ С СЕВЕРНОГО КАВКАЗА**

I

По ущелью Чегема, что вами воспето,
Я проехал, волнуясь, по вашим следам,
Посмотрел, как под солнцем кавказского лета
Блещут воды в теснинах, и, щурясь от света,
Постоял на маленьком мостике там.

Прямо с неба, казалось, неслись водопады,
И теперь не забыть мне уже никогда,
Как вздымаются грозных камней баррикады,
Как по серым щекам величавой громады,
Словно слезы, по капле струится вода.

Так стоит она, плача, годами, веками,
Так ей вечно, в слезах, тут стоять суждено.
Я морщин ее влажных касался руками:
Это камень всего лишь, но сердце не камень,
Даже камню сочувствовать может оно.

Показалось внезапно: на ваши похожи
Эти вечные скулы! И сердце вдвойне
Сжалось вдруг у меня! Пригляделся — о боже!
Я не видел вас плачущим, брат мой, и все же
Та скала, вся в слезах, вас напомнила мне.

Или, может быть, все потому, что недавно
Сам в горах схоронил я любимую мать.
Вот и видятся слезы, — неявно и явно...
Но, как воды реки, безоглядно, державно,
Жизнь идет — мы не станем ее проклинать!

2

Мне чегемские ветры лицо овевали,
Волны мчались, как барсы, оскалив клыки.
И дорожные камешки передавали,
Что они на ладони у вас побывали
И хранят теплоту вашей сильной руки.

Вашим зреньем глядел я в глаза человечьи,
И старался сказать, как сказали бы вы.
По-балкарски,— ведь родственны наши наречья!
И меня старики одобряли при встрече
Величавым наклоном седой головы.

Было все мне занятно и все драгоценно!
Я смотрел, как из козьего пуха платки
Продают на дороге: как важно, степенно,
Меж двумя преогромными копнами сена
Едет мальчик на ослике кромкой реки.

Шли туристы навстречу, смеясь и болтая;
Шел и попросту праздный, беззаботный народ.
Их немало сейчас и у нас, на Алтае,—
И откуда напасть появилась такая.
Только .Время, быть может, само разберет!

Не скажу обо всем — впечатлений так много,
Не мудрец я — всего не понять, не объять.
Но во мне продолжается эта дорога,
И опять пробуждается в сердце тревога,
И надежда в душе прорастает опять.

И опять меня ветер, шурша облаками,
Побродить и подумать о жизни зовет
Там, где горы беседуют с небом, с веками,
Там, где плачет по-прежнему раненый камень,*
Там, в ущелье Чегема, где брат мой живет!

**ВМЕСТО ТРЕТЬЕГО ПИСЬМА
ПОЭТУ КАЙСЫНУ КУЛИЕВУ— НАДПИСЬ НА ЕГО
КНИГЕ «ТРАВА И КАМЕНЬ», ПРИСЛАННОЙ МНЕ
ИЗ ЧЕГЕМСКОГО УЩЕЛЬЯ**

Камни Кавказа и камни Алтая
С давних времен вы окрашены кровью!
Парни Кавказа и парни Алтая,
С давних времен вы пылали любовью

*«Раненый камень» — название книги стихотворений Кайсына Кулиева.

К милым горам и красавицам юным!
Мы за любовь, за счастливую долю
Бились веками — и не оттого ли
Мало осталось нас в мире подлунном?

Отчую землю зато отстояли!
...Был я недавно в Чегеме скалистом.
Думал, смотря на мальчишек: не я ли
Сам себе встретился юным и чистым?

Дети в Чегеме, у неба под боком,
Горы Алтая пускай рисуют!
Дети в моем Каярлыке высоком
Горы Кавказа пускай рисуют!

Верю — получится: горы похожи,
Схоже и мы говорим и смеемся...
Редко мы видимся, брат мой, и все же
Верится, брат мой, не расстанемся!

1987 г.

«... ВЕРНЫЙ МЕЧТЕ И ТРУДУ»

(О Сергее Маркове)

Из нашей переписки с Сергеем Николаевичем Марковым — поэтом, прозаиком, ученым и неутомимым путешественником по бескрайним просторам Союза — у меня сохранились несколько миниатюрных по форме писем. Я не знаю — всем ли своим адресатам он отправлял столь необычные по форме открытки. Однако убежден, что тем, кто получал их, интересно было не только читать, но и разглядывать их, ибо были они самодельными. Для этой цели Сергей Николаевич использовал белоснежную мелованную бумагу. Марки на них наклеивал тоже не абы какие, а со значением и определенным смыслом. Так, марка на открытке, полученной мной, от 14 января 1976 года, напоминала о 175-летию со дня рождения знаменитого «Слова о полку Игореве». Сами же письма его, во всяком случае те, которые получал я, были всегда лаконичными, как и его стихи, выделяющиеся в потоке современной поэзии особым мастерством и изяществом. Писал он черной тушью и четкими, почти печатными

буквами, сообщая о малоизвестных случаях и явлениях нашей истории и нашего быта. Коротенькие, немногословные письма Сергея Николаевича говорили о его вечно живом духе, никогда не угасавшем душевном огне, хотя в то время находился он уже в почтенном возрасте.

Вот одно из его самых первых писем: «Когда я перелистал сборник,— речь идет об одной из моих книжек стихов, подаренных Сергею Николаевичу,— то вспомнил Бешпельтир, Анос, Эликманар, Узнези (да, он писал не Узнеся, как ныне все пишут, а именно — Узнези, чисто по-алтайски) и другие места...»

Оказывается, Сергей Николаевич в середине двадцатых годов был в Горном Алтае. Ходил по горам и долам вверх по Катуні, написал ряд замечательных стихотворений, среди которых «Су-Ээзи — водяной дух», «Темный румянец», «Дорога в Улалу», «Ночь в горах». И теперь, когда бы я ни ехал по прикатунской долине, невольно вспоминаются не только наши встречи с ним, но и приходят на память строчки его стихов, отдельные звучные и неожиданные рифмы. Подъезжая, например, к Узнези, как не прошептать «Узнези — Ээзи». В связи с этим, мне думается, что у него был особый интерес к незнакомым словам, особое и острое чутье на них. Услышав какое-то новое слово, мне думается, Сергей Николаевич тут же откуда-то улавливал эхо, то есть точный и ответный рифмовый звук этого слова.

Судите сами и, надеюсь, разделите мою радость от красивой и точной звукописи хотя бы в следующих строчках...

Река скакала по скатам скал,
Конем, резвящимся смолоду,
А ты, Ээзи, на валун намотал
Свою широкую бороду.

Повторяя «река скакала по скатам скал»,— явно ощущаешь, мне кажется, пронзительный свист ветра, его музыку, плач и ярость реки, всякий раз воочию видишь прищур зеленых глаз красавицы дочери Горного Алтая — неукротимой и светлой Катуні.

А с кем только в жизни не встречался Сергей Николаевич! Еще в начале своего творческого пути, в начале своего смелого и самоотверженного поиска он познакомился с Алексеем Максимовичем Горьким. Об этой встрече он потом напишет:

«Откуда происходит изволите?» — шутливо и ласково

спросил меня А. М. Горький,— и, услышав это, сердце мое дрогнуло, ибо больно уж хорошо получилось в его речи наше исконное парфянское «о».

Дело в том, что на малой родине Сергея Николаевича Маркова, «в старинном посаде Парфентьеве, в глухой костромской стороне» тоже «окали». Позже по поручению А. М. Горького, работая в редакции журнала «Наши достижения», Сергей Николаевич с великим интересом и любопытством будет брать интервью у геологов, гидрографов, этнографов, историков и географов. И кипящая эта энергия до последних дней будет руководить поэтом, не давая ему ни на минуту отдыха и покоя. Зов познания, щедрость души определяли его большую и долгую жизнь.

«Есть ли книги местного издания по истории и этнографии алтайцев? — спрашивал меня Сергей Николаевич в одном из писем. — Если были такие издания, пожалуйста, пришлите мне их», и далее сетуя на то, что нам не удалось толком поговорить в Москве об истории, о людях и природном богатстве алтайских гор, признается,— Я давно интересуюсь Алтаем, историей алтай-кижи...».

Так и написал — «историей алтай-кижи». А это говорит о том, что Сергей Николаевич неплохо осведомлен о происхождении моего древнего народа. Во всяком случае я не сообщал ему общеизвестное, что тюрко-язычное племя теле вышло из хуннской среды, а мы, наоборот, от него, теле...

Как-то мы с ним встретились в Центральном Доме литераторов и в зале кафе нижнего этажа присели за столик. От коньячка он отказался. Пили кофе, ели бутерброды. Сергей Николаевич курил и, мне кажется, очень много курил. Может быть, мне так показалось, поскольку сам не курю...

— А вы, Борис, из какого племени-сеока? — спросил он вдруг и, слушая меня, внимательно смотрел тихими, будто о чем-то грустящими зеленовато-синими глазами. Я рассказал, что происхожу из одного из самых больших и главных родов Горного Алтая — из телесов, о том, что телесы жили по берегам Телецкого озера, что знаменитое по красоте в горах Алтая озеро свое русское название получило по имени нашего племени-сеока, поскольку в прошлом телесы и теленгиты были весьма большими народами, не говоря о таких родах-сеоках, какими являются кыпчаки, тодоши и другие.

— А кыпчаков у вас много? — тотчас поинтересовался он.

— Точно не могу сказать, сколько их тысяч ныне. Но довольно много. Кстати, мать моя тоже из рода кыпчаков,— заметив при этом, что он произносит «кыпчаки», а пишет, как говорится у нас,—кыпчаки.

— Да?! Вы, оказывается, из княжеских родов? — пошутил Сергей Николаевич.— Поскольку происходите из ведущих родов Алтая...

Продолжая нашу беседу, я незаметно смотрел в его доброе и мудрое лицо, покрытое множеством морщин, на большой сократовский лоб и видел, что зеленовато-синие глаза его живут, что слушает он внимательно и с интересом. Стараясь убедить его, что алтайцев раньше было очень много, припомнил пословицы, касающиеся только лишь телесов да теленгитов, не говоря о других племенах. Например, «крупнее верблюда животного нет, крупнее телесов рода нет». Или: «Теленгитов больше, чем пестрых берез»... А берез-то ведь на Алтае невероятно много, их не счесть!..

В тот раз, а может, и при другой нашей с Сергеем Николаевичем встрече и беседе о кыпчаках, точно теперь уж не помню, он поинтересовался, знаком ли я с казахским русскоязычным поэтом Олжасом Сулейменовым. Так и сказал: казахским русскоязычным... Конечно, я был не только знаком с ним, но даже было время, когда мы оказывались под одной крышей Литинститута и не редко сживали за одним дастарханом, то есть за дружеским столом. Более того, на титульном листе своей нашумевшей «АЗиЯ», он собственноручно поставил такую, например, надпись: «Да будут славны те народы, к которым мы принадлежим».

— Кстати,— заметил я,— эпиграфом к одной из глав этой книги взято четверостишие из Ваших стихов

О великом «Слове о полку»,
Как буйная трава,
Вросли в славянскую строку
Кыпчакские слова.

— Это из стихотворения, посвященного ему, Олжасу,— уточнил Сергей Николаевич.

«Я не был только в аду»,— писал он в одном из своих стихотворений в начале шестидесятых годов. Действительно так. Особенно в начале своего жизненного пути познал он много горя. Звезды его детского счастья гасли одна за другой. В 1919 году от сыпного тифа умирает отец. Мать будущего поэта остается одна, имея на

руках шестерых детей. Самым старшим среди них он, Сережа, которому от роду всего тринадцать лет. Через два года, когда мальчику еще полностью не исполнилось пятнадцати, погибает от холеры мать. Чтобы помочь своим братьям и сестрам, юный Сережа Марков, сын бывшего землеустроителя, начинает работать газетчиком. Начинает писать заметки, статьи и... конечно же, стихи. Первое его стихотворение с громким названием «Революция» было опубликовано на страницах газеты «Красный вестник», а в 1928 году в № 3 журнала «Сибирские огни» появилась первая его прозаическая работа — новелла «Голубая ящерица».

Личному знакомству я придаю особое значение. До того, как познакомиться с Сергеем Николаевичем Марковым, конечно, я читал и знал некоторые его книги, но не более. А после личного знакомства и общения мне стало интересно все, что рассказывает и пишет этот человек.

Не помню, кто свел нас, двух сибиряков, к тому же очень любящих из всех гор — горы голубого Алтая. Помнится, очень хорошо, что мы почти ежедневно встречались и общались в кулуарах четвертого съезда писателей Российской Федерации. Это было в Колонном зале Дома Союзов.

Однажды Сергей Николаевич меня удивил, спросив, есть ли сейчас в Горном Алтае шаманы, мол, столь своеобразные поэты-импровизаторы и артисты-плясуны с огненным темпераментом. Услышав отрицательный ответ, поэт весело улыбнулся:

— В двадцатых годах шаманы по Улале (ныне город Горно-Алтайск.— Б. У.) ходили со своими бубнами, как наши чиновники-бюрократы с неизменными портфелями...

Слушая Сергея Маркова, я вспоминал его стихи, в которых есть такие строки: «Я шел на Улалу, //Мне встретила скала, //И я спросил скалу: //«Далеко Улала?» //Ответ гранитных уст //Я слышал впервой мгле: //«Спроси терновый куст, //Он ближе к Улале...»

Судьба и характер Сергея Николаевича Маркова, не побоюсь такого сравнения, похожи на характеры и поступки любимых им героев. Например, мне кажется, писатель чем-то очень близок великому русскому исследователю Николаю Николаевичу Миклухе-Маклаю, о чьем пути и мужественном подвиге писал Сергей Николаевич в повести «Тамо-рус Маклай».

Если Миклуху-Маклая интересовал мир людей Новой Гвинеи, то прозаика и путешественника нашего времени

Сергея Маркова интересовали буквально все народы и земли, в первую очередь нашей многонациональной страны, а затем всей необъятной планеты, являющейся местожительством всего человеческого рода. А особенно тюрко-кыпчакские и славянские связи с далекими времен и до наших дней. Только он мог сказать о себе: « Живя в стране трех древних орд, я слышал их язык».

То, что на жизненном пути видел писатель Сергей Марков, с какими героическими судьбами он сталкивался, честное слово, лично во мне, вызывает добрую зависть... Жить бы так долго, знать бы так много, делать бы свое дело так скрупулезно и прочно!

Во вступительной статье к его двухтомнику избранной прозы Юрий Жуков приводит, на мой взгляд, завидные по яркости факты из жизни Сергея Николаевича Маркова:

«... Он встречался и с датским капитаном Ботведом, совершившим кругосветный перелет, и с членами немецкой воздушной экспедиции «Люфт-Ганза», и с советскими мореплавателями, прокладывающими пути в неизведанных водах Ледовитого океана, и с бывшим воспитателем тринадцатого по счету далай-ламы Тибета бурятом Агваном Доржиевым, и со знаменитым российским этнографом Львом Штернбергом...».

Сергея Николаевича интересовали самые различные проблемы. Так в тридцатые годы, работая в том же горьковском журнале « Наши достижения» двадцатичетырехлетний поэт и репортер продолжал ездить в степи Центрального Казахстана. О том времени и о своей журналистской деятельности не без гордости и достоинства писатель позднее признается:

«...как на грех, река Нура весной прорвала свой берег и ушла, оставив без воды Карагандинский район. Мне пришлось заняться убежавшей рекой. Я напечатал статью в « Известиях». Статья обратила на себя внимание Президиума Госплана СССР; меня пригласили туда, попросили более подробно рассказать обо всем и приняли решение о борьбе с безводьем».

Ясно, что за этими скупыми словами автора стоят преодоления различных барьеров для того, чтобы правительство приняло специальное решение и отпустило большие денежные и другие средства, чтобы спасти Карагандинский угольный бассейн... Вода — это счастье и радость людей. Поэт вернул убежавшую из своего русла безжалостную и беспечную степную реку Нур. Разумеется, вместе с ней к степнякам вернулись радость и спокойствие.

В разгаре лета 1979 года в Казахстане состоялась Всесоюзная творческая конференция писателей «Осуществление аграрной политики КПСС и задачи современной литературы в изображении тружеников советского села», посвященная 25-летию целины. Мне, как участнику этого торжества, выпала честь с группой других прозаиков и поэтов поехать по горам и весям Семиречья. Слово «Семиречье» встречается во многих стихах Сергея Маркова. И тут, находясь в просторах Семиречья (когда-то в этих местах белыми звездами там и тут группировались юрты моих предков.— Б. У.), мне подумалось, что после посещения этих мест у поэта-путешественника Сергея Маркова не могла не зародиться мысль написать большую документальную вещь о Чокане Валиханове, юном друге ссыльного Федора Достоевского и потомке казахского Аблай-хана.

В Семиречье мы посетили колхоз имени Чокана Валиханова, в котором, оказывается, до сих пор живут и работают потомки и близкие родственники великого сына казахского народа. И когда нам представили одного из них по родовой линии Валихановых, я не удержался, чтобы не сказать ему о том, что их предок Аблай-хан свои пестрые знамена пронес до Джунгарии и Тянь-Шаня; что от брака Аблая с каракалпачкой Сайман родилось много сыновей, среди которых был и Вали, последний хан Средней орды, родной дед Чокана.

— Откуда все это вам известно?

— Я знаю,— пошутил я, глядя на потомка Чокана,— вы не чистый казах. В ваших венах течет кровь каракалпачки Сайман и наших алтайских майманов, а по вашему найманов.

— Но вы мне так и не сказали откуда вам это известно?

— Это и многое другое я узнал, читая книгу Сергея Маркова «Идущие к вершинам»...

И потомок Чокана согласно кивнул головой, радостно закричал:

— У Сергея Маркова, говорите?!.. Это очень хорошо, жолдосдосум!.. А такие стихи о нашем прадеде знаете? — И он прочел наизусть стихи русского поэта.

Чужая жизнь — безжалостней моей—
Зовет меня... И что мне делать с ней?
Ведь можно лишь руками великана
В лазоревой высокогорной мгле
Куском нефрита выбить на скале
Рассказ о гордом подвиге Чокана!..

Поэма жизни Сергея Николаевича Маркова обширна и неисчерпаема. И я пишу не только воспоминание о большом писателе, но и размышляю над его разносторонним талантом, восхищаюсь его титаническим трудом и по-настоящему интернациональным взглядом на окружающий мир. До того, чтобы рассказать еще об одном его интересном письме ко мне, хочу сделать «привал» на высоком перевале его стихотворения, посвященного Тыко Вылке, великому сыну, художнику маленького ненецкого народа. Давайте, сперва послушаем поэта, в самом добром и лучшем смысле этого слова — скитальца по миру, что лежит под бездонным небом:

« Но однажды водопады Тянь-Шаня сменились для меня,— пишет Сергей Николаевич Марков,— бурунами Ледовитого океана, древними городами и селами русского Севера. Не чудо ли свершилось, когда я обнимал ненецкого художника Тыко Вылку, картины которого я встречал в журналах во времена своего детства! Звенья сомкнулись!»

Я тоже очень люблю картины этого самородного художника. Есть и у меня скромные строчки о нем... Стихи же Сергея Николаевича — « Я сберегу твое наследство», — наводят на мысль о том, что мы, советские люди, действительно стараемся сберечь все доброе и достойное, кем бы это ни создано, если творение это украшает наш духовный мир, помогает жить...

Читать книги Сергея Николаевича Маркова — лучшее наслаждение и учеба. Читать о жизни и творчестве его — тоже учеба. И, наконец, читать письма от него — еще раз учеба. Ты как быходишь в тайный мир его мыслей и неподдельной любознательности, присущих только молодым, находящимся еще в начале пути к вершинам гор в чисто географическом понимании, а затем, замороженным и навеки «отравленным» чудо-словом поэзии, стремящимся постигнуть ее красоту и труднодоступную высоту. У этого человека и настоящего поэта всегда впереди дорога. Его уверенные и твердые шаги всегда направлены к горизонту: мол, что за горизонтом, за рощицей, за холмом? Все интересное — интересно Сергею Николаевичу. Он никогда не чурался истории и поэзии любого народа, будь тот многочисленный или совсем небольшой.

В одном из своих писем он сообщает: «Получил Вашу бандероль, большое спасибо за книги». Далее интересуется историей гражданской войны в Горном Алтае, просит

В разгаре лета 1979 года в Казахстане состоялась Всесоюзная творческая конференция писателей «Осуществление аграрной политики КПСС и задачи современной литературы в изображении тружеников советского села», посвященная 25-летию целины. Мне, как участнику этого торжества, выпала честь с группой других прозаиков и поэтов поехать по горам и весям Семиречья. Слово «Семиречье» встречается во многих стихах Сергея Маркова. И тут, находясь в просторах Семиречья (когда-то в этих местах белыми звездами там и тут группировались юрты моих предков.— Б. У.), мне подумалось, что после посещения этих мест у поэта-путешественника Сергея Маркова не могла не зародиться мысль написать большую документальную вещь о Чокане Валиханове, юном друге ссыльного Федора Достоевского и потомке казахского Аблай-хана.

В Семиречье мы посетили колхоз имени Чокана Валиханова, в котором, оказывается, до сих пор живут и работают потомки и близкие родственники великого сына казахского народа. И когда нам представили одного из них по родовой линии Валихановых, я не удержался, чтобы не сказать ему о том, что их предок Аблай-хан свои пестрые знамена пронес до Джунгарии и Тянь-Шаня; что от брака Аблая с каракалпачкой Сайман родилось много сыновей, среди которых был и Вали, последний хан Средней орды, родной дед Чокана.

— Откуда все это вам известно?

— Я знаю,— пошутил я, глядя на потомка Чокана,— вы не чистый казах. В ваших венах течет кровь каракалпачки Сайман и наших алтайских майманов, а по вашему найманов.

— Но вы мне так и не сказали откуда вам это известно?

— Это и многое другое я узнал, читая книгу Сергея Маркова «Идущие к вершинам»...

И потомок Чокана согласно кивнул головой, радостно закричал:

— У Сергея Маркова, говорите?!.. Это очень хорошо, жолдосдосум!.. А такие стихи о нашем прадеде знаете? — И он прочел наизусть стихи русского поэта.

Чужая жизнь — безжалостней моей—
Зовет меня... И что мне делать с ней?
Ведь можно лишь руками великана
В лазоревой высокогорной мгле
Куском нефрита выбить на скале
Рассказ о гордом подвиге Чокана!..

Поэма жизни Сергея Николаевича Маркова обширна и неисчерпаема. И я пишу не только воспоминание о большом писателе, но и размышляю над его разносторонним талантом, восхищаюсь его титаническим трудом и по-настоящему интернациональным взглядом на окружающий мир. До того, чтобы рассказать еще об одном его интересном письме ко мне, хочу сделать «привал» на высоком перевале его стихотворения, посвященного Тыко Вылке, великому сыну, художнику маленького ненецкого народа. Давайте, сперва послушаем поэта, в самом добром и лучшем смысле этого слова — скитальца по миру, что лежит под бездонным небом:

«Но однажды водопады Тянь-Шаня сменились для меня,— пишет Сергей Николаевич Марков,— бурунами Ледовитого океана, древними городами и селами русского Севера. Не чудо ли свершилось, когда я обнимал ненецкого художника Тыко Вылку, картины которого я встречал в журналах во времена своего детства! Звенья сомкнулись!»

Я тоже очень люблю картины этого самородного художника. Есть и у меня скромные строчки о нем... Стихи же Сергея Николаевича — «Я сберегу твое наследство», — наводят на мысль о том, что мы, советские люди, действительно стараемся сберечь все доброе и достойное, кем бы это ни создано, если творение это украшает наш духовный мир, помогает жить...

Читать книги Сергея Николаевича Маркова — лучшее наслаждение и учеба. Читать о жизни и творчестве его — тоже учеба. И, наконец, читать письма от него — еще раз учеба. Ты как быходишь в тайный мир его мыслей и неподдельной любознательности, присущих только молодым, находящимся еще в начале пути к вершинам гор в чисто географическом понимании, а затем, замороженным и навеки «отравленным» чудо-словом поэзии, стремящимся постигнуть ее красоту и труднодоступную высоту. У этого человека и настоящего поэта всегда впереди дорога. Его уверенные и твердые шаги всегда направлены к горизонту: мол, что за горизонтом, за рощицей, за холмом? Все интересное — интересно Сергею Николаевичу. Он никогда не чурался истории и поэзии любого народа, будь тот многочисленный или совсем небольшой.

В одном из своих писем он сообщает: «Получил Вашу бандероль, большое спасибо за книги». Далее интересуется историей гражданской войны в Горном Алтае, просит

книги местного издания о том периоде. Письмо свое заканчивает совершенно неожиданным для меня вопросом: «Очень интересуюсь конечной судьбой Чета Челпанова, но литературы о нем не встречал, кроме публикации в «Сибирских огнях» 20-х годов («Бурханизм на Алтае»; автора забыл). Может быть, о Челпанове что-либо печаталось за последнее время?»

Во-первых, почему неожиданно для меня?.. Честно говоря, я даже не предполагал, что русского поэта могут интересовать события (1904 г.) из жизни моего народа, проходившие где-то возле нынешнего Кырлыка Усть-Канского аймака. Проповедниками новой веры — бурханизма, — можно сказать, просто по стечению обстоятельств невольно стали пастухи, рядовые алтайцы Чет Челпанов и его дочь Чугул. В то время Чугул, кажется, было всего четырнадцать лет... А что такое бурханизм? Он представляет собой сплетение различных идеологических веяний — монгольского ламаизма, православного христианства, есть и некоторые обрядовые элементы национального эпоса нашего народа.

Интересно, а как Чет Челпанов и дочь его стали проповедниками этой, так называемой Белой веры?.. Историки тех времен и дней пишут, что появился в горах Алтая человек на белоснежном коне и, якобы встретившись с Четом Челпановым, выдал себя за исчезнувшего когда-то Ойрот-хана. А об этом «благородном» хане очень много легенд жило тогда среди жаждущего воли и свободы измученного народа. По легенде он должен был вернуться в лоно «вечнозеленого Алтая» и освободить от рабства и ига свой народ. И вот тот человек на белоснежном коне, то есть новый Ойрот-хан, будто бы сказал Чету Челпанову, как свидетельствуют историки, «на искаженном алтайском языке»: «Я был и буду во веки веков!.. Ты, Чет, человек грешный, а дочь твоя Чугул безгрешна. Через нее я возведу всем алтайцам свои заповеди...»

Вот начало истории Чета Челпанова, дальнейшей судьбой которого интересовался Сергей Николаевич Марков.

Говоря о публикациях двадцатых годов в «Сибирских огнях», поэт, очевидно, имеет в виду очерк Н. Бакая «Легендарный Ойрот-хан» (из истории туземных движений на Алтае), напечатанный в 1926 году в четвертом номере этого журнала. О тех же событиях на Алтае намного раньше, а точнее в 1919 году, в ежемесячнике

«Сибирский рассвет» мне приходилось читать очерк В. И. Верещагина, «Бурханизм или «ак-янг» на Алтае».

А как кончилось дело Чета Челпанова?.. Прежде всего, конечно, чуда такого рода, как встреча с настоящим Ойрот-ханом не было. Новоявленным «Ойротом» оказался странствующий и морочащий головы доверчивых алтайцев монгольский лама. Что касается самого Чета Челпанова, то окружной суд города Бийска не нашел в его учении «ничего противоправительственного» и оправдал его.

Поиски белых пятен в истории стали делом всей жизни и многосторонней деятельности поэта, прозаика и ученого Сергея Николаевича Маркова. Он был пионером многих счастливых начинаний, свершений, находок и открытий, и с полным правом мог написать о себе:

Но верный мечте и труду,
Я всюду старался найти
И светлую соль, и руду,
И к ближнему морю пути.

1984 г.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

(О братьях Аднае и Айылчи Туймешевых)

В начале семидесятых годов дошла до меня весьма удивительная весть о том, что на берегу нашего знаменитого Телецкого озера, в заповедном поселочке Яйлю, как гром среди ясного дня, появился какой-то шаман. К приходу теплоходов «Пионер Алтая» и «Яков Баляев» он, якобы во всем своем шаманском облачении — с бубном в руках, громко ударяя по нему орбой, — особой для этой цели колотушкой, — с многочисленными колокольчиками, висящими на ритуальной одежде, появляется на причале, чтобы встретить туристов и гостей Горного Алтая своеобразной пляской и необычными шаманскими песнями...

Как же так! Ведь живых шаманов давным-давно нет во всем Горном Алтае! Если же таковые где-нибудь и существуют, то они, как обычно, действуют скрытно и тайно. А этот, говорят, каждый раз приходит и в открытую поет и пляшет. Некоторые любопытствующие ротозей, лицемеры, стараются сунуть ему какие-то гроши или напоить водкой, многие просто глазают, в душе потешаясь над стариком. Как же — живой шаман!..

Весть эта заинтриговала и заинтересовала меня не на шутку. Я решил поехать в Яйлю. Очень уж захотелось

взглянуть на него своими глазами. Может быть, это какой-нибудь шутник? Почему до этого я ничего не слышал о нем? Ведь почти ежегодно летом бываю на Телецком озере, на нашем Алтын-Келе — нашем Золотом озере-жемчужине. Бывал и в Яйлю. Ночевал не одну ночь у знакомых там людей и ничего подобного не слышал и не видел. И вот вдруг — шаман!.. Нет, на самом деле, откуда он взялся? Ведь их, шаманов, всячески притесняли, изживали, изолировали вскоре после Октября, особенно в период коллективизации. А раньше, говорят, даже живьем сжигали на кострах, во времена династии Ойрот-ханов, когда на смену шаманизму на Алтае появилась вера в Ак-Бурхана, то есть буддизм. Новые гонения начались в 1904 году. Об этой возвратившейся вере Н. К. Рерих скажет, посетив Горный Алтай в 1926 году, что Ак-Бурхан — это Будда будущего, Майтрея.

Шаманские действия жестоко преследовали как миссионеры, так и бурханисты. Оттого тогда в наших горах и долинах почти исчезло шаманство. Также исчезли шаманские песнопения. Мало-мальские оставшиеся шаманы и их веропоклонники даже боялись вслух произносить слова старинных ритуальных песен.

Когда сейчас знакомишься с текстами их молитвенно-ритуальных песен, то видно, что шаманы несомненно были поэтами. В этом я убедился, например, читая исторические материалы тех далеких от нас времен. В особенности читая и изучая сборник дореволюционного этнографа и, в частности, исследователя алтайской народной музыки Андрея Викторовича Анохина «Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путешествия по Алтаю в 1910—1912 гг.» Он их собирал по поручению Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии. В его сборнике я вычитал вот и такие, к примеру, поэтические строки...

Движущий солнце и луну,
Перекатывающий белые облака,
Разрушающий черные облака!
Молниеносец, громовержец!
Когда топнет ногой,
Вселенная сотрясается,
Когда сотворит он гром,
У чужестранных людей
От страха сердца лопаются!

В некоторых шаманских молениях слышатся страдания человеческой души и сердца от тяжести жизни, от ее

мученических испытаний: «Будет ли так, чтобы в пуповину нашу грязь не попадала? Будет ли так, чтобы на ресницах наших не было слез?»...

И вот я лечу на вертолете на турбазу Артыбаш, чтобы дальше теплоходом поплыть по Телецкому озеру к Яйлю, где, по слухам, живет новый чудо-шаман.

Приближаясь к желанному причалу, глазам своим я не поверил, увидев человека в шаманской одежде, который ритмично ударяя в бубен, звеня колокольчиками, весело и легко приплясывал на берегу голубого озера, под ярким летним солнцем. До нас долетал его глуховатогромкий голос, как гул из-под земли, слышался стук по бубну. С борта теплохода на него уставились сотни удивленных глаз, слышались щелчки фотоаппаратов. Шаман, видимо, привык ко всему этому, поэтому, не обращая ни малейшего внимания на любопытствующих, продолжал петь и выкрикивать, при этом подпрыгивая и яростно ударяя по круглому, как солнце, бубну коротенькой колотушкой. Шумные туристы, как по команде, тут же быстро спустились по трапу и, выйдя на берег, тесной толпой окружили этого экзотического человека. Я, разумеется, тоже стоял среди этой праздной толпы и внимательно наблюдал за действиями шамана.

Сразу же бросилось в глаза, что одежды его были не настоящие шаманские, а сшиты из черной простой ткани. Словом, на нем был простой халат, скроенный наподобие шаманского костюма. Но колокольчики, висящие на этом халате, и бубен были настоящими. Разноцветные ленточки, украшавшие костюм, видать, купил он тут же в магазине, они были новые и яркие. Глядя на все это, я понял, что никакой он не шаман, а простой веселый, не унывающий старик. Хотя, надо заметить, что слова его ритуальных песен были близки к шаманским.

Один глаз у «шамана» был немножко прикрыт веком, а другой — шустро искрился, горя, ни на минуту непотухающим пламенем далекой молодости. Из-за того, что его один глаз, как у охотника, во что-то прицелившегося, был прикрыт, показалось мне подслеповато-косым потное лицо «шамана».

Он плясал и пел, а среди толпы раздавались голоса:

- Орангутанг...
- Танец туземца...
- Дикий человек...
- Пляски Эрлик-бия...

А может быть, это настоящий снежный человек?..

взглянуть на него своими глазами. Может быть, это какой-нибудь шутник? Почему до этого я ничего не слышал о нем? Ведь почти ежегодно летом бываю на Телецком озере, на нашем Алтын-Келе — нашем Золотом озере-жемчужине. Бывал и в Яйлю. Ночевал не одну ночь у знакомых там людей и ничего подобного не слышал и не видел. И вот вдруг — шаман!.. Нет, на самом деле, откуда он взялся? Ведь их, шаманов, всячески притесняли, изживали, изолировали вскоре после Октября, особенно в период коллективизации. А раньше, говорят, даже живьем сжигали на кострах, во времена династии Ойротханов, когда на смену шаманизму на Алтае появилась вера в Ак-Бурхана, то есть буддизм. Новые гонения начались в 1904 году. Об этой возвратившейся вере Н. К. Рерих скажет, посетив Горный Алтай в 1926 году, что Ак-Бурхан — это Будда будущего, Майтрея.

Шаманские действия жестоко преследовали как миссионеры, так и бурханисты. Оттого тогда в наших горах и долинах почти исчезло шаманство. Также исчезли шаманские песнопения. Мало-мальские оставшиеся шаманы и их веропоклонники даже боялись вслух произносить слова старинных ритуальных песен.

Когда сейчас знакомишься с текстами их молитвенно-ритуальных песен, то видно, что шаманы несомненно были поэтами. В этом я убедился, например, читая исторические материалы тех далеких от нас времен. В особенности читая и изучая сборник дореволюционного этнографа и, в частности, исследователя алтайской народной музыки Андрея Викторовича Анохина «Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путешествия по Алтаю в 1910—1912 гг.» Он их собирал по поручению Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии. В его сборнике я вычитал вот и такие, к примеру, поэтические строки...

Движущий солнце и луну,
Перекатывающий белые облака,
Разрушающий черные облака!
Молниеносец, громовержец!
Когда топнет ногой,
Вселенная сотрясается,
Когда сотворит он гром,
У чужестранных людей
От страха сердца лопаются!

В некоторых шаманских молениях слышатся страдания человеческой души и сердца от тяжести жизни, от ее

мученических испытаний: «Будет ли так, чтобы в пуповину нашу грязь не попадала? Будет ли так, чтобы на ресницах наших не было слез?»...

И вот я лечу на вертолете на турбазу Артыбаш, чтобы дальше теплоходом поплыть по Телецкому озеру к Яйлю, где, по слухам, живет новый чудо-шаман.

Приближаясь к желанному причалу, глазам своим я не поверил, увидев человека в шаманской одежде, который ритмично ударяя в бубен, звеня колокольчиками, весело и легко приплясывал на берегу голубого озера, под ярким летним солнцем. До нас долетал его глуховатогромкий голос, как гул из-под земли, слышался стук по бубну. С борта теплохода на него уставились сотни удивленных глаз, слышались щелчки фотоаппаратов. Шаман, видимо, привык ко всему этому, поэтому, не обращая ни малейшего внимания на любопытствующих, продолжал петь и выкрикивать, при этом подпрыгивая и яростно ударяя по круглому, как солнце, бубну коротенькой колотушкой. Шумные туристы, как по команде, тут же быстро спустились по трапу и, выйдя на берег, тесной толпой окружили этого экзотического человека. Я, разумеется, тоже стоял среди этой праздной толпы и внимательно наблюдал за действиями шамана.

Сразу же бросилось в глаза, что одежды его были не настоящие шаманские, а сшиты из черной простой ткани. Словом, на нем был простой халат, скроенный наподобие шаманского костюма. Но колокольчики, висящие на этом халате, и бубен были настоящими. Разноцветные ленточки, украшавшие костюм, видать, купил он тут же в магазине, они были новые и яркие. Глядя на все это, я понял, что никакой он не шаман, а простой веселый, не унывающий старик. Хотя, надо заметить, что слова его ритуальных песен были близки к шаманским.

Один глаз у «шамана» был немножко прикрыт веком, а другой — шустро искрился, горя, ни на минуту непотухающим пламенем далекой молодости. Из-за того, что его один глаз, как у охотника, во что-то прицелившегося, был прикрыт, показалось мне подслеповато-косым потное лицо «шамана».

Он плясал и пел, а среди толпы раздавались голоса:

— Орангутанг...

— Танец туземца...

— Дикий человек...

— Пляски Эрлик-бия...

А может быть, это настоящий снежный человек?..

Мне было почему-то жалко этого веселого и легко пляшущего человека.

А почему бы, подумалось мне, даже в наше высокое, как мы иногда говорим, интеллектуальное время, не быть хотя бы одному шаману? Один-то шаман не перевернет вверх дном всю нашу современную веру, всю нашу идеологию, так же, как один извозчик, положим, в Москве или Ленинграде, всю их культурно-техническую мощь и красоту?..

Когда пронзительно заревел гудок, призывая пассажиров на теплоход, чтобы отправиться дальше по маршруту, то многие не спешили вернуться и скорее занять удобные места. Они продолжали стоять, окружив чудо-шамана, а некоторые даже пытались пуститься в пляс, подражая ему...

...А вечером я сидел в небольшом, аккуратном пятистенном деревянном доме «шамана». Им оказался семидесятисемилетний старик по имени Аднай Каланкович Туймешев из рода чагат. Родился он тут, в Яйлю, в 1896 году. Сын охотника-туба. Туба-кижи — так зовут одно из алтайских племен. У них свой, немного отличающийся от современного алтайского литературного языка, диалект. В научной литературе их называют северными алтайцами.

Аднай Каланкович когда-то в молодости был заядлым охотником и хорошим мастером по дереву. Гнул конные сани, из наростов березы делал красивые национальные седла и прочую пригодную для крестьянина-алтайца утварь. Постоянно живя и трудясь на берегу своего родного озера, среди гор, покрытых сплошным кедром, он также, разумеется, шишковал-орешничал. Беседуя и слушая его, я понял и еще раз убедился, что он никакой не шаман. Однако на всю жизнь запомнил шаманские ритуалы, множество сказок, преданий, притч, песен, легенд, которые бытовали у здешних алтайцев. Его отец — Каланак — был известным сказителем-кайчи, исполнителем народного эпоса. Все то, что слышал от отца, он знал и помнил сегодня.

Хотя было ему, как я уже сказал, семьдесят семь лет, но выглядел он физически очень здоровым и сильным. Большого, крупного телосложения. Большое красноватое лицо, подобное коре старой лиственницы. Пальцы толстые и крепкие, как выдернутые из земли только что мощные морковки.

В тот первый вечер, да и позже в другие наши

встречи, Аднай Каланкович много говорил и шутил. Например:

— За один присест я могу съесть три килограмма медвежьего сала! — утверждал он на полном серьезе.

— Да, именно так. Он не врет, — подтверждала и его жена. Она, кстати, у него русская, значительно моложе своего мужа.

— Это моя вторая жена, — признавался он. — Первая была алтайка. Умерла семь лет тому назад. Дети уже взрослые...

— Я младше его на целых тридцать лет, — не стесняясь, сообщила и «тетя Шура», как к ней шутивно привык обращаться муж. Вдруг она расхохоталась: — Я думала, что этот черт, этот «шаман», поскольку большой добытчик зверей и мастер на все руки, очень богат, потому и вышла за него замуж. А у него, кроме вранья да старого ружья, даже нет хороших портков. Мой первый муж на Прителецком плато был первым садоводом. Здешние фруктовые сады развелись из-за его упорства и стараний.

— Рачкин его фамилия, — уточнил Аднай Каланкович. — Мы были с ним дружны. Жили бок о бок, по соседству. Большой любитель был фруктового дерева! — Затем он опять же шутивно кивнул на «тетю Шуру» и ухмыльнулся: — Она, конечно, скажу тебе чистосердечно, когда я стал свататься, не хотела идти за меня: «Вера твоя, говорит, другая. Шаманская, говорит», — и упирается. Из-за этой русской красавицы, опять же не скрою, а скажу чистосердечно, мне пришлось «изменить» древним своим предкам, отцу и деду — принял русскую веру, православную...

Тут еще пуще засмеялась «тетя Шура»:

— Он, как большой ребенок, я ему сказала шутя, а он все это принял на чистую совесть. Однажды, в один из летних дней, исчез мой Каланкович-то. Исчез надолго. Я думала, он уехал в Артыбаш, к своим детям и родственникам. Но он, оказывается, ездил в Бийск, окреститься... Гляжу, Каланкович появился опять тут, дома. Показывает мне крест, мол, перенял твою православную веру и плачет, поверите ли... Плачет горькими слезами, что изменил своим предкам из-за меня. Давай, говорит, сквозь слезы, теперь выходи за меня замуж, иначе не буду жить, утону или застрелюсь... Мне стало его очень жалко.

— Очень мне было страшно на это решиться, — тихо признается Аднай Каланкович. — Но что поделаешь, в

Мне было почему-то жалко этого веселого и легко пляшущего человека.

А почему бы, подумалось мне, даже в наше высокое, как мы иногда говорим, интеллектуальное время, не быть хотя бы одному шаману? Один-то шаман не перевернет вверх дном всю нашу современную веру, всю нашу идеологию, так же, как один извозчик, положим, в Москве или Ленинграде, всю их культурно-техническую мощь и красоту?..

Когда пронзительно заревел гудок, призывая пассажиров на теплоход, чтобы отправиться дальше по маршруту, то многие не спешили вернуться и скорее занять удобные места. Они продолжали стоять, окружив чудо-шамана, а некоторые даже пытались пуститься в пляс, подражая ему...

...А вечером я сидел в небольшом, аккуратном пятистенном деревянном доме «шамана». Им оказался семидесятисемилетний старик по имени Аднай Каланкович Туймешев из рода чагат. Родился он тут, в Яйлю, в 1896 году. Сын охотника-туба. Туба-кижи — так зовут одно из алтайских племен. У них свой, немного отличающийся от современного алтайского литературного языка, диалект. В научной литературе их называют северными алтайцами.

Аднай Каланкович когда-то в молодости был заядлым охотником и хорошим мастером по дереву. Гнул конные сани, из наростов березы делал красивые национальные седла и прочую пригодную для крестьянина-алтайца утварь. Постоянно живя и трудясь на берегу своего родного озера, среди гор, покрытых сплошным кедром, он также, разумеется, шишковал-орешничал. Беседуя и слушая его, я понял и еще раз убедился, что он никакой не шаман. Однако на всю жизнь запомнил шаманские ритуалы, множество сказок, преданий, притч, песен, легенд, которые бытовали у здешних алтайцев. Его отец — Каланак — был известным сказителем-кайчи, исполнителем народного эпоса. Все то, что слышал от отца, он знал и помнил сегодня.

Хотя было ему, как я уже сказал, семьдесят семь лет, но выглядел он физически очень здоровым и сильным. Большого, крупного телосложения. Большое красноватое лицо, подобное коре старой лиственницы. Пальцы толстые и крепкие, как выдернутые из земли только что мощные морковки.

В тот первый вечер, да и позже в другие наши

встречи, Аднай Каланкович много говорил и шутил. Например:

— За один присест я могу съесть три килограмма медвежьего сала! — утверждал он на полном серьезе.

— Да, именно так. Он не врет, — подтверждала и его жена. Она, кстати, у него русская, значительно моложе своего мужа.

— Это моя вторая жена, — признавался он. — Первая была алтайка. Умерла семь лет тому назад. Дети уже взрослые...

— Я младше его на целых тридцать лет, — не стесняясь, сообщила и «тетя Шура», как к ней шутливо привык обращаться муж. Вдруг она расхохоталась: — Я думала, что этот черт, этот «шаман», поскольку большой добытчик зверей и мастер на все руки, очень богат, потому и вышла за него замуж. А у него, кроме вранья да старого ружья, даже нет хороших портков. Мой первый муж на Прителецком плато был первым садоводом. Здешние фруктовые сады развелись из-за его упорства и стараний.

— Рачкин его фамилия, — уточнил Аднай Каланкович. — Мы были с ним дружны. Жили бок о бок, по соседству. Большой любитель был фруктового дерева! — Затем он опять же шутливо кивнул на «тетю Шуру» и ухмыльнулся: — Она, конечно, скажу тебе чистосердечно, когда я стал свататься, не хотела идти за меня: «Вера твоя, говорит, другая. Шаманская, говорит», — и упирается. Из-за этой русской красавицы, опять же не скрою, а скажу чистосердечно, мне пришлось «изменить» древним своим предкам, отцу и деду — принял русскую веру, православную...

Тут еще пуще засмеялась «тетя Шура»:

— Он, как большой ребенок, я ему сказала шутя, а он все это принял на чистую совесть. Однажды, в один из летних дней, исчез мой Каланкович-то. Исчез надолго. Я думала, он уехал в Артыбаш, к своим детям и родственникам. Но он, оказывается, ездил в Бийск, окреститься... Гляжу, Каланкович появился опять тут, дома. Показывает мне крест, мол, перенял твою православную веру и плачет, поверите ли... Плачет горькими слезами, что изменил своим предкам из-за меня. Давай, говорит, сквозь слезы, теперь выходи за меня замуж, иначе не буду жить, утону или застрелюсь... Мне стало его очень жалко.

— Очень мне было страшно на это решиться, — тихо признается Аднай Каланкович. — Но что поделаешь, в

груди моей старой проснулась вдруг молодая любовь... Я тебе скажу по секрету, что любовь — штука самая коварная. Она на все пойдет, толкнет тебя на самое черное дно могильной ямы.

— А сколько было вам лет, когда женились вторично?

— С тех пор прошло уже пять лет, — опередила Адна Каланковича «тетя Шура». — Считайте, черту этому, шаману, тогда было от роду аж семьдесят два года...

Мне показалось, что это самый удобный момент, шутки ради, задать Аднаю Каланковичу тот главный вопрос, который меня щекочет и интересует, как только я начал беседу с ним:

— А вы, Аднай Каланкович, изменив ради любви своей древней вере, почему начали камлать, да на виду всего народа?

Он, нагнув большую лысеющую голову к широкой груди, глухо засмеялся, надолго закашлялся, задыхаясь от смеха, потом, посмотрев на меня, тем же шутливо-веселым голосом ответил:

— Я ждал от тебя такого вопроса. Только что говорил и доказывал тебе о коварстве любви. Теперь послушай о коварстве славы. Кто не любит ласковых слов и славу?.. Человек, даже стоя на краю могилы своей, хочет знать — останется ли позади него какой-то след. Раньше я боялся петь и особенно вслух произносить шаманские слова. Вдруг опять засунут в проклятую тюрьму. Пел только далеко в горах, во время охоты. Один, для себя, — начал он свой рассказ издали. — А вот в начале нынешнего лета, как только начали по озеру ходить первые теплоходы, с ними вместе приплыли сюда какие-то большие ученые и пришли ко мне. Разговорились. Они оказались казахскими учеными. Из теплого города Алма-Ата. Они спрашивают: «А ты живого шамана видел ли?» Я им говорю: «Видел и даже помню, как они пели и плясали». Ученые-казахи развеселились: «Давай, говорят, попробуй, покажи нам, как шаманы пели и плясали». — Конечно, подливают мне водку, чтобы мой веселый нрав и дух не погас. — А я спрашиваю у них: «Вы не шутите, не хитрите?»... «Нет, говорят, дед, мы спрашиваем серьезно, для науки, ради большого дела». «Боюсь, — говорю им, казахским-то ученым, — вдруг вы меня в тюрьму посадите». «Такие времена уж давно прошли. Не бойся, от имени аллаха самого просим тебя», — настояли и одолели меня. Я им немного спел и тут же, в избе моей, при «тете Шуре», сплясал шаманские танцы...

— Таким его я впервые тогда увидела,— признается «тетя Шура». — Ох, тогда я сперва смеялась, глядя на шамана-мужа, а потом, поверьте мне, испугалась: он пляшет и нечеловеческим голосом орет. Думала, что с ума сошел. Начала подозревать этих казахов: не напоили ли деда чем-то дурным.

— Они слушали, слушали меня и говорят: «Давай, Аднай Каланкович, мы будем тебя записывать на особом аппарате и снимать в кино,— перебив жену, продолжил старик.— Я долго отказывался и под конец согласился. Согласился опять же из-за любви к моей «тете Шуре». Она и уговорила меня. Говорит, что раз нужны твои пляски и песни добрым людям, нашим ученым-гостям, что отказываешься... Они же тебе готовы дать большие деньги и готовы с собою увезти в теплый город Алма-Ата. Так все это началось. По их просьбе и настоянию сшил я наподобие шаманской шубы халат из ситца, сделал бубен. А гости наши — алмаатинские ученые — жили недалеко у озера, в палатках. Жили почти месяц. И вот пришел день записывать и снимать меня в ихнее кино. Снимали среди белого дня у озера. В это время как раз к причалу подходил теплоход. Туристы, конечно, заметили все это. Как бы ученые их не просили и даже пытались гнать, чтобы не мешали им работать, но любопытные не хотели уходить. Все глазели, шумели, толпились возле нас. А я пел и плясал, плясал и пел. Вот отсюда все и пошло-поехало... Я сразу же стал в Яйлю знаменитым человеком... Стали ко мне приходять другие люди, просили, кланчили спеть им песни под звуки и гром шаманского бубна. Слава моя ширилась и полетела черт знает куда...

Аднай Каланкович рассказывал, а жена его одобрительно поддакивала. Тем временем, содержимое в его графинчике, что стоял на низеньком столике, все ниже и ниже опускалось.

— Наконец мне надоело паломничество, в особенности туристов, да и местных жителей. И я решил добровольно выходить каждый раз к теплоходу на причал. Так, что, поэт, слава тебя сможет не только возвысить до небес, но и нечаянно толкнуть на дно черной ямы. Берегись, говорю, поэт, любви и славы!..

В пяти шагах от него, как выяснилось, живет двоюродный брат Адная — Айылчи Кундулешевич Туймешев — сын брата его отца. Тоже сказочник. Тоже легок на язык. Кстати, участник Великой Отечественной войны.

«Тетя Шура» сбегала за ним. Когда он пришел, я заметил, что у него густые, как две черные птицы, брови, такие же густые — ни одного белого волоска, усы. Ему было пятьдесят девять лет. Но выглядел он значительно моложе своего преклонного возраста. Но голова была почти лысой. На темени торчали реденькие волосики, обнажая темно-коричневую кожу. Когда Айылчи Кундулешевич начинал говорить, кожа темно-коричневого темени как-то странно шевелилась, как бы опускаясь вместе с дыханием, то вверх, то вниз.

На какой-то миг, вероятно, я испуганно остановил взгляд на его «движущемся темени» и это не прошло мимо острых глаз Айылчи Кундулешевича. Он красиво, как-то округло, что ли, улыбнувшись, сказал:

— Что, испугался?.. Не обращай внимания. У меня нет черепной кости на темени.

— Отчего? — Невольно спросил я тут же.

— Думаешь, что я таким появился на свет? — Также мягко улыбнулся Туймешев-младший. — Ранение было в голову...

— Во время операции врачи у брата с головы удалили черепную кость, — сообщил Аднай Каланкович. — Живуч мой брат, живуч... Не надо было пойти на это. Надо было, как я, обратиться в свое время к хозяину родовой горы Абаган...

— Вспомнишь тут о родовой горе, — все также мягко улыбался Айылчи. — Спасибо военным хирургам, что жив остался, вернулся в родные места...

— Ты сам не знаешь, как из крови и пожара войны тебя живым вытащил белобородый хозяин нашей родовой горы Абаган, — почти серьезно вставил старший.

— Продолжай гнуть свою прежнюю дугу, — махнул рукой на Аднай Туймешев-младший...

Вот такие люди мне встретились тогда в Яйлю. Разные, интересные судьбы у этих двух Туймешевых. В то же время что-то у них, безусловно, было общее, одного корня и духа. Оба брата хорошо умели играть на алтайских музыкальных инструментах — на топшуре, шоре-дудке да на комусе. Оба хорошо знали народные песни, сказки и легенды. Можно сказать, что я у себя под боком случайно обнаружил целый клад с редкими драгоценностями.

В тот вечер, перебивая друг друга, рассказали они мне немало легенд, бытующих среди таежных людей — йышки.

— Кудай-бог сотворил семь ханов,— начал первым Айылчи Кундулешевич Туймешев и, посмотрев на меня глазами из-под густых бровей, как два маленьких черных солнца, вдруг спросил: — Скажи, поэт, а ханы рядом друг с другом смогут жить мирно?.. Нет! — Уверенно ответил он сам себе, чтобы продолжить начатую легенду.— Через семь лет Кудай спустился с небес на грешную землю и видит, что ханы передрались и перессорились. Как быть и что с ними делать? Бог заклил их навеки, зашвырнув на самое дно таинственного неба. Они там превратились в семь звезд.— Айылчи Кундулешевич неожиданно вскочил на ноги и предложил: — Давай, дорогой брат, выйдем на улицу и покажем поэту этих бывших ханов.

Запрокинув головы к ночному звездному небу, мы довольно долго стояли во дворе дома Адна Каланковича, не прерывая разговор об этих злых и жадных ханах. Айылчи, протянув короткую руку на небо, показал на Большую Медведицу:

— Вот они над нами и над нашими вечными горами стоят, эти бывшие ханы. С тех далеких пор, как Бог их превратил в звезды, воевать между собой и, как прежде, жадничать они больше не могут. Навсегда прикованы к великому и вечному небу...

— А вот другая наша алтайская легенда,— не выдержал Адна Каланкович.— Кудай также сотворил трех чудо-жаб: Кровенисто-Красная Жаба, Молочно-Белая Жаба, Безукоризненно-Черная Жаба. Они так же, как эти злые ханы, были опасными друг для друга. От них страдал народ... Молчи, молчи, брат, я сам расскажу-объясню гостю-поэту. Кровенисто-Красная Жаба — Это значит, будет Солнце-Бог, Молочно-Белая Жаба — Богиня-Луна сама, а Безукоризненно-Черная Жаба, ты теперь сам должен догадаться, это, конечно, наша родная Земля. Понял теперь? А вот, чтобы они друг другу не мешали и дали возможность народу мирно жить, Кудай-бог привязал их невидимыми нитями к звезде, которую по-алтайски зовут Золотой Кол — Алтын-Казык. А по-русски-то, как ее зовут?.. Стало быть, Полярная звезда? Пусть будет Полярной, звезда эта. Как закованная в глубину неба коновязь, всегда стоит она на одном и том же месте. Никуда и никогда не двигается. Вот она-то крепко держит этих трех жаб, не допуская сблизиться друг с другом, иначе, сам понимаешь, быть великой беде на земле и на небе...

Мы вошли в дом. Жена Адна Каланковича уже спала

в дальней комнатухе. Хозяин налил помаленьку из графинчика и снова заговорил о Жабах:

— Если не веришь, что звезда Золотой Кол вечно стоит на одной и той же точке, то прицель на нее ружье и когда бы ты ни пришел и посмотрел, на его мушке будет маячить эта самая всеильная и чудесная небесная коновязь,— закончил старик свой очень красивый, даже очень, мне кажется, современный древний рассказ.

— Поэт,— обратился ко мне Айылчи Кундулешевич,— а ты знаешь, сколько всего дыр у человека? — И, не дождавшись ответа, громко расхохотался.

— Это должен знать любой человек,— смеясь, добавил Аднай. — Давай, давай, поэт, не стесняйся, скажи, сколько дыр у каждого из нас, грешных?

— У человека всего девять дыр! — Почему-то громко утвердил Айылчи.— Семеро из этих дыр находятся на головном шаре человека, а о двух остальных догадайся сам,— оба брата смеялись до слез. Я тоже, конечно, смеялся, но все же ожидал куда они клонят и к чему?..

— Числа семь и девять считаются у нас священными,— напомнил мне Айылчи Кундулешевич.— Все эти числа находятся в нас самих. Отсюда, думаю, что каждый человек свят. Умрет человек — живые отмечают-поминают его через семь или девять дней. В народе говорится, что после смерти через семь дней бессмертный дух и душа человека понимает, что тела не стало, что он покинул навеки грешную землю, находящуюся под солнцем и луной...

— Число семь — это голова человека, на которой находятся семь дыр,— продолжил речь брата Аднай,— а голова подобна самой матушке-земле. Не так ли, поэт?.. А девять, наверное, это весь человек — его тело, кровь, кости и бессмертная душа.

— Девять — это и вся Земля, и Небо, и Луна, и Солнце,— начал расшифровывать Айылчи,— под священным числом девять древние мудрецы, наверное, подразумевали всю бесконечную Вселенную... А может быть, все не так, как мы говорим и думаем, кто знает,— как-то тихо закончил Айылчи Кундулешевич и посмотрел на меня вопросительно.

— Трудно сказать,— вынужден был я вымолвить,— но все равно интересно. Очень интересно! Продолжайте, магнитофон мой работает.

— Давай пополющем просохшие горла свои,— потя-

нулся Аднай Каланкович к графинчику. Затем, осушив свою пиалу, ни к кому не обращаясь, сказал: — А не настала ли пора всем опуститься на землю.

— И земная жизнь хороша, — поддержал его брат, — жив остался — живу!

— Ты, поэт, до сколько колен знаешь свой род? — Совсем по-домашнему вдруг обратился ко мне Аднай.

— Отца звали Укаачи, — сказал я, — а его отца, Тоднаш, отца Тоднаша звали Байарты, а дальше не помню...

— Значит, знаешь всего до трех колен и то хорошо, — одобрил Аднай Каланкович. — Нынче молодежь не считает нужным знать своих предков. Алтаец должен знать свое родословие, хотя бы до семи колен...

— Как видишь, — опять же неожиданно выскочило то самое священное число семь, — обрадованно, но мягко вставил Айылчи.

Аднай не обратил внимания на это, начал перечислять свою родословную.

— Я, Аднай, сын Каланка из рода чагат, отца моего отца звали Туймешем, а его отца — Саспак, Саспака отец — Маныки, отца Маныки звали Байтаром, а у Байтара отец — Балдан...

— А враги у тебя есть, поэт? — неожиданно Айылчи перешел совсем на другую тему, когда брат закончил перечислять имена своих предков.

— Трудно жить без врагов-то, — шутливым тоном ответил я. — Враги тебя берегут от ошибок, сами не зная того, что делают тебе добро; учат быть бдительным и мужественным. Готовым быть ко всяким превратностям судьбы.

— Молодец! — Почему-то похвалил меня Айылчи и обратился к брату. — Ты в какой-то мере есть шаман. Главный враг всех шаманов — подземный злой бог Эрлик-бий. Однако, спасая человека, шаманы шлют проклятия и к Эрлик-бию. Ты забыл рассказать одно из своих проклятий нашему гостю. Расскажи, пусть он запишет. Может быть, когда-нибудь оно ему пригодится, коль говорит, что не может жить без врагов, без их помощи, — и опять засмеялся.

— Да, забыл, запиши! — Закричал Аднай Каланкович, — коль имеешь врагов, запиши, понадобится когда-нибудь. Вот тебе «Проклятье врагу»:

Если ты пришел с пылающей головней —
Первым пускай пламя тебя сожрет!

Если ты пришел, жадюга, ко мне с войной—
Первой пускай юрта твоя падет!

Пусть мне поможет Ульген, добр и велик,
Правду мою отстоять, выиграть честный бой,
Пусть из глубин земных выйдет злобный Эрлик
И в вековечный мрак тебя унесет с собой.

Пусть я увижу в бою
Жалкую спину твою.
Конь твой, споткнувшись, пускай
Шею сломает свою!
Черный ворон — Кускун—
Клюет глаза твои пусты!

Черная пасть земли
Тело поглотит пусть!

Черная тяжесть земли
Ребра сломает пусть.
Чок, чок, чок база!
Пусты! Пусты! Пусты!

(Перевод И. Фонякова)

Аднай Каланкович Туймешев, надо сказать, был одновременно мудрым и наивным, как ребенок, человеком. Он искренне верил в то, о чем говорится в легендах и сказках. Думал, что все это действительно когда-то было именно так, а не иначе, или будет в будущем, как это сказано в устных народных творениях. Например, он совершенно серьезно рассказывал мне весьма печальную, а по наивности едва ли не смешную историю из своей жизни:

— В 1937 году, когда я уже работал председателем местного сельского Совета, неожиданно меня арестовали и посадили в тюрьму. Обвинили, что я — шаман. Мои, услышанные от родного народа и запомнившиеся с детства песни, сказки, пословицы и поговорки считали делом не добрым, а черным. «Пропагандируешь, агитируешь шаманизм поганый!» — сказали мне. А я не знал, что при новой-то власти петь старинные песни нельзя. Так попал я в тюрьму. Целый год держали и допрашивали. Врагом собственного народа считали. Удивительно, как я могу быть врагом тубаларов, живя и всю жизнь работая среди них. Был я до этого даже красным партизаном. За красное знамя бил беляков. А тут вдруг — враг народа!.. Ровно год держали в кутузке. Потом отпустили, слава Кудай-богу великому за это!.. Я точно знаю, что мне помог хозяин нашей родовой горы Абаган,— уверял старик.

— А как он вам помог-то?

— Находясь в тюрьме,— без тени шутки рассказывал Аднай Каланкович,— находясь там, я обратился к хозяину горы Абаган с такими словами:

О, Хозяин великой и вечной горы Абаган,
Отцами и матерями благословенной горы Абаган,
За железными решетками,
В сырой и холодной клетушке я сижу,
Честной и чистой души сын Каланка
Из древнего рода чагат,
Умирая от голода и холода, мучаюсь,
Помогите!
За что я так мучаюсь, за какие грехи меня,
Адная, родившегося у подножья
Священной горы Абаган,
Решили так терзать и позорить?!

Я никогда никого не убивал,
Коня по голове не бил кнутом,
Щенка новорожденного не топил
На нашем великом и чистом озере Алтын-Келе!
Об этом вы сами знаете, великий Хозяин
Великой горы Абаган.
Вы разве не помните, забыли меня?
У меня осталось множество полуголодных детей
У Вашего подножья, священная гора Абаган,
На берегу нашего золотого Алтын-Келя,
Я должен поставить их на ноги,
Я должен выхаживать честным трудом скот,
Косить траву, по Вашей милости ходить на охоту,
Помогите мне, великий Хозяин великой горы Абаган!
Вспомните меня, я — Аднай,
Сын Каланка из Вашего рода чагат...

Я ни перед кем не виноват—
Ни перед родной землей,
Ни перед великим небом,
Зависти черной не имел никогда,
Людям плохого не делал никогда,
Помогите, помогите, помогите!..
О, Хозяин великой горы Абаган,
Отцами и матерями благословенный,
Белым молоком белой кобылицы
Опрысканный, наш Абаган!..
Помогите, честному сыну природы Алтая,
Сыну честного алтайца Каланка,
Росшего у подножья горы Абаган!

(Подстрочный перевод.— Б. У.)

С этими словами, будто бы Аднай во сне пришел к родовой горе Абаган. Он был принят якобы самим Хозяином этой горы. А святой-то дух этой горы, как убеждал меня сам Аднай Каланкович, был весь белым:

одежда белая и легкая, борода до пояса, тоже белая и чистая. Он спросил у сына Каланка из древнего рода чагат:

— А был ли ты, сын мой, в подземном мире, у злого и могучего Эрлик-бия? К нему тоже надо съездить. У него тоже надо просить помощи, чтобы он не торопился забрать тебя туда, в свое подземное черное царство,

— Я с помощью Хозяина нашей родовой горы спустился к Эрлик-бию,— продолжил свой рассказ Аднай. — Поведал Эрлик-бию все, что приключилось со мной, чистосердечно. А он весь в черном. Только красные глаза где-то там сверкают и горят. Перед самым моим уходом вдруг Эрлик-бий спрашивает: «А ты был у Хозяина своей родовой горы?»... Это хорошо,— сказал мне Эрлик-бий,— что был у Хозяина горы Абаган. Ступай теперь обратно. Мы поговорим с ним о тебе и решим. Скажи, грехов-то больших у тебя на самом деле нет?»

— Только один грех у меня,— пришлось слукавить перед Эрлик-бием.— В своих песнях хвалил и славил, кажется, я вас, подземный царь и бог.

— Это хорошо! — Одобрил меня и обрадовался он.— Иди. Ты еще нужен будешь там, на земле, под ярким Солнцем-богом. Я пока тебя трогать не буду.

Аднай Каланкович Туймешев, тогда семидесятисемилетний старик, искренне верил всему тому, что рассказывал мне, сидя в своем доме и старался в этом убедить меня:

— Проснулся я утром в тюрьме. Тамошние начальники сами пришли ко мне и говорят: иди домой. Ты — честный, чистосердечный сын Каланка из древнего рода чагат. Ничего плохого не делал ты, Аднай, против своего черноголового и малочисленного народа! — Весьма серьезно закончил Аднай Каланкович свой «очень правдивый» рассказ.— Если бы мне тогда не помог Хозяин нашей родовой горы, то мне бы сгнить там, в тюрьме. Слава великой и вечной горе Абаган!.. Слава ее белобородому и мудрому Хозяину!..

А может быть, кто знает, он, старик и сказочник, фантазер и немножко враль, так ловко и незаметно издевался, подшучивал надо мной, а?.. Ибо, после своего рассказа, он вдруг широко улыбнулся и весело тут же сказал:

— Я от тюремных начальников хотел было потребовать мзду за то, что целый год сидел у них и страдал. Но этого не сделал. Так и ушел, некогда было. Соскучился

я по детям и по родным горам. Так и ушел, не получив положенную мне зарплату за тот черный год...

Его двоюродный брат Айылчи Кундулешевич, сидевший тут же, рядом, лишь подмигнув мне хитрыми глазами, однако против Адная ничего не сказал, лишь неопределенно буркнул:

— Сказкам надо верить! Они созданы великим умом всего народа.

После недолгого молчания Айылчи тихо пожаловался: — Вот мои дети не знают моих же сказок. Не интересуются и даже не хотят знать, — и, покачивая головой, добавил: — А в будущем наши потомки будут ли петь на родном языке или все пропадет прахом?!..

... Есть о чем беспокоиться. Если подумать на эту тему с высоты наших дней, с высоты конца двадцатого века, то, хотя мы пишем стихи и прозу, выпускаем книги, но тем не менее надо признаться — все же работаем плохо. В школах плохо преподают родной язык и литературу. На это серьезного и коллективного, всеобщего, что ли, внимания нет. Поющих родные мелодии людей даже в деревнях меньше стало с годами, не говоря об игре на старинных национальных музыкальных инструментах. Молодежь разговаривает и пишет на каком-то «пестром» языке, перемешивая русские и алтайские слова... Кто в этом виноват? Конечно же, мы, родители, прежде всего. Если мы сами не станем ревнивыми хранителями своего языка, не будем усердно бороться за развитие его, не будем собирать и печатно фиксировать все то, что имеется в народе, в его древнем фольклоре, за нас никто это не сделает. Современные алтайские писатели, ученые-фольклористы, историки и учителя да и руководящие товарищи, быть может, более всего в большом долгу перед своим народом и перед будущим. Если одно поколение не будет передавать все то, что знает следующему, — не будем кривить душой, — то дело это весьма чреватое, скажем прямо: Так постепенно мы можем убить свое искусство — чудный, родной язык, народные мелодии, вместе с ними все музыкальные инструменты.

Век наш — атомно-технический. Техника никогда в душу человека не вселит зерна прекрасного. Сейчас у многих алтайцев имеются собственные «Москвичи» и «Жигули». Им этого мало. Соревнование идет ныне за личные «Волги». «Москвичи» и «Запорожцы» считаются этапом уже пройденным. Вот почему многие алтайские юноши даже не умеют седлать, скажем, коня. А распрек-

расные девушки под корову родительскую не садились, не умеют доить ее, даже родившись и живя в деревнях.

... Записывая различные сказки и легенды, я у Адна Каланковича Туймешева жил тогда несколько дней. И поскольку в то время работал в областном телерадиокомитете, решил сделать о нем радиоочерк, воспроизвести его «живой голос», как он поет народные песни, как умеет рассказывать сказки. После моего возвращения, через какое-то время, впервые в эфире нашего радио прозвучал голос и пение этого удивительного старика. Передача моя заинтересовала слушателей. Полетевшие через горы и веси Горного Алтая песни Адна Каланковича полюбились людям. Я был очень рад своему, так сказать, «открытию» еще одного мудреца и сказочника в гуще родного народа.

Личностью Адна Каланковича после этого заинтересовались сотрудники Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. К нему стали ездить наши ученые-фольклористы и литераторы. Его начали приглашать в Горно-Алтайск для записей.

После той, первой встречи с долгожителями с берегов Телецкого озера — Аднаем и Айылчи Туймешевыми — я еще не один раз гостил у них, вновь и вновь записывая, слушая и беседуя с ними.

В каждый свой приезд в Горно-Алтайск, Адна Каланкович приходил ко мне домой. Хотя сотрудники института старались его устроить в отдельном номере гостиницы, но старик мало там находился. Видать, не любил «городское» одиночество. Ходил по гостям. Его охотно приглашали к себе ученые, поэты. Однажды Адна Каланкович, сидя в моем доме, рассказал о том, как охотники заклинали медвежью голову. Меня очень тронул его рассказ. Такого ритуала, например, у алтайцев Южного Алтая уже нет, видимо, позабыт древнейший обычай. После его прозаического рассказа у меня родилось впоследствии вот такое стихотворение:

ЗАКЛИНАНИЕ МЕДВЕЖЬЕЙ ГОЛОВЫ

Я, охотник Адна, сын Туймеша,
В заповедных горах вырастая,
Никогда, клянусь, не стремился

Истребить всех зверей Алтая.
И медведя с целью убийства
Не преследовал никогда я!

Повелитель всех зверей Алтая,
Дедушка Медведь!
Разве чем прогневал вас когда я,
Дедушка Медведь?

Разве мало в пищу вкусных зверей
Вам давали леса Алтая?
Разве мало орехов роняли с ветвей
Перед вами кедры Алтая?

Для чего же съели вы у меня
Моего охотничьего коня?
Для чего, от жилья моего вдали,
Путь мой первым пересекли?

Почему вы так ожесточились:
Может испытать меня хотели?
Думали: не женское ли сердце
Прячется в мужском могучем теле?

Думали: а вправду ли метка
У меня, охотника, рука?
Повелитель всех зверей Алтая,
Мудрый, уважаемый Медведь!
Повелитель всех зверей Алтая,
Грозный, почитаемый Медведь!
Вашу голову большую
На живой огонь кладу я—
Пусть насытится Батюшка-Огонь!

Вашу голову большую,
Вашу голову святую
Я не перешагивал, отнюдь!

Значит, дух ваш возродится,
Пусть он в горы возвратится
Рассказать зверью и птице,
Что Аднай, охотник, сын Туймеша,
Наставленья предков не забыл!

Пусть убийство мудрого Медведя

Не зачтется мне виной:
Не виновен я перед Медведем,
Он был виноват передо мной!

Чёк, чёк, Батюшка-Огоны!
Чёк, чёк, Батюшка-Огоны!

(Перевод И. Фонякова)

Стихи эти, когда я их напечатал, как обычно, на алтайском языке, неожиданно вызвали у некоторых малознающих литераторов и горе-ученых сомнения и споры: они упрекали меня, мол, у алтайцев нет такого ритуала. Это наблюдается, мол, лишь у народов Тюменского Севера. А для нашего народа — это неизвестно и чуждо. Явно подражаешь манси-поэту Ювану Шесталову. Все это идет якобы от его «Языческой поэмы».

Но ведь эти народы живут в низовьях Оби, истоки которой, как известно, находятся у нас, в горах Алтая. Разве не было с ними древних связей? Это ли не подтверждение тому, что я услышал от Адна Я Каланковича Туймешева, который и знать-то не знал и не слыхивал о хантах и манси. Выдумать подобное я, конечно, мог бы и сам. И все же не выдумка это и старого Адна Я Каланковича!..

Между тем стихи эти и нашим поэтам подали пример, достойный продолжения, вдохновив и пробудив их. На фольклорную поэзию стали смотреть совсем иначе, чем в 50—60-е годы. Эстафету эту раньше всех, легко и быстро перенял наш, в то время молодой поэт Бронтой Бедюров, с которым мы еще раз съездили к Аднаю. Яркими примерами тому являются многие его вещи, написанные и напечатанные несколько позже моих «заклинаний», «молитв», «благопожеланий», «монологов» и «обращений», в основе которых, безусловно, наличествуют фольклорные мотивы алтайского народа. К этому побудили его научные изыскания, которыми он вплотную занялся именно в те годы.

Вот некоторые названия его стихов: «Оплакивание убитого Медведя», «Плач Медведицы по убитому детенышу», «О языке и обычаях охоты», «Колыбель Умай-эне», «Слово Огню после удачной охоты», «Обращение охотника Адна к родовой Горе» и многие другие. А позже он назовет один из своих сборников, почти полностью состоящий из стихов, написанных на основе свода жанров устного народного творчества, «Языческим ковчегом».

Я этому рад, скажу прямо, как никто другой из наших поэтов-современников.

Конечно, никто не имеет особых привилегий на родной фольклор. Лишь замечу, что открыть что-нибудь новое в литературе, даже используя приемы и клише того же устного творчества народа, дело не совсем простое и легкое. Ведь это наше непреходящее великое наследие! Надо быть находчивым самому, уметь зажигаться от удачных находок и открытий, но, конечно, по-своему, в силу собственной поэтической индивидуальности.

Лет несколько тому назад я написал цикл стихов «Алтайский лунный календарь», куда вошли двадцать четыре стихотворения о двенадцати алтайских месяцах и о двенадцати алтайских годах. Каждое стихотворение о месяцах, например, состояло соответственно из двенадцати, а об алтайских годах — каждое было по двадцать четыре строки. После меня, через какое-то время, из-под пера нашего поэта Аржана Адарова, гляжу, вышел цикл стихов на эту же тему, то есть о двенадцати алтайских месяцах и годах. Получилось своего рода творческое состязание... Да, думается мне, можно нам даже соревноваться, создавая оригинальные произведения на общей народно-поэтической основе, как это вольно или невольно получилось у меня и Аржана Адарова. Выиграем мы все, вся наша литература. А уж кто лучше или хуже сделал и воплотил, рассудят потомки, время и пытливейший читатель...

И вот то вечное, великое, что ищешь всю жизнь, может лежать совсем близко, рядом, как говорится, под ногами, но не всеми это замечается, к сожалению. Близок локоть, да не укусишь! Да, еще учиться и учиться нам всем, искать, находить, открывать...

... Аднай Каланкович Туймешев — один из мудрых и самых веселых, по-детски цельных людей, которых я встречал на довольно долгом жизненном и литературном пути своем. Он прожил почти девяносто лет и умер на берегу все того же Телецкого озера, у подножья горы Абаган, в маленьком поселке Яйлю. Нет, он не умер, а ушел туда, вглубь своей родовой Горы, к природе своей...

...А его двоюродный брат Айылчи Кундулешевич Туймешев из того же древнего телесского рода чагат жив и здоров. Он, как и прежде, живет там же, в Яйлю. Посреди красот с малолетства родных ему мест, по-прежнему гостеприимно встречает приезжих людей, щед-

ро раздаривает им свои сказки и легенды. Над его головой все также белеет снежная вершина его родовой горы Абаган. Недалеко от его дома тихо плещет неутихающими волнами и сверкает так же родовое, как и Абаган, озеро — Алтын-Кель.

Как хорошо, что были и есть такие люди среди моего малочисленного, но великого духом алтайского народа! И верится мне, что пребудут они вечно!

1985 г.

ДВАДЦАТЬ ПЕСЕН ЛЮБВИ И ПЕЧАЛИ О МАТЕРИНСКОМ СЕРДЦЕ

I

Месяц Кукушки вновь на дворе,
Вновь трава зелена,
Снова земля отошла в тепле
Из-под зимнего сна.
Женщины вытащили на свет
Праздничные платки.
В школе,
Куда я ходил столько лет,
Бодро звенят звонки.
Но почему в этот светлый день
На сердце смертная тень?
Черный ком земли, как огонь,
Мне обжигает ладонь...

2

Лужи в полях, словно звезды,
Светятся после дождя.
Солнечно. Облачно. Вёдро...
В знойную даль уходя,
Облако движется плавно,
Тень уронив на траву...
В детстве мечталось, что стану
Облаком — и поплыву!
Солнце просушит под вечер

На поле весеннюю грязь...
Вдруг показалось: по речке
Матери тень пронеслась!

3

Я приехал ночью к родным,
А над юртой струится дым,
Ворох искр через дымоход
Поднимается в небосвод...
И родной очаг не погас,
И сестренка, и зять при мне...
Тот же чайник шумит на огне,
Только свет материнских глаз
И тепло их — исчезли во тьме.

4

Год завершил свой круг,
И дикий гусь
Из теплых стран
К нам снова воротился...
Растаял снег,
Но не исчезла грусть,
Хоть Каярлык
В зеленый дым укрылся.
Близ стойбища тоскующий журавль
Всю ночь кричал...
Зачем грустить весною?
Быть может, он подругу потерял.
А может быть, делил печаль со мною?
Я снова воротился в Каярлык,
Где мать уснула в земляной постели.
Весенним днем под журавлиный крик
Мои виски до срока поседали.

5

В нежных сумерках перед рассветом
Поглядите на Каярлык—
Иссечен морщинистый лик,
Мягко высвечен тайным светом...
Облик матери,
Облик матери...
Ранним утром снова взгляните
На морщинистый Каярлык—

Серебрятся ручьи, как нити,
Снежной влагой сверкает лик...
Слезы матери,
Слезы матери...

В нежных сумерках перед рассветом
Поглядите в последний раз:
Горы залиты мягким светом—
Это свет материнских глаз...
Очи матери,
Очи матери...

6

Без матери зима сурова,
Без матери — недобрый взгляд,
Случайно сказанное слово
Вонзиться в сердце норовят.
Не сердце — а сплошная рана,
Весь белый свет тебе не мил,
Как будто бы под вой бурана
Бредешь один среди могил.

Луна струит мертвящий холод,
И так постыло на душе,
Как будто ты, уже немолод,
Стоишь на смертном рубеже.

Как будто вышел из-под крова
Без шапки — и бредешь во тьме...
Без матери зима сурова
От одиночества вдвойне.

7

Цинковыми ведрами гремя,
По утрам нас матери будили,
Шли к коровнику,
Коров доили,
Запрягали старого быка,
Тяжкие бидоны молока
На завод
Поспешно увозили.

Холод. Страх. Отчаянье. Война...

Матери детей накормят, косы
На плечи — и со всех ног в луга —
Дотемна, пока не лягут росы,
Накосить да выметать стога...
А на лицах разом — пот и слезы...

Мать вернется к ночи — и опять
Зазвенел в ее руках подойник,
Вновь бегом торопится в коровник,
Вновь быка ей надо запрягать,
Вновь везти бидоны на завод —
А в своем доме полно забот...
А когда она сомкнет глаза —
Глядь, уже светлеют небеса.

8

Рык медвежий раздался ночью,
Замычал истошно телок,
И медведь тяжелую ношу
В ночь глубокую поволок.

Ах, пастух, запоздал твой выстрел,
Жги костер да кричи во тьму...
Утром кровь на траве увидел —
Как и чем оправдаться ему?

Зверь унес корову из стада,
Но за вред, что приносит зверь,
Расплатиться с колхозом надо...
Только чем... И что теперь?

Ах, пастух, подвела тебя дрема,
Коль подкралась беда из тьмы...
Мать в ту ночь оставалась дома,
А не то бы пропали мы...

9

Белый телок на зеленом лугу
Прыгает, крутит хвостом, веселится,
Задом взбрыкнет, словно конь на скаку,
Встанет как вкопанный, снова помчится.

Детские годы припомню опять:

Белая наша корова рожала
Белых телят и так ласково мать —
«Зайчик», «Зайчонок» — телят называла.

«Зайчик! Зайчонок!» — услышать хочу.
Эти слова, этот голос заветный.
— Зайчик! Зайчонок! — теленку кричу—
Но тот помчался вдогонку за ветром.

Белый телок на зеленом лугу,
Как захмелевший от синего мая,
Скачет и взбрыкивает на бегу,
Воспоминаньям моим не внимая.

10

Материнское личико
К старости усыхает.
Мать катится, как яичко,
Охает и вздыхает!
Вдруг заболеют веки—
Станет слепой навеки!

Я завещаю сыну:
«Мать не обидь упреком!
Нарочно иль ненароком...»
Я завещаю сыну.

Если обидишь — будешь
Клясть сам себя сурово.
Словом себя осудишь
У материнского гроба.

Я, побродивший по свету,
С жизнью поговоривший,
Матушку похоронивший—
Знаю: роднее нету!

11

О брате моем не печалуйся, мать,
Он старшего брата привык понимать.

А ежели он не услышит меня—
То словом и делом помогут дядья.

Он водит машины по трассам страны.
Он скромен, какими должны быть сыны.

Привычек плохих он в семью не несет.
Он скоро невестку в твой дом приведет.

12

Мать!
Я хочу поделиться
Радостью в нашей семье:
Сын из великой столицы
Вас вспоминает в письме!
Вы никогда не видали
Нашей столицы Москвы.
Внук ваш сквозь дальние дали
Видит хорошие сны.

Пишет,
Что Старая Мама
Дверь отворила ему,
Будто бы Старая Мама
Чай заварила ему,
Будто бы жизни учила,
Доброе слово нашла,
Будто бы благословила
И потихоньку ушла...

13

Мама,
Вы что-то спросили о внуке Амыре?
Он любопытным и умным растет мальчуганом,
Все, что творится
В громадном сегодняшнем мире,
Знает Амыр,
Путешествуя в книгах по странам.

Краски изводит,
Рисует алтайские горы,
И в дневнике иногда «подтирает» отметки,
И на хоккей иногда убегает из школы,
Словом, живет, как живут все его однолетки.

Может быть, время придет,
И как вечную память
Вас нарисует объятую солнцем и снегом.
Но, коль случится, художником внук Ваш не станет,—
Пусть вырастает
Достойным любви человеком!

14

Я опять поругался с женой—
Слов бессмысленных наговорил,
И опять я хожу сам не свой,
Душу ревностью разбередил.

Сыновей бы стесняться пора,
Но ревную — и мучаюсь вновь...
Мама, ты и мудра, и добра:
Не вини меня — это любовь!

15

А дядя Тадай
Все так же пьет,
Мне справиться с ним невмочь...
В город приедет,
Ко мне зайдет,
Бормочет,
Не спит всю ночь,
В вытрезвителе «погостил»...
Конечно,
Мы с ним говорим,
Но знаю:
Меньше бы дядя пил—
Была бы ты рядом с ним.

16

Мама! Не думай, что я хвалюсь,—
Я говорю как сын,
Вам открывая душу, и пусть
Слышат с горных вершин
Голос алтайского пастуха
Лондон, Париж, Берлин,
Звуки нашего языка,

Шорох наших равнин.
Вы мне дали язык и слух,
Красок и чувств запас...
Что такое алтайский пастух,
Мир узнал через Вас...

17

Я рос без отца, и судьба
Трепала меня без пощады.
Случались минуты, когда
Я плакал от горькой досады.
Но мама, бывало, ко мне
Подсядет, ладонью погладит
По бедной моей голове,
И, глядь, все тревоги уладит,
И злобу врага растворит,
И сердца неистовый пламень
Отходчивым словом смирит...
Но, матушка, ежели камень
Мой друг для меня же припас,
То кто без тебя мне поможет?
В какие ладони сейчас
Твой сын свое сердце положит?

18

Снова на свете скрипят колыбели,
Снова на свете пеленки шьются,
Снова травы зазеленели,
Снова ливни на травы льются.

Мама!
Я помню брата Темира,
Помню! Во сне я стремился к брату,
Но, просыпаясь, бродил уныло:
Где он? И где мне искать утрату?

Мама!
Сын у меня родился!
Чтобы он жил,
Восхищаясь миром,
Чтобы жизнью земной насладился,
Я называю его — Темиром!

Я говорю себе: брось горевать—
 Это судьба матерей—
 Чтобы одних на земле оставлять
 Бедных своих сыновей.

В юрте огонь, что так дорог и мил,—
 Ближе, чем отблеск звезды,
 Ярче сиянья небесных светил.
 Льющих свой свет с высоты.

Мама, я вас потерял и теперь
 Понял горечь потерь,
 Ту, что поймут мои сыновья,
 Когда их

покину
 я.

Есть земное поверье
 О бессмертье души.
 Если так — то потери
 На земле не страшны.

Если так — то, быть может,
 Повстречаемся мы...
 Только что нас тревожит?
 Что смущает умы?
 Тяжела та дорога,
 Неохота спешить,
 Мне еще бы немного
 Да счастливо пожить,
 Да детей поженить бы,
 Да на внуков взглянуть...
 Словом, крепкие нити
 В даль времен протянуть.
 Не хочу торопиться
 В нежилые края—
 За душою страница
 Не написанная!

И покамест я таю,
 Погружаясь во мглу,
 Может, статься, Алтаю

Я стихом помогу.
Может быть, я добавлю
В мир крупницы любви,
Край родимый прославлю—
Мама, благослови!

Тяжесть жизни и долга
Разместились в груди...
Так что ждать меня — долго,
Но ты все-таки жди.
Грянет черная дата,
Остановится кровь...
И, быть может, когда-то
Мы увидимся вновь.

(Перевод Ст. Куняева)

ПОЭТ С РЫСЬИМИ ГЛАЗАМИ (О Борисе Слуцком)

О моем первом приходе к нему домой Борис Абрамович Слуцкий в предисловии к моей книге «Ветка горного кедра» почему-то пишет так: «Однажды ночью, в первом часу, в дверях нашей квартиры раздался звонок. Я открыл и увидел коренастого, крепкого, черноволосого веселого молодого человека...».

Хорошо помню, что к Борису Абрамовичу я пришел не «ночью, в первом часу», а утром. Было это 6 января 1967 года. Тогда я учился на последнем курсе Литературного института. День и год моей первой встречи с ним точно зафиксированы самим Борисом Абрамовичем. На подаренном мне в тот день сборнике своих стихов, вышедшем в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Библиотечка избранной лирики», своей рукой, четкими, почти печатными буквами он написал автограф и внизу поставил дату: «6. I. 1967 г.».

Прочитав его предисловие еще в рукописи, которую до сих пор храню, я подумал, что сделал он это специально, для затравки, что ли, будущего читателя, тем более, что представляя молодого провинциала, он написал такие шуточные строчки, которые меня очень тронули и до сих пор согревают душу: «В тайге очередей нет. Предварительная запись по телефону в снегах Горного Алтая не практикуется».

Оказалось, что Борис Абрамович ошибся «не специально, не ради экзотики и заигрывания с читателем, что и подтвердил через несколько лет, подарив мне свою новую книгу стихов «Память», найдя нужным подчеркнуть: «... на память о той ночи, когда он впервые пришел ко мне без звонка, но с замечательными стихами».

Не знаю уж почему он настойчив был в своем убеждении, что я заявился к нему именно глухой ночью. Впрочем, это не главное. Важнее другое — почему среди московских поэтов я выбрал именно его, Бориса Слуцкого, и заявился к нему, чтобы просить перевести мои новые стихи? К тому времени, в 1966 году, «Молодая гвардия» издала на русском языке мою первую книжку стихов в переводах Ильи Фоякова и Евгения Елисеева. Я, конечно, был безмерно рад этому, хотя в душе и не был удовлетворен своими ранними стихами. Дело в том, что в то время я всерьез увлекся поэзией Уолта Уитмена, Владимира Маяковского и Назыма Хикмета. Наряду с этими бесспорными для меня классиками заинтересованно следил за работой и таких в то время «шумных» и «модных» поэтов, как Евгений Евтушенко, А. Вознесенский, а также Л. Мартынов и Б. Слуцкий. И не только увлекался — но и написал вольными стихами целую книгу. Для этих-то стихов я искал нового переводчика. Выбор пал на двух поэтов — на Леонида Мартынова и Бориса Слуцкого. Долго колебался, не решаясь показать ни тому и ни другому.

Подстрочные переводы, как правило, я делал и делаю сам. Однако не умея печатать в то время на пишущей машинке, которой, кстати, и не было у меня, я искал машинисток, согласных не только перепечатать, но и сделать какие-то конкретные замечания, помочь советом, а самое главное — исправить грамматические ошибки, встречающиеся в текстах моих подстрочников. Одной из них, кому я всецело доверял, была учительница русского языка Нина Илларионовна Корнеева. Именно она исправляла все мои ошибки, приводила подстрочники в соответствие с правилами русской грамматики. После чего я заново переписывал от руки их и просил перепечатать добрейшую Екатерину Яковлевну Веселовскую, которая и поныне работает стенографисткой в Литературном институте.

— Хорошие стихи, — сказала как-то мне Екатерина Яковлевна, вручая добротню перепечатанную рукопись. — Не бойся, покажи любому из русских поэтов, — не ожи-

данно улыбнулась, и добавила:— С этими стихами можешь идти даже к самому Твардовскому в «Новый мир»!..

В «Новый мир», правда, я идти не решился. Не осмелился пойти и к Леониду Николаевичу Мартынову, поэту, мною почитаемому, в то время много переводившему с других языков, а отважился поехать на дом к Борису Слуцкому. Ехал в метро и вспоминал одно из его стихотворений:

Перевожу с монгольского,
и с польского,
С румынского перевожу и с финского,
С немецкого, а также и с ненецкого,
С грузинского, а также с осетинского.
Работаю с неслышанной охотой
Я только потому над переводами,
Что переводы кажутся пехотою,
Взрывающей валы между народами.

«Может быть, к этим перечисленным народам,— думал я,— добавится и малочисленный алтайский народ, с языка которого прославленный московский поэт переведет мои стихи, которые пока тихо и молча лежат в картонной папке, ожидая своей встречи с русским читателем». Но тут же эти смелые и нетерпеливые предположения покидали меня, словно их никогда и не было и не жили они во мне, ибо вспоминались и другие строки Бориса Слуцкого, в том же стихотворении, высказанные прямоком, твердо и даже жестко:

А вы, глашатаи идей порочных,
Любой земли фразеры и луны,
Не суйте мне, пожалуйста,
подстрочник—
Не будете вы переведены...

В то время я по своей наивности не знал, что большинство писателей с утра садятся за письменный стол и работают. Поэтому-то поехал к Борису Абрамовичу утром, к десяти, примерно, часам. Теперь бы, разумеется, я этого не сделал. И все же, хотя и побаивался, и волновался,— нажал на кнопку звонка. Дверь открыл сам Слуцкий, посмотрев на меня при этом удивленными рысьими глазами. Я это сразу же отметил, хотя в то время не было напечатано его стихотворение «Биография», где есть такие строчки:

Еще ноги его ходили,
Еще мускулы были сильны
И глаза, как у рыси, точны.

Это стихотворение появится позже, в сборнике «Годовая стрелка», изданном «Советским писателем» в 1971 году и тогда же с добрыми надписями подаренном мне самим автором. Но это будет потом. А сейчас...

Мастер открыл дверь и спрашивает:

— Вы к кому?..

— К Вам,— говорю, глядя ему прямо в глаза,— к Вам, Борис Абрамович.

— Войдите,— сказал он, пропуская меня вперед,— снимите ботинки, наденьте вот эти башмаки,— точными и, как мне показалось, резко-сердитыми словами, указывая на растоптанные большие тапочки, продолжил он. «Почему башмаки?.. Наверное, у них принято тапочки называть башмаками»,— удивился я про себя, молча повиновался и поплелся вслед за хозяином в его рабочую комнату.

Комната оказалась небольшой, забитой до потолка книгами. На рабочем столе беспорядочно лежали какие-то бумаги и опять же книги.

— Ну, что там в Вашей папке? — Сразу же спросил поэт, садясь на стул, как только вошли в комнату.

— Принес Вам показать свои стихи.

— А Вы на каком языке пишете?.. На алтайском? Значит, Ваш язык входит в тюркские группы языков?

Услышав удовлетворительный ответ, Слуцкий тем же резким тоном спросил:

— Стихи принесли показать или хотите, чтобы я их перевел?

— Сперва посмотрите...

Он тут же прервал меня:

— Мне некогда смотреть. Я работаю. Нет времени.

Я не знал, как повести себя. «Может, встать и выйти»,— подумалось. Видимо, мое состояние не ускользнуло от внимательных глаз Мастера, ибо не меняя тона, он сказал:

— Прочтите самое лучшее, что имеется в Вашей папке.

Я, наверное, подумал в этот миг, будь что будет и, набравшись нахальства, брякнул:

— А у меня нет лучших стихов и плохих тоже нет.

— Стало быть, все хорошие? — Усмехнулся он в свои короткие и жесткие усы.

Я молча открыл папку и протянул ему первые же

листки бумаги со стихами-подстрочниками «Моя Родина». Он, быстро взглянув на заголовок стихотворения, тут же заметил:

— Почти все национальные поэты стараются написать на эту ответственную тему и у них, как правило, ничего дельного не выходит. Ударяются в голые декларации и громкие лозунги...

— А у меня получилось! — не без вызова буркнул я.

Его рысьи глаза быстро пробежали по бумаге. Стихотворение было большое, на нескольких машинописных страницах. Начиналось оно с того, что моя родина из весны и описывались детали и краски алтайской весны, затем соответственно лета, осени и зимы. Заканчивалось такими строчками:

Моя родина — мои шаги
От зимы до зимы.
От весны до весны.
Моя родина —
Мои стихи.
Читайте!
Вот они.

Борис Абрамович прочитал до конца. Поднял на меня глаза, спокойно и убедительно сказал:

— Да, у Вас стихи о родине получились. Давайте-ка, еще что-нибудь.

Я подал еще несколько страниц. Он также быстро и молча прочел их, положил листы поверх первого стихотворения. Я же приготовил очередные. Короче, Борис Абрамович пробежал по строчкам почти все стихи, которые я принес и, наконец, спросил:

— А если я переведу Ваши стихи, то кто же Вам поможет их напечатать?

— Как кто?! — искренне удивился я. — Вы поможете их напечатать.

— Ну, ладно, — примирительно согласился он. — Оставьте их у меня. Позванивайте мне, но только в вечерние часы. С утра я работаю. Звоните после десяти вечера.

— А у меня нет вашего телефона.

— Запишите. Есть у вас записная книжка? — И продиктовал номер своего телефона... — Когда вам ответят, то скажите, дайте 2-48. Таким путем вы попадете ко мне, — затем встал, вытащил с книжной полочки свою тоненькую, ту самую молодогвардейскую книжечку в весенней зеленоватой обложке и, поставив автограф, протянул мне. Я не растерялся, взамен подарил ему свою

«Ветку горного кедра», в переводах, как уже говорил, Фонякова и Елисеева, вышедшую в том же издательстве «Молодая гвардия».

— Значит, Вы уже издаетесь на русском языке. Это хорошо. А сколько у Вас вышло сборников на алтайском?

— Три. Есть и переводные книги. Я перевожу с русского на алтайский. Например, перевел рассказы для детей Константина Ушинского; «Ашик-Кериб» Лермонтова; «Мойдодыр» Корнея Чуковского; «Дядю Степу» Сергея Михалкова; «Джамилу» Чингиза Айтматова; сборник стихов Ивана Ерошина «Синяя юрта» и другие.

— А кто такой Иван Ерошин?

Я ответил, что был такой интересный русский поэт родом, как и Есенин, из Рязани, в двадцатые-тридцатые годы жил на Алтае, печатался в журнале «Сибирские огни» и, что его стихами восхищался Ромен Роллан, писал ему письма...

Слуцкий поинтересовался, какие книги я читаю, кого более всего люблю из современных поэтов. Среди перечисленных мною имен, он остановился на Леониде Мартынове.

— Значит, читаете Мартынова. Хороший и серьезный поэт. Трудный поэт,— добавил он.— А Николая Асеева читали?

— Читал. Но как-то стихи его не воспринимаю,— признался я.— Очень книжный, что ли, поэт...

— А «Синие гусары» тоже книжные стихи?.. Нет, Асеев хороший поэт, вчитывайтесь и учитесь у него. Среди современных национальных поэтов кого читаете и любите? — продолжал допытываться, выясняя, видимо, мои интересы Слуцкий.

Я сказал, что люблю Кайсына Кулиева, Мустая Карима и...

— Ясно,— прервал он и тут же спросил:— А такого поэта, как азербайджанец Расул Рза, читали?.. Хорошо, что любите его и читаете. Очень большой поэт. Я познакомлю Вас с ним. И Давид Кугультинов большой и мудрый поэт. Вы с ним знакомы?..

Узнал я и о том, что сам Борис Абрамович недавно был в нашем институте, что приглашал его поэт Николай Сидоренко на свой семинар и что ему молодые поэты читали свои стихи.

— Мне понравились,— сказал Борис Абрамович,— стихи Николая Рубцова. Вы знаете его?.. Дружите?.. Вот у него есть настоящие вещи. А Игоря Шкляревского

знаете? Дайте, если он согласится, переводить ему свои стихи. Там есть еще Анатолий Передреев. Тоже пишет крепко и хорошо.

Провожая меня, он вдруг спросил:

— А где оригиналы Ваших подстрочников?.. Срочно пришлите мне почтой. Я должен глядеть на оригиналы. Без оригиналов не перевожу...

Я ушел от него и долго, почти два или даже три месяца не звонил. Почему-то боялся. Но постоянно думая о судьбе своих стихов, как-то поздно вечером решился все же позвонить. Услышав мой весьма робкий голос, он, как показалось, обрадованно закричал:

— Это Вы, Борис?.. Что же вы за человек? То без звонка заявляетесь ко мне, то вас в Москве днем с огнем не найдешь?.. Где же вы пропадали все это время? Я почти всю вашу книгу перевел. Вас хотят печатать почти все московские журналы... Хотите, я вам прочту свои переводы?.. Кстати, откуда вы звоните? Из автомата? Это хорошо. Вот послушайте.— И он начал читать своим четким, резким без надрыва и подвывания голосом.

Откуда я родом?

Из весны.

Поля распарены, утомлены.

Пар валит со спины земли.

Каждый росток, корешок,

Как жила-кровь, набирает сок.

Я, помню, как радовался точности перевода. Мне показалось, что Слуцкий лишь отредактировал подстрочники, оставив слова мои, только найдя соответствующие инструментовку и рифмы, как это сделано в оригинале. Тем временем голос его прорычал дальше:

Нет, только зима, она одна—
Родина.

Травы спят.

Необычайно сини небеса,

А горы белы с вершины до пят.

А горы белы, а поля белей.

Следы зверей видны вдалеке:

Сказки зверей,

Ногами зверей,

Написанные на зверином языке.

— Хорошо, Борис Абрамович,— кричал я в телефонную трубку, когда он закончил читать.

— Завтра чем занимаетесь? — услышал я его вопрос. Жду. Приезжайте утром часам к десяти. А на такси

деньги есть?.. Приезжайте на такси. Мы сразу же поедem с вами в редакции журналов...

Я не знал, что Борис Абрамович, как он мне скажет потом, «перевел всю пачку» моих стихов. И не только перевел, но и звонил в разные редакции о своей «новой находке», рассказывал близким и друзьям о моей персоне, всячески пропагандируя мое имя и мои работы. Об этом я узнаю намного позже при встречах с Владимиром Огневым, со Станиславом Куняевым, с Юрием Скопом и со многими другими московскими литераторами.

Когда утром я к нему примчался, он в широко открытое окно (была уже весна), увидев меня, громко сказал:

— Скажите таксисту, чтобы он подождал нас.

Как только я вошел в квартиру, Борис Абрамович усадил меня за низкий журнальный столик и положил передо мной стопку бумаги с аккуратно перепечатанными стихами.

— Читайте... Если есть какие-то замечания, то не стесняйтесь. Скажите. Я их исправлю.

... Мы сели в ожидавшее нас такси и поехали. Интересно, куда же мы едем, в какую редакцию? Через некоторое время, гляжу, мчимся мы по знакомой улице Горького. А еще через какой-то миг наша машина летит вниз по совсем родному Тверскому бульвару. Более того, по просьбе Слуцкого, шофер тормозит машину прямо возле нашего Литинститута. Правда, напротив дверей редакции журнала «Знамя», мимо которой я прохаживал каждое утро, торопясь на занятия.

Открыв тяжелую дверь, Борис Абрамович потащил меня сразу на второй этаж. Быстро войдя в какую-то комнату, поздоровавшись за руку с сидящим за рабочим столом человеком, указал на меня:

— Вот перед вами Борис Укачинович Укачин, о котором я Вам говорил, чьи стихи вы собираетесь напечатать в журнале.

Этим человеком оказался Василий Васильевич Катин, в то время работавший ответственным секретарем «Знамени». Он встал во весь свой высокий рост и протянул мне руку:

— Вот какой вы есть. Хорошие стихи написали и хорошего переводчика нашли,— сказал он одобрительно и не спуская с меня глаз,— мы вас поздравляем со встречей с Борисом Абрамовичем, нашим давнишним

автором, стихи и переводы которого печатаем с большой охотой. И вас дадим без очереди. Скоро увидите подборку своих стихов в нашем журнале...

И действительно, очень скоро, в шестом номере «Знамени» появилась большая подборка моих стихов под общей рубрикой «Моя родина».

В квартире Слуцкого по Третьему Балтийскому переулку, я бывал затем много раз. В основном приезжал взять «очередные порции» своих стихов, уже переведенные им и, чтобы по предложению Бориса Абрамовича отнести в редакцию того или иного журнала. Помню, как-то подавая перепечатанные стихи, Борис Абрамович шепнул:

— Все Ваши стихи перепечатывает моя жена, Татьяна Борисовна. Скажите ей спасибо.

Я тогда не был знаком, например, с такими проявлениями благодарности, как приподношение женщине цветов. К Слуцким я приезжал просто, как, положим, едешь домой и никаких там цветов по пути не покупал, не говоря уж о каких-то других подарках. Когда Татьяна Борисовна умерла, лишь тогда, я остро почувствовал свою наивность и оплошность. Мог же преподнести ей, постоянно перепечатающей мои стихи, хотя бы букетик. Ведь она не однажды сидела со мной и занимала разговорами, пока Борис Абрамович был занят срочной работой и находился в своей рабочей комнате. Правда, я стеснялся ее. Она мне казалась очень молодой и красивой... Как-то Татьяна Борисовна завела разговор о Назыме Хикмете:

— Вы, как я заметила, Борису Абрамовичу даете на перевод стихи целыми подборками,— сказала она.— А вот Хикмет, бывало, приносил ему даже по одному стихотворению и не давал покоя, часто позванивал, интересуясь, перевел ли он стихи. Очень торопил и торопился сам срочно напечатать в периодике те или другие свежие переводы.

Появившийся Борис Абрамович поинтересовался, о ком у нас идет такой оживленный разговор.

— О Назыме?.. Назыма он знает неплохо,— улыбнулся Слуцкий,— а вот о таком поэте, как Велимир Хлебников, вы слышали, читали его, Борис? — Спросил неожиданно.

Я ответил ему, что слышать-то слышал, но где взять его стихи; не издают ведь, кажется, этого поэта. Он молча вышел и через какое-то время принес довольно толстую книгу в темно-коричневой обложке.

— Вот тут есть два его стихотворения и вообще в этом сборнике напечатаны очень хорошие вещи и очень хороших поэтов. Возьмите...

Борис Абрамович высоко ценил и любил этого не очень широко известного даже нам, современным стихотворцам, интересного человека и своеобразного поэта, свое отношение к нему наиболее ярко выразил, на мой взгляд, в стихотворении «Перепохороны Хлебникова».

Здесь немногие читатели
Всех его немногих книг,
Трогательные почитатели,
Разобравшиеся в них.

И далее, в присущей только ему, Слуцкому, манере поведаль, в какое время года все это происходило и как выглядели «трогательные почитатели» необычного таланта Велимира Хлебникова:

Прежде чем его зарыть,
Будем речи говорить
И, покуда не зароем,
Непокрытых не покроем
Ознобившихся голов:

Лысины свои, седины
Не покроет ни единый
Из собравшихся орлов.

Перехоронив на Новодевичьем кладбище прах бывшего гения, бывшего лешего, бывшего демона, бывшего бога (все эти определения перечислены в стихотворении — Б. У.), Слуцкий столь же четко и безапелляционно заканчивает:

Нет, покуда я живу,
Сколько жить еще ни буду,
Возвращения в Москву
Хлебникова

не забуду:

Праха — в землю,
Звука — в речь.
Буду в памяти беречь.

Ныне В. Хлебникова начали издавать. Это хорошо. Мы будем читать и изучать не похожие ни на чьи творения его и тоже будем «в памяти беречь», вновь пришедшего к нам поэта.

Вообще, признаюсь, Борис Абрамович очень хотел, видимо, меня «образовать». Поэтому в каждый мой

приход к нему, обязательно дарил какую-нибудь книгу. Или свой новый сборник, если таковой у него имелся, или что-то другое интересное, до сих пор неизвестное мне. Однажды, вручая роскошно изданный фолиант в очень интересной суперобложке, заметил:

— Посмотрите, полистайте, такого издания, пожалуй, даже у москвичей, у самых заядлых собирателей книжной редкости не имеется.

Это был «Каталог выставки современного японского прикладного искусства». Изящный и редкостный Каталог японских мастеров был издан, как свидетельствовали данные на титульном листе, в 1957 году Комитетом по проведению выставки современного японского прикладного искусства в ознаменование восстановления дипломатических отношений между СССР и Японией.

Борис Абрамович, будучи очень строгим и обязательным человеком, в этот раз, мне кажется, явно слукавил, написав на титульном листе этой действительно редкостной книги: «... в знак нашей общей любви к японскому искусству».

Борис Слуцкий. 13.8. 1973».

Какая могла быть у меня «общая» с Борисом Абрамовичем Слуцким любовь «к японскому искусству»? В то время не то что интересоваться, тем более любить японское искусство, я даже не читал, скажем, романы и повести Ясунари Кавабаты, самого, на мой взгляд, интересного прозаика, книги которого пришли ко мне потом, значительно позже, а из японской поэзии, может быть, знал лишь кое-какие миниатюры Исикавы Такубоку и не менее тонкого и изящного Басе и не более.

Об этом «Каталоге» я вспомнил еще раз в 1981 году, путешествуя в качестве туриста по городам и весям Японии. Тогда мне довелось посетить такие города этой Страны восходящего солнца, как многомиллионный Токио, Никко, Нагасаки, Камакура и некоторые пригороды столицы этого государства. Если был бы жив и здоров Борис Абрамович Слуцкий, я бы ему непременно предложил «в знак нашей любви к японскому искусству» переводить свои новые стихи, привезенные из этой интересной поездки...

И после Литинститута наши встречи со Слуцким и общения продолжались долго, а в творческом смысле, можно сказать, весьма плодотворно. Когда я приехал домой и работал у себя в Горном Алтае, то часто писал

письма ему и получал соответственно ответы. Письма его были деловыми и рабочими. Он продолжал натаскивать, подсказывать и учить меня, скажем, как устроить мне свои литературные дела. Вот в одном из первых своих писем ко мне Борис Абрамович пишет следующее:

«Я получил из «Советского писателя», подписанный директором и, следовательно, прошедший через все инстанции, договор на перевод Вашей книги 2100 строк. А у меня переведено примерно 1200 строк, из которых что-нибудь, может быть, и отсеется».

Срок сдачи — 5-го января. Поэтому, прошу Вас, сверхсрочно вышлите мне 1000 или больше строк — скажем, новую книгу с подстрочниками. Высылайте порциями, строк по триста, т. к. именно сейчас, в сентябре-октябре у меня есть время и возможность переводить. Не откладывайте. Это дело первоочередной важности». — Далее он информировал:

«В «Знамени», № 9 три Ваших стихотворения. Видели ли Вы их?.. Недавно я получил письмо из «Сибирских огней» с просьбой прислать Ваши стихи. Советую срочно направить им «Темит, Темит», «Грозу над далекой стоянкой», «Старика Атраша». Все это еще нигде не публиковалось. У меня нет экземпляров. Непереведенные подстрочники я посмотрю еще раз. Вот, кажется, все новости. Не медлите. Жму руку. Таня Вам кланяется».

Ваш Борис Слуцкий».

Борис Абрамович в то время работал над переводами стихов для моей книги «Земля синего неба». Скажу, что выход любой переводной книги — дело далеко не простое и весьма трудное. Даже, если над переводами работает такой опытный поэт, каким все знали Слуцкого. Чтобы как-то показать эти неминуемые трудности, приведу выдержки из письма редактора этой книги стихов Галины Григорьевны Чапчаховой:

«Борис Абрамович представил 1500 строк, на мой взгляд, хороших переводов хороших стихотворений. Очень мелкие вопросы к Б. А. мы с ним легко разрешим». Но далее редактор ставит передо мной не совсем «легкие вопросы». Она пишет: «Книга получается довольно грустной, в ней много стихов о гибели, смерти, болезни — друзей, товарищей, родственников, зверей и домашних животных. Все это жизненно верно, все это изложено поэтически и трогает по-человечески. Но подумаем о другой стороне дела. Ваша книга выйдет в юбилейном

1970 году. Она прозвучит несколько отчужденно, мне кажется, среди книг ленинского года. Потому что, хотя у Вас в книге чудесное стихотворение о старом алтайском деду и его «отношениях с Лениным», но оно и ему подобные гложут среди пессимистических стихов.

Я предлагаю следующее. Можно доперевести стихи должного содержания, если у Вас таковые есть под рукой и Вы можете быстро прислать их нам или переводчику. Б. А. Слуцкий охотно это сделает. В противном случае можно включить из прежней переводной книги некоторые вещи, убрав из данной рукописи наиболее печальные стихотворения».

Мне не хотелось в этот новый сборник «включить из прежней переводной книги» ни одного стихотворения. Но в то же время у меня не имелось таких стихов, которые нужны были издательству. К тому же я никогда не думал, что у меня какие-то пессимистические стихи. Старался писать их так, как живу, что вижу вокруг себя, чем живет и болеет мой народ — люди родных гор и долин. Но выпустить книгу, тем более в таком издательстве, как «Советский писатель», любому стихотворцу великий соблазн. Я сейчас точно не помню, какие именно отправлял тогда стихи, но, конечно, ради спасения книги что-то делал, предлагал и в конечном счете в 1970 году вышла книга стихов «Земля синего неба», полностью переведенных Борисом Слуцким.

Тем временем наша с Борисом Абрамовичем переписка и переговоры по телефону велись постоянно. Скажу честно, что я, как говорится, не думал и не гадал выпустить сборник в издательстве «Детская литература». Вдруг в том же семидесятом, получаю письмо от Слуцкого и узнаю, что в будущем году издательство это намеревается выпустить книгу моих баллад в его переводе. Он, оказывается, давно сам перепечатал и отнес в «Детскую литературу» очередную книгу моих стихов. И вот он сообщает мне:

«... В 1971 году книга должна выйти в свет. Вам нужно срочно связаться с редактором Соломоновым, чтобы расшифровать некоторые алтайские слова, встречающиеся в Ваших стихах, напр., «Канкереде»...

Книга баллад «Я жду улетевшего лебедя» вышла в 1971 году.

Однако, когда в одном из писем я попросил его переводить мою прозу, то он одной лишь фразой, ясно и конкретно, как поступал всегда ответил: «Вашу прозу

я переводить не буду». Но стихи все же переводить не отказывался. Более того, переводя, он их отправлял мне и по возможности помогал, чтобы они появлялись где-нибудь в Москве.

«Сегодня, 7.12.1975,— сообщал Борис Слуцкий,— были переданы по радио в «Поэтической тетради» два Ваших стихотворения: «Сын учится говорить» и «Весенней ночью» в моих переводах».

Словом, он всячески поддерживал меня, не давая мне лениться и бездельничать. А когда большой поэт постоянно поддерживает тебя и следит за твоей работой, стыдно транжирить и прожигать столь дорогое время. Я старался не подводить его. Между тем, он не оставлял меня без своего доброго и строгого внимания:

«Я за последние дни перевел три Ваших стихотворения: «Люди и время», «Мне нравится день такой...» и «Каярлык, Каярлык...».

Почему-то у меня не оказались два последних из названных Слуцким переводов. Видимо, он забыл мне отправить их почтой или как обычно, отнес в какую-то редакцию и они затерялись там. Поскольку в том же письме есть такие строки:

«Переведу и остальные из последней пачки, но если у Вас есть что-нибудь новое — присылайте скорее. Когда накопится несколько переводов, я вышлю Вам, чтобы Вы смогли опубликовать их и на Алтае. В «Знамя» я скоро отнесу подборку сам — там очень просят и каждый год объявляют Ваше имя среди своих авторов».

У Слуцкого я многому научился. Например, документальной точности и зримости в описании портретов конкретных людей и событий. У него много конкретных, очерково-точных стихов: «Мой комбат Назаров», «Последнюю усталостью устав», «Немецкие потери» (Рассказ), «Н. А. Асеев за работой» (очерк), «М. В. Кульчицкий», «Кульчицкие — отец и сын», «Ботинки Маяковского», «Юбилей», «С. П. Седов» и многие, многие другие.

Борис Слуцкий в своей поэзии, как никто другой, умел использовать отрывисто-точные слова и фразы. Этой своей манерой письма он достигал цели, зримо рисуя портрет того или другого конкретно взятого человека, при этом показывая его не только внешний облик, но и характер и обстановку, где все это происходит. Вот мы видим Назарова, его командира, в бою: «А солдат берег... Солдат любил. //И Не гарцевал. Не красовался. //Да и сам без дела не совался //Под обстрел. Толковый был».

В другом его стихотворении так и видишь, как «Последнею усталостью устав, //Предсмертным умиранием охвачен, //Большие руки вяло распластав, //Лежит солдат».

Читая книги Слуцкого, не найдешь, скажем, стихов о женской красоте и любви.

Нет у него почти и стихов о природе. Да он и сам признавался, что «пейзажи солдат заслонил. «Но зато как он, повторюсь, умел рисовать портреты и характеры людей. Вот, к примеру, строчки из стихотворения о Маяковском...

Сорок седьмой номер:
Огромные, как сапоги.
К ботинкам Маяковского
Не подобрать ноги.

А далее перед нами живым встает сам Маяковский, его человеческая и духовная личность, его неохватный, огромный облик гражданина и поэта:

Кроме того, остался
Его пример,
Но больше человеческого
Его размер.

Как здорово и с каким подтекстом он заканчивает свое стихотворение о великом поэте:

Чашечки Маяковского
На полочках стоят.
Сколько меду и яду
Чашечки таят?

Кроме того, ботинки,
Кроме того, пальто
Чашу Маяковского
Не осушил никто.

Описывая в некоторых своих скромных стихах портреты земляков- алтайцев, я старался учиться у Бориса Абрамовича. Но из этого, кажется, почти ничего не получилось. И все же, я и по сей день учусь у него быть обязательным, не лгать, не подлизываться к кому бы то ни было. Нет-нет да и вспомнишь его и пустое обещание не дашь человеку, если чувствуешь, что не сделаешь и не выполнишь в срок обещанное.

Не в первый день встречи, а гораздо позже, Борис Абрамович вдруг мне заявил:

— Вы не первый алтаец, с которым я встречаюсь.

Я, не понимая того, о чем дальше пойдет разговор, недоуменно посмотрел на него, ибо никогда и ни разу не интересовался встречался ли он, кроме меня, с кем-либо из алтайцев.

— С первым алтайцем я встречался на войне,— продолжил Борис Абрамович.— Это был алтаец, чудом сбежавший из немецкого плена. Буквально с его слов я в свою рабочую тетрадь записал почти все будущее стихотворение «Кельнская яма».

Я, конечно, читал это его одно из самых горьких и страшных стихотворений. Только не знал, что тему его подсказал поэту, в то время замполиту, офицеру действующей армии, — алтаец, земляк и брат. Потом я это стихотворение читал еще и еще раз, поражаясь фактографической точности и опять же суховатой резкости слов и фраз этого произведения...

Нас было семьдесят тысяч пленных
В большом овраге с крутыми краями,
Лежим безмолвно и дерзновенно,
Мрем с голодухи в Кельнской яме.

Дальше рисовались картины еще страшнее:

Над краем оврага утоптана площадь—
До самого края спускается криво,
Раз в день на площадь выводят лошадь,
Живую сталкивают с обрыва.
Пока она свергается в яму,
Пока ее делим на доли неравно,
Пока по конине молотим зубами,—
О бюргеры Кельна, да будет вам срамно!
О граждане Кельна, как же так?
Вы, трезвые, честные, где же вы были,
Когда зеленее, чем медный пятак,
Мы в Кельнской яме с голоду выли?

Стихотворение довольно большое. Оно широко известно. Поэтому я его цитировать дальше не буду. Но все же скажу, что оно, на мой взгляд, одно из самых трагических стихотворений, созданных в годы войны и о войне, кроме, может быть, единственного и великого «Я убит подо Ржевом» Александра Трифоновича Твардовского.

Когда Слуцкий говорил мне о своей первой встрече с алтайцем-солдатом и в связи с этим упомянул о созда-

нии стихотворения «Кельнская яма», рядом с нами других свидетелей не было. Мы сидели только вдвоем в его рабочей комнате. Поэтому все последующие годы я искал удобного случая, чтобы автор повторил и подтвердил этот для меня немаловажный факт при свидетелях. Такое, к моей радости, случилось в марте 1978 года. Я поехал в Москву и мы с Бронтоем Бедюровым, в то время аспирантом института востоковедения, решили организовать встречу Бориса Абрамовича со студентами-алтайцами, которые учились в Москве. Встреча такая состоялась в зале общежития Литературного института. Слуцкий приехал точно в назначенный вечерний час и сразу же, выйдя на сцену, сняв пиджак и повесив его на спинку стула, начал читать стихи. Он читал много и долго. Иногда его перебивали мои земляки, чтобы задать какие-то вопросы. Помнится, спрашивали и о том — будет ли он переводить других алтайских поэтов. Надо сказать, что среди прибывших слушать известного поэта, в зале присутствовал и Валерий Иванович Чаптынов, в то время слушатель Академии общественных наук при ЦК КПСС.

По моей просьбе, сидящий рядом со мной Бронтой Бедюров, задал поэту вопрос:

— Расскажите, пожалуйста, Борис Абрамович, о том, как или при каких обстоятельствах писалось Ваше стихотворение «Кельнская яма»?

Слуцкий, вероятно, понял, почему именно этот вопрос ему задается и тут же коротко сообщил, что оно написано под впечатлением встречи во время войны с алтайцем, бывшим узником гитлеровского концлагеря, то есть полностью подтвердил то, что когда-то говорил мне в своем доме.

В связи с этим известным стихотворением и рассказом об истории его создания самим автором, я вспомнил другое стихотворение, написанное тоже поэтом-фронтовиком его поколения. Это стихотворение Сергея Наровчатова «Разговор в блиндаже», под которым стоит дата его написания: «Ленинградский фронт, 1943 г.». В этом, опять-таки рожденном войной, стихотворении говорится о встрече автора с сержантом-алтайцем, к тому же со «сказочником ойротским и певцом». Эти два побратима, два бойца, случайно встретившиеся в блиндаже, — русский и алтаец, как сказано в тексте, из «Островерхой Ойрот-Туры» (До 1947 года нынешний Горно-Алтайск назывался Ойрот-Турой, а сам Горный Алтай — Ойротией. — Б. У.), говорили:

О любви без горечи потерь,
О стихах без слепоты разлук,
Заменяя прозвища путей
Именами песен и подруг.

Встреча была, как, наверное, десятки или сотни других встреч на фронтовых дорогах и в блиндажах в те годы. «Мы простились.— //Свидетельствует Сергей Наровчатов.— //И, оставив кров, //Разошлись, чтоб встретиться опять //Там, где нам без песен и стихов //Песню песней с боем добывать!»

Эти два случая кому-то покажутся рядовыми, повседневными фактами. Но для меня, признаюсь, факты эти удивительны. Подумать только, ведь сколько по численности алтайцев?.. Их же не миллион и даже ста тысяч нет. Из алтайцев, наверное, на фронте было, в силу их малочисленности, мужиков тысяч двадцать-тридцать. А вот два будущих известных поэта на разных фронтах встретились с двумя алтайцами и написали два великолепных стихотворения. Разве это не удивительно мне, алтайцу? Разве это не вызывает во мне достойного и глубокого уважения к моим землякам-фронтовикам и тем, кто о них написал? Видимо, они были не просто рядовыми воинами и рядовыми алтайцами, коль чем-то заинтересовали, задели души поэтов, оставив о себе добрую память. Чувствуется, что были они оба хорошими солдатами, настоящими патриотами Родины и не менее интересными сказочниками, певцами и по-своему поэтами из моей родной, любимой, «островерхой» Ойротии. Причем образ «островерхий» очень подходит к нам, ибо у нас не только высокие поднебесные горы, но и по-настоящему островерхие юрты-аилы — наши древние жилища.

Сергей Наровчатов ни разу не бывал в Горном Алтае. Но своим предвидением и чутьем поэта тонко и точно угадал образ моей каменистой земли.

...Одна из последних встреч с Борисом Абрамовичем Слуцким у меня состоялась в мае 1974 года в Крыму. Заранее не сговариваясь, я приехал в Коктебель, в тамошний Дом творчества писателей. В это же время там оказались Борис Абрамович и Татьяна Борисовна Слуцкие.

В первый же день, увидев меня в столовой, Слуцкий сказал:

— Если будете писать стихи, то могу перевести прямо здесь, в Коктебеле. Будете работать или отдыхать?..

Я работал ежедневно. Стихи шли ко мне, как хорошие рыбы к удачливому рыбаку. Но я не давал Слуцкому подстрочники. Во-первых, некогда было делать подстрочные переводы... Спешил писать, пока писалось. Кроме того, хотел накопить побольше стихов и, как обычно, хотел предложить ему целый морской цикл. А теперь жалею, что сразу, по ходу работы не попытался делать подстрочники и давать своему переводчику, находящемуся рядом и пожелавшему переводить.

Среди частых встреч и разговоров более всего запомнился один из коктейбельских вечеров. Мы вдвоем шли по берегу моря. Хотя я и до этого в разные дни и в разных обстоятельствах немало общался, но в этот вечер впервые открыл для себя, что Слуцкий не такой уж строгий, оказывается, и весьма разговорчивый человек. Он незаметно вводил меня в круг своих знакомых и друзей, без лишней натуги рассказывал о жизни и работе многих московских литераторов. И я, почувствовав его доверительную интонацию, начал задавать разного рода вопросы, а Борис Абрамович охотно отвечал. Хорошо помню, я попросил рассказать его поподробнее о Назыме Хикмете, как о человеке и поэте, каким он был в жизни, что больше всего интересовало его и как они нашли друг друга. Он не отказался...

— Назым сам захотел со мной познакомиться. Оказывается, когда он находился где-то на юге, какие-то физики, встретившись с ним, начали читать ему мои стихи... Назым заинтересовался, что это за поэт, стихи которого наизусть знают физики?.. Прибыв в Москву, заговорил об этом с Ильей Григорьевичем Эренбургом. А Эренбург в то время хорошо знал меня и мои стихи. Пригласил к себе домой, а у него находился Назым, где мы и познакомились... С того дня я стал переводить его стихи... Если сказать откровенно, я знал и знаю почти всех значительных поэтов своего возраста, как, впрочем, моложе и старше себя. Причем не только по стихам, лично. Но такой головы, как у Назыма, пожалуй, не было и нет ни у кого. Положим, Борис Пастернак, Анна Ахматова,— ничего не скажешь,— большие поэты. И все же их головы наполнены, в основном, литературными знаниями. А голова Назыма, вот такая,— Слуцкий широко раскинул обе руки.— Крепкая у него голова. Политик! В любом современном государстве он смог бы стать кем угодно. Любой пост был бы ему по плечу!.. Жаль, что большую часть своего времени тратил по государственным

делам, политической работе и руководству. А для поэзии оставлял вот столько,— Борис Абрамович приблизил свои ладони и между ними образовался узенький коридорчик. Где-то, примерно, с вершок.— Словом, стихами занимался время от времени. Работал быстро, без больших правок. Зато держал постоянную связь с коммунистической партией Турции, с греческими коммунистами. Интересовался жизнью арабских стран, всей Азией и Африкой. Был связан с руководителями этих стран. Интересовался также искусством, литературой, театром Франции и других европейских держав. Нередко доказывал, что наше русское искусство, в особенности театр, отстает от современных достижений человечества... В то же время, к примеру, не принимая близко поэзию А. Т. Твардовского, говорил, что в основе его поэзии много фольклорного, что ему, лично, ближе школа Пикассо. Однако сильно переживал, когда критиковали его пьесу «Был ли русским человеком Иван?». «Я с первой полосы «Правды» перешел на четвертую полосу»,— как-то пожаловался... Но тем не менее очень любил Россию и русскую жизнь... Был жаден до женщин.

Признаюсь, до этого коктейбельского вечера подобных рассказов и разговоров Слуцкий при мне никогда не допускал. Но в этот раз разговорился. Понятно, что для меня, провинциала, многое из того, что говорил он, было и неожиданным, и интересным, и удивительным.

— Назым много зарабатывал,— продолжал между тем Борис Абрамович.— Но иногда оказывался и без денег. Когда же появлялись, то никогда их не жалел. Мог кому угодно сказать : «Денег надо, брат?» — Это было его любимое слово... Ко многим он обращался так, не только ко мне...

— «Остался без денег — побыстрей переводи мои стихи»,— бывало, звонил мне Назым,— вспоминал Слуцкий.— Особенно в начальные годы его приезда к нам, в Советский Союз, очень дружил с Константином Симоновым. В последние годы встречались редко. А я бывал у него часто... Друзей у него было мало, а может быть, все были его друзьями.

В этот вечер Слуцкий вспоминал и об Ярославе Смелякове. Говорил, что Ярослав Васильевич очень большой поэт, но сердитый и резкий человек. Трудно с ним разговаривать... В связи с творчеством Э. Межелайтиса довольно долго и со знанием дела говорил о современной поэзии народов Прибалтики.

— Межелайтис интересный человек и поэт. Я с ним дружил и переводил его. Теперь не перевожу.— И вдруг удивил меня.— А вот вас буду переводить. Во всяком случае, вы мне пока не надоели...

— Спасибо, Борис Абрамович,— невольно вырвалось у меня.— Но вы, мне кажется, преувеличиваете возможности моих скромных стихов...

— Что в голове, о том и говорю. Да,— на миг приостановился Слуцкий,— тут находится поэт, секретарь правления Союза писателей РСФСР Сергей Орлов. Ваш прямой начальник. Я познакомлю Вас с ним. Я ему говорил о Вас. Он сказал, что знает и читал...

В это время мы проходили мимо дома поэта и художника Максимилиана Волошина. Слуцкий круглым подбородком кивнул в сторону этого дома и сказал: — Как-нибудь мы с вами туда зайдем. Вдову Волошина увидите, посмотрите библиотеку. Очень богатая библиотека... А Бабеля, книгу которого я вам дал, читаете?..

— Читаю.

— Ну, и как находите? Нравится?

— Да,— сказал я.— Он, мне кажется, похож на раннего Гоголя. В его вещах реальная жизнь и сказка перемешаны.

— Это вы заметили верно. Но я сколько бы раз ни читал Бабеля, он столько же раз интересен мне. Люблю его перечитывать...

В тот вечер мы говорили о многих писателях, затрагивая различные темы литературы. Но меня не покидало ощущение, что я иду хотя и рядом со Слуцким, но почти не похожим на прежнего.

... Борис Абрамович тяжело переживал смерть жены. Через какое-то время тяжело заболел и сам. Общие наши знакомые и друзья говорили мне, что он видеть никого не хочет — ушла, исчезла жажда жизни. Затем он уехал к брату и очень редко появлялся в Москве. За годы его болезни, сколько бы я не пытался, но ни разу больше нам с Борисом Абрамовичем встретиться не удалось. И все же он однажды дал мне знать о себе, прислав почтовую открытку, в которой были, в частности, и горькие для меня строки.

«В эту зиму я много болел. Пришлось отложить все дела. Новых обязательств я пока (подчеркнуто Б. А. Слуцким.— Б. У.) брать не могу — в том числе и по Вашей книге. Поклон Вашей семье...».

...У Бориса Слуцкого много, очень много отличных

стихов. Но стал он широко известным в нашей стране особенно после того, как под его именем появилось стихотворение «Лошади в океане». Позже, в 1973 году, в одном из стихотворений, вошедших в сборник «Доброта дня», поэт скажет:

Про меня вспоминают и сразу же — про лошадей,
Рыжих, тонущих в океане.
Ничего не осталось — ни строк, ни идей,
Только лошади, тонущие в океане.

Среди поэтов, посвятивших Борису Абрамовичу когда-либо стихи, значится и мое имя. И оно, это стихотворение, опять же связано со стихотворением «Лошади в океане». Когда мое стихотворение Илья Фoniaков перевел на русский язык, я его принес и показал Слуцкому. Он тут же быстро его прочитал, на миг бросил на меня по-случки точный, «снайперский взгляд» своих рысых глаз и сказал:

— Можете отнести в печать. Получилось...

После эти стихи не однажды переиздавались в моих различных сборниках с посвящением Б. А. Слуцкому. Пусть же они и закончат мои заметки о человеке и поэте, с которым мне посчастливилось не только встречаться, но и у которого многому научиться за годы творческого содружества.

Часто я в снах моих вижу картину все ту же:
Дивным алтайским альпийским лугам на ладони
С неба спускаются тихо и плавно, как души,
Солнцеподобные, луноподобные белые кони.

Белые кони спускаются с неба кругами,
Воздух вдыхают прохладный и девственно-чистый,
Трогают землю — как будто целуют — губами,
Мирно катаются в мягкой траве шелковистой.

Как хорошо мне! Господствуют в мире зеленом
Чувство простора и светлое чувство покоя.
Слышу: кукует кукушка в лесу отдаленном.
Чутко ступая, кося идя к водопою.
Мирные, нежные, душу влекущие звуки!
Будто вовеки на свете не ссорились, не воевали,
Будто уж тысячу лет на земле нет ни горя, ни муки,
Будто глаза мои жгучести слез никогда не знавали...

Смутно лишь слышится: ржут где-то кони — как стонут!
Гибнет на mine корабль, водяные воронки струятся,
В море бескрайнем беспомощно лошади тонут,
Тщетно к зеленому берегу кони стремятся.

Только не верится этой мучительной были!
Бред мой, кошмар мой — видения страшные эти!
Может ли быть, чтобы люди коней потопили?
Это, наверное, было не здесь, не на нашей планете!

— Здравствуйте! — я говорю,
невесомые гривы лаская.—
Здесь я хозяин. Резвитесь, паситесь на лоне
Вольных лугов лошадиного рая — Алтая,
Солнцеподобные,
луноподобные
белые кони...

(Перевод И. Фонякова)
1986 г.

ГОРИ, СИЯЙ, ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ

(О Николае Рубцове)

Абитуриенты, выдержавшие творческий конкурс, обязательный для всех желающих поступить в Литературный институт имени А. М. Горького, в августе 1962 года, думается, в большинстве своем познакомились друг с другом, узнали кто откуда прибыл, на каком языке пишет, где печатается, имеет ли изданные книги. Словом, кто на что способен каждый из нас знал и понимал. Иначе не могло и быть. Еще задолго до экзаменов, мы «экзаменовали» друг друга чтением своих стихов, знакомством со своими первыми книгами, публикациями рассказов, а в редких случаях даже повестей и романов. Понятно, что многие завидовали особенно тем, кто имел книгу или подборку стихов, увидевших свет в столичных издательствах или журналах. Так что, повторяю, в общих чертах каждый из нас имел свое представление о том или ином поэте или прозаике. и все же среди тогдашних моих товарищей, прежде всего поэтов, допущенных сдавать вступительные экзамены, лица моего будущего однокашника и друга Николая Рубцова я не припомню.

Счастливицы, поступив в желанный институт, остались в Москве, чтобы продолжить учебу, а большая часть с горечью в груди, а то и со слезами на глазах, разъехалась по домам. Нас, пишущих стихи, на очном отделении было где-то около тридцати человек. Мы чувствовали себя, как бы отборными зернами, оставленными на посев будущего урожая. Тридцать первокурсников, конечно, не сто пятьдесят или двести абитуриентов. Круг наш стал более тесным. Мы уже узнавали друг друга не только

в лицо, но и, что называется, по походке. Однако и в этом нашем круге Николай Михайлович Рубцов мне на глаза не попадался.

В общежитии я стал жить с Сергеем Макаровым, поэтом из Ленинграда. Среди первокурсников он тогда считался одним из одаренных. Добродушный и улыбчивый здоровяк Сергей Макаров, не теряющий ни при каких обстоятельствах оптимизма, как-то предложил мне:

— Пойдем, я тебя познакомлю с хорошим поэтом из Ленинграда.

Я тут же согласился и пошел с ним в одну из комнат нашего шумного общежития. Сережа Макаров, ведь не сказал, что он хочет познакомить меня с нашим однокурсником, а «с хорошим поэтом из Ленинграда». А Ленинград для меня, юного в то время провинциала, был таким сверхсказочным городом, ничем не уступающим Москве. Да и вообще в те годы в нас жила жажда знакомства с любым человеком из литературных кругов, не говоря уж о «хороших поэтах».

Короче, заходим в комнату. Сквозь папиросный дым различаю несколько знакомых лиц однокурсников. Среди них на стуле, как сейчас помню, сидит угрюмый, лысеющий человек с полужакрытыми глазами.

— Коля, вот о ком мы говорили. Познакомься, поэт из Горного Алтая.

— С Алтая?!.. А где этот Алтай? — Он поднял свою лысеющую небольшую голову, без особого интереса посмотрел на меня карими глазами и, ни к кому определенно не обращаясь, спросил: — А он что-нибудь кумекает в русских стихах?..

— Читай что-нибудь, Коля, или спой, — попросили хором ребята. И он, только что высказавший в мой адрес задиристый и не лестный для меня вопрос, недоверчивый и хмурый, по-прежнему угрюмо, как мне тогда показалось, нехотя проговорил: «Достоевский», — и начал читать прерывистым, чуть завывающим голосом:

Трущобный двор. Фигура на углу.
Мерещится, что это Достоевский.
И желтый свет в окне без занавески
Горит, но не рассеивает мглу.

Я слушал его и действительно «не кумекал»... «Как можно так писать в нынешнее время?! — недоумевал я. — А может быть, ребята решили пошутковать надо мной?.. Трущобный двор — где это можно прочесть в нашей

поэзии ныне? Есть ли вообще где-нибудь этот самый «трущобный двор»? А угрюмый, скажу прямо, продымленный человек по имени Коля Рубцов тем временем продолжал:

Поэт, как волк, напьется натошак.
И неподвижно, словно на портрете,
Все тяжелей сидит на табурете,
И все молчит, не двигаясь никак.

«Нет, может быть, это стихи девятнадцатого века?».. — думал я. Тогда, признаться, и в голову мою не приходило, что сидящий предо мной человек, старается показать окружающий Достоевского мир и общество.

Рубцов читал, иногда безнадежно взмахивая худыми руками и ни на кого не глядя. А в моем сердце вырастал протест. Я начинал сердиться на Сергея Макарова, обещавшего «познакомить с хорошим поэтом из Ленинграда». А о самом Рубцове думал, что он пришел в общежитие случайно, с улицы. Наверное, «гений» бездельников и уличных алкашей. Предположение особенно укрепилось после вот этих его страшных для меня строчек, которые он выдохнул, завершая своего «Достоевского»:

И все торчит.
В дверях торчит сосед.
Торчат слова,
Торчит бутылка водки,
Торчит в окне бессмысленный рассвет!
Опять стекло оконное в дожде,
Опять туманом тянет и ознобом...
Когда толпа потянется за гробом,
Ведь кто-то скажет: «Он сгорел... в труде».

Именно в тот вечер впервые я увидел Николая Рубцова, как поэта и человека, хотя глубокую суть и боль его стихов о трагической судьбе Достоевского, по известному выражению А. М. Горького, «злого гения» русской литературы, признаться, тогда не понял. Кстати, стихи эти назывались «Достоевский» и при жизни поэта, кажется, не печатались ни в периодике, ни в сборниках. Даже в посмертной большой книге «Подорожники», изданной в 1976 году издательством «Молодая гвардия», назывались они почему-то «В гостях».

Потянулись обычные дни учебы. Нужно ли говорить, что в первые дни мы с жадностью слушали лекции преподавателей, с жадностью листали учебники и книги.

Особенно было интересно видеть известных профессоров, по чьим книгам, положим, «Введение в литературоведение» или «История зарубежной литературы» учились студенты других вузов страны. А мы, студенты Литературного института, в отличие от них, каждый день встречались с самими создателями учебников и слушали их самих. Было нам доступно также и общение с известнейшими поэтами и прозаиками — руководителями творческих семинаров. Мне думается, самое интересное в нашей жизни и учебе были именно наши творческие семинары, чтение и обсуждение произведений сокурсников. Тут мы уж никого не жалели. Жестоко, но честно критиковали стихи и прозу друг друга. К своим недостаткам относились беспощадно. Считали, что у бездарного произведения не может быть попутчика, хотя бы сам автор твой приятель и друг.

В то же время не забывали посещать и другие семинары. Любопытно же, как там работают, говорят и спорят. Да и разве не интересно послушать самого Илью Сельвинского и его семинаристов?.. А что происходит в семинаре Николая Сидоренко, где занимаются Н. Рубцов, И. Шкляревский?..

В ту пору среди первокурсников популярными были имена Павла Мелехина, стихи которого охотно печатала «Юность»; Валерия Гейдеко, чьи статьи неоднократно появлялись на страницах московских журналов; и, конечно же, стихи и песни Рубцова. Но как он работает, когда пишет — никто не знал. Он тихо появлялся в комнате, чтобы попросить пишущую машинку или папиросы, а нередко и денег на обед, которых у него почти никогда не водилось. Может быть, он «пишет ногами», как утверждают некоторые современные поэты?.. А может быть, он большей частью свои стихи «вылеживал» на студенческой койке, думая о них ночами?..

Позже нас в Литинститут поступил ныне именитый в Горном Алтае прозаик Кугей Телесов. Рубцов, будучи старшекурсником, сдружившись с ним, часто приносил ему свои стихи, чтобы тот перепечатал на машинке. Приносил он свои стихи на разных клочках и обрывках бумаги. Иной раз прямо диктовал «из головы», откуда-то взявшиеся новые строки... Словом, по отношению к своим стихам Николай Рубцов был отнюдь не Чичиковым и относился к ним, можно сказать, почти небрежно, не собирал их кропотливо и аккуратно, как это присуще многим из нас. Они даже в заурядной папке, думается, не

хранились и не складывались, а зачастую валялись где придется, переписывались от руки и перепечатывались разными людьми и ходили по кругу. Возможно, многие поэтому и затерялись.

Ясно, что жить на скудную студенческую стипендию не просто, тем более, если не отказываться от рюмочки вина, когда в карманах наших что-то «слышалось или звенело». Не зря в нашем общении в то время самыми популярными были многие стихи и песни Николая Рубцова. Особенно мы любили повторять:

Стукнул по карману — не звенит,
Стукнул по другому — не слышать.
В коммунизм, в заоблачный зенит
Полетели мысли отдыхать.

Правда, выпуская в издательстве «Советский писатель» в 1967 году свою первую московскую книгу «Звезда полей», автор нашел нужным заменить и уточнить некоторые слова из последних двух строчек этой песни. И, мне думается, он поступил совершенно верно, вычеркнув слово «коммунизм». Ему ведом был тонкий вкус к слову и поэзии.

И вообще, у него была поистине песенная душа. Хотя он был угрюмым человеком на первый взгляд, в нем жила доброта и участливость, юмор и шутливость. Талантливый человек не будет возносить себя, стараясь скрывать от людей свои какие-то недостатки и грехи. Рубцов никогда не выделял себя, не считал личностью сверхталантливой. Ему для общения нужен был человек, а не особо одаренные, на уровне его самого или выше в литературе люди. Но не терпел и эстрадности в поэзии, крикливых и чванливых. Естественность — вот его и поэтическое и человеческое кредо. Неслучайно, думается, об одном стихотворце, с которым в ту пору он жил в одной комнате, Рубцов говорил:

— Он, чтобы вызвать сострадание и слезы, может написать стихотворение о живой матери, будто бы она уже умерла.

В этом очерке я почему-то пишу — Николай Рубцов, хотя никогда к нему так официально не обращался, а звал, как и большинство из нас, просто Колей. Да и сегодня считаю, что по отношению к нему — Николай звучит как-то холодно и отчужденно.

Печать одаренности и внутренней скромности была видна, скажем, и в том, как сам Рубцов относился иногда

к своей личности. Он умел подтрунивать над собой. Эта черта проявляется и во многих строчках его стихов. Вот как кончается его знаменитое «Стукнул по карману»:

Стукнул по карману — не звенит.
Стукнул по другому — не слышать.
Если только буду знаменит.
То поеду в Ялту отдыхать...

И это при его-то, уже в ту пору, известности среди пишущей братии.

В другом своем стихотворении-песне он говорит о себе:

Ну так что же?! Пускай
Рассыпаются листья!
Пусть на город нагрянет
Затаившийся снег!
На тревожной земле
В этом городе мгlistом
Я по-прежнему добрый,
Неплохой человек!

При всей своей угрюмости и замкнутой настороженности к посторонним, в нем жила добрая насмешка, доверчивость и простота. Бывало, что он с помощью шутки мог высказать горькую правду тому, кто не мил его сердцу и душе. Зато без громких слов, с присущим ему юмором, застенчиво и нежно относился к товарищу. Именно эти качества в сложном, неординарном характере, мне кажется, сказались, когда 7 июня 1967 года подписывал он мне свой автограф на книге «Звезда полей»: «Боре, Борису Укачину — алтайскому классику, с любовью

Н. Рубцов».

В надписи этой и сегодня чувствую прежде всего доброту его ко мне и вместе с тем какую-то добродушную подначку.

Да, он был «неплохим человеком» и отличным поэтом... Но к великому сожалению, славу свою он при жизни не полностью вкусил. Более того, он никогда не поверил бы, если бы при жизни ему сказали, что о нем будут говорить и спорить серьезные профессора-литературоведы; герои кинофильмов будут думать и размышлять об его поэзии; известные всей стране артисты со сцен эстрад и театров, с экранов телевизоров читать его стихи... Все это придет после. А пока...

На первом и втором курсах института мы ездили в подмосковные колхозы и совхозы убирать картошку

и прочие, столь необходимые на столе овощи. В одной из таких поездок как-то Коля Рубцов, Игорь Шкляревский и я устроились квартировать под одной крышей у одной из деревенских старушек. Хорошо помню, как они в один из дней учили меня собирать грибы, объясняя при этом какие съедобные и как они называются, а какие из них «поганные», несъедобные. Дело в том, что алтайцы, издревле общаясь с природой, познав целебность и съедобность тех или других корней и трав родной земли, почему-то не употребляли грибов. А их в наших горах и лесах и поныне, как говорится, непочатый край. Более того «мочой жеребца» оскорбительно прозвали их. Естественно, я никогда до этого, запомнившегося мне случая, не собирал грибы и «не общался» с ними.

В тот день мы насобирали довольно много грибов. Игорь и Коля их умело почистили, помыли. У хозяйки-старушки, у которой мы квартировали, попросили маслица и нажарили полную сковородку... Ай, какая была вкусная еда, особенно, когда перед нами стояла, как говаривал Коля Рубцов, бутылка «беленькая вина».

Позже, уже в общежитии, нам читал новое стихотворение:

Сапоги мои — скрип да скрип
Под березою,
Сапоги мои скрип да скрип
Под осиною,
И под каждой березой — гриб,
Подберезовик,
И под каждой осиною — гриб,
Подосиновик!

Рубцов никогда не был и не оставался «коридорным поэтом» общежития Литературного института. От стихотворения к стихотворению возвышался и креп его недюжинный талант. Теперь о нем, как об очень одаренном человеке, знали не только преподаватели и студенты, но и литературные круги Москвы. Подборки его стихов начали появляться в журналах «Юность», «Октябрь» и на страницах других печатных органов столицы. А такие его стихи, как «Тихая моя родина», например, «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны» сразу же обратили на себя доброе и благодарное внимание читателей самых различных слоев. В то же время автор этих дивных по своей чистоте и напряженности откровений жил среди нас обычной жизнью весьма бедного студента. В своих, на мой взгляд, честных

и достоверных воспоминаниях один из близко знавших Рубцова Станислав Куняев (Журнал «Север», № 3, 1979 г.) не раз и не два подчеркивает, как трудно жилось Николаю Рубцову и, как он мытарствовал, скитаясь по краям и весям страны. Но и в самые трудные и горькие минуты он всегда мог взять в руки гитару или гармошку и спеть такие светлые и добрые свои стихи, как «Кукла», например, или...

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

К слову сказать, когда мы поступили в Литинститут, с нами вместе, но только на старших курсах, учились земляки Николая Рубцова из Вологды, ныне широко известные писатели, лауреаты Государственных премий СССР и РСФСР Василий Белов и Ольга Фокина. Говорю я об этом в связи с песнями Рубцова, которые часто звучали в дружеском кругу в стенах нашего общежития и, вспоминая знаменитую гармошку, на которой так прекрасно, по-русски широко и тоскливо играл и сам хозяин ее — Василий Белов. Не забыть, как в минуты веселья азартно, причем в присядку, плясал, бывало, Василий Иванович Белов.

Гармошку-то купил, но играли на ней, можно сказать, все, кто умел извлекать хоть какие-то музыкальные звуки. А чаще всего она оказывалась в руках Коли Рубцова. Под конец, когда уже заканчивали институт, эту всеобщую гармошку Василий Белов, кажется, подарил своему азербайджанскому другу-однокашнику, талантливому поэту Фикрету Годже. Конечно, наш общий друг с удовольствием увез ее домой, в Баку. Так что веселая «хромка», первоначальным хозяином которой был Василий Белов, на которой играл Коля Рубцов, возможно, и ныне жива, напоминая Фикрету Годже «о печали пройденных дорог» и о том, что...

Память отбивается от рук,
Молодость уходит из-под ног,
Солнышко описывает круг—
Жизненный отсчитывает срок.

Солнышко-то, как и встарь, «описывает круг». А вот страстно любивший странствовать, часто менять места жительства, «описывая» по земле свои трудные и неужи-

данные круги, автор этих строк Коля Рубцов рано ушел из жизни. Рано и неожиданно! Но дух его, «не знающего покоя», с нами. С нами его думы, самая жгучая, самая смертная связь с жизнью, взрывчатость его тишины, тоска его и печаль...

Пускай меня за тысячу земель
Уносит жизни! Пускай меня пронесит
По всей земле надежда и метель,
Какую кто-то больше не выносит!
Когда ж почую близость похорон,
Приду сюда, где белые ромашки,
Где каждый смертный
свято погребен

В такой же белой горестной рубашке...

Мне кажется, после его трагической смерти, уж больно много стало «близко знавших» его и друживших с ним при жизни. Видимо, это всегда бывает так, когда дело касается дворческого наследия широко известного и талантливого человека. Так что на сегодня и о поэзии, и о самом поэте многочисленными исследователями, критиками, по-настоящему знавшими его друзьями, и многими другими «мемуаристами» написано столько, сколько он не написал за всю свою «мятежную» жизнь в литературе.

В сущности же, я бы сказал, у него одна добротная книга стихов, в основном воспевающая красоту и мощь древней и новой России. Книга где-то в десять авторских листов.

Говоря о том, что о Николае Рубцове ныне охотно и много пишут, мне хочется процитировать одно место из статьи поэта Евг. Евтушенко «Хлеб сам себя несет», в свое время опубликованной в «Литературной газете», затем вошедшей в книгу «Талант есть чудо неслучайное», выпущенную в 1980 году издательством «Советский писатель», и позволить себе не согласиться с одной деталью, хотя в целом работа популярного автора выполнена предельно искренне. Евг. Евтушенко, описывая внешний облик Николая Рубцова, замечает, что он постоянно ходил «... обмотанный шарфом, за что его и прозвали «Шарфиком». Деталь эта не ахти какая, но мы, жившие с ним в одном общежитии и учившиеся на одном курсе, ни разу «Шарфиком» его не «прозывали», хотя он, действительно, любил носить длинный шарф. Если было бы у Рубцова такое прозвище, по крайней мере мы, его сокурсники, знали бы об этом непременно...

Некоторые товарищи, глубоко не проникнув до настоящей сути и сердцевины стихов Рубцова, спешно обвинили поэта в подражании С. Есенину, А. Фету, Ф. Тютчеву и даже А. Блоку.

На самом деле он любил этих поэтов, восхищался ими и постоянно читал и изучал их. Лично я не однажды видел, как Коля Рубцов носил под мышкой томик Тютчева или того же Блока. Иногда он горячился и доказывал, что нынешние школьники плохо знают Фета и Тютчева, Блока и Хлебникова.

Однажды в ЦДЛ, в одном из его залов, проходила встреча писателей с учителями одной из подшефных московских школ. Вечер вел писатель Николай Атаров. Коля был «навеселе» и забрел в этот зал. Слушая ораторов, которые говорили о школьной программе и преподавании литературы, он нервно и громко крикнул:

— А почему в ваших программах отсутствуют стихи Тютчева, Фета?..

На него шикнули. Но он настырно продолжал:

— Даже Есенин и Блок мало изучаются в школах!

В сущности эта, совершенно правильная, реплика была не принята почему-то присутствующими, а его «выступление», обернулось неприятным скандалом, в результате которого Коля Рубцов на время был исключен из института. Через некоторое время при помощи хорошо его знавших московских поэтов те же люди поняли, в том числе тот же Н. Атаров, который был ответственен за тот литвечер, что допустили несправедливость и помогли Рубцову восстановиться...

Все это я вспомнил в связи с преданной любовью Рубцова к поэзии Есенина, Блока, Фета, Тютчева и частично Хлебникова и чтобы рассказать об одном потертанном стихотворении поэта, которое пока еще не появлялось на страницах его книг.

Как-то мы сидели с ним в его комнате, в общежитии Литинститута. Он безмерно, как мне тогда показалось, восхищался стихами Тютчева и Фета, чьи книги как раз лежали перед ним, и старался убедить меня, какие гении были и жили на земле Российской, хотя я не протестовал, а, напротив, соглашался с ним. Но Николай, мотнув лысеющей головой, решительно продолжал «преподавать» мне «уроки настоящей русской поэзии»:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!—

читал он наизусть Федора Ивановича Тютчева и сам себе удовлетворенно говорил: — Вот это боль! Вот как надо думать и писать о России! — Далее начал читать, пожалуй, самое знаменитое из творений Тютчева о России:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать—
В Россию можно только верить.

— Пойми умом,— горячился Рубцов,— какие жаркие и горькие стихи он, например, писал о женщинах и о любви, о том, «... как убийственно мы любим»; нет, лучше послушай и сам убедись:

Она сидела на полу
И груду писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала...

Дочитав до конца один из шедевров русской лирики, вдруг замолк и задумался. Через какое-то время, вскинув голову, посмотрел на меня туманно-карими глазами и заговорил о Фете:

— Это тоже один из самых жгучих нервов Руси... Но иногда выдавал настолько светлые, звонкие и широкие картины Родины, что неподвластны кисти самых талантливых пейзажистов! Вот как просто и зримо он умел рисовать словом:

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.

Вдруг грустно заключил:

— Те, кто глухи к русскому слову и зову Родины, желающие лишь бы сказать что-нибудь или показать свой ум, или кольнуть побольней, обвиняют меня, мол, подражаю Есенину, Тютчеву и так далее... — Нервно дернул плечами и, зло хмыкнув, продолжал: — Моим недоброжелателям решил ответить,— и прочитал стихи, в которых говорилось, что на него вешают ярлыки, что он перепевает Есенина и Тютчева, даже Маяковского, а куда ему деться и к кому обратиться, жаждущему сказать свое

нежное и понятное слово о Родине? Стихотворение это заканчивалось ироническим вопросом: может быть, ему, поэту, выйти на людскую площадь и крикнуть всем: Вся власть Советам?!

Спешат годы, выходят книги поэта; друзья дополняют новые его издания новыми находками. А вот того стихотворения, об общем содержании которого я говорил, пока ни в одной из его книг, вышедших после смерти, не встречалось. Но таится в моей груди надежда, что это его стихотворение-ответ не пропало бесследно. Оно где-то, в ворохе чьих-то бумаг, возможно, что и в моих, должно быть хранится и ждет своего часа.

Что же касается творчества Тютчева и Фета, то Рубцов считал себя их сменой; своеобразным последователем и, может быть, единственным их достойным наследником. Это свое чувство он позже выразит стихами:

Я переписывать не стану
Из книги Тютчева и Фета,
Я даже слушать перестану
Того же Тютчева и Фета,
И я придумывать не стану
Себя особого, Рубцова,
За это верить перестану
В того же самого Рубцова.
Но я у Тютчева и Фета
Проверю искреннее слово,
Чтоб книгу Тютчева и Фета
Продолжить книгою Рубцова.

Сердцу и душе Николая Рубцова было мило все естественное, как последний и тихий гром в августовском небе, как шелест летнего дождя под кровлей шалаша сельских косарей или скрип чистого снега под ногами. Поэтому-то в его стихах точные и простые слова, близкие к разговорной речи народа. Вспомните его трогательные стихи о добром Филе, молчаливо, по-крестьянски достойно и толково проживающем в избе деревянной, без претензий и льгот...

✓Народность — вот основа всей поэзии Николая Рубцова. Он хранил в себе красоту и мудрость сельских жителей, остроту и образность, фольклорную красочность их языка, «зная наперед», что деревенская бабушка посоветует, отправляющемуся в долгую дорогу молодому человеку, нашему современнику:

— «Слушайся старуху! Хлеб, родимый, сам себя несет...»

Многие его стихи на первый взгляд кажутся весьма

традиционными и даже патриархальными. Но это всего лишь кажется. А на самом деле в тихости его стихов заложена взрывчатая сила нашего времени, нашего жестокого, ответственного за человеческую жизнь века.

С годами я отчетливее вижу и понимаю глубину и многомерность поэзии своего товарища. Вчитываясь в нее, вдумываясь и проникая в сущность и свет поэтического его слова, ошупью души я начинаю осознавать, что был он как бы своеобразным нервом российской жизни, быта и характера родного народа; термометром, измеряющим температуру своего времени, ибо интересовался не только тем, что совершается на данном отрезке времени вокруг него. Сегодня во многих стихотворениях Рубцова мы найдем приметы многих проблем наших дней, даже очерковую достоверность и конкретность. К таковым стихам, например, относятся «Русский огонек», «На автотрассе», «Грани» и другие. Его ведь как человека современного и поэта не на шутку терзали «... грани меж городом и селом». Возможно, еще и потому в душе своей ощущал он связь с прошлым своей Родины, постоянно слышал смутный зов далеких времен, «то скорбный он, то гневный и державный!»; помнил и гордился тем, что «бежал отсюда (из Москвы — Б. У.) сам Наполеон, и что «покрылся снегом путь его бесславный...»

Тревожило и беспокоило его и будущее земли и прежде всего своей навеки любимой Руси. На вопрос деревенской старушки, натерпевшейся бед в трудные годы прошедшей войны, потерявшей своих детей, — «Будет ли война?» — лирический герой его стихотворения «Русский огонек» хотя и отвечает, что, «наверное, не будет», но в другом — «Видения на холме» — едва ли не кричит и, задыхаясь, буквально заклинает: «Россия, Русь! Храни себя, храни!..»

Будучи сыном «морских факторий», после флотской службы став, как говорится, сугубо гражданским человеком, он долго не засиживался на одном месте. Новые шири и дали, новые встречи и стихи не давали ему покоя, звали к себе, чтоб, как писал его земляк, известный советский поэт Александр Яшин, «бродить босиком по земле». И, «острова свои обогревая», «живя без лишнего добра», Рубцов, конечно же, на своем пути встречал разных людей, разных по профессии и по характеру. Сыновней любовью, до боли любя Россию и русского человека, поэт многое познал именно в своем «бродяжничестве» и в стихах своих говорил об этом, не скрывая

ничего. Он видел воочию доброту и щедрость русского человека и готов был всегда «за всю любовь расплатиться любовью».

Не миновали его в странствиях по земле и человеческая жестокость, тупость и жадность. Об этом откровенно и не менее жестоко, по-рубцовски зримо сказано в стихотворении «Неизвестный»...

Он шел против снега во мраке,
Бездомный, голодный, больной,
Он после стучался в бараки
В какой-то деревне лесной.
Его не пустили. Тупая
Какая-то бабка в упор
Сказала, к нему подступая:
— Бродяга. Наверное, вор...

Рубцовский путешественник, может быть, будучи самым добрым и порядочным человеком, не найдя приюта среди людей, умирает в одиночестве на берегу «морозной, безжизненной, страшной реки!»

Иногда кажется, что нет предела человеческой жестокости. Даже после несчастной смерти неизвестного путника жители той же «деревеньки лесной» продолжали упорно и необдуманно твердить: «Бродяга. Наверное, вор...»

Кто скажет, после таких вот трагических стихов, что поэзия Рубцова «тихая»?.. Нет, во многих стихах поэта заключены не только человеческие конфликты, но и конфликты времени и общества, в котором мы живем, конфликты нашего века, сопротивление добра злу. Понятно, что Рубцов прямо и в лоб не говорит в своих произведениях, «что такое хорошо и что такое плохо». Своей цели он достигает тонким мастерством художника, как бы обратным протестом большой подтекстовой нагрузки.

Поскольку я пишу воспоминания, а не теоретическое исследование поэзии Николая Рубцова, то, чтобы конкретнее подчеркнуть его неизменную любовь ко всему народному, горестному и светлому, хочу остановиться на одной немаловажной детали в его жизни и характере — как он всей своей человеческой сущностью и горячей душой воспринимал пословицы и поговорки, старинные русские песни и романсы. В минуты веселья и тоски брал он в руки гитару или гармошку и начинал петь народные песни. Он пел одну и ту же песню по-разному, иногда тихим и спокойным голосом, а чаще всего надрываясь,

чуть ли не плача. Ему особенно любы были старинные романсы «Вечерний звон» и «Гори, гори, моя звезда»...

— География поэзии — это все-таки человеческая душа, невидимая струна живого сердца, — как-то однажды убежденно говорил он мне. — И пусть поэзия эта говорит только о деревне или о городе, если она настоящая, то все равно охватит наш шар земной, все человечество. Ведь нет же такого человека, где он жил бы без сердца и души?..

В те годы, когда мы начали учиться в Литературном институте, в Москве гремели имена Евг. Евтушенко, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского. На небосклоне Ленинграда только-только начал разгораться свет звезд поэтических талантов Виктора Соснары, Глеба Горбовского. Из Ленинграда же, из среды рабочих Кировского завода приехал в Москву и сам Рубцов.

В какие-то моменты тоски и отчаяния он, бывало, выкрикивал:

— Откуда знать, может быть, я сегодня один из лучших поэтов России!

Хочу отметить еще один малоизвестный факт из творческой судьбы Коли Рубцова. Он не был равнодушным к творчеству ребят из национальных республик и областей. Постоянно интересовался стихами своих сокурсников, принимал активное участие при обсуждении их творчества и охотно читал подстрочники юных стихотворцев.

В работах, выходящих ныне о творчестве Н. Рубцова, почему-то не отмечается то, что он не только интересовался поэзией, создававшейся на языках народов нашей страны, но и пробовал переводить ее сам. Например, перевел ряд стихотворений осетинского поэта, студента нашего института Хазбия Дзаболова, к сожалению, жизненный путь которого оборвался намного раньше, чем самого Рубцова.

Хазби Дзаболов при жизни издал, кажется, всего три сборника стихов... В одном из них, в «Очаге», вышедшем в 1963 году в осетинском издательстве «Ир», есть и переводы Рубцова, опубликованные в свое время в «Литературной России».

В 1966 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел мой первый московский сборник стихов на русском языке «Ветка горного кедра». Чтобы поделиться радостью, я подарил его и Рубцову. Эта моя первая ласточка, судя по отзывам критиков и читателей того времени, была

в основном принята положительно. Вероятно, пришлось она по душе и Коле, поскольку на другой же день, встретив меня, он цитировал некоторые строчки из моих стихов. Например, вот эти...

Раз проснулся я: луна
У дверей — такая робкая!
Показалась мне она
Нашей белою коровкою.

— Эти строчки мне близки, — сказал Коля. — А у тебя таких немало в сборнике... А хочешь, попробую перевести твои стихи?.. Подбери для меня несколько подстрочников...

Не знаю теперь, почему я затынул с этим делом. Может быть, потому, что начал всерьез увлекаться свободными стихами, писал сюжетные, почти прозаические рассказы в стихах. Мечтал показать и просить перевести свои опыты на русский язык Леонида Мартынова или Бориса Слуцкого, чьими стихами был увлечен в ту пору. Да и убежден был, что наши позиции с ним, а значит и стихи, диаметрально далеки друг от друга. Может быть, мне и надо было тогда воспользоваться неожиданным желанием его и дать на пробу те из стихов, в основе которых лежали традиционные народные мотивы и фольклорная мудрость... Ну да что теперь об этом...

В разгаре лета 1966 года — по-алтайски месяца Большой Жары, то есть в июле, живя у матери в деревне Каярлык, что в Онгудайском аймаке нашей автономной области, неожиданно получаю телеграмму, подписанную Колей Рубцовым, в которой говорилось, что он приехал в Горно-Алтайск и ждет срочно моего возвращения из села. Конечно, я незамедлительно выехал в город.

Приезд Рубцова в мои родные места по сей день остается малоизвестным в его литературной судьбе. Правда, в эссе известного критика Валерия Дементьева «Предвечернее», напечатанном в его книге «Мир поэта», изданной в 1980 году «Советской Россией», упоминается, что Рубцов был в селе Красногорске Алтайского края, а о Горном Алтае нет ни единого слова. Между тем, Горный Алтай — это прежде всего автономная область, где издревле живут алтайцы, один из тюркоязычных народов Советского Союза. В этом поистине чарующем уголке земли своеобразные климатические условия, свой неповторимый уклад жизни, своя древняя народная эстетика, обычаи и быт, этнография и богатейший эпос.

Кроме всего этого, именно в Горно-Алтайской автономной области живут и по сей день успешно трудятся на ниве литературы многие знакомые и товарищи Коли Рубцова, с которыми он познакомился и учился в одно и то же время в стенах Литинститута. Уже хотя бы поэтому не приехать в Горный Алтай он не мог. Да и кроме чисто литературного интереса у нас было ему с кем общаться, у кого найти крышу над головой, что, разумеется, облегчало его жизнь. Странствие странствием, но ведь человеку надо как-то жить и питаться, наконец. А Николай, говоря откровенно, в то время постоянно жил «на подножном корму»...

Пребывание на Алтае, (в Барнауле, в селе Красногорское), а затем и посещение Горного Алтая не остались бесследными и в его творчестве. Спустя некоторое время он напишет ряд стихотворений: «Весна на берегу Бии», «В сибирской деревне», «В горной долине», «Шумит Катунь» и другие.

В своем очерке о Н. Рубцове критик Валерий Дементьев, в частности, оценивая стихотворение «Шумит Катунь», пишет: «Во время поездки на Алтай, в село Красногорское, Н. Рубцова не покидают мысли о славном и прошлом русского народа, об особой миссии России, которая встала, по словам Блока, «меж двух враждебных рас — монголов и Европы» и спасла Европу от порабощения ценой невиданных жертв, страданий. Обращаясь к стихотворению «Шумит Катунь», я особо хочу отметить, что именно в этом стихотворении романтический и элегический строй размышлений Н. Рубцова оказался выраженным сильнее всего».

Я согласен с критиками насчет «особой миссии России», спасшей Европу от татаро-монгольского ига. Более того, добавлю, что именно Россия спасла многие народы от неминуемого уничтожения не только чингисхановскими злыми и жестокими потомками, но и от других, не менее чудовищных варваров, например, китайских завоевателей-феодалов. И все же у меня свое мнение по поводу рубцовского стихотворения «Шумит Катунь» и оценки его критиком Валерием Дементьевым. Но для того, чтобы читателям оно было понятным, я вынужден вновь обратиться к очерку известного критика и процитировать следующее его утверждение: «Перед мысленным взором поэта (Н. Рубцова — Б. У.) проносятся исторические видения и оживают легенды и о скифах и сарматах, возникают отзвуки картины татаро-монгольского нашествия».

в основном принята положительно. Вероятно, пришлось она по душе и Коле, поскольку на другой же день, встретив меня, он цитировал некоторые строчки из моих стихов. Например, вот эти...

Раз проснулся я: луна
У дверей — такая робкая!
Показалась мне она
Нашей белою коровкою.

— Эти строчки мне близки, — сказал Коля. — А у тебя таких немало в сборнике... А хочешь, попробую перевести твои стихи?.. Подбери для меня несколько подстрочников...

Не знаю теперь, почему я затынул с этим делом. Может быть, потому, что начал всерьез увлекаться свободными стихами, писал сюжетные, почти прозаические рассказы в стихах. Мечтал показать и просить перевести свои опыты на русский язык Леонида Мартынова или Бориса Слуцкого, чьими стихами был увлечен в ту пору. Да и убежден был, что наши позиции с ним, а значит и стихи, диаметрально далеки друг от друга. Может быть, мне и надо было тогда воспользоваться неожиданным желанием его и дать на пробу те из стихов, в основе которых лежали традиционные народные мотивы и фольклорная мудрость... Ну да что теперь об этом...

В разгаре лета 1966 года — по-алтайски месяца Большой Жары, то есть в июле, живя у матери в деревне Каярлык, что в Онгудайском аймаке нашей автономной области, неожиданно получаю телеграмму, подписанную Колей Рубцовым, в которой говорилось, что он приехал в Горно-Алтайск и ждет срочно моего возвращения из села. Конечно, я незамедлительно выехал в город.

Приезд Рубцова в мои родные места по сей день остается малоизвестным в его литературной судьбе. Правда, в эссе известного критика Валерия Дементьева «Предвечернее», напечатанном в его книге «Мир поэта», изданной в 1980 году «Советской Россией», упоминается, что Рубцов был в селе Красногорске Алтайского края, а о Горном Алтае нет ни единого слова. Между тем, Горный Алтай — это прежде всего автономная область, где издревле живут алтайцы, один из тюркоязычных народов Советского Союза. В этом поистине чарующем уголке земли своеобразные климатические условия, свой неповторимый уклад жизни, своя древняя народная эстетика, обычаи и быт, этнография и богатейший эпос.

Кроме всего этого, именно в Горно-Алтайской автономной области живут и по сей день успешно трудятся на ниве литературы многие знакомые и товарищи Коли Рубцова, с которыми он познакомился и учился в одно и то же время в стенах Литинститута. Уже хотя бы поэтому не приехать в Горный Алтай он не мог. Да и кроме чисто литературного интереса у нас было ему с кем общаться, у кого найти крышу над головой, что, разумеется, облегчало его жизнь. Странствие странствием, но ведь человеку надо как-то жить и питаться, наконец. А Николай, говоря откровенно, в то время постоянно жил «на подножном корму»...

Пребывание на Алтае, (в Барнауле, в селе Красногорское), а затем и посещение Горного Алтая не остались бесследными и в его творчестве. Спустя некоторое время он напишет ряд стихотворений: «Весна на берегу Бии», «В сибирской деревне», «В горной долине», «Шумит Катунь» и другие.

В своем очерке о Н. Рубцове критик Валерий Дементьев, в частности, оценивая стихотворение «Шумит Катунь», пишет: «Во время поездки на Алтай, в село Красногорское, Н. Рубцова не покидают мысли о славном и прошлом русского народа, об особой миссии России, которая встала, по словам Блока, «меж двух враждебных рас — монголов и Европы» и спасла Европу от порабощения ценой невиданных жертв, страданий. Обращаясь к стихотворению «Шумит Катунь», я особо хочу отметить, что именно в этом стихотворении романтический и элегический строй размышлений Н. Рубцова оказался выраженным сильнее всего».

Я согласен с критиками насчет «особой миссии России», спасшей Европу от татаро-монгольского ига. Более того, добавлю, что именно Россия спасла многие народы от неминуемого уничтожения не только чингисхановскими злыми и жестокими потомками, но и от других, не менее чудовищных варваров, например, китайских завоевателей-феодалов. И все же у меня свое мнение по поводу рубцовского стихотворения «Шумит Катунь» и оценки его критиком Валерием Дементьевым. Но для того, чтобы читателям оно было понятным, я вынужден вновь обратиться к очерку известного критика и процитировать следующее его утверждение: «Перед мысленным взором поэта (Н. Рубцова — Б. У.) проносятся исторические видения и оживают легенды и о скифах и сарматах, возникают отзвуки картины татаро-монгольского нашествия».

И Чингисхана сумрачная тень
Над целым миром солнце затмевала,
И черный дым летел за перевалы
К стоянкам светлых русских деревень...

Ничего не могу возразить против того, что в художественном отношении стихотворение «Шумит Катунь» одно из сильных и ярких творений в творчестве поэта. Но я, как житель древнего Алтая и один из ревностных патриотов его, настоящий потомок своих дедов и прапрадедов, не могу согласиться с идейной позицией автора и современной оценкой этой позиции известным критиком.

По своему духу и воспитанию, по образному мышлению поэт Николай Рубцов был далек от истории и культуры древнего Востока, в частности, исторического прошлого Горного Алтая. Скажем прямо, он не знал и не старался вникнуть в историческую правду передвижения народов Востока, а в данном, конкретном случае, моей Родины.

Во-первых, говоря о «воинственных скифах», хочется отметить, что они жили и кочевали не только по северному Причерноморью, но по территории столь обширного и благодатного Алтая. Так что не стоит возмущаться, мол, «они топтали эти берега!»... Куда им деваться, коль «эти берега» когда-то были и их родиной? Нельзя же упрекать и укорять людей за то, что они ежедневно ходят, скажем, по комнатам своих собственных домов и квартир!.. Далее: какое отношение имеет «сумрачная тень» Чингисхана к Горному Алтаю? Безусловно, что кроме страданий и крови наших предков, Чингисхан ничего не принес народам, населявшим эту землю. Но разве отсюда, с Горного Алтая, с берегов Катуни летел пожар и черный дым чингисхановского нашествия на мир?..

В исторических документах точно и доказательно зафиксировано, что впервые на Алтай монголы вторглись в 1199 году. В немыслимо далекое время им удалось покорить часть алтайских племен. Окончательно завоевали они Алтай лишь в 1207 году. Так что в то время на берегах Катуни не могли быть «стоянки светлых русских деревень». Исходя именно из этих исторически доказанных учеными и исследователями достоверных фактов, я не могу согласиться с тенденциозной позицией поэта и оценки его критиком.

Свое отношение к стиховорению «Шумит Катунь»,

состоят из самых простых слов. Но, вчитываясь и слушая самого автора, я каждый раз ловил себя на том, что многие слова мне не известны доселе, и я, попросту говоря, их не понимаю. Например, до известного теперь стихотворения Коли «В горнице» я не знал, что такое «горница». В алтайских жилищах таких «горниц», особых комнат, не бывает. И вот сейчас, впервые прослушав рубцовскую «Старую дорогу», я тут же, не стесняясь, попросил его пояснить значение таких слов, как «пилигримы», «овин», «чертоги».

— Вот я,— сказал он,— современный пилигрим, путешественник. Старые дороги меня, странника, как видишь, привели к тебе, в твой таинственный и мифический Алтай.

Через какое-то время Коля с Валерием Чичиновым решили съездить до Элекманара и Чемала. Эти села стоят на берегу красавицы Катунь. Кроме того, в этих местах и в этой долине в двадцатые и тридцатые годы жил и творил великий алтайский художник-пейзажист Чорос Гуркин, ученик Ивана Ивановича Шишкина. А в селе Чемал в те же тридцатые годы, находясь тут в ссылке, жена М. И. Калинина — Екатерина Ивановна Калинина организовала курорт, куда приезжал отдыхать и лечиться сам М. И. Калинин. Обо всем этом мы, перебивая друг друга, рассказывали Рубцову, и ему захотелось не только в нашем краеведческом музее увидеть работы Чороса Гуркина, но и посетить те места, непосредственно связанные с развитием духовной культуры моего народа. Вернувшись из этой поездки, опять на берегу речушки Маймы, Коля нам прочитал стихотворение «В Горной долине»:

Я видел суровые страны,
Я видел крушение и смерть,
Слагал я стихи и романы,—
Не знал я, где эти тюльпаны,
Давно бы решил посмотреть!

И только когда вспоминаю
Тот край, где родился и рос,
Желаю я этому краю,
Чтоб было побольше берез...

Действительно, мало берез встречается в прикатунской долине, куда ездил Коля. Там высокие горы и крутые скалы. А по берегам Катунь неприступными стенами растут высокие и могучие темно-голубые сосны. Видимо, Коле тут не хватало света и нежности русской березы

и потому он пожелал, «чтоб было побольше берез» в наших суровых горах, хотя и они белеют в гуще — сосен, кедра и богатырских лиственниц.

Николай Рубцов в Горном Алтае находился около месяца. За это время с ним были довольно печальные, иногда и весьма смешные случаи.

Улицы нашего не совсем современного и оборудованного города, каменистые тропки и дороги, видать, разбили окончательно подошвы его и до того довольно сильно стоптанных ботинок. Однажды утром он явился ко мне босиком, поскольку одна из подошв совсем отпала. А на новые у него не было денег. Я тогда сам был студентом, приехавшим на летние каникулы и, хотя бы на время, не сумел устроиться на работу. Да еще имел семью, детей. Как быть и чем помочь другу и гостю?.. Ведь как бы там ни было, я все же нахожусь у себя дома. А дома, как говорится, помогают стены. Я и решил подарить ему свои ботинки, которые недавно купил и приберегал, чтобы надеть их только перед тем, как ехать обратно в Москву на учебу.

Коля обрадовался подарку и свои, пришедшие в негодность, демонстративно выбросил в помойную яму. А я жил тогда в неблагоустроенном десятиквартирном деревянном доме. Выбросить-то их выбросил, а потом пожалел, потому что, оказалось, носил обувь на один размер больше моего. В тесных ботинках, да еще в жару, ноги его опухали, и он стал хромать. Однако не унывал. Собираясь обратно домой, говорил, что в Москве возможностей больше, и он там найдет выход...

В один из дней мы, его горноалтайские друзья, собрали деньги, чтобы купить ему билеты на автобус до Бийска и оттуда на поезд до Москвы. Попрощались, как водится, уверенные, что в начале учебного года встретимся в столице.

Через два или три дня приходим на излюбленное нами место на берегу говорливой Маймы и, к нашему общему изумлению, встречаемся с Колей, которого считали уже доезжающим до Москвы.

Сидит он, закатав штанины выше колен и сунув опухшие ноги в журчащую и прохладную речку. Рядом лежат бутылки с каким-то дешевеньким красным вином. У нас это вино почему-то называли «рассыпухой».

— Коля! Разве ты не уехал?!

— Как видите, — поднимает он свои темновато-карие глаза. — А знаете, ребята, мне тут нравится!.. Давайте, присаживайтесь, будем отмечать мое возвращение...

Вернувшись к продолжению учебы в Литинститут, в ставшее родным общежитие, мы, естественно, еще не раз встречались с ним, оставаясь по-прежнему друзьями и собратьями по перу. При каждой встрече он не забывал спрашивать и интересоваться жизнью наших общих знакомых. Говоря о красоте строптивой Катуни и о свежести воздуха в горах и о самих горах, не единожды уверял, что непременно еще раз посетит Горный Алтай. Но этому, к сожалению, не суждено было повториться — в январе 1971 года тридцатипятилетний поэт Николай Рубцов был убит...

Убийцы могут уничтожить поэтов, но поэзию убить невозможно, если она настоящая и глубокая. Плохая поэзия умирает сама, ее не воспринимает и никогда не примет душа народа. Рубцов прожил очень короткую жизнь, но его яркие и самобытные творения не забываются, живут и действуют. И хотя его нет среди нас, с годами популярность его среди читающего мира становится все шире и шире. Немалая в этом заслуга прежде всего Вологодской писательской организации, товарищей и друзей Рубцова, в частности поэта Виктора Коротяева, кропотливо собравшего еще нигде не опубликованные стихи, написавшего правдивое предисловие к наиболее полному собранию поэта «Подснежники», куда вошли сорок три новых произведения нашего товарища...

Странички воспоминаний о своем однокашнике по Литинституту, друге и замечательном русском поэте Николае Михайловиче Рубцове мне бы хотелось завершить стихотворением о нем. Ведь встречаются же романы, внутри которых включены другие романы с определенными и законченными сюжетами, но продолжающие основные мысли их авторов, или повестей, состоящие из отдельных рассказов и новелл. Так пусть мое стихотворное послание Николаю Рубцову, написанное в том горестном январе 1971 года и переведенное на русский язык Ильей Фonyaковым, станет своеобразным продолжением моих прозаических воспоминаний о товарище по перу и учебе, о нашем времени и о нас...

ПИСЬМО НИКОЛАЮ РУБЦОВУ

Эта горькая весть разминулась со мной,
И провел я весь день не грустя, не скорбя,
Потому что не знал я,
что шар наш земной

Продолжает кружиться—
уже без тебя.

У поэта Шатры в нашем отчем краю
Я в селе Каракол в это время гостил.
Вспоминали друзей,
пели песню твою:
«...И архангельский дождик
На меня моросил...»

В то село Каракол не идут поезда
То село далеко от проезжих дорог,
И стоит над селом голубая звезда,
Как в одной из твоих вечно памятных строк.

В эту звездную ночь
тих, пустынен Алтай,
Далеко на Тверском — наш родной институт.
Эх, Шатинов Шатра, вслух стихи почитай,
Пусть замедлится бег торопливых минут!

Благодатного лета кончалась пора,
И уже, набираясь для осени сил,
Русским строчкам в горах подпевали ветра:
«... И архангельский дождик
На меня моросил...»

Помнишь, Коля, как съехались мы на
Тверской,
Кто откуда, со всей бесконечной страны.
Помнишь, долгие споры над чьей-то строкой
И надежды, которых мы были полны?

Мы росли,
становились умней и взрослей,
И сближались народы, сближались края.
По соседству с твоею
«Звездой полей»,
«Ветка горного кедра» качалась моя...

Помнишь—мы по Алтаю бродили с тобой.
— Что за дивная силища в этой волне!—
Ты сказал о Катуні моей голубой,
И не скрою,
что это понравилось мне.

Вернувшись к продолжению учебы в Литинститут, в ставшее родным общежитие, мы, естественно, еще не раз встречались с ним, оставаясь по-прежнему друзьями и братьями по перу. При каждой встрече он не забывал спрашивать и интересоваться жизнью наших общих знакомых. Говоря о красоте строптивой Катуни и о свежести воздуха в горах и о самих горах, не единожды уверял, что непременно еще раз посетит Горный Алтай. Но этому, к сожалению, не суждено было повториться — в январе 1971 года тридцатипятилетний поэт Николай Рубцов был убит...

Убийцы могут уничтожить поэтов, но поэзию убить невозможно, если она настоящая и глубокая. Плохая поэзия умирает сама, ее не воспринимает и никогда не примет душа народа. Рубцов прожил очень короткую жизнь, но его яркие и самобытные творения не забываются, живут и действуют. И хотя его нет среди нас, с годами популярность его среди читающего мира становится все шире и шире. Немалая в этом заслуга прежде всего Вологодской писательской организации, товарищей и друзей Рубцова, в частности поэта Виктора Коротяева, кропотливо собравшего еще нигде не опубликованные стихи, написавшего правдивое предисловие к наиболее полному собранию поэта «Подснежники», куда вошли сорок три новых произведения нашего товарища...

Странички воспоминаний о своем однокашнике по Литинституту, друге и замечательном русском поэте Николае Михайловиче Рубцове мне бы хотелось завершить стихотворением о нем. Ведь встречаются же романы, внутри которых включены другие романы с определенными и законченными сюжетами, но продолжающие основные мысли их авторов, или повестей, состоящие из отдельных рассказов и новелл. Так пусть мое стихотворное послание Николаю Рубцову, написанное в том горестном январе 1971 года и переведенное на русский язык Ильей Фоняковым, станет своеобразным продолжением моих прозаических воспоминаний о товарище по перу и учебе, о нашем времени и о нас...

ПИСЬМО НИКОЛАЮ РУБЦОВУ

Эта горькая весть разминулась со мной,
И провел я весь день не грустя, не скорбя,
Потому что не знал я,
что шар наш земной

Продолжает кружиться—
уже без тебя.

У поэта Шатры в нашем отчем краю
Я в селе Каракол в это время гостил.
Вспоминали друзей,

пели песню твою:
«...И архангельский дождик
На меня моросил...»

В то село Каракол не идут поезда
То село далеко от проезжих дорог,
И стоит над селом голубая звезда,
Как в одной из твоих вечно памятных строк.

В эту звездную ночь
тих, пустынен Алтай,
Далеко на Тверском — наш родной институт.
Эх, Шатинов Шатра, вслух стихи почитай,
Пусть замедлится бег торопливых минут!

Благодатного лета кончалась пора,
И уже, набираясь для осени сил,
Русским строчкам в горах подпевали ветра:
«... И архангельский дождик
На меня моросил...»

Помнишь, Коля, как съехались мы на
Тверской,
Кто откуда, со всей бесконечной страны.
Помнишь, долгие споры над чьей-то строкой
И надежды, которых мы были полны?

Мы росли,
становились умней и взрослей,
И сближались народы, сближались края.
По соседству с твоею

«Звездой полей»,
«Ветка горного кедра» качалась моя...

Помнишь—мы по Алтаю бродили с тобой.
— Что за дивная силища в этой волне!—
Ты сказал о Катуні моей голубой,
И не скрою,
что это понравилось мне.

Полюбилась тебе наших гор тишина.
— Я еще непременно приеду сюда!..—
Заверял ты меня,

и твоя ли вина,
Что теперь не приедешь уже никогда.

И не верится мне, что с тобою вдвоем
На земле, где ты голову гордо носил,
Мы уже никогда-никогда не споем:
«...И архангельский дождик
На меня моросил...»

1982 г.

САЖАТЬ РОЗЫ— НЕОБХОДИМАЯ БОЛЬ

(О поэте Эйжене Веверисе)

Еще летом 1975 года, познакомившись в Доме творчества писателей в Дубултах со старым латышским поэтом Эйженом Веверисом, загорелось рассказать нашим алтайским читателям, и прежде всего сыновьям своим и их современникам, не испытывавшим ужасов войны, о трагической и мужественной судьбе этого человека, о его поистине героической книге стихов «Сажайте розы в проклятую землю», подобной «Репортажу с петлей на шее» Юлиуса Фучика. Вероятно, поэтому-то, почти ежедневно в течение месяца встречаясь и общаясь с этим, с виду простым и весьма скромным человеком, но необыкновенного откровения поэтом, вел я дневниковые записи, в надежде использовать их, работая над штрихами к портрету Эйжена Вевериса. Но это благое мое намерение так и осталось нереализованным. Видимо, что-то помешало сесть за работу по горячему следу. А может быть, усомнился тогда, а точнее, побоялся, что не смогу написать что-то дельное и новое о нем и о его мужественной кровотокающей поэзии...

Прошли годы. Как-то в Киеве, на одном из писательских форумов, я встретился с Марисом Чаклайсом, известным ныне латышским поэтом, и рассказал ему о своей встрече с Эйженом Веверисом. Выслушав меня, он тут же предложил: «Напишите для нас воспоминания. Это будет интересно».

Согласиться и пообещать было легко. А вот как осуществить на бумаге все это? Кажется, тогда же

я посетовал на то, что у меня нет ни одной книги Эйжена и тут же поинтересовался у Мариса, издан ли новый сборник стихов Вевериса «Необходимая боль», над завершением рукописи которого он работал во время нашего с ним пребывания в Дубултах. Чаклайс охотно обещал выслать русское издание этого посмертного сборника своего земляка, лауреата Государственной премии республики. И вот передо мной сборник стихов Вевериса «Необходимая боль», вышедший в издательстве «Советский писатель» в 1981 году. Так я вновь встретился с Эйженом Августовичем Веверисом, известным народным учителем, латышским красным стрелком, стойким и мужественным антифашистом и самобытным поэтом с янтарных берегов Прибалтики...

Перелистываю свои старые дневниковые записи, и встает передо мною живой облик поэта, слышится его неторопливый голос:

У меня нашит над сердцем
Красный треугольник
С буквой Л.
Чех коснулся буквы пальцем:
— Латыш?
— Латыш.
— Рига — Рига.
— О, Рига! —
И чех мне дарит
Сигарету.
Рига! Рига! Рига!
Благославляю луч твой,
Здесь, в черных топях смерти!

(Перевод Г. Горского)

И снова стою будто я у края моря и ко мне навстречу бегут, скачут живые волны Рижского залива. А солнце на пасмурно-туманном небе, невысоко над моей головой и морем, висит золотой колыбелью...

За полночь, однако не спится. А когда все же дрема одолела, приснился странный сон. А может быть, вовсе это не сон? А может быть, на самом-то деле был между мной и Эйженом Августовичем действительно диалог тогда, на Рижском взморье; где, как писал в одном из своих стихотворений сам поэт, «торжественно сосны молчат в бездонном небесном затишье»? Словом, вижу, как ко мне тихим шагом подходит высокий белый человек с худощавым лицом, а я к нему почему-то обращаюсь по нашему восточному обычаю, к имени добавив почтительное слово «а га», в буквальном переводе значащее — старший брат:

— Эйжен-ага, это вы? Зачем же я вас опять и так поздно тревожу?

— Нет, может быть, я тебя тревожу. Пожалуй, мы оба беспокоим друг друга. Так и надо. Я нужен тебе, вот и пришел... Ты же ищешь, мучаешься, с чего начать рассказ. Я подскажу тебе необходимое первое слово...

— Но ведь, Эйжен-ага, то самое первое и заветное слово вы уже нашли и давно сказали людям.

— Ты, мой друг, уверен в этом?

— Абсолютно!

— О-о, если это действительно так, то припомни-ка мое первое слово, сказанное людям.

— Ваше первое слово — первая ваша книга «Сажайте розы в проклятую землю»...

Наутро я знал, что писать и как, а перелистав свои записи, которые касаются нашего знакомства с Эйженом Августовичем, посчитал необходимым познакомить с ними не только читателей моих любимых гор и долин вечно поднебесного Алтая, но и читателей Пушкина и Райниса, Лермонтова и Соломеи Нерис.

Итак...

Со вчерашнего дня, то есть с 12 июля 1975 года, встречаюсь и общаюсь с латышским поэтом Эйженом Августовичем Веверисом, человеком удивительной и трагической судьбы.

Вечер. Кинозал в Доме творчества писателей в Дублтах, светло горят яркие люстры. Хотя зал наполовину пуст, к спинкам многих сидений приткнуты корешки входных билетов. Значит, эти сиденья заняты. Ищу глазами свободное место и ...

Высокий худой человек, как степной беркут, одиноко сидит посредине большого зала. Чуть откинутую назад голову держит прямо и строго. Увидев меня, медленно поворачивается. Обращают внимание его большие широкие ноздри, будто вдыхающие только ему известные запахи. Волосы не то что седые, а скорее всего похожи на серовато-белые пески родного ему Рижского взморья. Сверкая большими круглыми очками, смотрит куда-то мимо и выше. Вдруг лучики от его очков, как показалось мне в тот миг, вонзились в мои азиатские глаза. Видимо, чем-то я его заинтересовал... Я же намеревался устроиться на свободное, «не отмеченное» место, правда, на том

же ряду, но он, с присущим всем прибалтам акцентом, сказал вдруг по-русски:

— Сюда, ближе садитесь. Рядом со мной место свободное.

Я не отказался. До начала кино время еще было. «Значит можно,— подумал,— познакомиться».

— Вы откуда будете? — спросил он, мягко и доброжелательно.

— Из Горного Алтая.

— О-о, с Горного Алтая! Издалека, оказывается, к нам приехали. Мне не приходилось там бывать.

Именно в этот миг и сверкнула в моем мозгу неуверенная догадка: «А-а, не тот ли это латышский поэт, о стихах и судьбе которого я как-то читал в журнале «Юность». Однако, чтоб не попасть впросак, спросил:

— А вы сами?.. Местный?

— Я — рижанин. Коренной житель... А вы кто — поэт или прозаик?

— Пишу стихи. Неизвестный стихотворец.

— У меня нет большой известности, но все же поэт. Отдыхаю тут. Каждый год люблю сюда приезжать.

— Я знаю вашего Иманта Зиедониса. В одно время учились в Литературном институте. Он — на Высших курсах, я студентом.

— О-о, Имант Зиедонис — наш самый модный, популярный поэт!

— Он был, знаете, у нас, в Горном Алтае. Даже в моем родном селе Каярлыке. Там, как он мне говорил, впервые сел на живого коня.

— О-о, это хорошо. Имант сделал хорошо!

— В своей очерковой книге «Дневник поэта» Зиедонис, в частности, добрые слова сказал о моей матери и даже упоминает при этом меня.

— Да?!.. Это тоже очень хорошо... Будем знакомы, меня зовут Эйжен Веверис.

Я обрадовался тому, что догадка моя подтвердилась и воскликнул тут же:

— Я вас знаю, читал о вас в журнале «Юность»! От души рад, что познакомился с вами, и не только познакомился, даже, как видите, сижу рядом с поэтом-антифашистом, мужественным борцом-подпольщиком! — Да, именно такими громкими словами, других почему-то не нашлось у меня тогда, выразил я свое чувство искреннего восхищения. После этих моих довольно-таки дежурно-газетных, но все же идущих от глубины души слов, за светлыми

стеклами больших круглых очков, будто бы мирно дремавшие до сих пор глаза, как две птички, вдруг встрепенулись и ожили...

— О-о, оказывается, вы меня на самом деле знаете! Очень интересно!

Потом, как бы успокоившись, ровным, почти смущенным голосом добавил:

— Это вы читали московского поэта Льва Озерова. Он написал про мою книгу «Сажайте розы в проклятую землю».

Я не знаю, почему мне не терпелось доказать свою осведомленность о нем и его семье, но ко всему сказанному я тут же добавил и такую деталь:

— Эйжен Августович, в свое время я читал в «Пионерской правде» и письмо вашей внучки Евы Веверис.

— О-о, в таком случае, вы, оказывается, про нас знаете много.— Поэт поднял еще выше свою голову с ясным, открытым лбом и посмотрел на меня сверху вниз, как на инопланетянина, умевшего говорить на человеческом языке. По крайней мере такими мне показались в тот момент его внешний вид и удивление. А выглядел он не очень-то презентабельно, напоминая своей фигурой сухое, сучковатое дерево. Худые лопатки и острые плечи чуть ли не пробивали тонкую летнюю рубашку. Лицо бледно-белое, высокий лоб, уставшие тусклые глаза — все это говорило о нелегких путях-дорогах, о неприветливости к нему матушки-жизни, о многочисленных испытаниях, горестях и печалях. Но тем не менее, когда я ему напомнил о письме внучки, напечатанном в свое время в «Пионерской правде», он не стал скрывать радости. Видать, очень любил внучку и гордился ею...

— А вы знаете,— с теплотой в голосе заговорил он,— после того письма моя внучка получила около трех тысяч писем. Ей писали пионеры со всех концов страны. Сперва она пыталась отвечать на письма своих неизвестных друзей, а потом их так много нахлынуло, что не было времени и возможностей на все дать ответ.— Эйжен Августович, улыбаясь, покачал песчано-белой головой и добавил:— А внучка моя, Ева, должна завтра ко мне приехать. Я вас познакомлю...

Через минуту-другую он уже деловым тоном, чуть сухомерно, по-учительски интересовался:

— А на русском языке у вас выходили книги?

— Выходили...

— О-о, интересно, очень интересно... А кто ваши стихи переводит на русский язык?

— В основном, Илья Фояков. Он и ваших латышей, в том числе того же Иманта Зиедониса переводит. Живет рядом, в Ленинграде.

— А вы как нашли его, где познакомились?

— Да ведь он много лет жил у нас, в Сибири.

— Во-он как. Жил в Горном Алтае?

— Нет, он жил, так сказать, в столице Западной Сибири — в городе Новосибирске. Слыхали?

— Как же, слышал, конечно. Но там я тоже не бывал. Там, в Сибири, бывали другие латыши. В том числе, знаете, наш большой прозаик Вилис Лацис...

— Знаю, — стараясь быть обстоятельным, отвечал я. — Ведь Лацис жил не просто в Сибири. Сибирь — огромная, бескрайняя. Ваш Вилис Лацис жил и работал, например, в городе Бийске и, возможно, даже в селе Черный Ануй, что находится в Горном Алтае.

— О-о, очень интересно. Откуда вам это известно?.. Вы, может быть, латышский язык знаете, а? — негромко засмеялся мой новый знакомый и опять, как бы не веря своим ушам и глазам, посмотрел на меня.

— Латышского языка, конечно, я не знаю. А вот в школьные годы увлекался романами Вилиса Лациса. Он в свое время был очень модным, как вы говорите, широко читаемым писателем... Мы даже записывались в очередь в школьной библиотеке, чтобы прочесть романы «К новому берегу» или «Семья Зитаров». В одной из глав, помнится, «Семьи Зитаров» описывается Горный Алтай, река Ануй.

Известно, что одно воспоминание рождает другое. И мне вдруг вспомнилось, что в начале тридцатых годов первым секретарем обкома партии нашей Горно-Алтайской автономной области работал товарищ Папардэ. Он был латышом. Как о таком ярком факте не сказать?

— О-о, — воскликнул Эйжен Веверис, — это действительно очень интересно! Папардэ, говорите?..

— Да, Леонид Андреевич Папардэ. Так что, Эйжен Августович, наши братские связи начались давно, на заре советской власти в Горном Алтае.

— Выходит так. Это оч-чень интересно!..

Наконец началась демонстрация кинофильма...

— Я живу на восьмом этаже, номер комнаты 83, — прошептал мне мой новый знакомый. — Приходите в гости завтра, продолжим нашу с вами интересную беседу...

На второй или третий день нашего знакомства я принес Эйжену Веверису свою книгу «Ветка горного кедра». А он в свою очередь дал мне почитать книгу местного автора Гунара Крупнека «Две жизни», выпущенную издательством «Лиесма» в 1973 году.

В книге подробно повествуется о долгой жизни и борьбе против фашизма, о творческом пути и поэзии Эйжена Вевериса. Должен отметить, что в ней, помнится до сих пор, было много достоверных, документальных фактов, ярких деталей и конкретных цифр, разоблачающих коварство гитлеризма. Прочел я ее, можно сказать, на одном дыхании, восхищаясь мужеством и выдержкой военнопленных, волею судьбы оказавшихся в застенках концлагерей. Открывая страницу за страницей этой книги, я открывал для себя и человека, и поэта Эйжена Вевериса. И когда я сейчас думаю о нем, то вижу перед собой прежде всего живых скелетов, положивших на пустой стол голые и худые руки, упершихся подбородками в собственные груди. И среди них народного учителя из Латвии Эйжена Августовича Вевериса.

Проходит день. Узники сидят и молчат. Все в том же положении. Только изредка слышится чей-то тяжелый вздох и кашель. Заканчивается второй день. Тишина. Долгая мучительная тишина. Проходят третий, четвертый, пятый дни. Нет, так постоянно жить невозможно! Да жизнь ли это? Но фашистские главари убеждены, как свидетельствует в своей книге Гунар Крупнек, что «... заключенному удобнее всего думать о бесцельно прожитых годах, о преступлениях, совершенных перед великой Германией, в тишине и при полном молчании...»

Разговаривать — нельзя! Глядеть друг на друга — нельзя! Упрись подбородком себе в грудь — и все!.. Нарушишь — в карцер или расстрел на месте... Словом, медленная, ежеминутная и ежечасная пытка пыток.

И все же на пятый день Эйжен Веверис вдруг расхохотался. Громко, заливисто. Как хохотал, может быть, только в далеком детстве. Глядя на него начали хохотать и смеяться остальные. Хохот ширился, хохот гремел — хохотала вся камера, а может быть, вся тюрьма, — констатировал автор книги, посвященной Эйжену Веверису и его товарищам.

Касаясь этой страницы о молчании и хохоте, я должен признаться, что в моей памяти смешалось и то, что тогда вычитал из книги Гунара Крупнека «Две жизни»,

и то, что при беседах и встречах рассказывал сам Эйжен Августович, который в душе всегда был поэтом. Еще в 1923 году он встречался с великим Яном Райнисом и показывал ему свои стихи. И хотя классик латышской поэзии тогда же одобрительно отнесся к его первым юношеским опытам, сам же он их считал увлечением молодости и не рвался их печатать. Однако поэзия постоянно жила и горела в его крови. Однажды она вырвалась-таки наружу в те тягостные дни 1942 года в фашистском концлагере. После того ужасного, всеобщего хохота в тюрьме Эйжен Веверис просто и буднично сказал товарищам по несчастью:

— Послушайте, я буду читать стихи.— И стал читать. Читал, конечно, прежде всего Райниса. Он любил и знал его хорошо. Потом пошли стихи Пушкина, Лермонтова. А может быть, своим товарищам по тюрьме и пыткам он читал и Уитмена и Маяковского? Рассказывал о Байроне, Джеке Лондоне, Льве Николаевиче Толстом...

Пройдут годы, и поэт Эйжен Веверис об этой своей работе напишет:

Так радостно светятся звезды
Над синью ночного Дуная!
Я Раулю, парню из Нимы,
Райниса строки читаю.

(Перевод Г. Горского)

Великим духом поэзии он заставил поднять опустившие на грудь головы потерявших веру и надежды узников. Поэзия и Эйжен Веверис боролись вдвоем против черной смерти, против ненавистного фашизма.

Эйжен Веверис никогда не забывал,— невозможно забыть! — о днях и ночах, проведенных за колючей проволокой. Как же забыть, когда

С простреленной грудью земля моя
Шепчет сквозь слезы:
«Помни!»
Деревья обрубками рук своих
Тянутся к солнцу:
«Помни!»
Не дай повториться аду...

(Перевод А. Корнеева)

Разве забудешь,— нет, вовеки не забудешь, как грызли тебя клопы и блохи тюремных бараков. Кожа его и кости, пока он был жив, смогли ли забыть удары резиновой

дубины-«гуммы», что крепко держал в своей жирной руке держиморда-фашист, комендант лагеря Курт Краузе? А чем только он ни питался, находясь за колючками Саласпилса и Маутхаузена. Позже, в одном из стихотворений, включенном в сборник «Необходимая боль», он скажет: «Перед едой ему плюнули в миску: «Приятного аппетита!»

Когда я читал книгу о нем и когда он сам рассказывал о тех кошмарных ночных часах, как над ним и его товарищами издевались гитлеровские изверги, то корни моих волос вдруг больно начинали шевелиться и трещать, будто кто-то начал их жечь невидимым огнем всепожирающих черных крематориев. Об этих нечеловеческих муках узников должны, непременно должны знать живущие ныне на земле — мои дети и их ровесники, дальше — наши далекие потомки.

...Привезут на расстрел узников и вместе с ними Эйжена Вевериса. Поставят в одну шеренгу. Начинается зверская расправа над беззащитными людьми. Падают на черную холодную землю поочередно, друг за другом тринадцать человек. Тринадцать товарищей... А четырнадцатый, как сухой кол, остается живым среди ночного поля. Четырнадцатым был он — Эйжен Веверис.

...Палач Балдонис, — я это точно выписал в свой дневник из книги Г. Крупнека, — не снимал с рук лайковых перчаток, из револьвера достреливал лежащих во рву. Потом подошел к Эйжену, ткнул его в бок и сказал:

— Ты надеялся умереть легко и быстро, красный учитель!.. Не спеши! Может, завтра, а может, через месяц. Будешь умирать и воскресать. Как Христос!..

Его много раз так оставляли и много раз опять и снова бросали в грузовик.

— Христос воскрес! — Ржали потерявшие честь и совесть палачи...» (Г. Крупнек. «Две жизни»)

И все же лучше тебя, Эйжен-ага, лучше, твоей кровью сердца и души написанной книги стихов «Сажайте розы в проклятую землю», я никогда не смогу рассказать о Маутхаузене, в застенках которого в те страшные для человечества годы мученически умерщвлены гитлеровскими фашистами 122 тысячи 766 человек, где ты, жестоко страдая, не склонял перед палачами гордую голову.

Саласпилс — поле твоей родной Латвии. В годы войны гитлеровцы и его превратили в могилы для ста тысяч и в чем неповинных людей, построив там один из многочисленных лагерей смерти, ныне известный всему миру.

«113 двух тысяч заключенных саласпилцев, отправленных в Маутхаузен, в Ригу вернулись 34 человека», — так писал в своей книге «Две жизни», Эйжен-ага, твой земляк и друг Гунар Крупнек. Среди этих тридцати четырех, оставшихся живыми, был и ты, Эйжен-ага! И волею жизни и судьбы мне, сыну алтайских гор, суждено было встретиться и общаться на прекрасном Рижском взморье с тобой, Эйжен-ага. Как хорошо, что ты остался живым и вернулся домой, в родную Ригу. Я благодарен судьбе, что встретился с тобой, Эйжен-ага! Ты на родину вернулся, как сказал русский поэт Михаил Луконин, «не с пустой душой», а с полными мужества и горечи стихами, которые затем вошли в твою первую книгу «Сажайте розы в проклятую землю», написанную самой войной и смертью.

Я был в Саласпилсе. Был, конечно, одним из ротозеев, то бишь любопытных экскурсантов. Там твой родной латышский народ соорудил, Эйжен-ага, печальный музей в память о жертвах гитлеровского фашизма. Я до сих пор слышу пронзительно-мерный стук саласпилского метронома. Вечный подземный стук сердец сотен тысяч погибших людей доходят до меня, до моего дома, до родного мне Горного Алтая. Этот стук в моем сердце особенно больно отдается в эти дни, когда я пишу пестрые страницы своих воспоминаний о тебе, Эйжен-ага.

После одной из вечерних прогулок по берегу Рижского взморья, мы, с молодым в то время, осетинским поэтом Камалом Ходовым возвращались к себе в номер. Вечер в тот час был особенно тихим и мягким. Мы вволю насытились морским дыханием. Под босыми ногами чувствовалась прохлада остывающих песков. Выйдя к узенькой тропинке, ведущей к Дому творчества, увиделись с Эйженом Веверисом, одиноко сидящим на скамейке, сделанной из целого соснового бревна, каких очень много встречается у дорожек и тропинок на территории Дубултинского Дома писателей. На левой руке поэта аккуратно лежал серый плащ, а на нем — сетчатая шляпа такого же серого цвета.

— О-о, Борис, — откликнулся он спокойным голосом, — я начал читать вашу книгу «Ветка горного кедра»...

Мы с Камалом, не сговариваясь, сели по обе стороны старого поэта, словно два любопытных мальчика, годящихся ему во внуки.

— Эйжен Августович,— сказал я ему,— познакомьтесь, осетинский поэт Камал Ходов.

— О-о,— протянул он привычно,— мы с вами составляем целую интернациональную бригаду,— негромко рассмеялся Эйжен Августович. Затем, откинув свою белую голову, подставив под пасмурное балтийское небо круглые очки с огромными светлыми стеклами, большими широкими ноздрями начал вдыхать воздух.— Однако будет дождь,— убежденно проговорил он.— Не зря, значит, я плащ прихватил... А осетинов много, Камал? — Перешел он на другую тему.

— Полтора миллиона,— с готовностью отозвался Камал.

— О-о, оказывается, намного больше, чем алтайцев.

— У нас же две Осетии — Южная и Северная, как Вьетнам или Корея,— улыбнулся Камал.— Нас друг от друга отделяет Главный Кавказский хребет. Когда мы основание этого Главного хребта продырявим, сделаем туннель-проход, сразу же станем большой республикой.

Слово «Кавказ» Эйжену Веверису напомнило одну далекую историю, печальную и смешную.

— На Кавказе у меня была одна довольно неловкая встреча,— усмехнувшись начал он... — Дело это случилось в годы гражданской войны, как говорится, на заре моей туманной юности. Тогда я служил в дивизии латышских красных стрелков. Однажды нас окружили беяки. Некуда идти. Трудно вырваться. А я тогда на самом-то деле был совсем молодым, безбородым юношей. Мы тогда сильно измотались. Были очень уставшими. Ну вот нас беяки тесным кругом окружили и... взяли в плен. Кричат: «Секир башку!» Что тут сделаешь. Мы, разумеется, повесили носы.

Вдруг среди нас кто-то нашелся и крикнул:

— Мы не латышские красные стрелки, а отставшие от своих — русские.

— Ничего не выйдет! — Галдят и грозят они.— Вы нас не проведете! — Особенно сильно выделялся среди них один грозный бородач. Именно он дал команду, чтобы мы перед ним встали в одну шеренгу.

— Если вы не латышские красные стрелки,— командует он,— то должно быть, среди вас все равно коммунисты! Пусть выйдут вперед на пять шагов!.. Есть большевики?! — Никто не вышел из строя.

— Есть ли жида-евреи, пусть выйдут на пять шагов вперед!

Хотя, возможно, и были евреи среди нас, но никто не вышел из строя.

Бородач близко подошел к строю и начал искать евреев. Во всяком случае пытался различить и узнать их. Кого он подозревал — тут же в воздухе мигом сверкнет сабля и долой голова. По-ихнему «Секир башку!»

Бородач подошел ко мне.

— Кто ты? — Тычет саблей в грудь.

— Я — русский. Из Пскова. — Говорю ему. А до этого я был на самом деле в Пскове. Там в деревнях однофамильцев много. Все Степановы или, скажем, Владимировы. Я это заметил и запомнил.

Офицер-бородач хотел было пройти, но вернулся вдруг опять ко мне.

— А ты правда русский? — Уточняет он.

— Да, — говорю твердо, — из Пскова. Владимиром Владимировичем Владимировым буду я.

— Тьфу! — Плюнул бородач. — Что за фамилия это — все Владимир, Владимир, Владимир, — он недоуменно разглядывал меня, пожирая своими злыми глазами.

— Мы, псковичи, все такие, — поддержал меня рядом стоящий русский парень. — Я тоже из Пскова. Зовут Степан Степанович Степанов.

— Тьфу! — Бородач опять плюнул. — Что это — Степан, Степан, Степан, — он прошел мимо нас. Кажется, офицер был из ингушей. — Вот какая была, Камал, у меня встреча однажды на Кавказе.

— Не совсем ласковая встреча, — согласился мой приятель. — А дальше что было? Как вышли из этой беды?

— О-о, — засмеялся Эйжен Августович, — видимо, волею Бога остались живыми. Спаслись, надо признаться, неожиданно. Нас загнали беяки в скотный хлев. Они хотели нас пустить против красных... И вот заперли. Мы сидим и молчим. Раздумываем, как быть и что в дальнейшем предпринять. Вдруг кто-то объявил:

— Глядите, конники едут!

Кони их, надо сказать, как картинки! К тому же у всех очень красивые, яркие штаны... Мы им начали кричать:

— Помогите нам! Выпустите нас...

Теперь нас обратно допрашивают, уже красные...

— А вы что, в плен попали, что ли? Наверное, продали нас беякам?!

У всех плетки-камчи в руках.

— Вы намерены воевать против нас? Не хотите защищать советскую власть?

— Нет, мы не продажники. Мы оказались в безвыходном положении...

Видать, ребята были веселыми, шутники, одним словом.— Снимите штаны,— говорят,— все снимите, мы ваши красные зады камчой тут погреем!..

Куда деться, некоторые из нас вынуждены были раздеться. А те, как малые дети, смеются. Надо сказать, что не все мы были латышами. Вместе с нами было немало русских парней и других национальностей. И все же мы, около шестидесяти латышских парней, заявили, что мы, латыши, не будем снимать штаны.

— Разве вы латыши?..— удивились наши освободители в красных штанах.

— Да!.. Мы — латыши, и штаны снимать не будем.

— Ну ладно,— сквозь смех сказали шутники,— убеждали, на зады латышей не будем смотреть! Штаны не снимайте, коль вы являетесь действительно красными стрелками... — А мы — бойцы красной Башкирской дивизии имени Салавата Юлаева. Так что садитесь с нами на коней, красные стрелки!.. — Таким вот образом, мы не то что примкнули к ним, а соединились — красная Башкирская дивизия имени Салавата Юлаева и латышские красные стрелки... Вот, Камал, какие были времена! А теперь совсем другое время. Другие люди. Ну вот посмотрите даже на нас, поэтов! Сидим рядом три поэта — три посла, можно сказать, трех братских народов. Интернациональная бригада! Не так ли, друзья?

В другой раз наша беседа с Эйженом Августовичем началась для меня неожиданным вопросом:

— Вы любите, Борис, море?

Нет, это на самом деле для меня было неожиданным и трудным вопросом. Я человек горный. На моей родине нет моря. Правда, Горный Алтай славится своими многочисленными озерами. Но озеро есть озеро, а не море все же. До Рижского взморья был я на Черном море, в Гаграх. Вот тогда-то впервые в жизни встретился с морем и, помнится, написал такие стихи:

Сначала, море, ты сверкнуло,
Вдали, как сказочный огонь,

Потом навстречу протянуло
Свою огромную ладонь.

Лежат просторы, голубея,
Под небом, тоже голубым...
Ты видишь, выбрался к тебе я
Уже не слишком молодым.

Был я в тот момент сильно уставшим, в плохом настроении. Поэтому, наверное, мое первое стихотворение заканчивалось таким обращением к морю:

Ты слышишь? Помоги, как можешь,
Рубеж старения отсрочь,
Ведь если ты мне не поможешь—
Кто сможет, море, мне помочь?

(Перевод Ст. Куняева)

Затем, через год, повезло мне быть в знаменитом в советской литературе Коктебеле. Впервые там стал я собирать морские камни. А теперь в моем доме много разных камней. Причем не только морских, но и из мест, где удалось побывать, а также камни родного Горного Алтая, например, с его известных в истории древних курганов.

В тот раз, в Коктебеле, стоя на берегу Черного моря, подумалось, что камни тоже живые существа, что они умеют разговаривать между собой, и тогда же я написал об этом стихи, в которых, в частности, есть такие строки:

Застыли камни в серой груди
На пляже галечном сухом,
Но приближенье волн разбудит
Их разговор, шуршанье, гром.
Вдруг красный камень зарокочет,
Как пал, сжигающий тайгу,
Зеленый камень забормочет,
Как травы ночью на лугу.

А голубой прошепчет тихо:
«Жить без любви мне нелегко...»
А желтый взглядом оленихи
Заглянет в душу глубоко.

А белый камень равнодушно
Молчит...

За этой белизной
Та жизнь, где слов не нужно,—
Покой.

(Перевод Ст. Куняева)

И вдруг: «Вы любите море?»...

— Во всяком случае, хочу понять,— уклончиво ответил я Эйжену Августовичу.— За встречи с морем, скажу честно, я обязан Домам творчества Союза писателей, иначе, может быть, до сих пор бы не имел представления о нем и сюда бы не приехал.

— Вот, Борис, я понимаю, что вы ныне живете в городе. Но тем не менее, читая вашу книгу «Ветка горного кедра», убедился, что вы очень любите свои горы, реки, травы, птиц и зверей своей родины. А я, в отличие от вас, горожанин, к тому же, любящий море горожанин. А вы — дитя природы, как говорится, сын ее. А я человек моря и города...

Не стану скрывать, что мне, конечно же, было интересно знать мнение поэта Эйжена Вевериса о моих стихах. В предыдущую встречу он заикнулся было о моей книге стихов, но увлекся воспоминаниями о Кавказе в связи со знакомством с Камалом Ходовым. А на этот раз, на той же сосновой скамье, мы оказались только вдвоем. Нашей беседе и разговору никто не мешал. Более того, мне и сегодня, думается, что заговорил он не столько о моих стихах, сколько о сущности и сердцевине всей восточной поэзии, о взгляде алтайского горца на окружающий его мир.

Как бы объясняя мне, он неторопливо, словно взвешивая каждое слово, продолжал:

— Мы, европейцы, на мир смотрим, будто бы стоя на краю земли. Смотрим вдаль, с берега земли, что ли, на горизонт. А вы, как древние китайцы и японцы, кажется, стоите на самой макушке земли и смотрите вокруг себя. Отсюда, мне кажется, ваше единство и слитность со всей природой...

Подобное мне до сих пор никто не высказывал, хотя и посчастливилось встретиться со многими знатоками и восточной, и европейской поэзии.

— Я тоже бы смог написать стихи о красоте природы, но признаюсь, так как пишете и смотрите вы, я не могу...

Эти его откровения смутили меня. А он, продолжая начатую мысль, вдруг, хотя и не совсем точно, но процитировал одну строчку из моего стихотворения «Утро моей поэзии»:

— Вот вы пишете: «Зима бежала тысячами ног». Например, мне, прирожденному европейцу, никогда так не написать. В мою голову такой образ не придет...

Я не стал возражать, поскольку чувствовал, что

говорит он искренне, без лишней патетики и без особых похвал в мой адрес...

Над морем в тот час висело огромное красное солнце. Мне оно казалось не живым, а плоским, заброшенным кем-то в небо раскаленным диском. Правда, рядом с нами стояли живые дубултинские сосны, явно разговаривая друг с другом о чем-то своем... А может быть, и солнце тоже хотело побеседовать вместе с нами и высокими поднебесными соснами? Потому и казалось притихшим?

— А вы прозу не пишете, Эйжен Августович? — спросил я его в одну из пауз.

— О-о, проза... Для того, чтобы написать прозу, я очень ленивый человек, — подшучивая над самим собой, усмехнулся он. Затем, задумавшись и помолчав с минуту-другую, начал говорить о том, как он обдумывал и как шел к книге «Сажайте розы в проклятую землю». — Эту книгу я писал, можно считать, двадцать лет. И это после долгих размышлений, сомнений и даже боязни. Прежде всего я долго выбирал для себя нужную форму, чтобы выразить все, что кипело и клокотало во мне... Мог бы, конечно, написать и прозой — повесть или роман. Но для моего замысла более всего подходили стихи. Вот только какие... Если писать в жанре классического стиха, казалось, книга будет весьма гладкой и легковесной, что ли. А значит, стихи мои, думал я, пройдут мимо сердца читателей. Тема-то моя тяжелая и остро колющая. Соответственно и стихи должны быть без сладкописи и красотостей. И, наконец, решил писать вольными стихами, без рифмы, без соблюдения каких-либо строгих канонов, — неторопливым и ровным голосом продолжал рассказывать Эйжен Августович не о себе, а о своих стихах, о своей самой дорогой и трудной книге.

Вышла она сначала на родном латышском языке и сразу же заинтересовала людей, завоевала большую популярность. Автора стали приглашать на различные читательские встречи. Об одной из них, о встрече с заключенными в Рижской тюрьме, он нашел нужным поведать:

— В моем распоряжении было тридцать минут, — вспоминал он, — в зале четыреста человек, четыреста судебных. Трудных и разных. У всех бритые головы. Взгляды колющие. Будто вонзаются они в твою грудь и лицо. Можно ли их смягчить? Смогу ли? — не без тревоги думал. — И вообще, поймут ли, воспримут ли стихи заключенные. Махнул рукой на все свои сомнения

и начал читать, а на ладони часы лежат. Взгляну на них и продолжаю чтение... Прошли тридцать минут. Однако не отпускают, кричат: «Читай еще!» Читаю еще. Читаю и рассказываю. Так стихами и рассказал о всех тех ужасах, что творились в фашистских застенках, в концлагерях Саласпилса и Маутхаузена. Ну и, конечно, о себе о том, как остался человеком. И рад был, понятно, что в течение полутора часов эти бритоголовые люди смотрели на меня потеплевшими взглядами, в которых светилось сопереживание. Да и сам я увидел и ощутил, что в каждом из них жив человек! Отчужденность, «дикость» превратить хотя бы на пять минут снова в человечность — это ли не радость и победа? Радость эта до сих пор живет во мне...

— А сейчас над чем работаете? — поинтересовался я, как обычно бывает при встречах и беседах с коллегами...

— Заканчиваю новый сборник стихов,— ответил Эйжен Августович,— называться он будет «Необходимая боль». Для меня название очень важно. К названию, может быть, я и пристраиваю стихи. Так или почти так складываются мои книги...

Помнится, мне очень понравилось это название. Должно быть,— подумалось,— это выношенная боль за свою Родину, за свой народ, за честь и добро; боль за чистоту и совесть...

И вот теперь этот сборник Эйжена Вевериса, присланный мне поэтом Марисом Чаклайсом, лежит передо мной. Многие строки, замечаю я, очень созвучны требованиям нашего времени.

Мы сжигаем мусор в поле.
Хлам словесный сжечь бы то же!..
На костре великой боли
Все сгорит, что в нас ничтожно.

(Перевод А. Корнеева)

Читая книгу Эйжена Августовича Вевериса «Необходимая боль», я как бы вновь встретился с автором, скромным и немногословным человеком. В лучших своих стихах он навсегда остается жить и бороться среди нас. И мне хочется верить, что лучшие его стихи вновь и вновь будут переиздаваться, продолжая мужественную борьбу автора за добро и свет.

Заканчивая эти мои заметки об Эйжене Августовиче Веверисе, хотелось бы, перефразируя его одно из утверждений, лишний раз напомнить самому себе и своим

читателям, что сажать розы в проклятую землю — это наша и наших потомков необходимая боль о наших днях и о грядущем.

1986 г.

БЫТЬ САМИМ СОБОЙ

(Об Арсении Тарковском)

Я никогда не думал и тем более не предвидел, что когда-нибудь встречу с Арсением Александровичем Тарковским, буду общаться с этим широко известным в стране переводчиком восточной поэзии, не менее замечательным и ярким мастером своих оригинальных произведений, и как-то незаметно и естественно сойду с ним. О Тарковском я знал прежде всего как о непревзойденном переводчике классиков Востока: великого туркменского поэта Махтумкули, прославленного поэта-философа из Сирии Абу-ль-Ала аль-Маарри, многих поэтов Грузии, каракалпакского народного эпоса «Сорок девушек» и некоторых других поэтов наших национальных республик. Я уверен, кто так или иначе интересуется ремеслом переводческого дела, а в особенности поэты из национальных республик, давно заметили и знают рефрен из его стихотворения «Переводчик», где автор в конце каждой строфы многократно повторяет:

Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

...И вот я в очередной раз, помнится, это было в 1977 году, приехал в подмосковный Дом творчества писателей, в Переделкино, и в тамошней столовой оказался за одним столом с Тарковскими — Татьяной Алексеевной Озерской-Тарковской и самим Арсением Александровичем. Я сразу же узнал Арсения Александровича по его портретам. Умное лицо, высокий лоб, многочисленные морщины... Украдкой наблюдаю за его движением, речью и разговором. Глядя на морщинистое, сухое лицо, невольно думаю, что оно сотворено каким-то мастером из какого-то чудо-дерева...

После этой первой встречи и знакомства я пошел в библиотеку Дома творчества, чтобы взять сборник Арсения Александровича и тщательно познакомиться с его оригинальной поэзией, которую я, если сказать честно, до этого знал приблизительно — по слухам или

с помощью рецензий, изредка появляющихся на страницах периодики.

Апрель. Слякоть. За окном непрестанно шелестит и шуршит дождь. В комнате моей тоже пасмурно. Укутавшись одеялом, включив над головой настольную лампочку, читаю стихи семидесятилетнего поэта. Ведь он родился в 1907 году, а ныне на дворе 1977-й. Еще со студенческой поры привык и люблю читать лежа. И, о чудо! стих за стихом, строчка за строчкой открывают для меня доселе близко незнакомого мне, но совершенно оригинального, необыкновенной точности слога и слова поэта:

Я ветвь меньшая от ствола России,
Я плоть ее, и до листы моей
Доходят жилы влажные, стальные,
Льняные, кровяные, костяные,
Прямые продолжения корней

За обеденным столом решаюсь сказать, что знаком с его поэзией и, может быть, наивно, но совершенно искренне говорю:

— В своем стихотворении «Словарь» вы пишете: «Я ветвь меньшая от ствола России»...

Тарковский поднял голову и умными, чуть ироническими глазами внимательно смотрит на меня, с любопытством ожидая, что хочет сказать этот молодой для него человек из неведомого ему Горного Алтая.

— Я сын, представьте одного из малочисленных народов России,— продолжаю я и строчку: «Я ветвь меньшая от ствола России»,— должен был бы написать я или кто-то другой из стихотворцев-националов...

— Простите, почему так вы думаете?..

— Ведь вы — русский поэт. Поэт русского народа. А русский народ, мне думается, не «ветвь меньшая», а основа, корень и ствол России. А мы, так сказать, «малые народы», ее зеленые и многочисленные ветви.

— Милый Боречка, все народы одинаково равные. Все мы россияне. Так что все мы «ветви» от огромного ствола России...

В те же первые дни нашего знакомства был и такой курьезный случай. На нашем столе стояла банка с растворимым кофе. Я подумал, что на всех столах стоят такие же банки. На завтрак пришел намного раньше, чем Тарковские. Решил насладиться кофе и в свой стакан насыпал из этой банки. Приятно запахло. Тут подходит

официантка по имени Нина и, мягко улыбаясь, явно понимая мою оплошность, говорит:

— Что, Борис Укачинович, кофе пьем?

— Да,— говорю, ничего не подозревая.— Утром очень приятно пить кофе.

— Верно, очень хорошо,— продолжает она улыбаясь,— но только кофе этот не общий, а Тарковских...

Разумеется, я смутился и покраснел до самых ушей, дождавшись Тарковских извинился перед ними. Но они сказали мне:

— Ничего-ничего. Все нормально. У нас имеется запас. Когда захотите — угощайтесь. Мы официантку предупредим.

Проходят дни за днями. Наши беседы и общение продолжаются, надо сказать, весьма дружелюбно. Я часто, правда, с разрешения Арсения Александровича, прихожу в гости к нему в угловую комнату, что на первом этаже так называемого «основного» корпуса Дома творчества. Слушаю его, задаю вопросы. Арсений Александрович охотно рассказывает о встречах с Самуилом Маршакom, Анной Ахматовой, Корнеем Ивановичем Чуковским. Имя последнего, кстати, он всегда произносил полностью...

Иногда читает свои и переводные стихи. Горько защемило однажды в моей груди, когда Арсений Александрович своим спокойным и чуть дрожащим голосом читал одно из своих восьмистиший...

Пляшет перед звездами звезда.
Пляшет колокольчиком вода.
Пляшет шмель и в дудочку дудит.
Пляшет перед скинией Давид.

Плачет птица об одном крыле.
Плачет погорелец на золе.
Плачет мать над люлькою пустой.
Плачет крепкий камень под пятой.

Такие стихи рождаются не каждый день. Обычно они появляются из-под пера тех поэтов, которые сами испытали горечь и тяжесть жизни в этом подлунном мире. Вот и судьба Арсения Александровича не была легкой. В начале войны он ушел на фронт. Она, проклятая, отгрызла его ногу. Но сожрать и проглотить вдохновенную и живую душу поэта не смогла.

Следуя завету своего ровесника и друга Николая Заболоцкого — «Душа обязана трудиться //И день и

ночь, и день и ночь», — после войны тяжело раненый поэт, вернувшись домой, полностью отдает себя самому благородному, но трудному ремеслу — переводит на русский язык классиков поэзии древнего Востока, наряду с этим пишет и свои замечательные по сути и мастерству стихи. В одном из них он признается:

Я любил свой мучительный труд, эту кладку
Слов, скрепленных их собственным

светом, загадку

Смутных чувств и простую разгадку ума,
В слове правда мне виделась правда сама,
Был язык мой правдив, как спектральный анализ.
А слова у меня под ногами валялись...

... Как-то я поехал в Москву и целый день мотался по издательствам и редакциям столичных журналов. На ужин пришел с опозданием, но Тарковские все еще сидели за столом.

— А вы, Боречка, пойдете на мой творческий вечер? — вдруг заинтересовался Арсений Александрович.

Я знал, что 22 апреля в Центральном доме литераторов состоится творческий вечер поэта. Об этом оповещали афиши в фойе ЦДЛ и в нашем Доме творчества.

— Обязательно, — сказал я. — Как же, не простительно будет мне не пойти на ваш вечер!

— Билет-то приобрели? — спросила его супруга Татьяна Алексеевна Озерская-Тарковская.

Тут я замешкался. Пойти-то я хотел действительно. Но о билете как-то не подумал. Думал, коль вечер идет в ЦДЛ, то туда можно войти, как обычно, предъявив дежурному членский билет Союза писателей.

Тарковские догадались, что у меня нет входного билета. Арсений Александрович тут же на листке блокнота написал записку и протянул мне:

— Вот записка к кассиру, возьмите, Боречка, и завтра купите себе билет. Мне из Москвы сообщили, что билетов почти нет... аншлаг.

Видать, в эти дни его занимали мысли о предстоящем своем авторском вечере. Поэт известный, опытный и до этого не один раз выступал перед «большой» аудиторией, но тем не менее внутренне волновался и готовился к встрече.

И вот наступил день, когда должен проходить авторский вечер поэта. Днем он спрашивает меня:

— Значит, билет приобрели, а на чем поедете в Москву?

— На электричке, конечно...

— Организаторы обещали прислать за мной машину, — сообщил Арсений Александрович, — спокойно поужинайте, а потом поедем все вместе.

— Мне неудобно, Арсений Александрович, — признался я, — может быть, с вами желает ехать кто-то из ваших близких и друзей...

— Никаких неудобств нет. Считайте, что мы договорились, и вы поедете с нами.

Вечером мы отправились в Москву на «Волге», которую прислали за Тарковскими. Подъехав к ЦДЛ, к его центральному входу, что со стороны улицы Герцена, я был буквально ошарашен, увидев целую толпу желающих попасть в здание Дома литераторов и у каждого появившегося нового человека спрашивающих нет ли лишнего билета. Когда мы вошли, у раздевалок и в фойе народу было полным-полно. Многие, увидев и узнав Тарковского, вежливо кланялись, уступая ему дорогу.

— Пойдемте с нами, разденетесь там, в комнате президиума, иначе потом долго будете стоять в очереди, чтобы взять свое пальто, — предложил Арсений Александрович.

Мне было опять как-то неловко идти вместе со знаменитым поэтом: ведь кто-нибудь обязательно подумает, что какой-то неизвестный азиат примазался к славе и имени Тарковского. Наверное, провинциальный подхалим, клянчущий о переводе своих не ахти каких виршей на русский язык. Каждому ведь не объяснишь, что это инициатива самого вичовника сегодняшнего торжества.

Большой зал ЦДЛ был набит битком. Председательствующий представил слово Арсению Александровичу. Большинство стихов он читал по памяти, правда, изредка заглядывая на страницы книги. Были случаи, когда он по ходу чтения сбивался, запамätовав слово или строчку. И тогда среди слушателей тотчас же находился кто-нибудь, кто мог подхватить, подсказать, а то и самому продолжить декламировать дальше забытую автором строчку. Глядя на все это, я не переставал восхищаться и невольно думал: «Вот как москвичи любят своего поэта!..»

В очередное свое пребывание все в этом же Переделкине, куда я полюбил ездить почти ежегодно, а Тарковские там жили и работали почти постоянно, я спросил у Арсения Александровича, слышал ли он о таком русском поэте, как Иван Ерошин, написавшем в тридца-

тые годы знаменитую книгу стихов «Песни Алтая», которую очень высоко оценил Ромэн Роллан.

— Признаться, не помню о таком,— вроде бы смутился Арсений Александрович и продолжил:— вообще-то поэтов-сибиряков я много читал и, кажется, знаю неплохо. Например, «Антон Сорокина — «короля» и чудака сибирской поэзии; Павла Васильева; а из прозаиков — Владимира Зазубрина, как говорят, автора первого советского романа «Два мира»; великолепного сказочника Павла Бажова...

— А Иван Ерошин, кстати, родом из Рязанщины, земляк Сергея Есенина.

— А что о нем сказал Ромэн Роллан?..

— Если хотите, сейчас же сбегая в свою комнату и принесу книгу Ерошина,— приподнялся было я.

Арсений Александрович удивленно приподнял свои широкие брови.

— Неужели вы таскаете с собой этого самого Ерошина!..

— Да нет!.. Просто недавно, шатаюсь по Москве, в каком-то букинистическом магазине случайно наткнулся на столь мне нужную и драгоценную книгу «Песни Алтая», изданную «Советским писателем» еще в 1937 году. Вот в этом-то переиздании вместо предисловия и напечатано письмо Роллана к Ивану Ерошину.

— А, вот почему вы меня решили испытать своим Ерошиным, — усмехнулся Арсений Александрович, — действительно любопытно, давайте принесите, посмотрим, полистаем...

Когда я принес сборник ерошинских стихотворений, он бережно взял его, надел очки и начал пролистывать. И вдруг принялся вслух читать известные для меня строки Ромэна Роллана:

— «Мы поражены свежестью и силой не только образов этих песен, но чувств, в них выраженных.— Тарковский на миг остановился и посмотрел на меня, словно эти слова и мысли сказал лично я.— Вот как! — кажется, удивился признанный мастер стиха и продолжил:— Я знаю пока только несколько стихотворений — с десятков, из самых коротких — «Я похож на облака», «Череп», о юноше, который хочет посмотреть девиц и у которого нет новой рубашки, и несколько других. Образ пальцев... «как дикие пчелы», голоса — «как рыжее пламя», образ природы (кедровая ветка под инеем и т.д.) — замечательны.— Арсений Александрович опять

прервал чтение, сняв очки, вновь посмотрел на меня и уже от своего имени добавил:— Да, эти образы действительно замечательны: «пальцы, как дикие пчелы!» Такое может заметить только поэт, как принято говорить, божьей милостью.— Затем снова надел очки и склонил голову с редящими волосами над книгой.— Это напоминает китайскую и японскую поэзию, и вместе с тем это могло бы быть создано самыми утонченными поэтами Запада... — Боречка,— оборвав чтение, обратился он ко мне,— если можно, то оставьте книгу мне до завтра, я повнимательнее посмотрю...

На другой день Арсений Александрович сам первым заговорил о стихах Ивана Ерошина:

— Мне думается,— сказал он,— Алтай и песни его народа этого рабочего парня с Рязанщины сделали весьма своеобразным поэтом. Стихи-песни его насыщены горным солнцем, запахами и неувядающими красками трав Алтая.

— Интересно,— обрадованно повторил я вслед за Арсением Александровичем, — Алтай и песни моего народа, по-вашему, сделали его поэтом!

— Это видно из его же произведений,— заключил он твердо.— Ведь он на мир смотрит глазами алтайца, думает его же мыслями, то есть, размышляет как истый охотник алтайских гор. Причем его стихи гибки и очень музыкальны, хотя все они написаны так называемым верлибром. Многие из песен Ерошина мне запомнились. Вот послушайте, как это написано — зримо, свежо и образно:

Новое купил ружье,
Тонкое, с двумя глазами.
В их сумраке глубоко
Спит золотая змея,
Тусклый, колющий паут
И маленькое облако.
Когда глаза глядят на зверя,
В его костях — тоска.
Сверкнут, и вскрикнет кровь,
И ясный лебедь — белый день—
Летит из глаз широких зверя,
Ему навстречу быстро, быстро
Стремится жадный ворон смерти.

— Согласитесь,— посмотрел он на меня,— урбанист так не напишет и не скажет. Попросту не найдет такие слова и мысли. Видать, Ерошин, находясь в горах Алтая, сам превратился в охотника-таежника... Как он пронзительно и чисто пишет об осеннем гоне марала:

Жаркий, призывный голос
Коснулся тела подруги,
И листья, как стая
Птиц перелетных,
Вслед ей шумят.

Арсений Александрович — тончайший знаток поэзии, начал хвалить и любовную лирику этого поэта, — заметив, что Ерошин говорит от имени алтаянки...

— Как... Как вы сказали? — Алтаянка?! — Не удержался я от вопроса. — Это для меня ново и очень интересно. Мы привыкли говорить и писать: алтайка, а не алтаянка.

— Мне кажется, — объяснил Арсений Александрович — по закону языка нужно писать и говорить именно — алтаянка. Мы же всюду пишем и произносим: китаянка или корейка. Вдумайтесь-ка, китайцы, алтайцы, корейцы — звучат одинаково, существительные одного и того же порядка... Я вижу и ощущаю ерошинских алтаянок. Они, хотя очень наивные, но, как дети солнца и природы, чистые и сердечные. Вот одна из них говорит о себе:

Говорят мне, я прутик зеленый,
Нежно вьющийся, гибкий, свежий...

Слова и мысли ее, как слезинки чистые и образные:

Мне сказали — рыжее пламя
В моем голосе взвилось высоко.
Говорят, что звери и птицы
Понимают голос влюбленных.

— Я вас поздравляю! — неожиданно заключил он, — вы купили интересную книгу интересного поэта и своей радостью поделились со мной. Кстати, не осуществить ли нам мечту Ромэна Роллана — «...было бы интересно ознакомить Францию с некоторыми образцами этой поэзии»? А что?.. Давайте напишем небольшое предисловие к некоторым, наиболее ярким стихам Ерошина и предложим журналу «Советская литература», выходящему на иностранных языках. А воть, алтайские стихи-песни Ерошина таким путем наконец-то дойдут до французского читателя...

Эта добрая идея, к сожалению, по каким-то причинам не осуществилась... Кажется, мы даже больше не возвращались к этой теме...

1979 год. В день Первомайского праздника Арсений

Александрович дарит мне большой сборник своих стихов «Волшебные горы», изданный годом раньше издательством «Мерани». В сборник вошли переводы из грузинской поэзии и собственные стихи поэта об этой древней земле, в свое время вдохновенно воспетой Пушкиным, Лермонтовым, а в советский период Пастернаком, Тихоновым, Заболоцким и многими русскими мастерами художественного слова.

«Поэтические переложения грузинской поэзии,— пишет в предисловии этого издания его ученик, поэт-переводчик Михаил Синельников,— осуществленные Арсением Тарковским, без преувеличения — целая эпоха в истории русской школы перевода».

И это действительно так. В этом большом сборнике, кроме переводов из народной поэзии, стихи около двадцати грузинских поэтов — классиков и современников. Наряду с тридцатью превосходными стихами несравненного Важи Пшавела, мастерски переведенными Тарковским, любители поэзии на русском языке с интересом прочтут и Григола Орбелиани, и Илью Чавчавадзе, а из лирики советского времени — Галактиона Табидзе, Георгия Леонидзе, Симона Чиковани, Карло Каладзе, Ираклия и Григола Абашидзе, до этого мне незнакомой Анны Каланадзе и многих других. В связи с этой книгой непременно хочу заметить и особо отметить одно весьма завидное отношение к поэзии и слову Арсения Тарковского. Многие из нас, к сожалению, после выхода своей книги, не перечитывают ее от начала и до конца вновь и вновь в пылу «большой» радости, не говоря уж о скрупулезных правках корректорско-редакторских ошибок и типографских погрешностей.

В этом издании очень много ошибок, пропущенных слов и строчек, правленных и заново восстановленных самим Тарковским. Возьмем, например, стихотворение Григола Орбелиани «Лик царицы Тамары в Бетанийском монастыре». В одной из его стоф напечатано:

Укажи пути,
Душу просвети,
РастоПчи, царица, сумрак ночи!

Переводчик вместо «растоПчи», черным карандашом исправляет, т.е. вычеркивает лишнюю букву «П». Оказывается, надо читать не «растоПчи», а «расточи». В большом стихотворении Важи Пшавела «Молодым поэтам» видим:

«Слезы я струю рекою, // Мчусь я и колоброджу».
Арсений Александрович все тем же карандашом вместо

«мчусь» — правит-«мучусь». Классику грузинской литературы Пшавела, надо сказать, в этом издании явно не повезло. В другом его произведении «Вопросы и ответы» редакторы перепутали огромные куски, поэтому «заарканив» множество строк, карандашной линией Тарковский «тащит» их на то единственное место, где они должны располагаться. А вот в его собственном стихотворении на странице 211 он исправляет одну-единственную букву, и слово приобретает абсолютно иное значение. Давайте сперва процитируем полностью четверостишие для наглядности, а затем уточним, что заменил автор.

Земля неплодородная, степная,
Горячая, но в ней для сердца есть
Кузнечика скрипица костяная
И кОсарем униженная честь.

Оказывается, у поэта не «кОсарем униженная честь», а «кЕсарем». Допускать такие «проглядки», конечно, не к чести ни редактора и ни корректора.

Хотя книга вышла и разошлись ее тиражи, но поэт продолжает работать над некоторыми стихами, уточняя и заменяя отдельные слова, те или другие строчки целиком. Такую придирчивость и требовательность к себе Тарковского-поэта я обнаружил, читая его «Волшебные горы».

И я раздвинул жар березовый,
И в печь вошел, как Даниил,—

было напечатано в стихотворении, но автор после выхода книги, при повторном чтении, вычеркнув вторую строчку, счел нужным заменить следующим образом: «Как заповедал Даниил». Так он продолжает работать над своим детищем. Во второй половине этого же четверостишия он правит наново его третью строчку. Было:

И принял в ней закал свой розовый,
И как пророк заговорил.

Стало: «Благословил (выделено мною — Б. У.) закал свой розовый...». Словом, в сборнике этом оказалось довольно много искажений и ошибок, бережно исправленных автором перед тем, как подписать мне автограф. О них я говорю, конечно, не для того, чтобы специально упрекнуть грузинских издателей. Я хотел всего лишь подчеркнуть, как настоящий поэт относится к родному до

кровинушки делу, как тонко чувствует слово и как его находит.

Своим пусть и небольшим познанием поэзии древнеарабского поэта Абу-ль-Ала аль-Маарри (973—1057) я благодарен опять же Арсению Тарковскому. В 1979 году «Художественная литература» в переводах его выпустила большую книгу философских стихов «великого слепца» из Сирии. Этот свой не менее великий труд Арсений Александрович вручил мне «...с пожеланием счастья, здоровья, новых книг» 23 января 1980 года.

И. Фильштинский, который написал вступительную статью, сделал примечания и подстрочный перевод, пишет: «О жизни Абу-ль-Ала аль-Маарри известно не слишком много. Поэт родился в семье мусульманского богослова, в четырехлетнем возрасте перенес оспу и ослеп, что не помешало ему, однако, изучить Коран, богословие, мусульманское право, мусульманские предания, историю арабской поэзии, греческую философию, а также, по-видимому, элементы математики, астрономии и медицины — словом, все то, что входило в те времена в комплекс знаний высокообразованного мусульманина»...

Это ли не титанический подвиг человека в борьбе со своим недугом?! Я бы на месте аль-Маарри тогда же, в четырехлетнем возрасте, зачах и умер от бессилия и беспробудной темноты. Так я думал, изучая жизнь и творческий путь этого бесподобного гения — автора всего двух, но великих сборников стихов: «Сакт аз-занд», то есть «Искры из-под огнива» и «Лузумийят» — «Обязательность необязательного». Посмотрите и вдумайтесь, какие выдавал стихи из глубины молча стонущего, но никому не покорного сердца этот великий аскет и страдалец.

Я одинок, и жизнь моя пустынна,
И нет со мной ни ангела, ни джинна.

А вот заключительные строки этого стихотворения, состоящего всего-то из нескольких, но горьких строчек:

Я шел путем смиренья и печали,
Я звал людей, но люди опоздали.

Для тех, кто еще не читал поистине мужественные и горькие по правдивости творения этого древнеарабского мудреца, хочется еще и еще цитировать строфы и строки из его нетленных и по сей день, мне кажется, остроактуальных стихов:

Ни на один приказ, ни на один совет
Мне от моей души в ответ ни слова нет.

.....
Существование не стоит мне забот.
Не все ли мне равно, кто хлеба принесет.

И кто мне уделит от своего запаса—
Плеяды, Сириус или звезды Воллопаса?

— Возьмите, Боречка, эту книгу аль-Маарри,— помнится, сказал мне Арсений Александрович,— читайте и учитесь, как быть и стать самим собой.

Позже, в сборнике А. Тарковского «Быть самим собой», выпущенном в 1987 году издательством «Советская Россия», я прочту вот такие строки:

Когда тебе придется туго,
Найдешь и сто рублей и друга.
Себя найти куда трудней,
Чем друга или сто рублей.

И я, живя среди людей, постоянно ищу себя. Дело это и впрямь трудное! Тот, кто все же нашел и познал себя, должен быть человеком счастливых поисков и находок. На примере того же аль-Маарри, бывшего слепцом и отшельником, но сумевшего «найти себя» в том «темном царстве», убеждаешься, знакомясь с его творчеством, что для него и беда — не беда, и горе — не горе...

Однажды я привез с собой в Переделкино рукопись стихов будущей книги «Эхо вечного Алтая». В рукописи было много миниатюр — двустийший, четверостиший, благопожеланий типа «Благопожелание ребенку», «Благопожелание огню», а также заклинаний, проклятий и монологов, в основе которых заложена народная мудрость Горного Алтая. Все они были переведены на русский язык моим ленинградским другом Ильей Фoniaковым. Эти-то вещи, прежде чем отнести в издательство, я решил показать Тарковскому. Решение мое отнюдь не означает, что я будто бы не доверял вкусу и мастерству своего давнишнего переводчика. Это было скорее всего жестом бахвальства, что ли. Вот, мол, как могут думать и остроумно говорить алтайцы.

Тарковский не отказался читать. Но и долго не задержал рукопись, оставив на ее страницах ряд существенных замечаний и уточнений. С этими его замечаниями я отправил рукопись Илье Фoniaкову. Он, видимо,

охотно согласился с мастером и, исправив, заново просмотрев и отредактировав, в скором времени переслал ее мне. К сожалению, та рукопись с карандашными отметками, «птичками» и вопросами Тарковского не сохранилась. И хотя книга давным-давно вышла в издательстве «Современник», одна из рекомендаций Арсения Александровича — переставить заключительные строчки в стихотворении «Молитва, обращенная к топштуру», и слова его: «Так будет лучше» помнятся и сегодня. В рукописи было:

У огня, на подстилке из мягких шкур,
Пой, мой топшур, звени, мой топшур!
Пусть правда сверкает острее клинка,
Пусть песня прольется — как степь, широка!

По совету мастера мы с переводчиком всего лишь поменяли местами две последние строчки, и стихотворение от этого, кажется, действительно преобразилось:

Пусть песня прольется — как степь, широка,
Пусть правда сверкает острее клинка!..

...В жизни много причуд и непредсказуемых случайностей. Не веление ли это самого Бога? Не прихоти ли судьбы? Я об этом думал еще тогда, когда встречался и беседовал с Арсением Александровичем Тарковским. Дело в том, что в середине шестидесятых годов два алтайца-студента Литинститута Кюгей Телесов и Дибаш Каинчин принимали участие в массовках и снимались в фильме Андрея Арсеньевича Тарковского «Андрей Рублев». Об этом я не однажды хотел сообщить отцу знаменитого кинорежиссера. Но удержался. В то суровое время Андрей Тарковский уже был за рубежом нашей родины. И я чувствовал, что Арсений Александрович тяжело и остро переживает за судьбу своего сына. Зачем, думалось, сыпать на открытую рану старого человека лишнюю горькую соль? Зачем бередить его боль?..

И в том, что два моих товарища по перу, два алтайца, хотя и в массовках, но снимались в фильме Андрея Тарковского, а я почти ежегодно общаюсь с его отцом — замечательным мастером стиха, не есть ли предназначение самой судьбы?.. Думаю, что да! Более того, в том, что пути наших литераторов, в том числе и мой, соприкоснулись так или иначе с путями отца и сына Тарковскими, есть, безусловно, какой-то таинственный знак и символ.

Далекие же теперь годы переделкинских встреч с Арсением Александровичем, как, впрочем, и с другими

известными писателями страны, живут во мне до сих пор и останутся надолго, как праздник души и дар судьбы...

1991 г.

ТЕНЬ РЕРИХА

Алтай является не только жемчужиной
Сибири, но и жемчужиной Азии...

Н. Р е р и х

(Из письма В. Булгакову)

Тень Рериха витает надо мной,
Он — горный дух,
Он — дух высоких странствий...
Белуха отливает синевой,
А на заре — кармином и багрянцем.
Так вы писали, так на полотне
Живут вершины—
Вехи вашей жизни...

Ваш голос в ледниковой тишине:

— Я здесь душою, на земле отчизны.
Мой караван по-прежнему в пути.
Высокогорье — живописи чудо.
Зачем ты здесь?
Откуда, путник, ты?

— Я горец, я алтаец, я отсюда.
Я ученик ваш из других времен,
Из племени, воспрявшего недавно.
Но внятен мне ваш кочевой закон,
Влечение ввысь художника — понятно.
Но как несли подвижнический крест,
Откуда воля красок, трепет линий,
Чтоб гималайский белоснежный блеск
Предстал глазам людей надеждой синей?

Чтобы согрел небесный колорит
Скалу немую на холодном склоне?

Поведайте, учитель, как горит
За гребнем гор упрятанное солнце...

— Не спрашивай. Ты все поймешь, когда
Тебя удачей одарит
Судьбина—
И родина, природа, высота
В душе твоей сольются воедино.

(Перевод Ст. Куняева)

СВЕТ ДУШИ ДРУГА

(О Флоре Васильеве)

— «... Издательство «Удмуртия», Союз писателей республики готовят к печати книгу памяти известного удмуртского поэта Флора Ивановича Васильева к 50-летию со дня рождения (1984). Очень прошу Вас откликнуться своими воспоминаниями о Флоре Ивановиче, с которым Вас связывали узы добрых товарищеских и творческих отношений.

С глубоким уважением — составитель книги — З. А. Богомолова ...»

Нет, никогда я не бывал на родине моего доброго приятеля Флора Васильева. Но голос его земли слышал и до сих пор слышу, читая и перечитывая стихи одного из самобытных певцов современной Удмуртии, к сожалению, так рано и неожиданно ушедшего от нас.

Листая его книги, я слышу шепот колосьев осенних полей:

И в воздухе звонком
Волненье.
И словно нет грусти на свете.
И в золоте по колени
Гуляют и сад, и ветер.

(Перевод Э. Балашова)

Флор Васильев, как явствуют его стихи, тонкий знаток природы родного края и «печали полей»:

Листья желтые летят к сырой земле.
Ветки голые видны издалека.
Реже солнце появляется во мгле.
Тяжелее проплывают облака.

(Перевод А. Жигулина)

Тут все точно. Нет ни одного лишнего слова. Читая и перечитывая эти строчки, прямо-таки кожей ощущаешь

приближение осени, ее живое дыхание и в бесконечно уходящий простор. И действительно, как сказано в одном из его стихотворений: «Перед долгой зимой сиротеет земля и душа». А каковы его зимние рисунки? Он не только чутко слышит и видит родную природу, но и, как поэт-пантеист, понимает язык земли, разговаривает с ней и жалеет, слыша, как «скрипят на морозе деревья», и готов их впустить в дом, где по-летнему светло и тепло.

Мне кажется, что только человек с чистой душой и совестью, не сделавший никому ничего плохого, в том числе и природе, ее богатству и красоте, сможет писать так нежно:

Белый снег.
Молодая пороша.
Белый пух
На остылой земле.
Хорошо,
Когда все по-хорошему.
И земле
Хорошо быть в тепле.

(Перевод автора)

У Васильева природа существует сама по себе. Она у него одушевлена, живет и действует как человек с душой и думами, не знающими покоя. «Заспешило солнце на ночлег://Наработалось, как человек»; «У сада давно онемела рука, //Плоды, как ребенка, качая»; «Ночь стоит со звездою в руке» и так далее.

Да, я, к сожалению, не бывал на родине поэта, хотя он при каждой нашей встрече и беседе приглашал к себе домой... Все какие-то дела мешали, чтобы воспользоваться приглашением. И очень жаль, что теперь никогда уже не побродить и не поездить вместе с ним по его земле, не плыть по рекам и озерам, которые он так любил и так красочно, вдохновенно и живо описал.

Как известно, у мертвых нет радостей. Он, мой друг, никогда больше не будет мечтать о том, чтобы, как ребенку, бегать босиком по зеленой траве, стремиться к товарищам, живущим и работающим вдали от него. А земля по-прежнему будет вращаться, качая человечество и новорожденных детей человечества... И на его родине удмурты, конечно, будут рожать детей, складывать новые песни, снимать все новые и новые урожаи. Жаль, очень жаль, что об этом Флору Васильеву больше никогда не суждено будет знать. Единственно, что хоть как-то утешает, так это то, что за него живут среди людей его

дети — его мысли и стихи. Лишь по стихам своего друга я знаю, например, названия рек и озер Удмуртии: Моя, Лоза, Нязь, Нылга и другие. Вероятно, ему более всего нравилась Моя-река, поражала и успокаивала, и потому не один раз упоминает он ее имя, рисует образ и, воспевает ее во многих своих произведениях:

И Моя, речушка родная,
Старается тише бежать,
Как будто бы понимая,
Что песне не надо мешать.

(Перевод Е. Храмова)

Мне, родившемуся и живущему среди высоких и белоснежных гор, привыкшему видеть буйные и бурливые реки, стремительно мчащиеся и скачущие по крутым склонам, падям и долинам голубого Алтая, например, никогда так не описать своеобразный нрав равнинных рек, как у Флора Васильева:

Река трепещет лентой голубой
Торопится в неведомые дали,
Бежит река, лобуется собой,
И ей, видать, совсем не до печали.

(Перевод Я. Серпина)

Мы — дети кровавых для страны и человечества лет. Флор же всего лишь на два года старше меня. И его взгляд на жизнь и понимание ее близки мне. Он, как мне кажется, точно и верно воспроизводит внутренний мир людей тех голодных, военных и послевоенных десятилетий. Тогда действительно некогда было любоваться красотой, скажем, ромашки, наклонившейся над дорожкой, изяществом и сочностью гвоздики, но зато с нетерпением ждать «цветения картошки. //Ведь за цветеньем — созревания срок!», ибо картошка военных лет не только была почти единственной возможностью спасти себя от страшного голода, но, как свидетельствует удмуртский поэт, «по письмам с фронта //Дни свои считали, //А по цветам картофеля — года».

Взаимное чтение произведений друг друга и личное общение — это, конечно, своеобразный метод учебы и познания. Встречаясь неоднократно и разговаривая с Флором Васильевым, я многое узнал об укладе жизни и обычаях удмуртского народа. До сих пор в моих ушах звучит спокойный и добрый голос Флора за дружеским

обедом в ресторане ЦДЛ, сказавшего мне по-удмуртски: «Сябасы!»

— А что это означает? — удивился я.

Тут же он тихо, чтоб другим не мешать, полупшепотом, словно стесняясь, прочитал, нет, скорее прошептал свои стихи, объясняя значение неизвестного мне слова:

Когда мы говорим: «Сябасы!» —
Желаем гостю полный дом,
Жить-поживать
Да наживать
Свое добро своим трудом.

— Не отказывайся, — настаивал Флор, — сегодня говорю за этим столом я тебе по-удмуртски «Сябасы!», коль твой алтайский аргамак до сих пор не может найти дорогу до моего дома. А чем не дом родной ЦДЛ для нас, скажи?! — Сквозь очки смотрели на меня его умные и веселые глаза. Он посмотрел по сторонам и убедившись, что на нас никто не обращает особого внимания, продолжил тем же тихим и ровным голосом:

Когда мы говорим: «Сябасы!» —
Ешь вволю, пей ты не стыдясь
Вино хмельное, ну а квас
Мы на другой отложим раз!

Было это, кажется, в 1976 году. А причиной нашего застолья послужил выход очередной книги стихов Флора Васильева «Времена жизни», полностью переведенной на русский язык московским поэтом Евгением Храмовым и изданной издательством «Советский писатель».

— Пусть времена жизни принесут тебе опять и снова светлые дни радости, новые стихи, — сказал я, поднимая рюмку и, пригубив, чтобы не остаться в долгу перед гостеприимным обычаем удмуртского народа, бережно поставив ее на ладонь левой руки, пальцами правой осторожно придерживая, сказал: «Чоочой» и передал Флору. Разумеется, он не понимающе приподнял на меня глаза и, почувствовав что-то такое, как бы боясь, что я не выпью за его тост, вновь зашептал, словно заклинатель змеи: «Сябасы! Сябасы! Ты что, дорогой, мой же удмуртский «Сябасы!»! Пусть потом будет...

— Чоочой, — подсказал я.

— Чо — чо — чой, — повторив вслед за мной, и он в свою очередь поинтересовался, что за тайна содержится в этом трудном для него слове.

— В нем заключен один из святых обычаев моего народа объяснил я ему.— Наполнив чоочой-пиалу, хозяин прежде всего сам пригубит, как бы говоря гостю, что содержимое в нем чисто, ни на чем худом не замешано. Кроме того, как бы говорит, в данном случае о том, тебе, что душа моя тоже чиста, что и я принимаю тебя и угощаю, чем сыт и богат сам. Чоочой преподносится не просто и не как попало и кому угодно, а прежде всего старшим и уважаемым из сидящих в кругу очага, гостю и другу, желая ему здоровья и счастья...

Я давний любитель сравнивать суть и звучание тех или других слов. На самом деле, что есть интереснее и ценнее из человеческих творений, чем слова — начало всех начал?.. Разговаривая, например, с Григорием Ходжером, писателем совсем другой языковой стихии, другого уклада жизни, я узнал, что слово «нанай» означает «человек земли» или «человек на земле». И все же, признаюсь, не ожидал, что могут быть какие-то похожие слова-понятия у удмуртов, относящихся к угро-финской группе языков с нами, тюркоязычными алтайцами. От Флора же Васильева я узнал, что месяц июль по-удмуртски — Горячий месяц. А у нас он — месяц Большой жары. Одно и то же понятие, не правда ли? Август, скажем, у удмуртов — месяц Последнего грома. И ведь это не только точно, но и поэтично! По-алтайски же август — месяц Гона горных косуль. Месяцем рождения листвы удмурты нарекли Май. Мы его зовем — месяцем Кукушки. Кроме таких вот близких понятий мы с Флором Васильевым в арсеналах родных языков обнаружили даже одинаково звучащие слова, говорящие об одних и тех же явлениях и понятиях, что постараюсь показать наглядно, когда речь пойдет об одном стихотворении Васильева, посвященного автору этих строк...

Никак не могу вспомнить, кто нас с Флором познакомил и где. Но это, могло быть только в Москве во время одного из съездов или пленумов Союза писателей, участниками которых мы были. Словом, встречались мы довольно часто. Много раз оказывались перед камерой фотокорреспондентов. Свидетельством тому — оставшиеся фотоснимки.

Вот мы стоим — целая группа разноязыких литераторов: Евгений Антошкин, Николай Дамдинов, Владимир Фирсов, Флор Васильев и автор этих строк. Снимок сделан Иваном Кирилловичем Чирковым — преподавателем Литературного института им. А. М. Горького. Должно

быть, мы беседуем в кулуарах съезда Союза писателей СССР. А на другом снимке мы с Флором стоим под сверкающим светом Георгиевского зала Кремлевского Дворца съездов. На этом фотоснимке Флор запечатлен с моим земляком поэтом Эркеменом Палкиным, якутским поэтом Иваном Гоголевым, башкирским драматургом Асхатом Мирзагитовым. А вот мы в легендарном Сталинграде-Волгограде. Хорошо помню, что это была самая интересная и незабываемая моя поездка с Флором Васильевым. Первое наше совместное путешествие и, к великому сожалению, последняя наша с ним встреча.

Но прежде, чем рассказать об этой поездке в Волгоград весной 1978 года, мне хочется еще раз вернуться к стихам и книгам своего друга, чтобы дополнить свое отношение и представление о его поэзии, которую он нам оставил, так рано и неожиданно покидая родную землю, красотой которой он восхищался неустанно и воспевал ее достойно, как талантливый сын и настоящий поэт.

На ниве нашей многонациональной поэзии звонким колокольчиком звучит чистый голос Флора Васильева. Теплый и лирический свет его души еще долго будет струиться в строчках его всегда по-человечески добрых, по-юношески молодых стихов.

Творческое наследие этого незаурядного таланта доказывает, что поэт любил говорить устами только земной правды, и потому его стихи естественны, как сама жизнь родного народа, голос родных ему полей и пашен. Он любил цветы настоящего счастья, постоянно их искал в своем недолгом, но уплотненном творческом пути и, найдя, щедро дарил их людям. А «грязь цветы» выдергивал беспощадно, где бы они ни гнездились, где бы ни показывали свои ядовитые лепестки. Как поэт, Флор Васильев без лишнего пафоса любил повседневную земную жизнь, душою болел и страдал за горе чужое. Вот стихи о созидательном труде, а не пассивные и пафосно-созерцательные, переведенные поэтом Владимиром Савельевым: «А они (руки — Б. У.), к телу моему // Прижимаются, // Словно говорят: // Как без нас // Будешь работать? Разве сможешь без нас // Утереть слезы // На щеках?» Вот какая боль жила в крови удмуртского поэта и мучила его, не давая его душе лениться. Скажу больше, что такая боль присуща настоящему человеку и гражданину страны. О человеческом участии ко всему говорят строчки из другого его стихотворения.

Я выгружаю
Печаль
И нагружаю
Радость.
Хотя на свете прибавилось радости,
Но печаль еще властвует
В мире.

Кстати, эти стихи на русский язык перевел сам поэт. И не только эти стихи. В его книгах встречается немало строк, переведенных им самим.

— Флор, ты не доволен, что ли, работой своих друзей-переводчиков? — Как-то поинтересовался я, напомнив ему его собственные переводы, встречающиеся в сборниках.

— А ты всеми своими переводчиками доволен? Я, к примеру, люблю верлибр. А верлибр, во всяком случае, так мне кажется, иногда поддается и авторскому переводу.

— Трудно ведь на чужом языке сохранить лад стиха, лад и звучание подобранных слов, — усомнился я. — В идеале — стихи, может быть, вообще не переводимы... Например, мы, алтайцы, да и другие народы тюркоязычной группы, прежде всего с детства, как говорится, с материнского молока, привыкли «подставлять» ухо на начальные анафорические единозвучия стихотворного слова. А русские и другие европейские стихи держатся, в основном, на конечном звуке, на рифме конечных слов.

— Ты, наверное, знаешь, в своих «Заметках переводчика» Николай Заболоцкий сказал буквально следующее: «...перевод художественного произведения не есть перевод слова», — Флор не был бы Флором, если бы ограничился лишь одним этим утверждением знаменитого поэта и признанного переводчика. — В этих же «Заметках», — продолжил он, — Николай Заболоцкий пишет и спрашивает нас, поэтов-переводчиков: «Неужели ты будешь смешить людей там, где им положено проливать слезы?». Да, к сожалению, друг, есть еще такие горе-переводчики, которые хотят «улучшить» при переводе твои стихи. Ой, как любят отсебятину.

— Вот почему ты сам стараешься переводить свои стихи. Теперь мне ясно...

— Главная причина не в этом, — возразил Флор Иванович. — Хочется доказать, что в удмуртском стихе обилие своих образов, точных слов, мыслей. Это хорошо заметно на фоне переведенных профессионалами стихов. Кроме того, повторяюсь, люблю верлибр. Мне близки мысли и стихи Ксении Некрасовой, например...

— Душа стихотворного слова всегда переводима. Эту мысль, кажется сказал тот же Заболоцкий, причем в тех же «Заметках», о которых говоришь ты,— согласился я.— Душа, мне кажется, кровная сестра мысли. А без яркой мысли, по моему глубокому убеждению, нет и не может быть стихотворения. А интересная мысль — на любом языке нова.

— О несовместимости слов на разных языках ты, конечно, верно заметил... Хотя не согласишься ли ты со мной в том, что Самуил Яковлевич Маршак сумел столь же изящно передать нам не только идеи стихов великого шотландца Роберта Бернса, но и красоту их музыки?.. Так что перевод настоящего художественного слова в нашей стране, скажем прямо,— дело государственной важности. Прости за громкие слова, иначе не могу понять работу наших переводчиков. Особенно работу талантливых и серьезных переводчиков,— уточнил он и посмотрел серьезными глазами.

Я невольно улыбнулся:

— Если бы не переводчики, мне никогда не постигнуть бы твою душу и душу твоих стихов.

— Послушай-ка,— он вытащил из папки пачку аккуратно сложенных бумаг...— Вот,— продолжил он,— новые переводы моих стихов... Женя Храмов перевел.

— Доволен ли ты переводами? — поинтересовался я, а он, не ответив на мой вопрос, тихо улыбнулся и начал читать:

Послушай-ка, не уходи сейчас!
Мне собеседник так необходим.
Покамест день осенний не погас,
Давай еще немного посидим.

Было это в номере гостиницы «Россия». Стояла действительно московская осень и действительно вечерело. Это четверостишие точно соответствовало времени и нашему общему настроению. Мы продолжили беседу... Читали друг другу стихи, говорили о поэтах и поэзии. Вероятно, такова натура человеческая, особенно натура поэтическая, которая непременно хочет и даже жаждет, «чтоб эту красоту со мною рядом кто-то ощутил»...

Поэзия Флора Васильева не пряталась и не убегала от острых вопросов, стоящих перед жизнью и временем. Одна из таких глобальных проблем, которая его интересовала и волновала,— современная экология. На эту тему у него много стихотворений. Одушевляя и разговаривая

с одиноко стоящим, вернее, чудом оставшимся в поле
единственным деревом, поэт говорит прямо и открыто:

Твои друзья погибли,
Их доля тяжела —
Под корень их валили
Бульдозер и пила.

К сожалению, а может быть, к великому нашему
общему стыду, в руках и под руками современного
человека те же бульдозеры и пилы гораздо сильнее его
же разума и голоса. Люди, среди которых мы ныне живем
и особенно будущее поколение, если хотят дышать
свежим воздухом, видеть красоту и радоваться, то
должны прислушиваться к голосу и печали своих поэтов.

Одно стоишь ты в поле.
И мысль моя грустна.
Как будто в этой доле
Есть и моя вина.

(Перевод А. Жигулина)

Голос хорошего поэта всегда сливается с голосом
самой природы и народа. А Флор Васильев был хорошим
поэтом и человеком. Поэтому он жалел все прекрасное,
дорожил даже одиноким зеленым листом — «кусочком
лета», дрожащим на тоненьком стебельке. Его слух четко
улавливал, что «где-то плачет птица одиноко» и в то же
время всем сердцем понимал и ощущал сложность нашего
века:

Эпоха летит, как ракета,
Стремительно и светло.
Порой не заметишь рассвета,
Забудешь и год, и число.

(Перевод Э. Балашова)

Для Флора Васильева время наше было не для
шутливых и легких стихов. Даже в ироническом трактате
о своих стихах весьма серьезно повествует он о сути
и сущности своих произведений, о злых и добрых глазах.
Он не нуждается, чтобы поэта гладили, как кошку, пусто
и легковесно хвалили. Вместе с тем, очень осторожно
относился к слову своему и поэтому-то сам себе говорил:
«Не торопи свою первую фразу, //как бы ни жгла она
горячо». Но не торопился и ставить «последнюю точку».
Прежде всего, чтобы уметь вовремя останавливать поэти-
ческий темперамент и пыл, считал он, надо все взвесить
и тщательно обдумать.

Флор Васильев нежной душой поэта умел радоваться, как «ребенок, впервые поймавший бабочку» и как всякий мыслитель горе называл горем, труд — трудом, любовь — любовью. И о наличии этих извечных проблем размышлял постоянно в форме вопросов или готовых ответов...

Мама,
Почему твоя спина уже сгорбилась?
Не оттого ли,
Что так долго подпирала ты небо
Над детьми своими?
Мама,
Почему только глаза твои не выцвели?
Не потому ли, что ты хочешь дольше видеть
Счастье своих детей.

(Перевод автора)

У Васильева интересна и любовная лирика. Он и к женщине относится с нежностью сына и достоинством настоящего мужчины.

— Мужская грубость всегда отступит перед красотой и женской добротой, — не раз говаривал он мне. И в этом отношении он чем-то напоминал мне Кайсына Кулиева. Как-то я ему высказал эту мысль. Он, конечно, деликатно поблагодарил меня и тут же счел нужным сказать: — В этом отношении Кайсын Шуваевич — настоящий рыцарь. Нам всем надо бы учиться у него, как относиться к женщине-матери, к современнице.

Вот как Флор Васильев сам пишет о женщине:

Вот она, женщина, перед тобой.
Хочется сразу красивее стать.
Вот она, женщина, рядом с тобой.
Хочется тверже и четче ступать.
Вот она вслед посмотрела тебе.
Хочется горбиться перестать.
Вот обратилась с вопросом к тебе.
Где же твой ум? У кого бы занять?

(Перевод автора)

Да, это так. Любому из нас, очевидно, перед женщиной, особенно, если она мудра и хороша собой, хочется быть не только красивым и мужественным, но и умным!

Однажды я Флору Васильеву прочитал свое стихотворение, которое называется «Женщина читает книгу». В нем рефреном повторяется после каждой строфы одна и та же строчка: «Книгу женщина читает»:

Сосен шум и колдовство.
В синем небе тучка тает.

Но не слыша ничего
И не видя ничего,
Книгу женщина читает.

Стихи эти о том, как поэт внезапно узнает свою книгу, которую читает незнакомая ему женщина, взгляд которой «грозы сердитей».

— Знаешь,— сказал Флор, выслушав до конца стихи,— мы, иногда, оказывается, почти одними и теми же поэтическими приемами пользуемся! Подумать только. Вот, послушай, а,— и он прочитал мне свое стихотворение:

Женщина воду несет.
Двигается от колодца,
Капельки не прольется
И коромысло не гнется.

Далее в начале каждого четверостишия повторялось: «Женщина воду несет». Признаюсь, что мы не только не расстроились совпадением отдельных образов, деталей, а даже были довольны и рады почему-то схожести поэтических приемов, ибо стихи, хотя и создавались в одно и то же время, но в разных уголках нашей земли, и мы, как говорится, не могли подглядывать друг у друга.

В 1978 году, в месяце Возрождения по-алтайски, то есть в апреле, в Москве состоялось Всесоюзное совещание переводчиков. Организовали его правления Союзов писателей СССР и РСФСР. В Москву съехались руководители писательских организаций страны и мастера перевода художественного слова. Мы снова встретились с Флором Васильевым. А в это же время в Волгограде проходила, как потом выяснилось, Всесоюзная конференция ВОК — общества книголюбов. Его организаторы обратились в правление СП РСФСР, чтобы из Москвы для творческой встречи с книголюбями направили писателей. Делегацию писателей, едущих на это мероприятие, возглавлял поэт-сибиряк, лауреат Государственной премии РСФСР имени А. М. Горького Леонид Решетников. Мы среди других поэтов и прозаиков с Флором Васильевым прилетели в знаменитый город на Волге.

В Москве стояли пасмурные дни. Было ветрено и холодно. А в Волгограде было по-весеннему тепло и солнечно. Прилетев утром, мы целый день любовались городом, бродили по его проспектам и улицам, посещали достопримечательные места. Тут уже заметно зеленели

газоны. Новая зелень выростала по обочинам дорог, пробивая там и тут асфальт, зеленым криком кричали весенние пучки трав... Особенно красиво зеленели солнечные склоны. Глядя на все это, Флор Иванович радовался и не раз повторял:

— Побегать бы сейчас по зелени босиком!.. Ах, какие были в детстве зеленые поля и как мы, пацаны, бегали по ним! Теперь разучились ходить без обуви...

Решили спуститься к самой Волге, чтобы вблизи посмотреть на великую реку. Гладь Волги была широкой и цветистой, вероятно, от обилия машинных масел и мазутов. Свет весеннего солнца струился над волнами. Высоко голубело бесконечное небо. Вдруг, не отдавая себе отчета, я почему-то воскликнул по-алтайски:

— Ах, кандый чанкыр! — то есть: ах, какая голубизна!

— Что ты сказал? — Сразу же заинтересовался Флор Иванович. — Что означает слово ч а г ы р?..

— Не чагыр, ч а н к ы р. По-алтайски — голубое. Значит, я сказал: ах, какое голубое небо!

— Вот как! — Удивился Флор. — Голубое — по-вашему чанкыр, да?! А по-удмуртски — чагыр. Какое сходство и близкое созвучие, а?!

Я склонился над водой и, смочив свое лицо, предложил:

— Следуй, дорогой, моему примеру. Алтайцы, подойдя к незнакомой реке, всегда моют руки, потом смачивают обязательно лицо.

— А почему?

— Видимо, очищается, — не задумываясь, ответил я другу.

— Интересно, — сказал он. Через некоторое время опять повторил: — Интересно... Послушай, во мне где-то там, кажется, зашевелилось стихотворение. — Потом, словно смутившись, предложил: — Давай, пойдем в гостиницу. Вдруг нас потеряли, ведь скоро нам идти на встречу.

Не забыть мне и совместной поездки на Мамаев курган. С душевной гордостью, неутихающей болью и печалью ходили мы по земле, пропитанной кровью наших отцов и братьев.

В зале Воинской славы на мраморных плитах бесконечные списки фамилий и имена, имена, имена героев, бесстрашных защитников Сталинграда. Семь тысяч имен!.. И ведь это не все, а лишь какая-то часть навеки оставшихся тут, на этой высоте славы и подвигов.

К моему стыду, я не знал, что среди памятных плит Героям Советского Союза на Мамаевом кургане находится плита, на которой выбито имя моего земляка, юного лейтенанта Ильи Захаровича Шуклина. Конечно, имя Ильи Захаровича, широко известно в Горном Алтае. Носит его и одна из средних школ в моем родном городе Горно-Алтайске. Знал я также, что недалеко от школы живут его мать и отец. Еще в разгар великой войны, в 1942 году, Константин Симонов в сражающемся Сталинграде написал очерк о комсомольце, командире орудийного расчета лейтенанте Илье Шуклине, который одновременно напечатали газеты «Правда» и «Красная Звезда». В очерке, в частности, говорилось об единоборстве орудийного расчета лейтенанта, вчерашнего школьника Ильи Шуклина, против четырнадцати фашистских танков, начисто уничтоженных им.

«Мы сидим рядом с Шуклиным, — писал в своем очерке знаменитый журналист и писатель, — у него черные глаза и веселое, очень молодое лицо»...

— Каких людей унесла проклятая война! — Не переставал возмущаться Флор Иванович.

За неимением цветов мы с ним положили на плиту моего земляка пучок зеленой травы со сталинградской земли, успевшей вырасти под лучами солнца очередной весны великой победы советского народа.

— Небольшой по численности алтайский народ, говоришь, для победы вырастил двадцать три героя. Двадцать три! — восхищался поэт.

В эту поездку мы с Флором Ивановичем жили в одной комнате гостиницы. Помнится, что у него дома накопилось много дел, к тому же на днях состоится сессия Верховного Совета республики, в работе которой он, как депутат, должен принимать участие и выступить по какому-то важному вопросу. Так что попрощались мы в одно из ранних утр, не подозревая, что это наша последняя встреча. Уезжая в аэропорт, он мне вручил книгу своих стихов «Единственное», изданную издательством «Удмуртия»...

Ныне во дворе опять весна. С тех пор, как мы последний раз встречались с Флором Ивановичем, прошли уже целых четыре года. Я смотрю на портрет друга и на торопливый, беспокойный его почерк, оставленный на титульном листе книги: «Дорогому Борису Укачину — о земле удмуртской на земле Сталинградской» — 14.04.78 г.

Меньше чем через месяц я из Ижевска получил весьма приятный для меня конверт, внутри которого находились письмо и стихи «Чангыр», посвященные мне. Это были стихи, написанные поэтом под впечатлением нашего с ним разговора там, на берегу великой русской реки и под голубым весенним небом Волгограда...

ЧАНГЫР

Борису Укачину

Как будто я побывал на Алтайских горах —
Снова я увидел тебя, Борис.
Услышал твой алтайский говор, —
Как будто зажурчала горная речка.

И над тобою небо — чангыр,
И здесь небо — чагыр.
И высокое небо над нами веселое,
Поэтому, видно, и настроение хорошее (доброе).

Словно безоблачный день, смотрим светло,
В сердце нет ничего спрятанного (утаенного).
С громом летит наша эпоха,
Но люди не теряются...

Жизнь счастлива встречами,
Беседа наша обновляет наши души.
Словно речную воду черпая пригоршнями,
Смачиваем мы лица (Речной водой смачивать лица —
алтайское поверье: — очищать души)

Солнце, поднимающееся из-за Алтайских гор,
Посылает светлые подарки.
Солнце, опускающееся за Уральскими горами,
Приветствует, посылая свой луч.

По дороге, посланной светлыми лучами,
Наша дружба шагает гордо.
Мужчина, родившийся среди Алтайских гор,
Словно брат родной, ты мне дорог.

(Подстрочный перевод с удмуртского)

Понятно, что в своем ответном письме я посылал ему не только слова благодарности, но и приглашал посетить Горный Алтай, побродить по горам и голубым долинам. Он мне тут же ответил, причем опять стихотворным экспромтом:

И вечерней порой — мне очень светло,
Словно утренняя заря — мое настроение.
И горячий воздух не кажется душным,
Словно выпуклое тело мое.

Весь вечер пел я веселые мелодии (песни);
Мелодию нанизывал на другую (новую мелодию).
И полночь я проводил песней—
От друга получил письмо!

(Подстрочный перевод автора).

А внизу были такие прозаические приписки: «Ничего больше не хочу добавлять к этому! Дай бог тебе и матери твоих детей (по нашему древнему обычаю супруги друг к другу обращаются: мать моих детей или отец моих детей — Б. У.), и детям твоим, и твоей матери светлой радости! Спасибо тебе!

Флор».

Моему удмуртскому другу было известно, что в это время болела моя мама. Он каждый раз успокаивал меня, мол, все обойдется хорошо. Но когда отправлял мне это письмо и пожелал матери моей «светлой радости», — увы! — не знал он, что в эти майские дни лишился я матери. К сожалению, таков неумолимый ход жизни!.. Только не убитое, никогда не умирающее горе осталось и живет теперь во мне. А у Флора Васильева душа была доброй, он желал людям только счастья, верил всегда хорошему и поэтому-то в одном из своих стихотворений писал вот эти уверенно-оптимистические слова:

Все будет хорошо, все.
И больной встанет с постели
И улыбнется друзьям.
Все будет хорошо, все.
Сердце найдет подругу,
Мать вырастит своих детей.

(Перевод автора)

Летом того же, 1978 года, в Абакане — столице Хакасской автономной области — проходила творческая конференция: «Великий Октябрь и младописьменные литературы народов Сибири, Севера и Дальнего Востока». И вот тут, открыв страницы еженедельника «Литературная Россия» я глазам своим не поверил... Умер Флор Иванович Васильев — председатель Правления Союза писателей Удмуртии! Как?! Не может быть!.. Ведь, кажется, что вчера только получил я от него очередное письмо, слышал теплый, дружеский его голос. Но никуда не спрячешься от горькой и жестокой правды!..

Многие участники проходившей в Абакане конференции лично были знакомы с Флором Ивановичем,

с жизнерадостным и совсем еще молодым человеком. Однако никто толком не знал, какая беда отняла у нас поэта и друга, одного из самых светлых и добрых людей большой советской литературы...

А жил Флор Иванович жизнью полнокровной и стремительной. Любил труд и не только литературный. Любил землю и людей, чьим упорством обжита она и столь прекрасна. Но более всего любил свою Удмуртию и почти всегда, чему я не раз был свидетелем, торопился возвращаться домой. Свидетельством тому хотя бы вот эти его строки:

Лучше всех дорог на свете
Та, которая домой.
Светит солнце, дует ветер,
Путь и ровный, и прямой.

.....
Пусть зовет тебя, торопит
К перелескам и стогам,
Где был начат и не допит
С молоком парным стакан.

Где родник с водою свежей
Ждет, прохладою дыша,
Где в чаще непроезжей
Земляника хороша.

Живая душа поэта осталась в его стихах. И я уверен, что добрый свет яркого таланта Флора Ивановича Васильева долго будет согревать радостью лица его земляков. И не только земляков, а вообще всех живых на нашей, ныне очень опасной, но все же бессмертно-молодой планете Земля.

Июнь, 1982 г.

«А СЧАСТЬЕ У ПИСАТЕЛЯ ЕСТЬ...»

(О Юрии Казакове)

До ноября 1979 г. с Юрием Павловичем Казаковым я никогда не встречался, хотя впервые о нем как об одном из лучших молодых прозаиков услышал в начале шестидесятых годов и тогда же стал искать его книги. Самое первое издание, которое попало в мои руки, была книжка рассказов «Легкая жизнь», вышедшая в 1963 году в серии «Библиотечка «Огонька». Прочел я ее с большим наслаждением, не отрываясь. Из шести рассказов, состав-

лявших ее, более всего мне понравились «Кабиасы» и «Арктур — гончий пес». Боль и переживания автора настолько были близки и понятны, что, казалось, моя душа сливалась с душой нового для меня автора.

В юности я сам был охотником. Стрелял белку, ставил капканы и петли-силки на зайцев, горных косуль и кабаргу, ловил сусликов и кротов. Как сын пастуха, с детства очень любил телят и новорожденных жеребят. Любил и понимал родные горы. А в горы не пойдешь без охотничьей собаки. У меня был хороший пес Тайгыл. Он мне отлично помогал находить хитроумных и шустрых белок. Но, в отличие от Арктура Юрия Казакова, мой черный Тайгыл был зрячим, мог видеть просторы долин и горы, солнце и небо. А Арктур же... Впрочем, предоставим слово самому писателю — Юрию Павловичу Казакову...

«... В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир, еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть свет. Он был слеп, бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки. Для него, слепого, настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту. Но он не знал того, что слеп, ему не надо было знать. Он принимал жизнь такой, какая она досталась ему...»

Эти пронзительные строчки невозможно было читать спокойно, без слез на глазах, может быть, еще и потому, что они напоминали мне горькую участь моего щенка, которого убил суеверный старик Атраш во время затмения луны. Более того, именно этот рассказ Юрия Казакова позже заставил, что ли, меня написать небольшую трагическую поэму «Черный щенок, старик Атраш и я», переведенную на русский язык Борисом Слуцким, отрывок из которой нахожу уместным привести...

Моим единственным другом
был черный щенок.
На охоту мы тоже ходили вдвоем —
добывали бурундука.
Вернемся домой и вместе попьем:
он — молока
и я — молока.

Далее я пытался описать, какая страшная беда обрушилась на моего маленького друга, что, кстати, соответствовало действительности...

Однажды пьяный Атраш
заночевал у нас.

В ту пору случилось затмение луны:
шайтан утащил куда-то луну.
Деревья были ошеломлены,
шепот гор заклинал тишину.
Старый Атраш внезапно вскочил,
зашептал, забормотал:

— Ложками, чашками надо греметь!

А главное — надо, чтобы лаял пес!

Потом он руки к небу воздел. —

О, великий наш бог Юлген! — Сказал,
в ноги поклонился огню
и замер в молчанье.

Потом Атраш схватил плеть
и начал хлестать щенка.

Черной змеей жалила плеть
черные бока.

Черной молнией била плеть
в черные бока.

Плеть визжит.

Щенок визжит.

Луна из темноты не бежит.

Стонала плеть.

Стонал щенок,
но вызвать луну из туч не мог...

И когда в ноябре 1979 года в Доме творчества писателей «Переделкино» мне посчастливилось встретиться и познакомиться с Юрием Павловичем Казаковым, я, разумеется, рассказал ему о том, как впервые читал «огоньковскую» книжку его рассказов и как особенно сильно подействовал на меня его «Арктур — гончий пес». Он молча улыбнулся и, заикаясь, коротко сказал:

— З-значит, ты м-меня ч-читал. И-и у тебя был свой любимый щ-щенок.

На следующую нашу встречу я принес в его номер свою небольшую книжку стихов — «Я жду улетевшего лебеда», изданную «Детской литературой» в 1971 году, в которой была опубликована та самая поэма о Черном щенке, и начал читать. Казаков, не перебивая, выслушал молча, и когда я закончил, повторил:

— Черной змеей жалила плеть черные бока... С-случ-кий сказал точно и сильно...

— Не Слуцкий сказал, а я сказал! — пошел я в атаку. — Слуцкий так не скажет. Он плеть не будет сравнивать ни со змеей, ни с молнией... Это чисто фольклорный образ.

— Однако ты оч-чень тщеславен, а? — Глаза Юрия Казакова остановились на моем лице и после значительной паузы, примирительно, что ли, он добавил:

— Твой щенок видел мир, тайгу, коров, а мой Арктур все это только ощущал...

После смерти Юрия Павловича, перечитывая «Арктур...», я вновь, теперь уже осознанно, обратил внимание на следующие строки автора, лишний раз поражаясь их точности и пронзительности:

« — Ах, Арктур! — тихонько говорил я ему. — Бедный ты пес! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце, не знаешь, какие зеленые по утрам деревья и кусты и как сильно блестит роса на траве; не знаешь, что вокруг нас полно цветов — белых, желтых, голубых и красных — и что среди седых елей и желтеющей листвы так нежно краснеют гроздья рябины и ягоды шиповника. Если бы ты видел по ночам луну и звезды, ты, может быть, с удовольствием полаял бы на них. Откуда тебе знать, что лошади, и собаки, и кошки — все разных цветов, что заборы бывают коричневыми, и зелеными, и просто серыми, и сильно блестят стекла окон при закате, каким огненным морем разливается тогда река! Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник...».

У Юрия Казакова, мне кажется, нет ни одного плохого рассказа, который можно было бы забыть, не запомнить. Почти все герои его произведений — люди, повидавшие мир и познавшие всю горькую горечь жизни, как и сам автор этих небольших по объему, но весьма глубоких по смыслу произведений. Возьмите и прочтите, а лучше перечитайте еще раз хотя бы «Тихое утро», «Ночь», «Никишкины тайны», «Трали-вали», «Легкая жизнь», «Белуха», «Во сне ты горько плакал», «Нестор и Кир»... Какие жизненно правдивые, лирически-пронзительные, душевно-человеческие вещи! Какие судьбы и какие характеры!

Одним из самых изумительных рассказов, я считаю, «Нестор и Кир» — отец и сын, сильные и красивые телом, но, к сожалению, слабые умом и интересом люди. У них у обоих большой жизненный опыт, ни на кого не похожие жизненные уклады и занятия, подмеченные ранимой душой и острым глазом замечательного прозаика Юрия Казакова, бесспорного классика в жанре рассказа.

В том же «Несторе и Кире», кроме главных героев, есть очень интересный образ восьмидесятилетней старухи Пелагеи Тимофеевны, которая, как свидетельствует писатель: «... вдоволь почитала священных книг, вдоволь их потолковала, толкует их она и сейчас и предсказывает скорый конец света».

На «толкование» Пелагеи Тимофеевны «о скором конце света» я опять же не случайно обратил внимание, ибо в устном фольклоре моего алтайского народа имеется примерно такая же легенда о конце и начале века. Как бы там ни было, что бы ни говорили осторожные люди, но обе эти легенды очень похожие по содержанию и созвучные по трагичности с нынешним нашим грозным временем конца двадцатого столетия. Старуха Пелагея Тимофеевна рассказывает о том, что «земля будет сожжена на десять локтей в глубину. Города разрушатся, и в них останется по десять человек, а в деревнях по два. И люди станут искать друг друга, чтобы вместе начать новую жизнь. Эта война будет последней, она же явится концом света и началом новой жизни».

Страшная легенда! В нынешнем веке мы все вольно или невольно думаем о судьбе всего человечества, о мире и чистом небе над головой. Конечно, и Юрий Казаков, рисуя образ этой старухи, думал о сложности нашего времени и жизни, о начале и конце мира, и о судьбах людей, живущих в отрезке именно этого века.

Юрий Казаков, как художник, умеет рисовать образы своих героев так ярко и даже беспощадно, что душевно и физически ощущаешь их близкое присутствие, хотя они живут и трудятся далеко от нас, на краю, как говорится, земли. Вот какими точными и широкими мазками настоящего художника создает писатель облик и характер Нестора, бывшего кулака:

«И верно, что-то есть в этом муже звероватое, мощное, сразу бьет в глаза цепкость какая-то, жилистость, но еще и другое — какая-то затаенная скорбь, надломленность».

Далее автор весьма скупое, но зримо описывает следующую картину: «Когда разговорились, и после знакомства, обычного в таких случаях, я узнал, что зовут его странно — Нестор, а сына — Кир, и когда я, несколько ошеломленный такими именами, помолчал, а потом, переведя дух, спросил обычно: «Как живете?» — хозяин надвинул брови, — так и видишь, как герой рассказа «надвинул брови!» — лицо его дрогнуло, опечалилось, хотя он и улыбнулся, а ответил так:

— Скучно живем! Только и веселья, что на своих именах...».

Читая книги Юрия Казакова, поражаешься достоверности картин и подлинности чувств их автора. Рассказчик ни на йоту не боится нарисовать и показать саму

матушку-правду, как бы она ни была горька и печальна. Писатель, любясь красотой и мощью тела рыбака Кира, в то же время, мне кажется, иронизирует над ним, впрочем, заодно и жалея его. Лучше самого Юрия Павловича не покажешь внешний облик и внутренний мир его героев. Поэтому многие и многие куски-сгустки жизни из его произведений хочется привести целиком, хочется цитировать и цитировать, чтобы читатели это увидели сами, радовались и восторгались вместе с тобой...

«... Прекрасное и ужасное видится мне в этом Кире, — пишет от первого лица Юрий Павлович, — в его физической мощи, в его загадочных бормотаньях, в какой-то юродивости и в блаженном созерцании мира. Счастлив ли он?

— Эй, Кир, ты читаешь что-нибудь?

— Не... Ситать не мею. Засем?..

— Ну как это зачем? Ведь ты учился?

— Не... Не сахотел — засем?

— Что же ты любишь? Ну — для души?

Кир не отвечает. Кружатся над ним, хищно и жалобно пищат чайки. Кир, закинув голову, глядит на них голубыми глазами, улыбается расслабленно.

— Хоросё! — И кидает им рыбы внутренности.

— Слышишь, Кир, что тебе надо для души?

— А? Дуси... Дуси... а-а, тевку надо! Тевка мягкая, хоросё!

Глаза у него мутнеют, про рыбу он сразу забывает, вытирает кровавые пальцы о штаны, весь напрягается, напружинивается, сопит и долго потом не может успокоиться, хихикает, бормочет что-то совершенно уже непонятное, и долго не высыхают у него слюни на губах».

Вот каков интерес и мир одного из наших современников — молодого человека середины века! О Несторе и Кире писатель скажет: «Они — и море, больше нет никого, все остальное — где-то там, за их спиной, и вовсе им не интересны и не нужны...»

И все же писатель и человек Юрий Казаков не перестает восхищаться силой и красотой этого самого Кира, своего юного, но глупого до невозможности героя-современника.

«... Какой он все-таки красивый, этот Кир! Как идет, неслышно ступая в мягких своих тюленьих броднях, как на нем все обтянуто — видны бугры плеч, груди, мышцы живота, икры — все в движении, и какой он весь расстегнутый, крепкий, смугло-румяный, дитя природы!

И добр, и весел, общителен, но — дикий, дурачок, и тяжело как-то с ним...»

Не могу удержаться, чтобы не процитировать и другие замечательные по яркости строки писателя, где он зримо и выпукло, что ли, показывает как его Кир в пучине моря гонится за раненой уткой. Дикая утка и дикий человек.

«... А Кир уже раздевался, сбросил рубаху, сапоги, штаны и голый кинулся животом в ледяную воду. Он шумел, плескался, сопел. Он гоготал и выскакивал из воды по пояс, как болотный черт, загонял бедную утку до одурения, поймал ее, тут же прокусил ей мозжечок (Разрядка моя.— Б. У.). На берег выбрался красный, от него валил пар, губы были окровавлены и в пуху. Одевшись, он засмеялся, облизнул губы и бросил мне утку.

— Тепе! — сказал он радостно.— Пери, тепе!..»

Вот как надо бы всем нам столь же естественно, без тени фальши, научиться рисовать природу и людей, живущих в ней и владеющих ею. Юрий Казаков, будучи уроженцем большого города, с чувством подлинного сельчанина как-то умеет проникать в глубину и сущность самой природы и тайны человека. Конечно, это не только от большого таланта, но и от искренности, честности и отваги писательского духа!..

К сожалению, я недолго общался с Юрием Павловичем в тот свой приезд в Переделкино. А познакомил нас мой однокашник по Литинституту прозаик Евгений Чернов. В первый же вечер после моего прибытия, встретившись со мной, он сказал:

— Хочешь, пойдем в номер Юрия Казакова. Я познакомлю тебя с ним. Будет вам двоим не скушно...

Я забоялся. Ведь я знал к тому времени, что Казаков — писатель давно широко известный и даже очень «модный». Пригожусь ли я ему в собеседники?

— Ничего,— сказал Женя Чернов,— не бойся. Вы найдете, думаю, общий язык.

Помню хорошо, что мне досталась комната № 5, что на первом этаже основного корпуса. А Юрий Павлович, оказалось, жил за стеной моего номера, в четвертой комнате. Когда мы вошли в его номер, то предо мной предстал, как мне показалось, огромного роста человек в клетчатой рубашке. Большая голова с красной лысиной. Большой и прямой нос. Большие очки. Мы познакомились. Он молчал. Мало интересовался мною. Сидели мы недолго.

Женя Чернов, приведший меня к нему, по-видимому, почувствовал неловкость, поэтому нарушил тишину:

— Мой друг, поэт и прозаик, конечно, вас читал. Любит вашу прозу.

— А не будешь просить, чтобы я переводил твои рассказы? — Как-то устало улыбнулся Казаков и посмотрел на меня. — Сейчас я не перевожу и почти ничего не пишу.

Я, кажется, успокоил его, сказав, что у меня имеются свои переводчики, и я им не собираюсь изменять.

— А кто переводил вас? — вдруг перешел он почему-то на «вы».

— Ну, положим, Борис Слуцкий...

— И прозу вашу тоже он переводит?..

— Нет, только стихи...

— Вот видите... — он опять замолк.

Вот так, примерно, состоялось наше знакомство с Юрием Павловичем. Но через два дня, к моему удивлению, он сам постучал ко мне в номер и тихо вошел. Поздоровался. Постоял немного и, извинившись, сказал, что он сильно болеет с похмелья. Тут я, по словам Юрия Трифонова, «приближаюсь к теме больной и необходимой» из его «Вспоминая Твардовского». Для не читавших эти его воспоминания напомним главную суть их: «...Я приближаюсь к теме больной и необходимой, — мужественно и с большой болью пишет Трифонов. — В том смысле необходимой, что ее не обойти. Если писать правду. Он (Твардовский — Б. У.). сам требовал этого от литературы, и, пиша о нем, нельзя об этом не помнить. В правде не бывает купюр. Горе Александра Трифоновича, горе близких ему людей и всех, кто любил его, заключалось в вековом российском злосчастьи: многодневном питии...»

Не случилось бы этого горя, говоря откровенно и честно, и сегодня бы жили и работали бы в родной литературе такие наши высокоодаренные современники-писатели, какими, безусловно, были Николай Рубцов, скажем, и Юрий Павлович Казаков, о котором я пишу сегодня эти горькие строки...

... У меня спиртного в тот раз не было, но я тут же побежал в магазин. Ведь чего скрывать, в то время все магазины были битком набиты этим самым «нашим общим горем».

В тот день мы сидели вдвоем почти целый день. Юрий Павлович охотно и много рассказывал о Севере и его

людях. Он вспоминал и неприятно содрогался, рассказывая, как охотятся за белухами и как их безжалостно убивают и уничтожают там, на Севере.

— Вспоминать даже об этом отвратительно, — признавался Юрий Павлович. — Человек, будучи существом разумным, все же злое и кровожадное существо. Пули из ружья, представь себе, на красивом и гладком теле белух оставляют такие ужасные дыры, каждая величиной с кулак. Непостижимо!.. Во время охоты на этих зверей, в море стрельба гремит, как на войне!.. Если хочешь знать, то почитай мои северные рассказы...

— Я не только читал их, но и знаю, что ведь и вы сами тоже стреляли, Юрий Павлович...

— Это было вначале, с дури, что ли, — как бы оправдывался он, но тут же добавлял: — Ты знаешь, настоящий писатель должен быть отважным. Он обязан писать только правду, научиться смотреть правде в глаза. Вот тогда поверят тебе и будут читать...

И впрямь, как не поверить, когда читаешь, к примеру, следующее:

«... А потом эти белухи по очереди висели над палубой, их распарывали, лилась кровь, внутренности швабрами сгоняли за борт, туча чаек и кайр вилась возле шхуны, крик и гомон стояли невообразимые, сапоги, фартуки, руки моряков, палуба, белые борта, вся вода вокруг шхуны — все было красно, ножи тупились и их снова направляли, солнце сияло безмятежно, льдины почти незаметно для глаз проплывали мимо...» Или:

«...Солнце пронизывало воду, нежные блики его играли на теле белухи, а она была мертва, все ушло от нее, и только сердце могучее сокращалось — клубы розовой крови толчками вырывались из бледной, опускающейся вниз головы и облаками расплывались кругом...»

После того проведенного вместе дня мы с Юрием Павловичем будто бы сошлись характерами, и встречались и общались почти каждый день. Ходили в бильярдную и вместе, бывало, играли подолгу. Иногда он просил меня прочесть стихи «на ломаном» русском языке. Однажды, когда я ему читал стихи в переводе Бориса Слуцкого, начинавшиеся со строчки: «Вечером не умирайте, Люди, прошу я вас», он вдруг сказал:

— Трогательные стихи. Можешь их посвятить мне?..

Желание его я, разумеется, исполнил. Правда, уже после его трагической гибели 29 ноября 1982 года.

В очередном сборнике стихов, баллад и поэм «Ка-

лендарь души», вышедшем в том же году в Алтайском книжном издательстве, стихи «Вечером не умирайте, люди», посвящены Юрию Павловичу Казакову...

В наших переделкинских беседах и общениях, в которых нередко принимал заинтересованное участие и азербайджанский прозаик Сабир Азери, естественно возникал вопрос о работе переводчика. Эту проблему никак не обойти и не объехать, тем более, когда общаешься с таким крупным прозаиком, каким являлся Юрий Казаков, переведший к тому времени и ставшую известной с его помощью трилогию казахского писателя Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот».

— Абдижамил хорошо умеет разворачиваться, когда дело касается лично его,— вспоминал Юрий Павлович.— Каждый день утром к нему приезжал на «Волге» посыльный, приносил очередную верстку газеты на вычитку, а обратно вместе с проверенной версткой увозил следующую главу романа для той же газеты, в которой в то время роман печатался с продолжением... Так что, братцы, я вам скажу, Абдижамил умеет организовать свою работу. Умеет также заставить работать и человека. Например, первую книгу его трилогии «Кровь и пот» я переводил довольно интенсивно и быстро. «Сумерки», можно сказать, печатались тогда почти что с колес. Сначала в газете, затем в журнале «Простор», а вслед за этим полностью в журнале «Дружба народов», в «Роман-газете», в московских и казахских издательствах. Вот это, я понимаю, дело...

Мы, писатели, пишущие не на русском языке, всегда ищем хороших переводчиков. Это — не секрет. Наши собственные произведения, заслуживают они того или нет, мы самоуверенно желаем предложить для перевода лишь известным русским поэтам и прозаикам. Даже не зная и не читая порой произведения, созданные тем или другим из них, не говоря уже о личном знакомстве. Тем не менее, лишь услышав о них лестные слова, почему-то не стесняемся обратиться к этим крупным личностям, чтобы именно они приложили руки к нашим опусам.

... Теперь, после смерти Юрия Павловича, в периодической печати страны появился ряд воспоминаний о нем, Опубликованы его письма. Некоторые его друзья-товарищи сетуют на то, что он, будучи непревзойденным классиком русского рассказа, в своем творческом наследии оставил не так уж много, как смог бы, не трать своего времени на перевод казахской трилогии.

Вот передо мной десятый номер журнала «Подъем» за 1986 год. В нем опубликованы воспоминания о Юрии Павловиче Виктора Лихоносова, Марка Кострова и Абди-жамила Нурпеисова. Касаясь этой до сих пор весьма острой и актуальной темы о переводе, Марк Костров пишет:

«Юра смеялся, а мне было горько. Три года он переводил «Кровь и пот», и перевел роман-эпопею блестяще».

Странно, почему Марку Кострову стало «горько», коль, по его же собственному признанию, Юрий Казаков «...перевел роман-эпопею блестяще?..» Тем более дело переводческое в нашей стране давно стало делом государственным, отнюдь не частным, а и общественно-интернациональным. Кроме того, трилогия Абдижамила Нурпеисова в современной многонациональной советской литературе — явление крупное и общечеловеческое. Это ныне признано и давно известно за пределами нашей громадной родины. Плюс к этому, я полагаю, что, согласившись переводить на родной язык казахского писателя, Юрий Павлович, видимо, знал и отчетливо понимал на что идет, на что решил тратить, если на то пошло, свое время и душу. Поэтому по поводу переводческой деятельности этого рано ушедшего от нас большого русского писателя, мне кажется, нет основания сетовать и горевать. По моим понятиям, наоборот, надо радоваться, что Юрий Павлович Казаков литературное богатство одного из наших народов сумел сделать достоянием не только советского, но и мирового читателя, переведя его на язык межнационального общения, на язык Пушкина и Толстого.

— Когда свое не пишется, надо переводить, — тогда же в Переделкине говорил Юрий Павлович, — я бы и сейчас взялся переводить что-нибудь острое и серьезное, но для этого нужна сила и прилив вдохновения...

...И вновь я позволю себе вернуться в Переделкино, в свою комнату, к той нашей встрече за вином. Дело в том, что ближе к вечеру из Москвы приехал мой старший сын, в то время студент второго курса театрального училища имени Б. В. Шукина. Увидев отца, мягко говоря, в не совсем приличном состоянии, да еще с каким-то неизвестным ему человеком, он расстроился. Как потом выяснилось, сын принял Юрия Павловича за дворника Дома творчества.

Юрий Павлович сразу же понял, что юноша сердится.

Недоволен чем-то. Правда, я успел ему сказать по-алтайски, что это не дворник, а известный писатель. Сын успокоился, тихо присел к столу.

— Ты не сердись на отца,— обратился к нему Юрий Павлович.— Я во всем виноват... Где ты учишься? В Щукинском? Это хорошо. А на каком факультете? Значит, на актерском?.. Я тоже хотел быть когда-то актером-музыкантом.

Сын весь обратился во внимание. Юрий Павлович вдруг как-то ясно улыбнулся и добавил:

— По моему сценарию скоро будут снимать художественный фильм. Сценарий всеми инстанциями уже утвержден...

— А как будет называться ваш фильм? — осмелился спросить сын.

— Наш фильм будет называться «Великий самоед», — как бы с удовольствием сообщил писатель и тут же поинтересовался: — А ты, юноша, знаешь, что это за слово — «самоед»?.. Так вот, знай: до революции так называли ненцев. Главный герой нашего фильма — самоед, то есть ненец, — и вновь поинтересовался: — А о таком художнике-ненце Тыке Вылке слышал? Вот о нем будет наш фильм. А по-русски этого великого художника маленького северного племени величали Ильей Константиновичем Вылкой...

— А почему ненцев называли, все-таки, самоедами? — Вернулся мой сын к началу разговора.

— Очень просто... По-ненецки слово это произносится «са-мэ-ед-не». Понял? «Са-мэ-ед-не», проще сказать «земля саамов».

— Интересно,— коротко промолвил сын.— Теперь понятно.

— Так-то вот,— удовлетворился Юрий Павлович и тут же вдруг добавил: — Давай, юноша, ты на нас не сердись. Лучше запиши телефон моего режиссера и завтра же позвони ему. Мы для первой серии, чтобы сыграть роль юного Тыки Вылки, ищем подходящего актера. Может быть, ты и подойдешь для этой роли. Вдруг да возьмут и утвердят... Тебе сколько лет? Девятнадцать... Тыке было, когда он стал художником, семнадцать лет. Так что запиши: режиссера зовут Аркаша, нет, Аркадий Самойлович Кордон.

Примерно через неделю Юрий Казаков, встретившись со мною у входа в столовую, остановил меня и, широко улыбаясь, тихо шепнул на ухо:

— С тебя причитается. Твоего сына утвердили. Стало быть, он и будет играть в моем фильме юного Тыко Вылку.

Признаюсь, я тогда не понимал, какое огромное значение придавал Юрий Павлович этому своему фильму. И только совсем недавно, читая воспоминания Виктора Конецкого в журнале «Нева» (№ 4, 1986 г.) и письма самого Юрия Казакова Тамаре Жирмунской, напечатанные в журнале «Литературное обозрение» (№ 8, 1986г.), кажется, осознал...

«Фильм «Великий самоед» увидишь года через два, — сообщал он не без гордости в одном из писем Т. Жирмунской в апреле 1977 года. — Ах, какой будет фильм! Как роман Фицджеральда «Великий Гетсби». Ей-богу!»

Этот двухсерийный цветной фильм на экранах страны появился в 1982 году. Его довольно много рекламировали киножурналы. О нем также много писали кинокритики. Например, в январском номере информационного сборника «Новые фильмы» было следующее сообщение: «Первые зрители картины «Великий самоед», представленной на XI фестивале молодых кинематографистов «Мосфильма», наградили Главным призом ее создателей — драматургов Юрия Казакова и Аркадия Филатова, их соавтора по сценарию и режиссера-постановщика Аркадия Кордона».

В этом-то фильме мой сын впервые и сыграл молодого Тыко Вылку — «Президента Новой Земли», как называл в свое время Илью Константиновича Михаил Иванович Калинин...

...После переделкинских встреч еще не раз и не два я виделся с Юрием Павловичем Казаковым. Бывал он разным: то молчаливо-мрачным, то разговорчиво-добрым. Однако никогда не забывал спросить о моем сыне, о его дальнейшей судьбе и работе, о здоровье и семье.

Однажды, сидя в Центральном Доме литераторов, я сказал, как, читая его эссе «О мужестве писателя», восхищался смелостью и правдивостью в этом миниатюрном шедевре его откровений.

— Ах, все надоело! — почти брезгливо и зло махнул он рукой и добавил: — Все старо, все прошло...

Мне стало не по себе. Сидя с ним рядом, я не знал, как быть и что делать. У меня ведь тоже свой характер. Хотел встать и уйти, но он, положив на мои плечи ладони, молча дал знать, чтобы я остался.

— Писателю никакие ласковые, утешающие слова не помогут, — заговорил он, успокаиваясь. — Ему поможет

только он сам... Так что, не будем говорить на эту старую тему...

Значительно позже, после его смерти, в письме к Константину Паустовскому я найду почти те же настроения и мысли, что и в его эссе «О мужестве писателя». Оказывается, о трудной писательской работе и доле Юрий Казаков думал и размышлял в самом начале своего творческого пути. Еще в 1960 году он писал Паустовскому:

«...А писательская жизнь фиговая все-таки, нету ничего хуже... Да еще и не понимают, да еще шпыняют, и все твои открытия ни к чему. Вон Чехова поняли наконец, слава богу!—чуть не через сто лет, что же, и нам надеяться на будущее, утешаться: ах, потомки... А ведь неохота потомков ждать, человеку нужна немедленная реакция на все, что он сделал...»

Читая подобные откровения, иной писатель может подумать: Казакову-то грешно быть недовольным своей писательской судьбой! Почему он так постоянно терзается и злится? Его сразу же, почти с первого серьезного рассказа заметили, стали писать и спорить о его творчестве. Почти все его произведения переведены и переводятся на иностранные и на языки народов нашей страны. А ему все мало. Не он ли сам с тайным наслаждением и горделивостью сообщает иногда, сидя среди собратьев по перу, что никому иному, а ему, классику Юрию Казакову, среди прочих его современников в Италии присудили премию великого Данте; что где-то на западе издано или издается собрание его сочинений?..

Ну что ж, кому много дано, с того не только много спрашивают, но не меньше должно и отдаваться. И вот об этой особенности писательского труда Юрий Павлович так же мучительно и постоянно думал и приходил к выводу, что «... писатель должен быть мужественным, потому что жизнь его тяжела. Когда он один на один с чистым белым листом бумаги, против него решительно все. Против него миллионы написанных ранее книг — просто страшно подумать!— и мысли о том, зачем же еще писать, когда про все это уже было... Против него солнце, когда тянет выйти из дому, вообще поехать куда-нибудь, что-то такое повидать, испытать какое-то счастье. И дождь против него, когда на душе тяжело, пасмурно и не хочется работать».

И он уезжал из дому искать и найти свое счастье. Плавал по морям и ездил по всям Севера. Уезжал

в Ленинград. Уходил на охоту. Улетал в Алма-Ату, чтобы вдохновиться и заработать, переведя чужую, но родственно-талантливую вещь иноязычного писателя, вероятно, желая возвратить и вновь приобрести, как сам признавался, активность и работоспособность своего вдруг исчезнувшего таланта и вдохновения.

— Мало я все же писал,— как-то печалился он.

— Сколько будет всего листов, что сделали вы до сих пор? — спросил я у него в тот момент.

— Мало,— повторил он,— чисто своего, наверное, не больше пятидесяти листов...

— Но зато перевел огромную эпопею из казахской жизни...

— То не мое... Над переводом, как известно, значится имя автора, чужое...

— Как, Юрий Павлович, скажите мне, победить свою безалаберность или самого себя?

— Э-э, брат,— криво улыбнулся Юрий Павлович,— это такая тайна, в особенности в нашем деле, никому неизвестная... Ясно, что водкой, конечно, сам себя не победишь...

— А у вас друзей много?

— Почти весь ЦДЛ — мои друзья. Хотя в той же толпе, бывает, и вовсе никого нет для меня...

Хорошо читать и перечитывать хороших писателей. Вдвойне интересно, когда ты с этими писателями лично знаком. Вдруг вспомнишь кого-нибудь из них, возьмешь его книгу в руки и тут же мигом далекие времена приблизятся, прибегут к тебе. И ты как бы заново встретишься с давним другом или просто с человеком, с которым однажды судьба свела тебя.

В этой жизни много причин и неожиданных моментов для того, чтобы вдруг о ком-то и о чем-то вспомнить... Вот недавно по центральному телевидению опять показывали кинокартину «Великий самоед». Ну как тут не вспомнишь о Юрие Павловиче Казакове. В моей семье сразу разговорились о нем. А я взял однотомник его замечательных рассказов, изданных библиотекой журнала «Дружба народов» в 1983 году, и в который раз начал перелистывать его. Перелистываю и будто слышу его заикающийся голос, будто мы с ним заново продолжаем давно забытую и прерванную беседу:

«Если ты написал плохо, тебя не спасут ни звания, ни награды, ни прошлые успехи,— шепчу я, шелестя страницами и шевеля губами.— Звания иногда помогут тебе

опубликовать свою плохую вещь, друзья твои поторопятся расхвалить ее, и деньги ты за нее получишь, но все равно ты — не писатель»...

«...Похвала страшна, она приучает писателя думать о себе лучше, чем он есть на самом деле. Тогда он начинает учить других, вместо того, чтобы учиться самому...»

Как это верно сказано! Разве среди нас, будучи ничем не знаменитыми писателями, не найдутся такие горе-учителя?.. Чего скрывать, иногда разве и сам я не норовлю высказать какие-то поучительные слова кому-то другому из своих современников?.. Нет, Юрий Казаков сто раз прав, когда говорит и пишет о постоянной учебе и о мужестве честного и талантливого писателя...

«...Если писателю не хватает мужества — он пропал. Он пропал, даже если у него есть талант. Холодея от злости, он будет думать о том, что его не упомянули там-то и там-то, что ему не дали премию, а дали карьеристу, бездарю... И тогда он уже никогда не узнает настоящего писательского счастья. А счастье у писателя есть».

С этим нельзя не согласиться, хотя, скажу откровенно, что нечего премировать и восхвалять литературных карьеристов и бездарей, которые явно лезут вон из кожи, в особенности среди молодых, к сожалению, кем-то, как-то и когда-то принятых в члены СП СССР, весьма слабо заявивших как творческие личности, но яростно и рьяно норовящих брать и подбирать все, что им доступно по пути...

Юрий Павлович Казаков при любых обстоятельствах в своих творческих поисках и невосполнимых безвозмездных потерях был честным и мужественным писателем, потому знал и лично испытывал трудное счастье писателя. Счастлив он был и своим неповторимым и оригинальным талантом и потому останется и не умрет в русской литературе. Залогом тому являются оставленные им, пусть немногочисленные, но зато ювелирные по тонкости и безмерной глубине рассказы и повести.

1986 г.

ПРОФЕССОР ИЗ САЙДЫСА

(О Сазоне Суразакове)

Взлетной площадкой будущего профессора, доктора филологических наук, одного из крупнейших эпосоведов Сазона Саймовича Суразакова, как ни крути ни верти,

является все же Сайдысская начальная школа Майминского аймака Горно-Алтайской автономной области, ибо первый крик мальчишки Сазона раздался в окрестных горах и глухих чащобах в зимний декабрьский день 1925 года именно там, в Сайдысе — деревушке исконно заядлых охотников и шишкарей-орешников. Его «малую родину» не найдешь ни на какой географической карте страны, не говоря уж о мировой. Но зато позже на мировой карте по изучению и исследованию тюркоязычного фольклора, в особенности его эпического жанра, оставит он заметный след.

О Сазоне Саймовиче Суразакове впервые я услышал в 1952 году, будучи учеником областной национальной средней школы, пробуящим свои силы в стихосложении. О нем как о первом кандидате филологических наук среди алтайцев и вообще, вероятно, во всем тогдашнем Горном Алтае нам поведала учительница алтайской словесности, руководительница школьного литературного кружка Мария Викторовна Бабаева (ныне Опонгошева — Б. У.), в то время молодая, только что окончившая Горно-Алтайский учительский институт. Она не просто упомянула нам имя этого, по ее словам, очень умного и ученого человека, а глубоко уважала и явно гордилась, поскольку они были земляками. Она была родом из того же Сайдыса, а, к сожалению, не из моего далекого Каярлыка или Кулады и прочих населенных пунктов нашей снежной и каменистой земли.

Действительно, как можно не радоваться и не гордиться таким земляком — первым ученым, первым директором только недавно открытого Научно-исследовательского института истории, языка и литературы, который в недалеком будущем несомненно сделает очень многое по сбору и изучению богатейшего алтайского фольклора, а также по исследованию языка и современной литературы, истории нашего древнего народа.

В те далекие пятидесятые годы у нас не то что своей писательской организации, но и даже ни одного члена СП СССР не было. Потому литературная жизнь теплилась, как я знаю лично, вокруг школьных литкружков. А как окололитературные взрослые работали, допустим, в редакциях областных газет — это мне неизвестно. Наш пришкольный кружок, помнится, кипел и бурлил: все мы, глядя друг на друга, азартно соревнуясь, писали, писали свои стишки днем и ночью, на уроках и в комнатах общежития. Выпускали не только веселые и красочные

стенные газеты, но даже «издавали» свой рукописный журнал «Алтын тандак», то есть «Золотая заря». К нам тогда, правда, изредка, приходили местные литераторы — Владимир Кучияк-Качканаков, Чалчык Чунижеков. Кроме них, других, пожалуй, мы не видели и не знали. Слышали, конечно, что где-то работают и живут Саруева, Кочеев, Попов, Тошпоков.

И вот однажды в наш литкружок, на наш «Четверг» вместе с Марией Викторовной Бабаевой пришел незнакомый всем нам очкастый, худощавый и с торчащими, что ли, ушами человек. Им оказался Сазон Саймович Суразаков. Простой и веселый человек. Часто вытирал платочком свои очки, говорил и шутил по-алтайски. Никакой не ученый! Обыкновенный человек — один из рядовых алтайцев — алтай-кижи! А мы почему-то о нем думали и представляли себе, что Суразаков должен быть непременно высокого роста и обязательно с мудро-лысой головой. Потому, глядя на нашего гостя, даже разочаровались вначале. Какой же, скажите, он мудрец и ученый, когда в нем все просто и обычно? Разве только очки как-то напоминают о его учености?

Мы тогда не знали, что он не только ученый, но и поэт. На «Литературных страницах» тогдашних областных газет никто из нас не встречал стихи, автором которых бы значился Сазон Суразаков.

Познакомившись пофамильно с каждым литкружковцем, наш гость перешел к чтению стихов.

Дремучие скалы
Над дикой тропой.
Трубили маралы
Осенней порой.
Но взрыв аммонала
Над вечностью скал
Призывом «Вперед!»
Для нас прозвучал.

.....

Читал он на алтайском языке, широко размахивая руками, иногда откидывая движением головы негустые длинные волосы назад. Позже эти и другие его стихи будут переведены на русский язык его земляком, родом из того же Сайдыса, Георгием Кондаковым и другими...

Считаю необходимым подчеркнуть, что в то время во многих стихах «взрывался аммонал» — алтайские поэты вместе с геологами, гидрологами и другими изыскателями «покоряли» наши «дремучие» и «дикие» горы и вообще

ных школ. Но коль скоро я в своих заметках коснулся этого произведения поэта, то, забегая вперед, приведу еще один не менее любопытный факт относительно данного стихотворения.

В 1969 году в Барнауле на русском языке вышел мой сборник стихов «Рожденные весной» с моим же собственным предисловием. Ради истины позволю себе процитировать несколько строк из того предисловия, дабы нынешнему читателю стало понятно, из-за чего возник между мной и Сазоном Саймовичем, на мой взгляд, небезынтересный диалог.

«... Некоторые наши поэты жили, подчас, не на земле, где живет и трудится народ, а поднимались в подоблачную высь и оттуда подробно перечисляли все то, что видели на полях и бесчисленных тропинках нашего обширного края, и примерно так заканчивалось то или иное стихотворение:

Э-э-эээй! Мой солнечный Алтай!..

Так вот, после выхода моего сборника мы с Сазоном Саймовичем не специально, тем более не для выяснения своих отношений, а просто случайно встретились в писательской организации. В те годы, надо сказать, литераторы Горного Алтая встречались весьма часто и почеловечески дружно. Тогда у большинства из нас не было квартирных телефонов. Чаще всего просто приходили друг к другу в гости, без предупреждений. Словом, увидев меня, Сазон Саймович громко закричал:

— О-о, Борис, со мной не борись!

Я, конечно, понял, на что он намекает, и как можно будничнее и миролюбивее ответил:

— Не обижайтесь, Сазон Саймович. Конь о четырех ногах и то спотыкается. Вы же мой учитель по стихосложению...

— Не хочешь ли ты повторить известные слова: «побежденному учителю от победителя ученика» — и подарить мне книжку со своим пресловутым предисловием?

— Сазон Саймович, — ответил я улыбаясь, — ваши стихи, поверьте мне, для того, чтобы поддержать мою бедную мыслишку, сами прибежали в качестве цитаты и встали на то место, где они были так необходимы...

— Эх, Борис, Борис, таким путем со мной не борись!

Не дойдя до неприятных колкостей и ненужных ссор, чувствуя, что мой старший коллега продолжает со мной говорить в шутовском тоне и по-прежнему в хорошем

настроении, я решил откровенно выложить все, что думаю про его «Хозяина гор». И началось тут между нами...

— Сазон Саймович, послушайте,— начал первым я,— как ваш младший собрат по перу, хочу сказать вам одну любопытную мысль о стихотворении «Хозяин гор»...

— Любопытную, говоришь? — моментально среагировал Сазон Саймович.— Ну-ка, ну-ка...

Я тут же с библиотечной полочки достал сборник его стихов «Хозяин гор», изданный нашим областным издательством в 1962 году, и начал читать довольно большой кусок из его стихотворения:

Есть легенда, живая веками:
На вершинах гор не говори.
Не кричи. Будь молчалив, как камень,
Не серди хозяина горы...
И, взбираясь по тропинкам волчьим,
Ехал человек без шапки, молча.
Это выдумка шаманов злая,
Чтоб, короткий доживая век,
Голос не посмел поднять на бая
Нищетой убитый человек.

(Перевод Конст. Козлова).

— Давай, выкладывай свою любопытную мысль, — поторопил между тем меня Сазон Саймович.

— Молчать в горах, мне думается, не выдумка злых шаманов. Может быть, это ваше поэтическое, так сказать, воображение?

— Как?! Не хочешь ли ты защищать шаманов?..

— Нет, все-таки это не от шаманов! — Не уступая ему, брякнул я откровенно.— Шаманы, вы хорошо знаете, сами больше всех орали и кричали, пели и плясали во всех логах и долинах Алтая...

— Как будто бы шаманы при этом не угнетали, не обманывали простой народ,— защищая свое детище, не сдавался поэт.

— Обманывали, конечно,— согласился я.— Но речь идет не об угнетении, а о запрете кричать и шуметь...

— Однако, мы с тобой по пустяковому делу зря теряем время,— насупился Сазон Саймович, считая на этом разговор наш законченным.

— Давайте совместно подумаем и выясним, почему все же алтайцы молчали в горах?.. Почему ни с того, ни с сего не орали, а?

— Дураку понятно, боялись Бога, Хозяина горы, о чем я и сказал в своем стихотворении.

— Вполне возможно... Но я вот что хочу сказать — молчание, мне кажется, более всего связано с душевным состоянием, эстетическим пониманием алтайских горцев мира родной природы. Не просто окружающей среды, а самой живой природы: гор, камней, деревьев, то есть всего живого в мире.

— Что-то в этом разумное есть, — задумался поэт.

— Значит, согласитесь, что выдумки злых шаманов не при чем?..

— Оказывается, ты очень упрямый человек...

— У меня к вам имеется еще один вопрос.

— Опять любопытный?

— А почему вы не писали стихи, скажем, о Ленине?..

Он расхохотался, закашлялся, затем закурил папиросу:

— Ты что сегодня, белены, что ли, объелся? То о шаманах, то о Ленине...

Действительно, бывает же так, иногда хочется поговорить с интересным человеком, переходя от одной крайности к другой. Ведь человеческая мысль — не солдат под началом ефрейтора.

— В самом деле, — повторяю я, — в вашем творчестве, кажется, нет произведений о Ленине?..

— Для того, чтобы о Ленине писать, я полагаю, надо что-то найти очень интересное, до тебя никем другим не найденное, — серьезно заговорил Сазон Саймович. — За годы советской власти написано очень много стихотворений об Ильиче, но настоящих раз-два и обчелся...

— А «Лонжюмо» Андрея Вознесенского? — решился я узнать его мнение, заранее зная, что он к этому поэту относится почти равнодушно.

— Вот это находка! — воскликнул он, к моему удивлению. — Тысячи и тонны стихов о вожде, а Вознесенский нашел свое, до которого никто из его предшественников и современников не додумался!

— А к нашей алтайской Лениниане как вы относитесь?

— Ты что, экзаменовать меня решил, что ли?.. Есть, есть алтайская Лениниана, но очень жаль, что некоторые из нас безоглядно много пишут на эту тему ура-патриотические стихи, будто от этого образ Ильича станет лучше и полнее...

И все же наш тот давнишний и, понятно, не случайный разговор с Сазоном Саймовичем закончился очередной для меня неожиданностью. Уже попрощавшись и дойдя до двери, Сазон Саймович оглянулся и сказал:

— Действительно, зачем в горах кричать без причины?

— Вы опять о злых шаманах? — удивился я.

— Нет, о родной природе. Моя параллельная мысль, скажу тебе откровенно, продолжала все время работать, я думал о том, с чего мы начали... В тайге тишина, мир и благодать. Так что своим криком до смерти можно напугать всех зверей. А может быть, в этот час, где-то рядом идет мучительный отел бедной лосихи, горной козули...

— А как тогда быть, Сазон Саймович, с вашим «Хозяином гор», после столь трогательного понимания вами тайги и прекрасной природы? — не удержался я от ехидного вопроса.

— Разве таких стихов в советской литературе мало?.. — на вопрос ответил он вопросом. — Что ж, пусть живет, каким оно родилось. Возвращаться к своим старым вещам и переписывать их не люблю. Особенно, если это касается стихов...

... Детство, как бы ни было трудным, остается все же «праздником, который всегда с тобой». Его маленькие радости и большие боли не забываются. Так вот после той первой встречи в школе с Сазоном Саймовичем Суразаковым, по его желанию и приглашению, мы, литкружковцы, буквально стали его атаковать. В зимний мороз, скрипя сапогами и интернатскими ботинками, мы — Паслей Самык, Таныспай Шинжин, Валерий Чичинов, Борис Угаров, Тозул Кадин и другие, после уроков, отпросившись у своих учителей и воспитателей, вечерами приходили к нему в научно-исследовательский институт, директором которого он работал. Несмотря на чрезмерную занятость (а мы, конечно же, не догадывались, что у него есть и другие неотложные дела), он нас всегда принимал и радостно и ласково. Мы читали ему свои стишки. Он садился с нами рядышком, сам читал, обсуждал, подсказывал и поправлял какие-то строчки и строфы. При этом непременно интересовался нашей жизнью и учебой. Кого-то похваливал, а кого-то, разумеется, пожуривал. Помнится, он очень хорошо относился к Тозулу Кадину и Таныспаю Шинжину. Первого поддерживал за талант, второго еще и за то, что был круглым сиротой...

Человеческая судьба — всегда загадка. По первым шагам трудно предугадать ее развитие. Тот же, скажем,

Тозул Кадин не смог закончить среднюю школу. Его оставили в тот год, как говорили в те времена, «на осень» по русскому письменному. Однако наш одаренный друг не то что не приехал пересдавать экзамен, но и вообще остался жить и по сегодняшний день живет в родном Кырлыке, что в Усть-Канском аймаке. А жаль, очень жаль, он мог бы стать видным прозаиком, продли учебу и упорно занимайся литературой. Второй же любимец Сазона Саймовича — Таныспай Шинжин — выучился, стал известным кайчи — мастером горлового пения — исполнителем алтайских героических сказаний, членом СП СССР.

... Однажды, когда мы в очередной раз пришли к Сазону Саймовичу, он, как бы нечаянно, спросил:

— Скажите, кто из алтайских поэтов написал первую большую поэму о Владимире Ильиче Ленине?

Мы недоуменно посмотрели друг на друга: как!.. Может быть, Сазон Саймович просто над нами шутит?! Разве мы не знаем, разве имеется какая-нибудь другая эпическая песня о Ленине, кроме «Зажглась золотая заря» Павла Кучияка?

— Нет, ребята, задолго до Павла Васильевича Кучияка, еще в 1925 году, в алтайской литературе появилась поэма «Мудрый богатырь». Тоже о вожде.

— А почему мы ее не знаем?

— Кто автор этой поэмы?

— Вы его имени пока не знаете, — как-то печально сказал С. С. Суразаков. — «Мудрого богатыря» написал Павел Александрович Чагат-Строев... О нем вам пока рано знать. А поэтому «Мудрый богатырь» и другие его очень интересные стихи, наверное, года через два-три вы прочтете, если это удастся, — загадочно и в то же время уклончиво ответил Сазон Саймович.

— Чагат-Строев... Он, может быть, ваш брат, Сазон Саймович?

Наш литературный наставник с присущей ему манерой весело засмеялся и спросил:

— А почему вы так решили?

— Он из рода чагат, а вы — чапты. Разве чагат и чапты не родственники?

— Очень забавный вывод, — сказал он, продолжая по-прежнему смеяться, — признаться, об этом я даже не задумывался...

Так мы впервые услышали имя репрессированного в 1938 году выдающегося алтайского поэта Павла Александровича Чагат-Строева. Оказалось, что в то время наш ученый-литературовед наряду с основными обязанностями самоотверженно и много работал и над тем, чтобы из глубины черного мрака неизвестности заново представить родному народу, его новым поколениям прекрасные творения и светлые имена забытых писателей — наших далеких предшественников.

Благодаря стараниям и неотступному упорству Сазона Саймовича в конце пятидесятых годов мой народ с огромным интересом прочтёт произведения основателя алтайской письменной литературы, дореволюционного писателя-просветителя Михаила Васильевича Чевалкова, который еще в 1866 году создал первую алтайскую реалистическую прозу—автобиографическую повесть «Житие Чевалкова»,— а также многие его стихи и басни. Именно с помощью Суразакова впервые узнаем мы произведения и другого нашего поэта и педагога — Мундуса-Эдокова.

Книги этих наглухо и очень далеко от народа запрятанных, запрещенных и черной пылью забвения покрытых писателей подобно утреннему солнцу придут к нам лишь только в 1958 году. Что ж, настоящую литературу, как говорится, замордовать и задушить невозможно! И в этом радостном факте, я считаю, немалое мужество и поистине героическая заслуга Сазона Саймовича Суразакова — подвижника и поборника святой правды. Это настоящий его подвиг. И за это ему земной поклон!..

Я пишу о Сазоне Саймовиче, исходя из личных воспоминаний, считая нужным подчеркнуть те моменты из его многогранной творческой и общественной деятельности, которые более других находили в моей душе понимание и отклик. Итак...

Октябрь, 1952 год. Сазон Саймович уезжает в Москву на XIX съезд КПСС одним из делегатов от областной партийной организации.

Если признаться честно, то мы этому важному этапу для С. Суразакова тогда как-то не придавали большого значения. По крайней мере, между нами, начинающими стихотворцами, по этому поводу особых удивлений, радостей, запомнившихся разговоров и споров не было. Более того, лично меня не интересовало, являлся ли он членом Горно-Алтайского обкома КПСС, был ли депутатом

краевого, областного, городского Совета народных депутатов, ибо считаю себя только литератором и не больше. Сугубо официальные и бюрократические лестницы меня не очень-то интересуют. Потому нижеследующий факт из его жизни мне запомнился и по сей день...

Год 1954. Сазон Саймович Суразаков едет в Москву на второй Всесоюзный съезд писателей! Мне — восемнадцать лет. Уже настоящий парень. Взрослый человек. Я уже начал печататься на страницах областных газет и в альманахе «В горах Алтая». Болел и жил стихами. Кое-что знал и интересовался общим движением большой советской литературы. Грезил и мечтал о Литературном институте...

Возвратившись со съезда, Сазон Саймович, хорошо помню, рассказывал нам о его бурной работе; о Фадееве, Шолохове, Самеде Вургуне, то есть о наиболее значительных флагманах и руководителях творческого Союза того времени. Он свидетельствовал, например, о том, что какую огромную деревянную ручку на этом съезде преподнесли Михаилу Александровичу Шолохову. С юмором вспоминал о съездовской стенной газете и даже по памяти читал смешные, остро-сатирические стихи-эпиграммы.

Все это было интересно слушать из уст очевидца еще и потому, что был он хорошим рассказчиком. Чувствовалось, что он не фальшивит и не фантазирует, как, скажем, один из его коллег и ровесников... Естественно, что после участия в работе вышеупомянутого писательского форума он в наших глазах вырос в еще более огромную личность, в необъятно-большого человека и самого авторитетного писателя, хотя и не был тогда членом Союза писателей СССР...

О его же неиссякаемой энергии и первооткрывательстве в науке, в особенности о его многолетних изысканиях и открытиях в эпосоведении, мне думается, доказательнее и профессиональнее, чем я, расскажут люди ученого мира.

Как бы ни старался человек думать и надеяться, что до смерти еще далеко, что еще многое он успеет сделать, но она, проклятая, никому поблажек не дает. Ее костлявая рука настигает человека в самый ненужный и неподходящий час. Особенно она подло поступает с талантливыми и одержимыми людьми...

Как будто нас, алтайцев, не сорок с лишним тысяч, а по меньшей мере миллионов семь, чтобы в 1980 году,

в одно и то же время, оказаться несколькими алтайским писателям в столице нашего Союза, в Москве. Я и Аржан Адаров жили и работали в подмосковном доме творчества писателей им. К. А. Фёдина в Переделкине. Рядом в поселке Чоботы, сняв частную квартиру, жил в то время аспирант института Востоковедения Бронтой Бедюров. А Сазон Саймович Суразаков приехал читать курс лекций студентам Литературного института им. А. М. Горького и с другими научно-творческими целями. Правда, чаще всего он созванивался с Аржаном и они подолгу разговаривали. Иногда приглашал его и меня к себе, в московскую квартиру, находящуюся в районе Серебряного бора.

Достоверно помню и сегодня, как мы с Аржаном Адаровым 7 марта были у него в гостях. Сазон Саймович, как и прежде, был откровенным— много шутил, говорил о московских делах, многочисленных встречах в кругах научных, решаемых там проблемах. Мы со своей стороны его проинформировали, над чем там, в Переделкине, корпим и мучаемся, с кем общаемся, какие там живут и работают наиболее известные московские писатели. Услышав имя поэта и переводчика Якова Козловского, он сразу же заговорил о переводе на русский язык алтайского героического эпоса. Мол, надо с этим крупным мастером переводческого ремесла переговорить. Если речь коснется договора, то немедленно согласиться и заранее заручиться издательским контрактом. Дело нужное и актуально-необходимое. Художественный уровень алтайского эпоса, по его мнению, не уступает произведениям других народов нашей страны.

— Сазон Саймович,— в свою очередь деловито предложил Аржан Адаров,— тогда вы приезжайте к нам, в Переделкино.

— Вот это идея! — воскликнул ученый.— Обязательно приеду. А вы со своей стороны договоритесь о встрече с Козловским... Находясь в Москве, надо постараться делать что-то нужное для своей родины. Мы с вами, как принято говорить, совесть народа, его послы в столице!..

На том мы и расстались, не думая ни о каком близком горе и беде. Однако уже через два дня, а именно — 9 марта, утром, мне стало известно, что звонила Зоя Сергеевна Казагачева — жена Суразакова; сообщив, что Сазону Саймовичу стало очень плохо и что она просит нас скорее приехать.

Из Переделкино не всегда быстро можно добраться

в Москву, если нет под рукой своего транспорта. А как быть приезжему человеку «из-за тридевять земель»? Кто поймет твою горе и кто моментально, сию же минуту даст тебе машину?.. Хорошо, что в этот самый час в Москву собирался ехать Тимур Аркадьевич Гайдар — сын известного писателя Аркадия Гайдара. Он оказался добрым и отзывчивым человеком — взял Адарова и умчался в Москву. Мы же с Бронтоем уговорили водителя частной машины.

Когда прибыли на квартиру Суразаковых, там было много наших земляков — студенты московских вузов, живущие и работающие в столице алтайцы. Но Сазона Саймовича в доме не было. Его увезли в больницу.

В квартире тишина. Все говорим шепотом. У всех единственная дума — что будет, что скажут врачи?! А может быть, — есть же на свете чудо! — Сазон Саймович как-нибудь выкарабкается? Ведь он не слабый духом и характером человек! Кроме того, не дряхлый же старичок. Ему всего-то пятьдесят пять лет...

Нет, к великому нашему сожалению, как бы ни хотел каждый из нас чудес, оказывается, не бывает. И столь плодотворный и восхитительный полет Сазона Саймовича Суразакова внезапно прервался 10 марта 1980 года.

Что ж, заключая эти последние весьма горестные строки, мне остается добавить лишь оптимистическую бессмертную правду — полет и бег мыслей Сазона Саймовича продолжают и будут еще долго продолжаться, ибо с нами остались его живые мысли и поистине счастливые, подлинно научные находки и открытия...

Декабрь, 1989 г.

ПРИЧАСТНОСТЬ

(Об Александре Смердове)

С Александром Ивановичем Смердовым встречался я не так уж часто. Но в то же время с его поэзией был знаком со школьной скамьи. Как, впрочем, и с творчеством почти всех наиболее известных поэтов и прозаиков Сибири, имеющих ту или иную творческую причастность к алтайской литературе, в особенности, к ее богатейшему фольклору и поэзии.

Скажу больше, был какой-то особый культ писателей-новосибирцев в те давние годы, когда я только-только

начал прислушиваться к литературным событиям и перелистывать книги на русском языке. На устах литературной общественности в конце сороковых и начале пятидесятих годов постоянно звучали имена Афанасия Коптелова, Ильи Мухачева, Саввы Кожевникова, Глеба Пушкарева, Елизаветы Стюарт и, конечно же, Александра Смердова. Позже других я с изумлением для себя открыл поэта Ивана Ерошина и прозаика Владимира Зазубрина, написавших, каждый по-своему ярко и сильно, свои превосходные произведения, которые и по сей день не потеряли свежести поэтического мировосприятия, остроту и актуальность тематики.

Все они в двадцатые-тридцатые годы являлись как бы полпредами алтайской словесной культуры. С помощью их художественных переводов произведений алтайских писателей на русский язык, благодаря их предисловиям и послесловиям к отдельным изданиям, мы словно открывали ставни своих окон в светлый и многотрудный мир большой литературы. Потому-то наши начинающие литераторы, минуя такой большой город, скажем, как Барнаул, предпочитали литераторов-новосибирцев.

В этих заметках я попытаюсь рассказать о причастности Александра Ивановича Смердова к моей персоне и к моей не совсем гладкой литературной судьбе; о причастности к публикациям некоторых моих вещей на страницах журнала «Сибирские огни». Но все же... все же я как-то должен, наверное, высказать и свое отношение к его поэзии. И если я пройду мимо поэтических поисков самого Александра Смердова, то это по меньшей мере будет просто нечестно перед читающей публикой и почитателями таланта одного из известных поэтов современной Сибири.

Душа моя всегда открыта перед всеми ветрами времени. Может быть, я буду неправ, но скажу честно, что я лично не очень-то люблю лирику Александра Смердова начального периода его творческих шагов, в особенности его «геологоразведовательские» и «соцпреобразовательские» стихи о Сибири. Дело в том, что по моему пониманию природы стихотворчества — в них отсутствуют тайны поэзии. Правда, в ту пору почти все советские поэты первых и последующих пятилеток писали звонко, агитировали громко, покоряя таежные глухомани, дружно призывая всех как можно скорее и даже досрочно построить коммунизм! Такие призывы нет-нет, но слышались и сегодня, когда, казалось бы, совершенно ясно

и понятно, что всем нам и нашей стране еще так далеко до строительства того самого сказочного коммунизма, которого нам не видать, как своих собственных ушей!

Хотя я довольно критически отношусь к стихам Александра Смердова, но, не кривя душой, хочу вспомнить наше единственное совместное выступление перед читателями в Доме культуры Горно-Алтайска. Точно не помню, в каком это было году. Он тогда приехал к нам с женой Ниной Петровной. А на завтра мы, поэты Горного Алтая — Эркемен Палкин, Аржан Адаров и я, сопровождая своих гостей, супругов Смердовых, поехали вверх по красавице Катунь до курортного поселка Чемал. В наших горах в разгар и буйство лета стояли ясные, солнечно-голубые дни. Кажется, это был последний и прощальный приезд Александра Ивановича в Горный Алтай, давно и прочно любимый им.

Итак, мы на поэтическом вечере, организованном нами в честь известного сибирского поэта и члена правления Союза писателей СССР Александра Смердова. Выступать первым он, помнится, отказался и только после чтения, так сказать, «местных авторов», взял слово.

Выйдя на самый край сцены городского Дома культуры, держа в правой руке маленькую книжку стихов, изданную в популярной серии журнала «Огонек», принял-ся читать. Первым стихотворением, открывшим его встречу, было «Письмо с дороги».

...Не наживы, не славы ради,
Лишь бы славен, богат был край! —
Шли мы с компасом и тетрадью
В Забайкалье и на Алтай.

С молотком, с мастерком в котомке,
С картой рек и лесных дорог.
Пусть по ней подведут потомки
Нашей молодости итог.

После этих заключительных строк стихотворения в зале дружно и радостно раздались аплодисменты. Поддержанный слушателями, поэт читал теперь уже уверенно и вдохновенно, через небольшие паузы объявляя названия своих стихов: «Изыскатели», «Строитель», «Последний привал» и так далее.

И вдруг, к радости автора, кто-то из зала неожиданно и громко крикнул:

— Читайте, Александр Иванович, «Яблоко»!..

— «Яблоко»? — глядя в зал, стараясь отыскать или

угадать «заказчика» своего стихотворения, поэт на какое-то время замер, затем негромким голосом сказал: — Это стихотворение о любви — и садах вашего сурового края. Сейчас я его прочту, послушайте.

Начал как-то молодо и звонко. Когда он дошел до строчек:

А у нас, над голубым Алтаем,
По тайге морозов звонкий гуд.
Стежки соболей и горностаев,
Как цветы синеют на снегу.

Раздались там и тут шумные рукоплескания любителей поэзии, естественно прерывая порывистое чтение поэта. Он, видать, на какой-то миг растерялся и замолк. Придя в себя, в том же задорном духе, но хрипловатым голосом закончил:

... И когда, по праву торжествуя,
Мы пойдем по молодым садам,
Яблоко созревшее сорву я
И тебе, любимая, подам.

Вот оно, взлелеянное нами!
Полюби же родину мою,
Лес седой и звезды над горами,
Полюби, как я тебя люблю...

Надо признаться, что зал буквально взорвался аплодисментами. Старые и молодые мои земляки, приветствовали гостя-поэта стоя, благодарно улыбались, сияли их счастливые глаза.

После этой встречи я убедился, что лирику Александра Смердова многие знают и любят. Оказывается, не все читатели и слушатели о ней думают так, как, допустим, я, один из стиховорцев и младших его современников. Невольно мне хочется процитировать тут стихи другого поэта — Николая Глазкова:

Да здравствуют мои читатели,
Они умны и справедливы:
На словоблудье не растратили
Души прекрасные порывы...

И все же моему сердцу и душе ближе многих его стихов поэма Александра Ивановича «Пушкинские горы». В этом сложно-драматическом произведении автор предстает перед нами как поэт широко эпического размаха. Тут все строго и зримо. Нет того первоначального патриотического крика и ора! Читая эту его работу, всем

существом ощущаешь горячее дыхание человека-реалиста, живущего и сражающегося на нашей горестно-трагической земле.

О чем эта большая поэма? Ее герои освобождают для каждого из нас священные места — Пушкинские горы! Даже в самые тяжкие и смертельные минуты рядовые солдаты и офицеры не забывают о красоте человеческого духа, о национальной гордости русской земли, о ее гениальном сыне — Александре Сергеевиче Пушкине! Солдаты жаждут спасти не только пушкинские места, но и сберечь от гитлеровской нечисти и от поругания могилу великого поэта, которая находится в Святогорском монастыре.

«Нет, ни один над пушкинской могилой // не разорвется русский наш снаряд» — таков девиз и боевой клич освободителей, выраженный устами одного из бойцов-героев поэмы. Высокую честь и достоинства русской земли, великого русского слова наряду со всеми и во главе всех спасает, кстати, поэт Сергей Снежков — главный герой смердовского детища, человек живой и горячей крови, любящий Александра Сергеевича Пушкина. Тут мне хочется напомнить современным читателям о том, что свою поэму Александр Смердов посвятил двум поэтам-сибирякам — Георгию Суворову и Борису Богаткову. Это, конечно, не случайно. Ведь давно известно тем, кто хорошо знает творчество Александра Смердова, что прототипом-прообразом Сергея Снежкова является поэт Борис Богатков, совсем молодым погибший на войне, не выпустив при жизни ни одного своего стихотворного сборника.

Что касается автора «Пушкинских гор», то он не только создал талантливую и глубокую поэму о людях войны и о их святом долге, но и на долгие годы увековечил имена своих ровесников-поэтов, незабвенных Георгия Суворова и Бориса Богаткова...

...Почти все «старые» литераторы Новосибирска, и в том числе Смердов, увлекались устной поэзией народов родной им Сибири, интересовались их историей и этнографией, эстетикой. Это было не сиюминутное увлечение, а любовь долгая и неизменная.

Поэт Александр Смердов, например, от всего юного сердца полюбил эпические песни двух братских народов Западной Сибири — Горной Шории и моего Горного Алтая. Отдавая дань и уважение самобытному таланту

шорцев, он первой всех перевел на родной язык шедевр устной мудрости — замечательный эпос шорцев «Ай-Толай». Эта превосходная по поэтической образности шорская поэма, вторично и по-новому ожив на русском языке в самом начале сороковых годов, не один раз с тех пор переиздавалась отдельной книгой с очень хорошими иллюстрациями художника Э. Гороховского; кроме того, постоянно включалась в различные сборники поэта.

В связи с переводом «Ай-Толая» я сознательно и намеренно говорю о том, что эпос этот на русском языке ожил вторично и до сих пор продолжает свой, может быть, счастливый путь уже в русле русского стихотворного слова, ибо, к великому нашему сожалению, на шорском языке, то есть на языке оригинала, он давно уже умер и покрыт серой пылью печали и забвения.

«Как, почему?!» — могут спросить у меня некоторые малоосведомленные люди о горестной судьбе шорцев. Дело в том, что в связи с открытием богатейших угольных залежей в Кемеровской области, точнее, в нынешнем Кузбассе, исконной и родовой земле шорцев и телеутов-баятов, постепенно уничтожались их традиционно-национальные культуры, уклад жизни с древнейших времен, напрочь исчезает и забывается устное народное творчество. Ведь молодое поколение, как это ни горько и ни стыдно всем нам, советским людям вместе взятым и нашему строю, — не знает свои родные языки! Кроме того, у этих народностей давно зачахла письменная грамота, появившаяся в начале и на заре советской власти. Богатством родной земли и безжалостностью властей, можно сказать, убиты язык и культура древних жителей этого региона! Честное слово, трудно сказать и предугадать, что когда-нибудь в полную мощь и громко зазвучат родные языки шорцев, баятов, телеутов и других малочисленных народов и народностей, ныне влачащих горькую долю на разных широтах «Союза нерушимых республик свободных». Едва ли когда-нибудь оставшиеся живыми предки тех же древних шорцев создадут новую эпическую поэму, по образности языка, поэтичности окружающего мироощущения подобную «Ай-Толаю» — о борьбе богатырей против своих поработителей и эксплуататоров. И «Ай-Толай» может оказаться единственной, наиболее большой по общему объему и поэтической яркости художественной вещью, созданной гением малочисленного шорского народа и удачно переведенной на русский язык поэтом Александром Смердовым.

Поэтическими переводами Смердов причастен и к алтайскому героическому эпосу. Например, в 1947 году наше национальное издательство с предисловием и под редакцией А. Коптелова на русском языке выпустило большой сборник алтайских сказаний под названием «Малчи-Мерген». В него вошли пять лучших и известных в народе произведений устного творчества. Все они были переведены, как тогда повелось, новосибирцами. А «Малчи-Мергена», давшего название всему сборнику, на русский язык перевел Александр Смердов.

— Я ныне не совсем доволен своим переводом «Малчи-Мергена», — как-то сказал мне Александр Иванович, когда я затеял разговор вообще о переводческом ремесле и, в частности, алтайского героического эпоса. Я хорошо знаю, что в оригинале все алтайские эпические песни о могуществе богатырей сложены ритмическими белыми стихами. В свое время «Малчи-Мергена» я перевел примерно так, стараясь быть как можно ближе к первооснове...

— А вот Александр Плитченко, ваш младший собрат по перу, переведя наш лучший эпос «Маадай-Кара», смело пошел по новому пути...

— Вот-вот, — подхватил сразу же Александр Иванович, — я знаю это и печатал его перевод в «Сибирских огнях». Саша перевел алтайский эпос рифмованным русским стихом. И, наверно, поступил правильно. Вот послушай начальные строки песни о богатыре Маадай-Каре. Как это хорошо и близко звучит для русского слуха. — И по памяти прочел две начальные строки с парными рифмами: «Горит лицо богатыря, // как величаявая заря».

— И вам, я думаю, не поздно вернуться к переводу нашего эпоса, положим, к тому же «Малчи-Мергену»?..

— Не те годы и не те силы, — печально сказал поэт и тут же, как бы поправляя сам себя, добавил: — Вообще-то можно... и даже нужно!

В ту нашу встречу я поделился с Александром Ивановичем предложением о том, что наши сказания в тридцатые-сороковые годы переведены, честно говоря, вяло и многословно. Надо бы их перевести заново, привлекая силы и таланты современных поэтов, а для оформления — хороших художников и переиздать. Ведь наш эпос по своим идейно-художественным и поэтическим достоинствам ничуть не уступает, скажем, бурятскому «Гэсеру» или калмыцкому «Джангару».

— Замах, прямо скажем, похвальный,— улыбнулся Александр Иванович,— но где и кто такие переводы будет издавать? Ты сам должен знать, что ныне не то что эпические песни народного творчества, даже острейшие поэмы на современные темы не в почете! Видать, не время больших и сюжетных поэм...

— Понимаю,— согласился я,— и все же вам искренне спасибо, ведь единственный из всех нынешних журналов лишь «Сибирские огни» берется печатать большие эпические поэмы устного творчества народов Сибири...

— Конечно, побольше бы печатать эти народные шедевры,— сказал он задумчиво,— но портфели редакции переполнены произведениями современных прозаиков и поэтов, а эпос... эпос уж больно много съедает журнальных страниц, когда к нему относишься с пониманием и ласково...

Будучи в свое время главным редактором «Сибирских огней», мне кажется, никогда он не был чиновником от литературы, умея оставаться участливым и доброжелательным человеком по отношению к литературным судьбам авторов своего журнала. Это я могу доказать конкретными примерами.

В 1969 году в четвертой, апрельской книге «Сибирских огней» была напечатана моя поэма «Коновязи» в переводе живущего и работавшего тогда в Новосибирске поэта, Ильи Фоныкова. Для меня это было большим событием, поскольку произведениям писателей Горного Алтая «толстые» журналы уделяли мало внимания... Поэтому-то, видимо, наша областная библиотека решила провести читательскую конференцию по свежим следам этой моей публикации. Я тоже потихонечку готовился к предстоящему разговору. Ведь такое в моей жизни затевалось впервые. «Разговор может выйти за пределы одной этой вещи,— думалось мне.— Люди могут говорить и о других моих публикациях на алтайском и русском языках, а может, речь пойдет и об общем состоянии и развитии алтайской литературы». Одного лишь не предполагал, что некоторые мои товарищи в «Коновязях» найдут какие-то крамолы, противоречащие канонам и идеям новой эры, то есть строительству социализма.

Через торчащие и скрипящие в урочищах Алтая старые и одинокие коновязи задумал я показать различные судьбы и характеры тех, кто их когда-то возводил. Ведь возле них жили люди, целые семьи и даже династии. Где они теперь, что осталось от них нашему времени

и новым поколениям, как сложились судьбы прежних и забытых хозяев?

В первой главе о коновязи, что стоит в урочищах Аtpазар, я описываю, например, былую жизнь и жестокий характер «кровавого бая Карыма». Он здесь, в благодатной долине Аtpазар, угнетал и издевался над бедняками-сородичами. К коновязям, поставленным рядом с белой кошмяной юртой, бай привязывал провинившихся батраков и «весь черный от злобы» избивал их до смерти. А сын этого самого злого бая при советской власти стал коммунистом и погибает на войне. А его сын, то есть внук «кровавого Карыма», Карымов Саду, ровесник лирического героя поэмы...

А вечер я провел под кровом дома,
Под шелест яблонь за окном, в саду,
В гостях у коммуниста, агронома —
Товарища Карымова Саду.

В следующей главе повествуется о совершенно противоположных людских судьбах. В Крышкане находится другая коновязь. Ее поставили предки старика Кылыша — партизана гражданской войны в смутные годы революции. Коновязь эта нашему поколению рассказывает и напоминает «про бесчестье и про честь». Если седой дед Кылыш сражался за советскую власть и строил ее, то его сын Байрыш, наоборот, становится дезертиром, бежит с поля боя и возвращается в тихие, мирные горы родного Алтая. Его ищет милиция. В суровые годы войны, в один из обычных и голодных дней, вдруг по улице деревни Кайру пронеслась ошеломляющая и позорящая всех весть: «Байрыша, Байрыша поймали! Сына партизана Кылыша поймали!..»

Читательская конференция состоялась не сразу же по выходу поэмы. Она, помнится, прошла в середине июня. В единственном и небольшом читальном зале тогдашней областной библиотеки собралось довольно много людей. Первым взял слово Борис Николаевич Попов — старый работник культуры автономной области, один из ведущих литературных деятелей тогдашнего Горного Алтая. Он встал во весь свой высокий рост, с высоты своего уверенного авторитета молча оглядел зал, несколько раз длинными пальцами прошелся по седым волосам и, как говорится, сразу же взял быка за рога:

— Теория-то не нашенская, нгы?! — повысил он свой густой голос и опять надолго замолк, глядя и изучая

реакцию зала,— куда зовет, что пропагандирует молодой поэт, нгы?.. Он пытается пропагандировать антимарксистскую теорию наследственности. Это, надо сказать, очень опасно и вредно! Видите — как получается: один из персонажей поэмы,— б а й К а р ы м,— Б. У.— унаследовал от своих предков-предшественников голубую кровь, нгы... Выходит, именно так: в жилах у Карымовых течет кровь высшего класса и другой породы. Не так ли? Я, например, понимаю так, нгы... При Саше Фадееве (он, Борис Попов, взявший литературный псевдоним Каирский, сам распространял слух, будто бы близко был знаком, еще с дальневосточной юности с А. А. Фадеевым,— Б. У.), прежде всего общественно-политический, потом лишь литературно-художественный журнал «Сибирские огни» ни за что бы не допустил такое, нгы... Это минус журналу, нгы... Не надо было печатать такую вещь...

Попов-Каирский не успел сесть, а с места уже поднялся Александр Михайлович Демченко, живой в то время «классик» русской литературы в Горном Алтае, романист, рассказчик, радиоочеркист, радиодраматург, поскольку работая на радио все свои сочинения «публиковал» в радиоэфире области. Но самое главное — он был членом Союза писателей СССР.

— Я согласен с Борисом Николаевичем,— сказал А. Демченко,— и полностью поддерживаю его позицию. Начинаящий стихотворец решил с нами, советскими людьми, сыграть злую шутку. А как и какими ядовитыми красками показывает он бывшего байского батрака, ныне уважаемого в селе нашего партизана Кылыша? — И тут А. Демченко берет журнал и быстро находит нужные ему строчки: — «Ну как, верим сыну Кылыша? — Раздался жестокий смешок». — Послушайте дальше,— просит тишины Демченко,— цитирую: «Будут сына Кылыша все проклинать, //недобрым словом его помянуть...» Тут все налицо,—заключает член Союза писателей СССР,— автор хочет внушить людям, что дети батраков рождаются трусливыми и навеки обречены быть батраками. И последнее: почему Укачин не показал, например, беглецом и трусом сына того же «кровавого Карыма»?

— У автора этих «Коновязей», Александр Михайлович, нгы, пойми, пожалуйста, другая теория и другой взгляд на общественную жизнь, нгы,— почему-то подмигнул одним глазом Борис Николаевич. Дальше пошло и поехало. Кто-то не понимал смысл строк: «Сын ли ты прекрасного Алтая //или только века своего?..» Иные

реакцию зала,— куда зовет, что пропагандирует молодой поэт, нгы?.. Он пытается пропагандировать антимарксистскую теорию наследственности. Это, надо сказать, очень опасно и вредно! Видите — как получается: один из персонажей поэмы,— ба й Карым,— Б. У.— унаследовал от своих предков-предшественников голубую кровь, нгы... Выходит, именно так: в жилах у Карымовых течет кровь высшего класса и другой породы. Не так ли? Я, например, понимаю так, нгы... При Саше Фадееве (он, Борис Попов, взявший литературный псевдоним Каирский, сам распространял слух, будто бы близко был знаком, еще с дальневосточной юности с А. А. Фадеевым,— Б. У.), прежде всего общественно-политический, потом лишь литературно-художественный журнал «Сибирские огни» ни за что бы не допустил такое, нгы... Это минус журналу, нгы... Не надо было печатать такую вещь...

Попов-Каирский не успел сесть, а с места уже поднялся Александр Михайлович Демченко, живой в то время «классик» русской литературы в Горном Алтае, романист, рассказчик, радиоочеркист, радиодраматург, поскольку работая на радио все свои сочинения «публиковал» в радиоэфире области. Но самое главное — он был членом Союза писателей СССР.

— Я согласен с Борисом Николаевичем,— сказал А. Демченко,— и полностью поддерживаю его позицию. Начинаящий стихотворец решил с нами, советскими людьми, сыграть злую шутку. А как и какими ядовитыми красками показывает он бывшего байского батрака, ныне уважаемого в селе нашего партизана Кылыша? — И тут А. Демченко берет журнал и быстро находит нужные ему строчки: — «Ну как, верим сыну Кылыша? — Раздался жестокий смешок». — Послушайте дальше,— просит тишины Демченко,— цитирую: «Будут сына Кылыша все проклинать, //недобрым словом его поминать...» Тут все налицо,—заключает член Союза писателей СССР,— автор хочет внушить людям, что дети батраков рождаются трусливыми и навеки обречены быть батраками. И последнее: почему Укачин не показал, например, беглецом и трусом сына того же «кровавого Карыма»?

— У автора этих «Коновязей», Александр Михайлович, нгы, пойми, пожалуйста, другая теория и другой взгляд на общественную жизнь, нгы,— почему-то подмигнул одним глазом Борис Николаевич. Дальше пошло и поехало. Кто-то не понимал смысл строк: «Сын ли ты прекрасного Алтая //или только века своего?..» Иные

участники конференции не верили, что Саду, внук Карыма; не знали, чья была коновязь, находящаяся в урочище Аtpазар.

...На этом мои «ведущие оппоненты» не успокоились. Мое «дело» назавтра же перешагнуло высокие пороги некоторых кабинетов Горно-Алтайского обкома КПСС. Туда потребовали наличие всех номеров «Сибирских огней» с моей «опасной» поэмой. Хотя под голубым небом Горного Алтая стоял уже месяц большой жары — июль, а над моей бедной головой собирались черные тучи: предполагалось второе обсуждение злополучной поэмы. На этот раз в обкоме партии, узким кругом и при закрытых дверях...

Неожиданно все обошлось. Черная гроза не загроме-ла. В те самые для меня мрачные дни вдруг по каким-то делам, а может быть, просто отдохнуть и поездить по горам, приехал к нам Александр Иванович Смердов. Я с ним лично не встретился тогда. Но мне чуть позже доверительно рассказал сам Альберт Иртанович Мундусов, работавший в то время инструктором обкома партии по делам печати, как в кабинете идеологического секретаря Горно-Алтайского обкома партии Ольги Ивановны Тартыковой между другими разговорами об алтайской литературе словно нечаянно спросили у гостя:

— А как вы, Александр Иванович, относитесь к новой поэме Бориса Укачина «Коновязи»?

Смердов не знал предысторию, связанную с публикацией поэмы, поэтому, не вникая в суть вопроса, просто и с легкой шуткой ответил:

— Если бы я относился плохо, не печатал бы ее в журнале, главным редактором которого являюсь...

Своим по-человечески простым и однозначным ответом он спас меня от каких-то нелепых для автора ярлыков и лишних нервовтрепок.

Ведь слово приехавших из культурных центров людей всегда принимается и оценивается высоко. Провинция есть провинция. Она на все смотрит со своей колокольни. Например, какими критериями оценивались литература и ее представители?.. Периферия на литературный талант смотрит исключительно по-своему. «Своих» ни во что не ставят. Привыкли шельмовать. Они всегда были и остаются «местными». Если, допустим, поэт приехал в Горно-Алтайск из Барнаула, то подход к нему уже иной. Вот это да. Это поэт! Все же он прибыл к нам из краевого центра, из самого Барнаула! Появится какой-

нибудь литератор из Новосибирска, значит он по шкале провинциальных «вождей» непременно выше, талантливее, чем вчерашний барнаулец. Какой-нибудь стихотворец, допустим, представится, что он из Москвы, тогда в этом случае подходящих слов не найдешь! Пойдут сплошные «ахи» и «охи»! Как же, поэт-то из самой Москвы, не чета нашим. Его надо хорошо встречать! Перед ним едва ли шапки свои не снимают.

Вот по каким признакам оценивались уровень и масштабы литературных талантов. А вы думаете тогда, в июле 1969 года, руководители нашей автономной области прислушивались к голосу А.И. Смердова, высоко оценивая его талант и понимая его творчество?.. Сомневаюсь. Им важно было то, что гость был из Новосибирска, к тому же являлся главным, а не рядовым редактором известного журнала. Не талант и личность для периферии, а должность и только должность...

Словом, в тот раз поэт Александр Смердов отвел от меня коварный удар моих недоброжелателей и чрезмерно политически осторожных людей.

А теперь еще один, на мой взгляд, интересный случай, характеризующий Смердова опять же как главного редактора «Сибирских огней».

Мою повесть «Горные духи» на русский язык перевела Марина Назаренко и она же предложила ее к публикации, предварительно согласовав со мной, в «Сибирские огни». Журнал принял мою одну из первых попыток в жанре прозы и прислал мне редакционный договор для подписи. За авторский лист редакция мне обязывалась заплатить... не больше и не меньше, а ровно по сто рублей. Повесть была около семи авторских листов. Над ней я долго работал и мучился. Издав первый вариант на родном языке, через несколько лет надумал ее заново переписать. Завершив эту работу и убедившись, что она окончательная, засел за подстрочный перевод ее на русский язык. Работал, как всегда, упорно, проводя дни и ночи за письменным столом. Особенно трудно было найти мне на русском языке адекватные термины и слова сугубо бытового характера, встречающиеся в каждом предложении, в каждом абзаце и на каждой странице в оригинале текста. А как по-русски называется та или иная кость, многообразные суставы животных. Как передать красоту звучания и мудрость различных пословиц и поговорок, рассыпанных по всей повести?.. Работа адская и кроме меня, автора, ее никто другой не сделает.

Во-первых, нет или очень мало таких людей у нас, которые бы доброжелательно взялись за подстрочники чужих произведений, во-вторых, я никогда не удовлетворюсь, когда это сделает другой человек. Проще сказать, посторонним лицам я не доверяю... Умри, но сделай сам!

...Подписать-то договор я подписал, однако, перед тем, как отправить его обратно в редакцию, пришла ко мне озорная мысль: «А не написать ли письмо главному редактору и заведующему отдела прозы?» Заведовал отделом прозы в то время Александр Плитченко — переводчик многих моих стихов и поэм.

Вот я двум Александрам Ивановичам — Смердову и Плитченко и написал письмо и вместе с договором отправил в Новосибирск. Написал же в шутовском тоне, поведав о том, что недавно Горно-Алтайское издательство выпустило первый сборник стихов поэта-цыгана Ивана Романо «Прощай, мой табор». Автор этой книжицы думал, что получит много денег. Наконец-то, получив за сборник свой мизерный гонорар, как говорится в народе, всей своей шкурой понял, что на такие деньги не то что семью содержать, а и себя одного не прокормишь. Он, горькими слезами плача, прося прощения у баро, отца и матери, немедленно вернулся в родной и привычный с детства табор. А когда ему простили, говорят, поэт крикнул вдохновенно: «Да здравствует мой табор!»

Ныне он со всей большой семьей от самого Кош-Агача, точнее, от Монгольской далекой границы до самого Бийского мясокомбината, занимается перегоном скота. Есть достоверное сведение, что бывший поэт в качестве перегонщика скота немало зарабатывает и очень доволен, ибо по горло каждый день сыт сам, сыты дети и любимая жена...

Как вы думаете, дорогие и уважаемые Александры Ивановичи, как бывшему колхозному табунщику не уехать ли и мне в родной Каярлык?.. Полагаю, что стихи можно писать, работая табунщиком и сидя в седле, но прозу... прозу не напишешь, конечно. Для прозы необходим стол, да еще, как якобы сказал сам Лев Николаевич Толстой, необходимо иметь тяжелый зад... Вы сами понимаете, ведь неудобно же постоянно таскать перед собой громоздкий стол, сидя верхом в седле. А той суммой, которую вы намерены мне платить по договору, если признаться чистосердечно, то, — ей богу, — никак мне не прокормиться...

Через неделю-другую получаю бандероль из того же

Новосибирска. Распечатав ее, нахожу другой договор с круглой печатью и подписанный самим А.И.Смердовым. Он, оказывается, повысил мне гонорар на пятьдесят рублей. Стало быть, по новому договору за авторский лист своей прозы я получу не сто, а сто пятьдесят рублей. Вероятно, столько же получит и переводчица...

Факт этот достоверный. Свидетелем тому поэт Александр Плитченко, здравствующий и работающий поныне все в том же Новосибирске. Между прочим, по поводу моего письма и того второго договора Александр Плитченко говорил еще в те дни следующее: «До этого мы за переводную художественную прозу всем национальным авторам без исключения платили по сто рублей. И никаких гвоздей! Ты первым сумел повлиять на нас и поднять давно устоявшуюся гонорарную расценку, — потом, улыбнувшись, добавил: — Так что все национальные писатели должны быть тебе благодарными — теперь они будут получать по сто пятьдесят рублей...

...Эти воспоминания писались не сразу, а урывками. Работая над ними, я постоянно думал об Александре Ивановиче Смердове. Не раз и не два, а много-много раз перелистывал страницы дней и годов. В моих мысленных «возвращениях» образ этого доброго человека возникал предо мной, как бы воочию живым и в полный рост. И все же, хотя я вижу его движения, слышу его голос, но на бумаге, к сожалению, образ как бы ускользает и расплывается. Возможно, поэтому он даже стал мне сниться. Вот и опять явился ко мне. Такой же коренастый и быстрый. Что-то требует и просит. Во сне я слышу живой голос поэта:

— Ты когда отдашь мне свой долг?

— Какой долг? О чем вы говорите?

— А ты разве забыл, что я причастен к твоей судьбе? Ты же обещал мне роман...

— Ах, рома-ан!..

Да, действительно, между нами был такой разговор. Я говорил А.И. Смердову о своей мечте написать большой роман для «Сибирских огней»? Моя сокровенная мечта до сих пор не сбылась. У меня нет ни одного романа, нет и пьесы...

Долг, как известно, платежом красен. Может быть, мне приложить все оставшиеся силы и в конце-то концов, написать роман для «Сибирских огней». Ведь в этом старейшем сибирском журнале почти все его сотрудники и главные редакторы так или иначе причастны к моей не

совсем удачной человеческой и литературной судьбе.
И причастность продолжалась бы, крепла, как добрая
память об Александре Ивановиче Смердове.

Март, 1991 г.

ПОСЕЩЕНИЕ

К зырянам Тютчев не придет.
А. Фет

В юрту дедовскую ко мне
В гости пришли Тютчев и Фет —
И сидели со мной при огне,
Покуда не наступил рассвет.

Не отвергали мой скромный очаг —
Пламя его согревало их.
Камча, кресало, седло, чепрак —
Все интересовало их.

Старый, в кургане найденный меч
Медленно по рукам ходил.
Орнамент, яркий, как мудрая речь,
Гостей в восхищение приводил.

— А кто же, скажи, алтаец, твой Бог?—
Спросил меня Афанасий Фет.—
Кому ты молишься?

Я как мог
И как сумел, объяснил в ответ:

— Предки молились рекам, горам,
Большим деревьям, большому огню.
Для них вся природа была как храм,
И я к ней тоже любовь храню.

— Прекрасно,— Тютчев промолвил, тих,
Соседу ладонь положив на ладонь.—
Живая природа — вот Бог живых,
Начало же всех начал — огонь!

Промолвил — и улыбнулся вдруг:
— Не чудо ли происходит сейчас?

Алтаец нас принимает как друг,
Зыряне и чукчи знают о нас!

— Да, этого я предвидеть не мог,—
Сказал, смутясь, Афанасий Фет.—
Прости меня, время: я не пророк,
Я всего лишь только поэт!

Над очагом поднимался дым,
Звезды заглядывали в дымоход.
Был, видать, интересен им
Беседы столь необычный ход.

Начали туч розоветь края
За приоткрытой дверью, вдали.
Задумавшись, не заметил я,
Как неслышно гости ушли.

Когда я очнулся, в дымке дневной
Горные голубели верхи.
Лежала бумага предо мной,
А на бумаге — вот эти стихи...

(Перевод И. Фонякова)

*Людей на свете — без числа, без счета!
А иногда покажется: всего-то
Четыре человека под Луной—
Дурак и Умный,
Трезвый и Хмельной.*

Перевод И. Фонякова

4

**ТАВРО.
ИЛИ
ШТРИХИ
БИОГРАФИИ**

ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ

Случайно встретившись на одной из улиц Горно-Алтайска с Леонидом Васильевичем Чекушевым, бывшим председателем нашего бывшего колхоза «Яны ел», что по-русски означает «Новая дорога», я невольно вспомнил о своем первом в жизни рассказе, который был опубликован в областной газете «Алтайдын Чолмоны», где-то в середине пятидесятих годов, когда я учился в седьмом или восьмом классе областной национальной средней школы. И раньше бывало, где бы я ни увидел и ни встретился с этим человеком, всегда вспоминаю о том курьезе — о своем первом рассказе «Байрам», то есть «Праздник».

Леониду Васильевичу Чекушеву ныне более семидесяти лет. Но выглядит он, надо сказать, молодцом. Небольшие острые глаза. Моржевые усы, прямой нос. Тонкое, темно-коричневое лицо. Голос прежний — негромкий, хрипловато-спокойный:

— Приехал проведать дочку,— говорит он,— посмотреть на внучку и внука.

Дочь Леонида Васильевича — Любава — ныне журналист. Работает в областном радиокомитете...

— Живем хорошо,— продолжает Леонид Васильевич.— Каярлык, воспетый тобой, стоит на прежнем месте. Мычат коровы, как сто лет тому назад. Ржут кони, дымят, как и прежде, островерхие айлы-юрты...

Каярлык — это наше родное село. В годы войны и послевоенные годы был там знаменитый, и по нынешним меркам, можно сказать, колхоз «Яны ел». В те далекие времена колхоз возглавляла Елена Ивановна Упаева, депутат Верховного Совета СССР, одна из самых известных и уважаемых женщин Горного Алтая.

Тогда наш колхоз ежегодно на войну отправлял много хороших коней, сдавал государству много молока, мяса, шерсти и, хотя мало, но хлеб тоже сдавал, как говорится, подчистую. Был у нас даже свой сырзавод, были и свои отменные мастера-сыроделы. А теперь, насколько мне

известно, Каярлык и каярлыкцы не продают государству ни молока, ни хлеба, и сыров, разумеется, не производят. Там нынче другая жизнь, и мера жизненных ценностей другая. Словом, в каярлыкской долине давно нет передового колхоза «Яны ел». С середины пятидесятых годов он стал фермой новообразованного совхоза. Ну да речь не об этом...

Через какое-то время после войны председателем нашего колхоза стал Леонид Васильевич Чекушев. Так вот, мой злополучный первый рассказ, так или иначе, был связан с именем Леонида Васильевича, более того, задевал его моей, в то время, бездумностью и курьезностью, что ли...

Я тогда, видимо, накрепко усвоил для себя, что рассказ — это, значит, выдумка автора, то есть его вольное воображение. А очерк — достоверный факт жизни. И вот я перед Новым годом написал рассказ «Байрам». Он появился в новогоднем праздничном номере газеты. В этом своем «произведении» я не изменил имена земляков. Так и было напечатано, как говорится, черным по белому: Леонид Васильевич Чекушев, комсорг Кучабай Тужумеев, знаменитый пастух Тогочоев Амыр...

Действительно, тогда в Каярлыке жил и работал пастухом колхозных бычков дед Амыр. Судьба его весьма интересная. Нет, я лучше вкратце поведаю сюжет своего рассказа.

Вот в каярлыкской долине, мол, живет знаменитый человек — Тогочоев Амыр. Он — первый стахановец. В тридцатые годы ездил как передовик колхозного производства, опять же первым из жителей Каярлыка, в Москву, на Всесоюзную выставку. За то, что он первый стахановец, колхоз ему, деду Амыру Тогочоеву, построил и подарил дом-пятистенок. А когда над горами Алтая начал летать для проведения агитационной работы первый самолет, как тогда его называли «Сибревком», первым из Каярлыка сел в него наш знаменитый Амыр Тогочоев и взмыл высоко и далеко в небо, чтобы, благополучно возвратившись оттуда на родную землю, объявить, что там, на дне семислойного неба, нет никакого бога. Богом и кормильцем нам стал колхоз. Потому-то его люди нарекли не иначе, как «Яны ел» — «Новая дорога»...

Да, действительно, в жизни было именно так. О реальной и небывалой одиссее нашего деда Амыра Тогочоева знали все жители не только Каярлыка, но и соседних сел

и деревень. Об этом интересном человеке помнят и поныне в каярлыкской долине, ибо свидетели до сих пор живы. Кроме того, как известно, человеческий род продолжается не только рождением новых людей, но и памятью, передаваемой из поколения в поколение. Там же в Каярлыке живет единственный сын дедушки Амыра — Янарчи Тогочоев, фронтовик-орденоносец. У него много детей. А у детей Янарчи еще больше детей. Так что, считайте, дед Амыр не совсем умер, не бесследно ушел в мир иной. Корни его остались на той же родной и древней земле в каярлыкской долине. Крепкие корни! Во внуках и правнуках и в других его земляках осталась живая память о первом стахановце и первом богоотрицателе Амыре Тогочоеве.

Главным героем моего первого рассказа, — наверное, читатель уже догадался, и стал дед Амыр. Я не то что не изменил его фамилии, но даже очень старался рассказать все, что знал о нем...

И вот перед новогодним торжественным собранием колхозников председатель Леонид Васильевич Чекушев на зимнюю стоянку деда Амыра, в урочище Голубай, отправляет комсорга Кучабая Тужумеева, чтобы он стахановца посадил в легкие сани-кошевку и лихо доставил сюда, на праздник. (Это была моя выдумка).

Кучабай (тогда он на самом деле работал секретарем колхозной комсомольской организации), разумеется, выполнил поручение председателя. И вот в клубе идет (тогда в нашем колхозе не было клуба) торжественное собрание в честь новогоднего праздника. Леонид Васильевич Чекушев делает доклад о том, какими большими успехами колхозники «Яны ел» встречают Новый год. Он называет имена и фамилии передовиков. (В моем рассказе точные имена людей из этого села.) Вручает многим ценные подарки и почетные грамоты и т. д. А дедушке Амыру Тогочоеву под громкие аплодисменты земляков-колхозников Леонид Васильевич якобы торжественно вручает золотые часы. Заметьте, часы не простые, а золотые. Ведь в те времена большой редкостью были даже простые часы. Их носили, может быть, только руководители районного масштаба, изредка кое-кто из учителей местной школы. Даже у самого Чекушева, наверное, тогда не имелось часов.

С таким, примерно, содержанием-выдумкой появился мой первый рассказ «Байрам». И вдруг через какое-то время меня, ученика областной национальной средней

школы, живущего в ее интернате, приглашают явиться в редакцию газеты «Алтайдын Чолмоны». Об этом меня известил сам директор школы Василий Константинович Плакас.

— Я тебя отпускаю со своего урока, иди в редакцию. Там узнаешь, почему ты им понадобился.

Тогда мои стихотворные опусы изредка печатались на страницах этой единственной областной газеты, и я считался уже «школьным поэтом». Поэтому ничуть не смущаясь, как поэт, явился в редакцию. Даже не подозревая, почему и по какому поводу пригласили меня. И вот, когда я перешагнул знакомый уже порог редакции, кто-то из сотрудников, взглянув на меня, косо улыбнувшись, сказал:

— Ты написал рассказ-вранье «Байрам»?.. Зайди к Самому,— и длинным и острым, как указка, что в руке нашего географа, пальцем показал на дверь редакторского кабинета.

Конечно, я испугался и покраснел. Даже не успел узнать, почему мой рассказ стал, по его словам, «враньем». Но сотрудник открыл дверь и легонько подтолкнул меня в спину, чтобы скорее я исчез с его глаз...

— Почему ты редакцию областной партийной газеты решил обмануть и обвести вокруг своего пальца?! — Едва только я вошел, строго посмотрел на меня человек-Сам своими серовато-стальными глазами. Он был в темно-синем кителе с глухим воротом. Сидел неподвижно и строго.— Еще называешься комсомольцем, а! Где ты нашел эти самые золотые часы, а?

Я, как тонюсенький прутик, растущий посредине горной речки, трясусь. Не могу вымолвить ни одного путного слова. Тем временем Сам продолжает:

— Я еще раз четко спрашиваю тебя, где ты нашел и преподнес нам эти самые золотые часы, а?

— Я никаких золотых часов не нашел,— тихо шевелю губами.

— А почему тогда врешь?.. Почему пишешь в газету и морочишь голову людям?..

Молчу и потею. Деться некуда. Хоть провались сквозь вот эти проклятые и скрипучие половицы редакторского жаркого кабинета.

— Колхозники из Каярлыка пишут нам, что Амыру Тогочоеву никаких золотых часов никто не вручал. Вот посмотри сам, сколько мы получили писем по поводу твоего, так сказать, рассказа,— строжится редактор и не

и деревень. Об этом интересном человеке помнят и поныне в каярлыкской долине, ибо свидетели до сих пор живы. Кроме того, как известно, человеческий род продолжается не только рождением новых людей, но и памятью, передаваемой из поколения в поколение. Там же в Каярлыке живет единственный сын дедушки Амыра — Янарчи Тогочоев, фронтовик-орденоносец. У него много детей. А у детей Янарчи еще больше детей. Так что, считайте, дед Амыр не совсем умер, не бесследно ушел в мир иной. Корни его остались на той же родной и древней земле в каярлыкской долине. Крепкие корни! Во внуках и правнуках и в других его земляках осталась живая память о первом стахановце и первом богоотрицателе Амыре Тогочоеве.

Главным героем моего первого рассказа, — наверное, читатель уже догадался, и стал дед Амыр. Я не то что не изменил его фамилии, но даже очень старался рассказать все, что знал о нем...

И вот перед новогодним торжественным собранием колхозников председатель Леонид Васильевич Чекушев на зимнюю стоянку деда Амыра, в урочище Толубай, отправляет комсорга Кучабая Тужумеева, чтобы он стахановца посадил в легкие сани-кошечку и лихо доставил сюда, на праздник. (Это была моя выдумка).

Кучабай (тогда он на самом деле работал секретарем колхозной комсомольской организации), разумеется, выполнил поручение председателя. И вот в клубе идет (тогда в нашем колхозе не было клуба) торжественное собрание в честь новогоднего праздника. Леонид Васильевич Чекушев делает доклад о том, какими большими успехами колхозники «Яны ел» встречают Новый год. Он называет имена и фамилии передовиков. (В моем рассказе точные имена людей из этого села.) Вручает многим ценные подарки и почетные грамоты и т. д. А дедушке Амыру Тогочоеву под громкие аплодисменты земляков-колхозников Леонид Васильевич якобы торжественно вручает золотые часы. Заметьте, часы не простые, а золотые. Ведь в те времена большой редкостью были даже простые часы. Их носили, может быть, только руководители районного масштаба, изредка кое-кто из учителей местной школы. Даже у самого Чекушева, наверное, тогда не имелось часов.

С таким, примерно, содержанием-выдумкой появился мой первый рассказ «Байрам». И вдруг через какое-то время меня, ученика областной национальной средней

школы, живущего в ее интернате, приглашают явиться в редакцию газеты «Алтайдын Чолмоны». Об этом меня известил сам директор школы Василий Константинович Плакас.

— Я тебя отпускаю со своего урока, иди в редакцию. Там узнаешь, почему ты им понадобился.

Тогда мои стихотворные опусы изредка печатались на страницах этой единственной областной газеты, и я считался уже «школьным поэтом». Поэтому ничуть не смущаясь, как поэт, явился в редакцию. Даже не подозревая, почему и по какому поводу пригласили меня. И вот, когда я перешагнул знакомый уже порог редакции, кто-то из сотрудников, взглянув на меня, косо улыбнувшись, сказал:

— Ты написал рассказ-вранье «Байрам»?.. Зайди к Самому, — и длинным и острым, как указка, что в руке нашего географа, пальцем показал на дверь редакторского кабинета.

Конечно, я испугался и покраснел. Даже не успел узнать, почему мой рассказ стал, по его словам, «враньем». Но сотрудник открыл дверь и легонько подтолкнул меня в спину, чтобы скорее я исчез с его глаз...

— Почему ты редакцию областной партийной газеты решил обмануть и обвести вокруг своего пальца?! — Едва только я вошел, строго посмотрел на меня человек-Сам своими серовато-стальными глазами. Он был в темно-синем кителе с глухим воротом. Сидел неподвижно и строго. — Еще называешься комсомольцем, а! Где ты нашел эти самые золотые часы, а?

Я, как тонюсенький прутик, растущий посредине горной речки, трясусь. Не могу вымолвить ни одного путного слова. Тем временем Сам продолжает:

— Я еще раз четко спрашиваю тебя, где ты нашел и преподнес нам эти самые золотые часы, а?

— Я никаких золотых часов не нашел, — тихо шевелю губами.

— А почему тогда врешь?.. Почему пишешь в газету и морочишь голову людям?..

Молчу и потею. Деться некуда. Хоть провались сквозь вот эти проклятые и скрипучие половицы редакторского жаркого кабинета.

— Колхозники из Каярлыка пишут нам, что Амыру Тогочоеву никаких золотых часов никто не вручал. Вот посмотри сам, сколько мы получили писем по поводу твоего, так сказать, рассказа, — строжится редактор и не

спускает с меня своих стальных глаз.— Что им я должен сказать? Нас обманул комсомолец, или как? Ну скажи, где ты взял эти золотые часы и куда они делись?..

— Не было,— говорю редактору,— золотых часов...

— Не было,— передразнивает он,— а в письмах пишут, что председатель колхоза Леонид Васильевич Чекушев прикарманил подарок деда Амыра...

— Я же говорю вам, что никаких золотых часов не было...

— А может быть, этот твой Чекушев на самом деле присвоил чужой подарок, а?.. Если так, то честно, как комсомолец, скажи, откуда все это тебе известно?..

Я, кажется, изнутри зашипел, как рыба-чебак, брошенный на раскаленную сковороду. Ой, как стыдно и горько!

— Председателю нашему откуда взять золотые часы? Он и деду Амыру никаких часов не дарил,— вынужден был я выдать из себя.— И сам он тоже не прикарманил никаких часов.

— А почему тогда ты врешь? Почему тогда так пишешь, а?

— Это, товарищ редактор, только в моем рассказе,— вдруг я громко крикнул, при этом вытирая худым кулаком слезы,— а в рассказах все можно! В рассказах, как в сказке, все выдумки!..

— Значит, по-твоему, в рассказах нет правды? — Как мне показалось, глаза редактора потеплели, а сам он даже украдкой улыбнулся кончиками своих поджатых губ.

— Рассказ — это не очерк,— осмелел я.— Там же под заголовком «Байрам», в скобках, ясно напечатано, что это — р а с с к а з, а не очерк.

— В таком случае тебе надо было изменить имена и фамилии действующих лиц.

— Об этом я не догадался,— чистосердечно признался я редактору. И тут же добавил: — Я хотел, товарищ редактор, чтобы большие люди-вожди, которые носят красивые кители, а наш председатель тоже ходит в кители, прочитав мой рассказ, подумали и поступили в жизни так, чтобы таким, как наш дед Амыр Тогочоев из Каярлыка, в дни радостных праздников дарили золотые часы и еще какие-то дорогие подарки...

— Ладно,— добродушно усмехнулся и буркнул редактор,— иди в школу, учись. А мы тут сами как-нибудь разберемся с твоими золотыми часами...

И вот, встретившись с Леонидом Васильевичем Чеку-

шевым, разговаривая о том о сем, мы идем рядом. И напомнив ему о своем первом рассказе, говорю:

— Вы, Леонид Васильевич, хорошо и долго работали председателем нашего колхоза «Яны ел». Вы ведь поистине заслуживаете золотые часы.

— Золотые, говоришь? — улыбается бывший председатель. — Если бы они умели хотя бы на один миг удерживать бег времени. Даже твои золотые часы не смогут остановить неудержимый и яростный полет годов. Мы стареем, а время по-прежнему молодо и бездумно бежит. Не уловить его ни мне, ни тебе...

Да, время, как желтые пески, сочится, сыплется меж наших пальцев. Нет, оно летит через наши сердца, ни на секунду не зацепляясь и не спотыкаясь об острые стрелки наших золотых и прочих часов...

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ СЕРДИТСЯ

(Защита диплома в Литинституте)

Защита диплома в Литинституте для каждого его питомца — один из самых волнующих моментов. Как ни говори — дается оценка, подводится итог твоей пятилетней учебы в стенах этого уникальнейшего творческого вуза страны. Оценивается твоя работа за годы учебы и даже делается попытка поставить прогноз кем ты будешь, станешь ли в конечном счете лицом индивидуально-творческим, а самое главное — выйдет ли из тебя писатель. Тогда казалось, что именно при защите диплома решается вся дальнейшая твоя судьба. Лишь потом, позже, поймешь, что не все зависит от того, как ты защитил дипломную работу, какую тебе поставили оценку.

Руководители творческих семинаров, как сейчас помню, ревностно старались, чтобы тот или иной студент из его курса непременно получил только высокую оценку. Поэтому они старались дипломную работу своего студента «подсунуть» друзьям-писателям, чтобы те написали как можно более благожелательный отзыв. Что это давало руководителю творческого семинара — этой тайны я не знаю до сих пор.

Когда наступила пора защиты диплома, я сам, как говорится, «напоролся», желая, чтобы одним из моих оппонентов стал поэт Илья Сельвинский, с творчеством которого за годы в Литинституте я более или менее

хорошо успел познакомиться. А с самим Ильей Львовичем не был знаком лично, хотя и во дворе Дома Герцена, и в стенах нашего института видел и просто так, как со старшим товарищем и преподавателем, здоровался.

Услышав мое желание, что хорошо бы о моей работе в качестве оппонента высказал свое мнение Илья Сельвинский, руководитель моего семинара поэт Василий Андреевич Журавлев удивленно посмотрел на меня и спросил:

— Откуда у тебя возникло такое, по меньшей мере, неожиданное для меня, желание?.. Ты же защищаешься книгой стихов «Ветка горного кедра», почти полностью переведенной Ильей Фoniaковым, куда не вошло ни одного стихотворения из новых переводов Бориса Слуцкого.

— Какое имеет, Василий Андреевич, это значение,— ответил я ему небрежно.— Хочу, чтобы Сельвинский знал, что в этом подлунном мире есть такая земля — Горный Алтай, и там родился, живет, пишет такой стихотворец, как Борис Укачин...

Защита диплома была бурной и спорной. Совершенно диаметрально противоположного характера рецензии поступили на мою первую московскую книгу «Ветка горного кедра», выпущенную к тому времени издательством «Молодая гвардия» и представленную в качестве дипломной работы. Основными моими оппонентами были критик Александр Макаров и поэт Илья Сельвинский. Александр Николаевич в своем отзыве, а этот отзыв позже был напечатан в его посмертной книге «Во глубине России» (М., «Современник», 1973), писал:

«Ветка горного кедра» — книжечка стихов алтайского поэта Бориса Укачина — отрадное явление в современной советской поэзии... Русский читатель любит Гамзатова и Кулиева не только за то, что они помогают ему узнать и понять свой народ, а потому, что в их лирике узнает и видит себя в несколько непривычном облике. Он ищет у них объяснения себя в такой же мере, как и в стихах русских поэтов.

Книжка Бориса Укачина — живое подтверждение этой новой стадии в поэзии малых народов. Укачин — поэт оригинального, ярко выраженного таланта».

А Илья Львович Сельвинский писал совершенно другое: «И. Фoniaков перевел с алтайского очень благообразно. Все ритмы в книжке классичны. Ни паузника, ни ударника, ни тактовика. Можно подумать, будто в России не было ни Блока, ни Маяковского. Однако Сельвинский был. Его даже чересчур много. Вот этому примеры:

1. И вдруг меж кустов в травяном горизонте
Вспыхнула призраком вихря
Золотая. Закатная. Усатая, как солнце
Жаркая морда

тигра.

А вот у Фонякова:

Только вдруг над кустами
Взошла величаво, как солнце,
Морда снежного барса.

Пока я комментировать не буду эти два примера. Не стану говорить и о том, как я доказывал во время защиты свое право на сравнение «морды снежного барса» с восходящим солнцем, а продолжу цитировать отзыв Ильи Сельвинского:

2. Голубой дюбек
Раскуривает Чадырдаг.

(Сельвинский)

У Фонякова:

(гора) Уч-Сумер — водитель каравана —
Курит трубку синего тумана.

Еще больше повезло Лермонтову, — продолжал иронизировать Сельвинский. — В стихотворении «Дремлет мир» — целых три цитаты из Михаила Юрьевича:

1. Горные вершины
Спят во тьме ночной.
2. Сквозь туман кремнистый путь блестит.
3. Как звезда с звездою говорит.

Все это производит гнетущее впечатление. Возможно, что на алтайском языке все эти цитаты звучат по-иному, но в русском тексте они выглядят пародией...

Илья Львович Сельвинский свой краткий, в особенности в то время для меня убийственный отзыв, заключил следующими словами:

«Стихи в книжке, как правило, ординарны. Но есть в ней два сильных стихотворения: «Слепой поэт» и «Улыбка». Ради этих двух стоит диплом утвердить».

Илья Сельвинский

1.11.67 г.

Разумеется, Илья Сельвинский и Александр Макаров свои отзывы на мою дипломную работу писали, не сговариваясь. Ни тот, ни другой меня лично не знали. Но их мнения, двух больших ценителей поэзии, были настолько разными, что диву даешься, вновь читая их. Кто из них наиболее прав — трудно разобраться.

После Ильи Львовича Сельвинского давайте послушаем теперь продолжение речи Александра Николаевича Макарова. Он, в частности, говорил:

«...Укачиным нашего поэта делает именно талант выражать и изображать драматические состояния души, момент борьбы, напряжение воли, силу человеческого духа. Одно из стихотворений называется «Характеры». (Это то самое стихотворение, что резко критиковал Илья Сельвинский, подозревая, что сравнение «морды снежного барса» с солнцем мною заимствовано из его «Тигра» — Б. У.)

Это рассказ о единоборстве человека со зверем — охотника Амыра, инвалида войны, с раненым разъяренным снежным барсом, из которого человек выходит победителем. Это впечатляющий рассказ в стихах как бы подступ к изображению характера лирического героя книги в испытаниях более трудных, в долговременных нравственных испытаниях, к раскрытию диалектики его характера и утверждению линии нравственного поведения. Несомненно, лучшие стихи книги — «На осеннем рынке», «Слепой поэт», «Стихи о коне», «У колыбели сына», небольшая поэма «Улыбка». Стихи эти не принадлежат к роду стихов, из которых можно надергать удачных и броских цитат в две-три строки, чтобы вызвать представление, по существу всегда обманчивое, о яркости дарования или мастерства. Каждое из них надо привести от первой до последней строки, ибо в каждом мысль и чувство являют себя в развитии, в нарастании, драматизм постепенно достигает накала, выливаясь естественно в единственно возможное разрешение конфликта».

Дальше критик основательно говорит о стихотворении «На осеннем рынке» и полностью приводит его. Затем, подробно рассказав о небольшой поэме «Улыбка», в заключение дает оценку: «Думаю, что есть все основания оценить дипломную работу Бориса Укачина как отличную».

Как видите, в оценке лишь двух произведений единодушно соприкоснулись мнения моих весьма авторитетных оппонентов — по поводу стихотворения «Слепой поэт»

и небольшой поэмы «Улыбка». А в остальном... в остальном все видно и все ясно. Я честно и полностью процитировал отношение Ильи Сельвинского и частично Александра Макарова.

А что я должен был сказать в данной ситуации?

В мою книгу «Ветка горного кедра», о которой идет разговор, вошли, в основном, стихи из первого сборника «Дьолдор» — «Дороги», вышедшего еще до поступления в Литинститут в 1960 году, и из второго «Кто я такой», изданного на родном языке в Горно-Алтайске, спустя три года со времени выхода первой книги. О Сельвинском, как о поэте, конечно, слышать я слышал, но стихи его не читал или читал плохо, поверхностно.

Защищая свою дипломную работу, помнится, говорил горячо, взволнованно и сбивчиво, но по юношески честно и открыто. Прежде всего защищал своего переводчика Илью Фонякова. Почему, мол, уважаемый Илья Львович, говоря и цитируя мои стихи, обвиняет переводчика. Стихи-то ведь написал я, а не Илья Фоняков. Переводы я авторизировал, я одобрил и напечатал. А что касается «морды снежного барса», сравниваемой с солнцем, надо еще посмотреть, поизучать, кто откуда что взял. Правда, там и тут имеется схожесть образа. Но я иду от алтайского фольклора, от его героического эпоса, от пословиц и поговорок родного народа. У нас, например, есть загадка: «Кырды кызыл тулку ажа берди», то есть за горы ушла красная лисица. Это — солнце. Или вот другой образ: «Ала-чокыр барга туней Алтын кун» — «Тигр — как солнечное красное пламя».

Подобных образов в алтайском устном народном творчестве немало: «На горном хребте сидит усатая красная кошка» — это опять же солнце.

Так почему я не должен пользоваться образами родного фольклора, красотой фантазии и речью своего народа?.. Кстати, на алтайском языке не употребляется слово «морда». У нас нет такого понятия. Говорим: «тумчук» — «Нос» или просто: «баш» — «голова». В оригинале стихотворения «Характеры» сказано не о морде, а о голове снежного барса.

В те годы очень много писали о сборнике стихов Эдуардаса Межелайтиса «Человек», восхищались гиперболизмом, масштабностью употребляемых литовским поэтом образов. Критики, как бы соревнуясь между собой, перебивая друг друга, цитировали непременно из его «Человека» вот эти строки:

В шар земной упираясь ногами,
Солнце шар держу на руках,
Так стою меж двумя шарами —
Солнечным и земным...

Касаясь, в частности, этого образа, дело прошлое, я вспылчиво заявил, что это для меня не ново. В алтайском фольклоре об этом сказано давным-давно. Например, в одной из легенд ее герой, знаменитый богатырь-строитель Сартакпай, стоя между землей и небом, руками срывает молнии, чтобы осветить ночную тьму, чтобы при помощи яркого пламени молнии продолжить строительство моста через бурную и неукротимую реку Катунь. Это тот же человек, что в стихотворении современного поэта Эдуардаса Межелайтиса. Но родился и жил он, наш Сартакпай-батыр, значительно раньше. Образ этого человека-богатыря в нашем фольклоре, значит, в нашей алтайской словесности появился еще до появления письменной литературы. И если я использую в своем произведении этот удивительный по мощи и красоте духа человеческого образ из нашего родного фольклора, ведь обвинят, что я подражаю Межелайтису!..

Или еще пример... Возьмем двух гениев русской поэзии Пушкина и Лермонтова. Они ведь в своих многочисленных шедеврах широко использовали фольклорное богатство народов Кавказа. А как быть нынешним поэтам этой изумительной по красоте горной земли? Не пользоваться, скажите, фольклорными образами родного народа?..

Примерно так, помнится, я говорил тогда, при защите своего диплома в марте 1967 года.

Спустя многие годы, в мои руки попала интересная книга Ильи Сельвинского «Давайте помечтаем о бессмертии», изданная «Московским рабочим» в 1969 году. В разделе «Реплика» Илья Сельвинский приводит многочисленные примеры из стихотворений советских поэтов, которые, как ему кажется, заимствовали у него, из его произведений — отдельные рифмы, образы и даже мысли. Среди таковых Р. Рождественский, А. Вознесенский, Т. Жирмунская, А. Жигулин и многие другие. Говоря об Илье Фонякове, Сельвинский опять же приводит тот же самый пример, о котором писал сердито по поводу моего диплома. Странно, почему Илья Львович мое стихотворение упорно и настойчиво приписывает переводчику?.. «Величавую, как солнце морду снежного барса» ведь не Илья Фоняков выдумал. Это же написал я, автор стихотворного рассказа «Характеры».

Еще раз вспомним о том, что Илья Львович Сельвинский, оппонент, обвинил меня и за то, что в стихотворении «Дремлет мир» цитируются строчки из Михаила Юрьевича Лермонтова. Да, есть, имеются в этом моем лирическом стихотворении цитаты из Михаила Юрьевича. Почему нельзя, если (это мне кажется и до сих пор) к месту, цитировать великого русского поэта? Что тут «гнетущего» и зазорного — не могу понять. А в это же время, перечитывая и перелистывая ту же книгу «Давайте помечтаем о бессмертии» Ильи Сельвинского, в стихотворении «Женщины России» натыкаюсь на точные цитаты из Николая Алексеевича Некрасова:

Зубами потащит провод,
Ползя на вражеский доп.
Коня на скаку остановил,
В горящую избу войдет...

Ему, Илье Львовичу Сельвинскому, выходит, можно использовать фольклорные образы, цитировать строки из классиков, а мне — нельзя...

Возвращаясь к началу этих заметок, скажу, что диплом я, конечно, защитил. Защитил просто, а не на «отлично». Как видите, в единоборстве двух моих знаменитых оппонентов — Ильи Сельвинского и Александра Макарова, — победу одержал поэт Сельвинский. Видимо, его слово было тогда весомее и убедительнее. Признаюсь, в тот день, получив «посредственную» оценку за дипломную работу, будучи уже членом Союза писателей, я разумеется, расстроился и огорчился, будто мне запретили работать в поэзии, писать стихи. А теперь с легкой душой могу совершенно уверенно сказать, что от того момента, как ты защитил диплом, как оценили твою работу, в дальнейшем ничего не зависит. В дальнейшем надо лишь работать. Работать упорно, настойчиво. Искать и находить. Никто, ни в одной редакции и издательстве не будет у тебя спрашивать о том, как ты защитил свой диплом, положим, в том же Литературном институте имени А. М. Горького. Единственный критерий «оценки» твоей работы в литературе — это твои произведения. Тебя защитят твои же творения, если они свежи и оригинальны, богаты чувствами и мыслями. Только никогда не надо быть самодовольным. Наоборот, надо научиться быть недовольным созданным и напечатанным, в каком бы авторитетном издании твое произведение ни выходило. А закончив то или другое свое произведение, ты должен

«умереть» для того, чтобы написать совершенно новое, для чего внутри тебя должен «родиться» как бы новый человек. Это зависит опять же от твоей работы, живой, пульсирующей крови и мысли; от собственной требовательности к себе и любимому делу.

В конце этих заметок нахожу нужным привести полный текст стихотворения в переводе Ильи Фoniaкова «Характеры», которым был весьма недоволен поэт Илья Сельвинский.

ХАРАКТЕРЫ

(рассказ в стихах)

Амыргушев Амыр —
Знаменитый охотник Алтая:
В рощах, в чащах, в ущельях —
Он дома всегда и везде,
И осенние ветры,
По каменным склонам летая,
Любят греться порой
У Амыра в густой бороде.

Нет, наверно, сегодня
В горах, под луною рябою
Ручейка, из которого
Он не испил бы воды.
Волк, лиса и медведь
Меж следами других зверобоев,
В землю тычась носами,
Его
Отличают
Следы.
И пока вот сейчас
На ладонь он сыпает махорку
И табачные крошки
Желтеют у ног на снегу —
В зоопарках Москвы,
Ленинграда
И даже Нью-Йорка
Им плененные звери
Грустят,
Вспоминая тайгу.

Вот над барсовым следом
Он встал, головую качая:
«Барс хитер — я хитрее!
Не раз еще силы сравним!
Ишь ведь — в тыл подбирается...»
Так и живут, не сучая,
И охотятся так:
Он — за барсами,
Барсы — за ним.

Раз идет Амыргушев
Охотничьей тропкой в тумане.
Чистый холод рассвета
Лицо человеку омыл.
Видит: барсова лапа
Торчит одиноко в капкане...
«Сам себе перегрыз!
Вот характер!» — дивится Амыр.
А кругом — тишина.
С белых веток снежок не стрясется.
Хороша тишина!
Можно пить ее долго и всласть.
Только вдруг над кустами
Взошла величаво, как солнце,
Морда снежного барса...
Прыжок — и борьба началась!

То Амыр наверху,
То — лесная седая зверюга.
Вот и кровь показалась.
В глазах — то светло, то темно.
Скачут елки вокруг.
Вся по кругу несется округа.
Барс метнулся —
И в ногу

зубами вгрызается,

но —

Изумленно скулит:
Непонятна, гладка, жестковата
Деревяшка в зубах!
С ней клыки совладать не сильны.
Нет ноги у Амыра:
Давно, в сорок третьем когда-то,
Он оставил ее
В раскаленном капкане войны.

«умереть» для того, чтобы написать совершенно новое, для чего внутри тебя должен «родиться» как бы новый человек. Это зависит опять же от твоей работы, живой, пульсирующей крови и мысли; от собственной требовательности к себе и любимому делу.

В конце этих заметок нахожу нужным привести полный текст стихотворения в переводе Ильи Фоякова «Характеры», которым был весьма недоволен поэт Илья Сельвинский.

ХАРАКТЕРЫ

(рассказ в стихах)

Амыргушев Амыр —
Знаменитый охотник Алтая:
В рощах, в чащах, в ущельях —
Он дома всегда и везде,
И осенние ветры,
По каменным склонам летая,
Любят греться порой
У Амыра в густой бороде.

Нет, наверно, сегодня
В горах, под луною рябою
Ручейка, из которого
Он не испил бы воды.
Волк, лиса и медведь
Меж следами других зверобоев,
В землю тычась носами,
Его
Отличают
Следы.
И пока вот сейчас
На ладонь он сыпает махорку
И табачные крошки
Желтеют у ног на снегу —
В зоопарках Москвы,
Ленинграда
И даже Нью-Йорка
Им плененные звери
Грустят,
Вспоминая тайгу.

Он ее схоронил
Там, на западе, в снежной России,
Где равнинные ветры
В столбах над полями гудят...
Кувыркнулся в снегу,
Напрягая последние силы,
Сбросил зверя — и встал,
Распрямился охотник-солдат.
Черт, ружье отказало!
А зверь — он не даст передышки.
Не протянешь руки,
Не предложишь по-доброму: «Мир!»
Значит, нож, выручай!
...Нож темнеет у зверя в подмышке,
И лицо кушаком
Утирает охотник Амыр.

«Значит, все же не стар!
Значит, сила в руках не пропала!
Значит, зверя не раз
Одолеть еще в жизни смогу!..»
Оседают кругом
Загустевшее облако пара.
Снежный барс, теплый барс
Остывает на смятом снегу.

И уже на усах
Замирают снежинки, не тая,
И опять тишину,
Словно белую книгу, читай...
Вот какие, представьте-ка,
Люди у нас на Алтае!
Вот какие, представьте-ка,
Звери у нас на Алтае!
Вот чем славен Алтай.
Приезжайте ко мне на Алтай!

НЕ УМИРАЙТЕ, ЛЮДИ...

«Агас — отважный горностай» — так назвала одну из своих книжек для детей известная, в частности в фольклористике Горного Алтая, Анна Львовна Гарф. Книга выпущена в 1976 году Западно-Сибирским книжным

издательством. Автор ее в тридцатые годы ездила вместе с классиком алтайской литературы Павлом Васильевичем Кучияком по Горному Алтаю, собирая и изучая народные сказки. Они сделали большую и кропотливую работу, тогда же переложив на русский язык собранные устные народные сказанья и выпустив их в различных издательствах страны. Но и после смерти Павла Кучияка Анна Львовна вот уже в течение более пятидесяти лет продолжает под двумя фамилиями издавать эти жемчужины народного творчества. Вместе с тем Анна Львовна Гарф на основе и в духе алтайских сказок сочиняет и свои собственные. Одной из таких авторских сказок является «Агас — отважный горноста́й». О художественных достоинствах этой и других ее не совсем народных, но написанных «под народ» сказок, — я не буду говорить. Это другого порядка вопрос.

В данном случае меня интересует лишь сказка — «Агас — отважный горноста́й», ибо автор без моего ведома и разрешения, хотя в сноске указывается, что «стихи алтайского поэта Б. Укачина, перевод Б. Слуцкого», использовала мое «Благопожелание», или «Вечером не умирайте, люди, прошу вас...».

Во-первых, говоря, что это любимая песня древней бабушки маленького алтайского мальчика Агаса, Анна Гарф почему-то сочла нужным «отредактировать» по своему мое стихотворение, при этом бесцеременно искажая его, попросту выбрасывая отдельные слова. Например, у меня напечатано и так печатается по сей день: «Утром не умирайте, люди, прошу я вас»... А героиня сказки бабушка Агаса поет без местоимения «я». В оригинале следующей строки этого стихотворения можно было читать: «Как же так, вы уйдете, // А солнце взойдет без вас». У автора сказки якобы поется вроде бы проще: «Как же вы уйдете», без союзного слова «так». Эта не придирка к автору сказки. Подумаешь, наверное, скажут, знакомясь с этими заметками иные товарищи, при перепечатке из строчек выпали какие-то там два неприхотливых слова. Обойдется без этих «я» и «так». Но ведь автор новоявленной сказки, используя под якобы народную песню, может быть, совсем не песенные и более того, современные стихи, продолжает искажать и выбрасывать отдельные, для нее «ненужные» слова, нарушая стройность и ансамбль целого стихотворения. Мои стихи заканчиваются:

Не умирайте, люди, утром, пожалуйста!
И вообще
Никогда,
Никогда не умирайте, люди!

А вот, послушайте, как «напевая бабушкину песню», шагает по лесу алтайский охотник из сказки Анны Львовны Гарф:

...Не умирайте,
Люди, прошу я вас...
Не умирайте, пожалуйста!
...Никогда,
Никогда не умирайте, люди!

Тут перепутано решительно все. Кроме того, автором выброшены слова: «утром», «И вообще».

Переводчик этого стихотворения поэт Борис Слуцкий, вероятно, не ради забавы искал адекватные слова, тем, что были в оригинале, и находил их. Ведь эти, на первый взгляд, будто бы бесцветные слова, стоят на своих законных местах, выполняя свою миссию, крепя стихотворную речь.

И, говоря о книжке-сказке Анны Гарф «Агас — отважный горноста́й», как мне кажется, можно и нужно поставить еще один немаловажный вопрос: в сказках, сочиненных современными авторами под устное народное творчество, правомерно ли вообще использовать, даже без искажений и вольностей, стихи, рожденные в наши дни, в конце двадцатого века?.. Другое дело — использовать старинные народные песни. Их очень много. Такие песни выглядели бы куда лучше и естественнее.

В связи с этим изуродованным А. Л. Гарф стихотворением мне придется указать и на другие «партизанские» набег на страницы и строчки моих стихов еще одного автора. На этот раз алтайского критика Валерия Чичинова. Он в том же, 1976, году в Горно-Алтайском отделении Алтайского книжного издательства выпустил на русском языке большой сборник литературно-критических статей и творческих портретов некоторых наших поэтов — «Адрес поэзии — Горный Алтай». Безусловно что мы, современные стихотворцы Горного Алтая, благодарны автору этой книги за то, что в наш «некритический» век (в Горном Алтае ныне почти нет критиков-профессионалов), он обратил на наши работы посильное и человеческое внимание, проявив все же свою любовь и уважение к поэзии родной земли и ее нынешним создателям. Но

в то же время очень обидно за автора, когда он в своих исследованиях допускает грубые промахи и ошибки. Более того, позволяет себе искажать самое главное для любого автора — название книг.

Помнится, еще до выхода книги лично я не однажды говорил и указывал автору на те неточности и ошибки, которые обнаруживались при чтении рукописи, поскольку был внутренним рецензентом и даже письменно подчеркнул, где и какие допустил он неточности и пропуски, особенно при цитировании тех или других произведений. Но автор все же не принял во внимание мои весьма конкретные замечания и книгу свою, к сожалению, выпустил в том виде, в каком была она в рукописи.

...Начну, на мой взгляд, с очень бестактных вольностей критика. Я считаю, что название книги — для автора имеет едва ли не первостепенное и решающее значение. Все, что происходит в книге вертится вокруг ее названия. Как, простите, пожалуйста, можно в какой-нибудь критической статье назвать «Тихий Дон», скажем, «Робким Доном»? Хотя мы не Шолоховы, но хорошо знаем, как трудно найти более или менее удачное название своим книгам. Сколько мучаешься и ломаешь голову, чтобы найти подходящее название. Ведь это то же самое, что дать имя человеку, новорожденному младенцу!.. А твоему критику, как выясняется, все равно, как она, твоя книга, называется — пнем или камнем.

В 1970 году в издательстве «Советский писатель» вышел мой сборник стихов «Земля синего неба». Говоря об этой книге, Валерий Чичинов в статье «Моя родина — мои стихи» в своей книге «Адрес поэзии — Горный Алтай» на странице 47 называет мой сборник «Землей голубого неба», а на 50 — «Землей синего неба».

На эту явную небрежность критика вовремя не обратили свои взоры ни редактор, ни корректоры. А ведь редактор книги — не просто рядовой редактор. Степан Михайлович Каташев — кандидат филологических наук, один из ревностных служителей современной алтайской поэзии, преподаватель Горно-Алтайского государственного педагогического института, к тому же никто иной, а единственный в Горном Алтае, профессионал-стиховед. Неужели его студентам безразлично — «Земля синего неба» или «Земля голубого неба»?

Другую мою книгу в той же статье В. Чичинова именует «Эхо Горного Алтая» вместо того, чтобы назвать как у автора — «Эхо вечного Алтая». Неужели

Считая себя знатоком родной поэзии и ее исследователем, путать переводчиков — факт, мне кажется, не то что недопустимый, а просто кощунственный! Для Валерия Чичинова это, оказывается, тоже нормальное явление. Вот он цитирует одно мое раннее, армейского периода, стихотворение:

Черные
 мои глаза лучатся,
Сердцем
 чувствую
 весны расцвет.
О, весна пятнадцатая!
 Счастливы я,
Комсомольский
 получив
 билет.
О, весна,
 весна двадцатая,
Ты строга,
 но это не беда.
На твоей дороге
 стал солдатом я,
Я бойцом останусь
 навсегда...

Валерий Чичинов, правда, хорошо отзываясь и хваля меня, пространно цитирует стихотворение «Женщина ждет ребенка». Но увя! — опять же цитаты неточны! Как и Анна Гарф, куда-то «потеряв» целые две строчки, перескакивает дальше, на другие стихотворные строфы. Вот посмотрите:

Моя земля свергла иго
Льда и снега.
Ее заласкали солнце и лето.
Она утопает в травах.
Она тяжело дышит,
Словно сытая корова.
Наверное, она замечталась
О плодах и злаках...

Вот в этом месте пропущены связующие авторскую мысль строки:

Которые зреют и скоро созреют
В просторах полей и теснине чащобы.

Лишь после этой, подытоживающей поэтическую мысль строфы, со спуска, начинается другая строфа, говорящая о том, как «Пастушка ожидает ребенка» и т. д.

Ладно, все мы грешны. Можно простить в основном доброжелательного критика, если бы он, отмечая достоинства и талант стихотворца, не заметил, пропустил из контекста всего лишь эти две строки. Но в другом месте он идет прямо напролом, не считаясь с автором, бес тактно пренебрегая, говоря весьма мягко, нарушая всяческие нормы этики и дотошность, присущие серьезным критикам и исследователям литературных произведений. Чем хвалить поэта так, с крепко закрытыми глазами и открытыми издевательствами по отношению к его творениям, уж лучше вовсе ничего не сказать!

В другой статье книги «Адрес поэзии — Горный Алтай», касаясь творчества рано ушедшего от нас замечательного русского поэта Николая Рубцова, Валерий Чичинов считает нужным, как он пишет, «полностью» привести мое стихотворение «Письмо Николаю Рубцову». Но сказав «полностью», опять же по привычной «забывчивости», самовольно «кастрирует» его.

Я вынужден продемонстрировать, какие строки исчезли в результате «вероломного» и «партизанского» нападения Чичинова на стихи, посвященные мною однокашнику по Литинституту Николаю Рубцову:

У поэта Шатры в нашем отчем краю
Я в селе Каракол в это время гостил.
Вспоминали друзей,

пели песню твою:
«...И архангельский дождик
На меня моросил...».

В то село Каракол не идут поезда,
То село далеко
От проезжих дорог,
И стоит над селом голубая звезда,
Как в одной из твоих вечно памятных строк.
В эту звездную ночь

тих, пустынен Алтай,
Далеко на Тверском — наш родной институт.
Эх, Шатинов Шатра, вслух стихи почитай,
Пусть замедлится бег торопливых минут!

Все эти строки выброшены критиком. Затем он, присоединив к начальному четверостишию строфу, начинающуюся словами «Благодатного лета кончалась пора», умышленно опускает следующие четыре строки:

Помнишь, Коля, как съехались мы на Тверской,
Кто откуда, со всей бесконечной страны,
Помнишь долгие споры над чьей-то строкой
И надежды, которых мы были полны?

...Только после такой «разорительной войны» на поле моего стихотворения критик, как бы опомнившись, до конца решается процитировать «Письмо Николаю Рубцову», выполняя первоначальное обещание. Но в конечном счете стихотворение, приведенное Чичиновым «полностью», выглядит не до конца ошипанной, замученно-худой курицей.

После всего, что я показал, касаясь книжки-сказки «Агас — отважный горноста́й» Анны Гарф, статей Валерия Чичинова «Моя родина — мои стихи» и «Диалог с другом» (Алтайские страницы творчества Н. Рубцова), мне кажется, что каких-либо других дополнительных комментариев и объяснений, пожалуй, не потребуются.

БЕРТОЛЬД БРЕХТ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АЛТАЙСКИХ РАДОСТЕЙ

«Перевод невозможен без вчитывания, вдумывания, вчувствования в текст оригинала. Он позволяет узнать о поэте и поэзии многое», — писал Борис Слуцкий. К этому я бы от себя добавил, что взаимоотношения двух поэтов — автора и переводчика — это всегда своеобразная учеба друг у друга. Если твой переводчик хорошо знает твои возможности, характер и душу, он иногда может тебе предложить, подсказать даже интересную тему для стихов. Так случилось у нас с Ильей Фoniaковым. Он однажды мне написал письмо со следующим интересным предложением:

«...хочу предложить тебе маленький поэтический «тест». У Бертольда Брехта среди посмертных стихов я обнаружил очень понравившийся мне «свободный» стих под названием «Список радостей». Вот он:

Первый взгляд поутру в окно
Снова найдена старая книга

Вдохновенные лица
Снег, смена весен и зим
Газета
Пес
Диалектика
Душ, плавание
Старинная музыка
Удобные башмаки
Постижение
Современная музыка
Писать, выращивать,
Путешествовать, петь
Быть дружелюбным»...

Письмо моего друга и переводчика заставило меня серьезно задуматься: как бы это сделать? Какие радости у алтайца? Надо найти эти алтайские радости. Что отличает алтайца от других народов страны и мира?

Конечно, я тут же сразу не ринулся писать и «перечислять» алтайские радости. Я решил сперва хорошо познакомиться с поэзией этого замечательного немецкого поэта. Начал читать стихи Бертольда Брехта и все, что касается его личности. По поводу его «списков радостей», о которых мне сообщил Илья Фоянков, составитель и автор предисловия одного из его сборников избранной лирики А. Исаева писала следующее:

«...Простые слова, лаконичное перечисление обыденных событий, повседневных дел, прозаичных предметов. Но откуда же впечатление озарения, ясного света, исходящего от строчек?

От снега? От вдохновенных лиц? От радости «быть дружелюбным»? Поэт сказал о себе почти все. Все основное. О своей личности, о своем пути, о своем отношении к жизни. Каждая строчка — дверь в целый мир».

А как мне быть? Как открыть дверь радостей родного народа? С этими вопросами и думами я полетел в Латвию, в Дом творчества писателей на Рижском взморье. Прилетел. Вокруг меня все новое. Новая земля, новые, как у Брехта, «вдохновенные лица». А не начать ли алтайские радости прямо от этой новой и далекой от Горного Алтая земли?

Так я начал свои «Алтайские радости». Этих «радостей» у меня получилось восемь. Они совершенно непохожи на «список радостей» Бертольда Брехта ни по манере письма, ни по национальному колориту. Впрочем, вот они, мои алтайские радости, написанные в 1975 году в Дубултах.

РАДОСТИ АЛТАЙЦА

1

Люди, люди, радость большая:
Путь начав на земле Алтая,
Приглядеться к людям и странам,
Быть повсюду гостем желанным,
Не назойливым, любознательным,
За внимание к себе — признательным.
А услышав сердцем, как Время
Перелистывает страницу,—
Не спеша проститься со всеми,
Всем с достоинством поклониться,
Поклониться и улыбнуться,
О чужой порог — не запнуться,
В отчий край, на Алтай вернуться —
Люди, люди, радость какая!

2

Радость — каждый день глядеть на солнце,
Видеть материнские морщины...
Чувствовать себя чуть-чуть ребенком —
Это тоже радость для мужчины!

Радость — чай, заправленный талканом,
Одаряющий теплом и силой,
Пить из пиалы широкой, белой,
Со щербинкой, памятной и милой.

Этот чай готовила родная,
Сдабривая травами Алтая,
Пить его, ладони согревая,
Радость, люди.
Радость — и какая!

3

Радость — встретить старого друга,
В дорогие черты взглядеться
И увидеть друга не старым,
А таким, как в юности, в детстве!
Тут уж песни сами споются.
Слезы на глаза навернутся,

Грусть и радость в одно сольются,
Высшей радостью обернутся!

4

Не сердись на меня, подруга,
Я и эту радость не скрою:
Радость — встретить любовь былую,
Поглядеть в лицо дорогое,
Снова сердцем к ней потянуться,
Горькой радостью задохнуться...
Что мне делать, прости, подруга,
Мне вину отпусти, подруга,
Эта радость — во мне, со мною.
Я, мужчина, ее не скрою!

5

Радость, о радость, мои друзья:
Сын мой лицом — как в юности я!
Радость, о радость, мои друзья:
Метко стреляет мой сын, как я!
Радость, о радость, мои друзья:
Сын мой стреляет лучше, чем я!
Пусть в побежденных сегодня я —
Слаще победы радость моя!

6

Хорошо, если сытно мой скот зимовал
И на пастбище весело откочевал!
Но вдвойне веселее гляжу я на свет,
Если также удачлив и добрый сосед.
Радость к радости — радостней сердцу вдвойне!
За двоих и поется, и дышится мне!

7

Радость — если внешний гром ударит!
Радость — час, когда отец подарит
Верное, бывалое ружье
И седло надежное свое!
Радость — свадьба дочки, свадьба сына!
Дважды радость, ежели притом
Не вдали — в тени родной долины
Рядом с отчим встал сыновний дом!

Радость — и неспешная беседа,
И добросердечие соседа,
И семья, в которой тишина
Глупой ссорой не осквернена!

Радость — конь, и звезды, и дорога,
И улыбка, и благая весть...
Радостей, как звезд, на свете много,
Хорошо, что их не перечесть!

8

Радость — Время, в какое пришлось мне родиться!
Радость — это возможность взлететь, словно птица,
С невеликого горного аэродрома—
И у Черного моря в тот же день очутиться
И бродить возле моря, как дома!

Или — в поезде, длинном, как зеленое лето,
Плавню, медленно мчаться по просторам планеты,
Или плыть на красивом большом корабле
От знакомой земли — к незнакомой земле,
Плыть — земные края для себя открывая,
Плыть, алтайскую песню свою напевая,
А в конце всех дорог

при алтайской луне

Вновь скакать

по знакомым горам

на коне!

(Перевод И. Фонякова)

Иногда одно стихотворение рождает другое. Так многу, например, написаны «Монолог табунщика Яшная, обращенный к любимому коню Ак-Боро», «Монолог табунщика Яшная перед тем, как зарезать овцу» и другие.

Перечислив «Радости алтайца», я тут же подумал, а не перечислить ли алтайские позоры?.. Ведь человек жив не только радостями. Уроки позора для него тоже очень важны. Горькие проступки и ошибки человека делают тоже человеком. Так вслед за «Радостями алтайца» во мне зажглось желание, и через какое-то время возник новый цикл стихов «Что позорит алтайца».

ЧТО ПОЗОРИТ АЛТАЙЦА

1

Страшный позор! Горький позор!
Солнце, померкни! Затмись, мой взор!
Как же могло получиться так,
Что попрошайкой ты стал, земляк?
Или не кормит тебя твое
Метко стреляющее ружье?
Или тебя уж не носит конь?
Что ж ты протягиваешь ладонь,
Клянчишь, здоровый, грош на вино?
Сердце стыдом за тебя полно!

2

В зеркало, юноша, посмотри,
Раз посмотри ты, и два, и три,
Дважды и трижды стекло протри —
И на себя вновь посмотри!
В мире подлунном скитаясь, ты
Разве забыл, что алтаец ты?
Предков алтайцев своих черты
Разве в себе уж не видишь ты?

Кровь кочевую, жаркую их
Разве не слышишь в жилах своих?
Как же случилось, ответь мне, брат,
Сын Чаги из рода алмат,
Что ты, живущий в горах родных,
Воду пьющий из рек родных,
Стал отрекаться при всех родных
От языка предков своих?

Прежде чем продолжить перечень остальных «статей» позора, позволю себе небольшое отступление.

Дело в том, что «Сын Чаги из рода алмат», о котором говорится в этом стихотворении, — это сын старшего брата моей жены. Чага — лицо реальное. Он доныне живет и трудится в одном из колхозов нашего Горного Алтая. И вот, когда стихи эти появились на алтайском языке в нашей газете, «сын Чаги из рода алмат» сразу же стал изучать родной язык. Позже отлично стал говорить на древнем языке своих предков, на языке отца и матери.

Это для меня, автора этих скромных, немножко колючих строк, обернулось, как вы сами понимаете, приятной радостью. А теперь я хочу дальше продолжить начатый цикл «Что позорит алтайца»:

3

Юноша, эй, как же ты смог,
Только что выйдя в мир, за порог,
И ничего не видав пока,
Вдруг перебить речь старика,
Мудрого старца, из тех, кому
Знать приходилось и свет, и тьму,
Вместе с народом своим пройти
Трудные, радостные пути?
Как же его ты оспорить смог?
Стыдно мне за тебя, сынок!

4

Алтаец, брат, когда вознесся ты
До некоей житейской высоты
И возомнил: «Я выше, чем орел!»—
Но мудрости при этом не обрел,
Себя непогрешимым считаешь,
Товарищей своих не узнаешь,
Почет и преклонения любя,—
Алтаец, брат, мне стыдно за тебя!

5

Коль перед гостем ты закроешь дверь,
Земляк, мне стыдно за тебя, поверь,
Вдвойне стыжусь, когда при свете дня
По голове ударишь ты коня!

6

Хвалился, брат, какой охотник ты —
А сумки снова у тебя пусты,
Винишь коня, погоду и ружье...
Ой, стыдно мне глядеть в лицо твое!

7

Эй, послушай, парень, что с тобой?
Как распорядился ты судьбой?
Чем прославить свой народ успел?
Что узнал?
Какую песню спел?

Может быть, великих ученик,
Глубже в тайны атома проник?
Может быть, в кургане, под плитой,
Клад нашел старинный, золотой —

И на прошлое Алтая
Пролил новый свет?
Знаю, парень, — истина простая —
Ничего, увы, такого нет!
Знаешь только, что такое водка,
И с утра, не в силах встать с земли,
Словно выброшенная подметка,
Ты валяешься в пыли!
Вызывая злость людскую,
Забывая честь мужскую,
Быть раздавленным рискуя,
Ты валяешься в пыли!
Шел я, шел, вдыхая горный воздух,
Размышлял о будущем, о звездах,
Но лежишь ты
Поперек пути,
И тебя
Не просто обойти!..

(Перевод И. Фоякова)

Закончив эти два цикла стихов — «Радость алтайца» и «Что позорит алтайца», я задумал, используя устную народную мудрость, написать целый ряд четверостиший и двустиший. Затем из них постепенно составить новый сборник «Эхо вечного Алтая» или «Так говорят алтайцы». Работал довольно долго и упорно. Наконец у меня накопилось много стихов — «коротышей», которые вместе с другими можно было издать отдельной книгой. В начале, конечно, они публиковались в местной и центральной печати — в газетах и журналах. Отдельным сборником я решил их издать в Новосибирске, в тогдашнем Западно-Сибирском книжном издательстве, поскольку до этого многие вещи из предлагаемой новой книги печатались в журнале «Сибирские огни»...

Однако для верности я решил заручиться предисловием Афанасия Лазаревича Коптелова — известного сибирского писателя, знатока алтайской литературы и устного народного творчества. Его я знал неплохо. Когда-то он мне дал рекомендацию в члены Союза писателей и относился, кажется, ко мне благожелательно. Словом, рукопись новой книги я отправил Афанасию Коптелову и почти был уверен, что он не откажется написать желаемое для меня предисловие. И что вы думаете?.. Афанасий Лазаревич, правда, весьма мягко и деликатно, отказался написать напутственное слово к будущему сборнику, что и вынудило меня отправить рукопись в Москву, где она и вышла в свет в 1979 году.

Причины отказа А. Л. Коптелова мне показались довольно-таки странными. Между нами возникла даже небольшая размолвка. А поскольку поводом явилось, прежде всего, содержание моих «Радостей алтайца» и «Что позорит алтайца», я и решаюсь рассказать об этом в следующей заметке в надежде, что любителям и читателям нашей многонациональной советской поэзии будет небезынтересно познакомиться с аргументами известного писателя, которыми он руководствовался в оценке моих более чем скромных произведений...

«...И ПОЧЕМУ МОЙ, А НЕ НАШ СКОТ»

В моем архиве немало писем от Афанасия Лазаревича. Они разные и по разным поводам написаны, чаще поддерживающие то или другое мое начинание, сочувствующие и доброжелательные. Он — автор «Великого кочевья», одного из первых советских романов об алтайцах, о том, как коренные жители алтайских «диких» гор перешли на оседлый образ жизни, какими трудными путями прошли коллективизацию в наших местах после Октябрьской революции, как включались в строительство социализма. По выходу своих новых романов и повестей А. Л. Коптелов считал нужным посылать их мне с автографами. Отношения наши, так сказать, с «крестным» алтайской литературы в течение многих лет складывались хорошо и дружелюбно. Мы с ним не раз встречались у нас, в Горном Алтае, и под Новосибирском, на станции Издревая, где он постоянно жил и работал.

3 марта 1976 года мною было отправлено, как уже говорилось выше, письмо и рукопись нового сборника стихов «Эхо вечного Алтая» А. Л. Коптелову с просьбой написать, если сможет, предисловие для Западно-Сибирского книжного издательства. В частности, в моем к нему обращении были такие строки:

«...Я закончил новую книгу стихов, в основе которой лежит мудрость родного народа — разные жанры его богатейшего фольклора. Стихи эти говорят, на мой взгляд, о внутреннем мире и эстетике народа. Мой давний друг — поэт Илья Фоняков сумел их перевести как подобает мастеру-переводчику, точно и хорошо выдержав стиль и живой дух, лад и мудрость нашего фольклора. В его переводах четко ощущается алтайский мир, взгляд именно алтайского горца на окружающее, на «природу вещей».

Книга эта особая для меня, — подчеркивал я свое отношение к рукописи. — Я хотел ответить на вопрос: «Кто я такой?»... Раньше, Вы, наверное, помните, так называлась одна из моих поэм, вошедшая в сборник «Ветка горного кедра». Поставив перед собой такой ответственный и важный вопрос, как теперь мне кажется, в той поэме я не сумел ответить на него... Вопрос весьма серьезный. Поэму надо бы переписать заново... Ныне я пришел к такому заключению, чтобы алтайцу сказать свое слово, ответить на этот вопрос, мир своего народа необходимо показать изнутри, через интересные и разнообразные приемы и формы стихов, существующих в самом народе, в богатстве его же языка, в свечении словесных образов, широко использовав его древнюю эстетику мира природы и человека, всего прекрасного и удивительного.

В этой моей новой книге, мне кажется, кроме поэта и его переводчика, незримо присутствует еще один закономерный автор — сам народ алтайский; древний и мудрый его фольклор, богатый и красочный мир его окружения и многоцветная фантазия...»

В начале ответного письма Афанасий Лазаревич, как обычно, похвалив меня, даже горячо поздравив с удачей, деликатно писал:

«У меня лишь несколько небольших пожеланий. Хорошо, что Вы дополнили цикл «Радости алтайца» — появилась примета современности в виде аэродрома. Дальше есть еще одна примета — машина «Жигули». Но двух примет не мало ли? Подумайте об этом.

Эта мысль возникла еще и потому, что Вы даете цикл «Что позорит алтайца», — продолжает А. Коптелов. — А почему бы вслед за этим и не дать цикл «Что возвеличивает алтайца», современного человека? Это дополнение ускорило бы Вашу талантливую книгу и было бы справедливым...»

Далее Афанасий Лазаревич, как я внутренним чутьем понял тогда, чтобы отказать в моей просьбе, не без назидательства, пусть и дружеского, писал: «Предисловие я могу написать, но думается, полезно подождать ясности в отношении издательства. И хотелось бы прежде узнать Ваше отношение к моим пожеланиям. Если Вы напишете цикл (а он у Вас безусловно получится), «Что возвеличивает алтайца, или «Чем славен алтаец», то строки из него войдут и в предисловие».

Мне не захотелось раздувать свою книгу еще какими-то дополнительными циклами. Тем более, по форме и содержанию похожими друг на друга. Помнится, в своем ответном письме я написал, что, мол, боюсь, «что предлагаемые Вами «Славы» или «Возвеличивания» сольются с «радостями алтайца». На их фоне вдруг окажутся они бледными, хуже того — неразлично-похожими...»

Однако вернусь к письму А. Л. Коптелова и процитирую еще ряд мест, с которыми согласиться мне было и тогда, и до сих пор очень трудно.

«Не могу не сказать и о молитвах, — сообщал он мне, — «Моление у кедра». Так ли? Такого ритуала я не знаю. Может быть, «Хвала кедру»? Об этом я подумал, споткнувшись о следующее заглавие — «Молитва, обращенная к топшуру». (Топшур — алтайский музыкальный инструмент. — Б. У.). В 30-х годах я перевел и опубликовал подобный фольклорный текст. Это было вступление к «Кан-Сулатаю». И никакая это не молитва (молитва всегда связана с каким-то ритуалом), а хвала топшууру».

От этих утверждений А. Л. Коптелова, скажу честно, на меня дохнуло подозрительно-суровым ветром начала 20—30-х годов. Поэтому я искренне пожалел в душе, что отправил свою рукопись Афанасию Лазаревичу, прося его о предисловии. Из-за такого консервативно-кондового взгляда некоторых деятелей литературы и искусства в те годы даже запрещалось сказителям-кайчи исполнять народный героический эпос, считалось это «плодом безудержной фантазии праздных и ленивых людей». Устное народное творчество, в особенности героические сказания

о борьбе богатырей, почему-то считались «феодальной поэзией и идеологией».

«Теория аристократического происхождения эпоса и воспевания в нем феодалов давно опровергнута, — писал доктор филологических наук, профессор Сазон Саймович Суразаков в своей книге «Алтайский героический эпос», выпущенной издательством «Наука» в 1985 году.— Советские ученые доказали подлинную народность эпоса, его глубокую связь с историей, бытом и культурой, с вековыми чаяниями и ожиданиями народа».

В моей же рукописи было немало стихов, написанных на основе фольклора родного народа, в частности те же «Молитва у кедра» и «Молитва, обращенная к топшуру». Я вынужден был их защищать от претензий А. Л. Коптелова, доказывая свою правоту.

«...Думаю, что можно сказать и употребить термин «молитва». Охотники не ради веселья хвалили и кедр, и тайгу, и высокие перевалы — всю живую природу, а «ради жизни на земле». К тому же с древних времен и доньше алтаец считает кедр деревом не простым, а священным. Охотники уходили в тайгу для того, чтобы добыть для себя пищу, не умереть с голода, прокормиться и прокормить семью. Верили в существование горных духов. Просили у них помощи, молились им, задабривая этих невидимых и всемогущих существ едой, прежде чем самих себя. А слова этих молитв слились с высокой поэзией самой земли и жизни. Так я думаю. Пока ничего не буду изменять. Придет время, может быть, и во мне что-то изменится. Поживем — жизнь покажет, подскажет сама. Мне трудно тут же, сразу же переделывать то, что уже написано. Нужно время, чтобы убедиться в этом».

Не в меньшей мере удивили меня тогда и понимания А. Л. Коптеловым следующих моих строк:

«В поэтическом цикле «Радости алтайца» Вы пишете:

Хорошо, если сытно мой скот зимовал...
Если также удачлив и добрый сосед...
За двоих и поется, и дышится мне!

«Только за двоих! — подкалывал меня исподтишка А. Л. Коптелов и недоуменно спрашивал: — И почему мой, а не наш скот? Мой. А много ли у него скота-то? Такое чувство для алтайца было закономерным сотни лет назад, а не сегодня, когда алтаец стал коллективистом, рабочим совхоза. Современные животноводы на Вас обидятся. И будут правы».

Комментарии вроде бы излишни. И все же я не удержался, чтоб не ответить моему добровольному рецензенту...

«Что касается «моего скота», то Вы опять же неправы. Выходит, нельзя мне или кому-то другому сказать: «Мой народ», «моя Родина», «моя партия» и т. д.? Думаю, что нет основания бояться и остерегаться «моего скота». Пастух имеет на то право. Он так и говорит: «моя отара», «мои коровы», «мой табун», а на самом деле все это, конечно, колхозное и совхозное, общее добро и богатство. Если пастух будет думать, что это не его, а чужое, то грош цена такому работнику. Современный пастух тем горд и счастлив, что общенародное дело считает своим, собственным. Он привык думать по-государственному и считает себя, если на то пошло, хозяином этого государства, этой страны».

Об этой нашей с А. Л. Коптеловым переписке и «маленькой размолвке» я еще раз вспомнил, перечитывая 3-й том собрания сочинений поэта Льва Ошанина, изданного «Молодой гвардией» в 1981 году. В разделе «Биография песен» поэт писал:

«Когда появилась песня Дунаевского и Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная», некоторые всерьез возмущались:

«Почему «моя»? Надо было сказать «наша», ведь массовая песня — для миллионов».

В связи с этим Лев Ошанин размышлял и доказывал:

«На самом деле массовая песня, так же, как и плакат, вовсе не для миллионов вообще, а для каждого из миллионов. Чем сильнее воздействие плаката на одного человека, на одни глаза, на одно сердце — тем он более «миллионен». Вот почему холодные сухие плакаты и песни, не задерживающие взгляды и не захватывающие души, — бессмысленны...»

А новый сборник стихов «Эхо вечного Алтая», о котором возник спор между мной и А. Л. Коптеловым, как я уже сказал, был издан в Москве издательством «Современник» в 1979 году, и ни один из литературных критиков, писавших об этой книге, не ставил вопрос, мол, можно ли назвать стихотворение «Молитва у кедра» или «Молитва, обращенная к топшуру», тем более — «Почему мой, а не наш скот»?..

АДЖИМУШКАЙ, АДЖИМУШКАЙ...

Все-таки нет-нет да и приходят к поэту счастье и радость...

Один из самых приятных и радостных дней я пережил, не предчувствуя и не ожидая того, после публикации стихотворения «Аджимушкой, Аджимушкой...» на русском языке в журнале «Знамя» в 1979 году в его июльском номере.

Как-то в 1974 году я впервые поехал в Коктебель. Отдыхал и работал в тамошнем Доме творчества писателей. Однажды мы, группа писателей, поехали на экскурсию в город Керчь, а затем решили посетить трагически знаменитые Аджимушкайские каменоломни.

Снимались у памятника Володе Дубинину в центре города. Поднимались на вершину древней и героической горы Митридат. А вот Аджимушкайское подземелье потрясло меня до нервной дрожи и слез.

Какие люди жили! — думал и восхищался я, спустившись в это темное, сырое подземелье и слушая рассказ нашего экскурсовода о нечеловеческих муках и борьбе аджимушкайцев в смертельно-тяжелые годы Великой Отечественной войны. Очутившись под землей, находясь в этих катакомбах в 1942 году аджимушкайцы — наши отцы и братья, матери и сестры долгих сто семьдесят дней и ночей боролись против гитлеровских палачей и кровопийц. Они задыхались и умирали от ядовитых газов немецких фашистов-душителей. Все сто семьдесят дней и ночей держались почти без пищи и воды. В это же время буквально рядом, можно сказать в пяти шагах, там, наверху, под голубым небом ярко и свежо сверкали волны родного им Черного моря. Я страдал, и еще, и еще раз думал о том, что им бы жить да жить, купаться, кувыркаться в нежных волнах теплого моря, нянчить своих детей и внуков, смотреть на далекие звезды, радоваться тишине и покою.

Среди наиболее известных писателей в нашей группе был и Борис Слуцкий, мой старший товарищ и замечательный переводчик моих же стихов, участник и строгий политработник войны. Я постоянно в этой поездке находился рядом с ним. Вдруг, нагнувшись к моему уху, Борис Абрамович шепнул:

— Я вижу, что вы об этом обязательно напишите стихи. Пишите, а я переведу на русский язык. Такая тема мне очень близка.

Стихи об Аджимушкае и о его бесстрашных героях
высочились из моей души, как соль из мешка, как личная
боль и страдание.

АДЖИМУШКАЙ, АДЖИМУШКАЙ...

Теснины катакомб.

Земля Аджимушкая...

Отец мой, ты не здесь

пал, кровью истекая,

Но гибли здесь в те дни

сорок второго года

Бесстрашные сыны

и дочери народа.

И я бы тоже мог,

родись в иное время,

Здесь биться, как они,

в одном ряду со всеми,

Но вышло, что они

меня опередили.

Погибли, победив,

Погибнув, победили.

Неслыханной войны

отгрохотали годы.

Я тридцать лет спустя

пришел под эти своды.

Куда ни сделать шаг —

здесь камень, камень, камень...

И с трепетом его

я трогаю руками.

Мне кажется, что те,

кто в эту глубь спустились,

Не просто умерли,

но в камень превратились.

Я под землей стою

и времена смещаю —

И в камне их тепло

живое

ощущаю.

Да, в камне, в камне вы,

а не в сыпучем прахе,

Полковник Ягунов

и комиссар Парахин,

И все бойцы —
 постов
 подземных
 часовые,
 И сандружинницы —
 подруги боевые.
 Лишь двадцать пять минут
 здесь, под землей, стою я...
 Шесть месяцев почти
 вы жили здесь, воюя.
 В крошечной темноте
 стою, как в преисподней,
 И ваши гнев и боль
 во мне кипят сегодня.
 И, мнится, я стою,
 суровый, напряженный,
 На вражеской тропе —
 стрелой настороженной
 (Среди алтайских гор,
 в тайге, где люди редки,
 На зверя самострел
 так наостряли предки!)
 Нет, сердце у меня
 с рождения не злое,
 Но здесь я над врагом
 нависнул бы скалою—
 На голову его
 обрушиться готовый,
 Тяжелой, как гранит,
 махиной известковой!..
 А солнце где-то там
 по-прежнему сверкает,
 Но свет его живой
 сюда не проникает,
 И не пробьется дождь
 сквозь каменную крышу...
 «Воды! Воды! Воды!» —
 со всех сторон я слышу.
 Вода... вода... вода...
 Желаемая, простая...
 Я столько пил ее
 из родников Алтая!
 И губы отирал.
 И говорил: «Довольно!»...
 Об этом вспомнить здесь —
 мучительно и больно.

«Воды! Воды!.. Воды... —

слабее с каждым разом. —

Нас голодом томят,

выкуривают газом...

Воды... Воды... Воды...

Но мы с тобой гордимся.

Воды... Воды... Воды...

Умрем, но не сдадимся!..»

Прощай, Аджимушкой,

безмолвные отсеки!

Все, кто погибли здесь,

в сердцах у нас навеки.

И я в свой горный край

уюду, вспоминая,

Тебя, Аджимушкой, —

под Керчью щель земная!

Куда бы я ни шел

родимой стороною,

Сто семьдесят ночей

и дней твоих — со мною,

Я вспоминаю их не раз,

под солнцем душу грея:

На них я старше стал,

а может быть, — старее...

(Перевод И. Фонякова)

Так случилось, что стихи эти об Аджимушке на русский язык перевел Илья Фоняков, а не Борис Слуцкий, предложивший писать мне на эту трудную и святую тему.

Скажу, что просто так не должно писаться даже маленькое четверостишие. Без удивления и потрясения не должна рождаться ни одна поэтическая строчка. Стихи возникают чаще всего от большой радости или душевной горечи. Поэт даже своей теневой стороной жизни должен быть предельно честным, порядочным и естественным. Не надо играть перед читателем. Он сразу же заметит твои лицемерие и фальшь.

Хотя сам я не был участником этих трагических событий в Аджимушке, но все же отважился о них поведать своим землякам.

После того, как эти стихи появились на страницах журнала, я неожиданно испытал одну из самых хороших радостей, получив несколько писем. Первое письмо пришло из керченского историко-археологического музея. Керченский горком Компартии Украины, городской Совет

народных депутатов, керченская секция Советского комитета ветеранов войны и дирекция этого музея меня приглашали «принять участие в торжественном открытии мемориала «Героям Аджимушкай», которое состоится 15 мая 1982 года, в 12 часов, в поселке Аджимушкай». Затем пришло письмо от составительницы сборника стихов «Расскажу про Керчь» Эммы Яковлевны Сазоновой. И дирекция Керченского музея, и составительница этого уникальнейшего подарочного сборника просили сообщить историю, предпосылку, что ли, написания стихотворения. Конечно, я выполнил их просьбу, отправив адресатам экземпляры журнала «Знамя», где впервые появился перевод стихотворения.

В другом своем письме Эмма Яковлевна Сазонова сообщила, что для сборника «Расскажу про Керчь» собрала «более двухсот стихотворений». Этот своеобразный и очень интересный по составу сборник разноголосых стихов, если можно так выразиться, вышел в 1984 году. И я рад, что и моему «Аджимушкаю» нашлось место.

Иногда я пишу стихотворные рассказы и даже очерки. Много у меня таких стихотворений и поэм: например, поэма-хроника «Одинокый домик среди белых снегов», поэма-рассказ «Характеры», ряд стихотворений из цикла «Портреты» и многие другие. Люблю в стихах использовать жизненно-достоверные факты и детали. Поэтому-то в стихотворении «Аджимушкай, Аджимушкай...» точно названы имена полковника Ягунова, командира героев аджимушкайских каменоломен и комиссара Парахина. Такие сведения, мне думается, укрепляют стих, читатель верит его правдивости...

В связи с публикацией стихотворения «Аджимушкай, Аджимушкай...» для меня самая большая радость — это письмо — новогоднее поздравление от вдовы комиссара Парахина — Ирины Сергеевны Парахиной. Это счастливая весть прилетела ко мне, в мой дом, в Горный Алтай из Тбилиси на пороге нового 1980 года. Как хорошо узнать, что жива и здорова большая семья комиссара Парахина, одного из руководителей этой героической борьбы и сражения против фашистов в тяжкие годы войны. Вдова, дети и внуки комиссара свято хранят память о своем отце и деде. Живя и трудясь, как это видно из письма Ирины Сергеевны, под мирным небом, они продолжают добрые традиции героев Аджимушкай, ни на минуту не забывают их, превратившихся в камень, но в памяти народа оставшихся живыми навсегда.

Не могу удержаться, чтобы не привести некоторые строки из этой дорогой для меня реликвии — письма вдовы комиссара Парахина. Вот что писала Ирина Сергеевна:

«Не удивляйтесь, что будучи незнакомой с Вами, называю Вас дорогим. Каждое сказанное или написанное слово о моем муже и тех, кто был в Аджимушкайском подземелье с ним — мне очень дорого. И тот, кто о них написал, тоже становится для нас дорогим Человеком с большой буквы. Случайно узнала о Вашем стихотворении «Аджимушкой, Аджимушкой», напечатанном в журнале «Знамя» за 1979 год, № 7. Меня очень взволновало оно, я его отпечатала и разослала детям, близким и некоторым, оставшимся в живых, аджимушкайцам. Сама я его прочла множество, множество раз со слезами на глазах. Через редакцию журнала узнала Ваш адрес, чтобы выразить Вам благодарность от себя, от моих четырех детей, от семи внуков и трех правнуков». Пропустив некоторые места из письма Ирины Сергеевны, касающиеся моей персоны, хочу процитировать заключительные строки этой многострадальной, но тем не менее гордой и счастливой женщины-матери. «Уходит седьмой десяток нашего столетия. Он был все же неплохим. Приходит ему на смену восьмой десяток. Так пусть же он будет мирным, щедрым на добрые дела, пусть будет урожайным!

А Вам пусть принесет крепкое здоровье, творческие успехи и много радостей. С Новым годом!»

После этого замечательного и удивительного по мужеству, патриотизму, полного человеческого достоинства и материнской гордости письма, я горжусь судьбой одного из многих стихотворцев нашей многонациональной страны. И думаю, все-таки есть счастье и радость у поэта...

«...ДАЛ БЛЕСТЯЩУЮ ОЦЕНКУ»

Перелистывая книгу «Литературные портреты» доктора филологических наук С. С. Каташа, замечаю, что уж очень много цитат, взятых из одного и того же автора, к тому же весьма похожих друг на друга. Много стертых фраз и стандартных приемов письма. В этом его сборнике опубликованы «творческие портреты» восьми алтайских писателей. Писатели разные, конечно, но к их работам литературовед приспособливается подойти совершенно

одинаково. Чтобы это показать и доказать, лучше всего дать слово самому автору этих «литературных портретов». Пусть он сам покажет стиль и метод своей работы.

«Жизнь Павла Васильевича Кучияка была как бы живой историей маленького алтайского народа, затеявшегося в горах. Он родился 17 марта 1897 года в урочище Куюм, недалеко от села Эликманар. Его отец страдал эпилепсией и умер от психического заболевания в 1905 году, когда мальчику было 8 лет».

Поскольку жизнь Кучияка «была как бы живой историей маленького алтайского народа...», по представлению автора сборника, то хочется спросить: неужели все алтайцы были эпилептиками и умирали «от психических заболеваний»?

Открываю двадцать восьмую страницу сборника и читаю: «Родился Чалчик Чунижеков 10 ноября 1898 года в долине Куюм Эликманарского района в семье плотника...»

Разница лишь в одном. Кучияк родился в «урочище Куюм», а его земляк Чалчик Чунижеков — «в долине Куюм».

Пойдем дальше и откроем страницу 44: «Александра Федоровна Саруева родилась 5 декабря 1914 года в селе Онгудае в семье бедняка-алтайца...» и т. д.

Вот о другом нашем поэте: «Аржан Адаров (Владимир Оинчинович Адаров) родом из села Каярлык Онгудайского района...».

«Шодоев Иван Васильевич (литературный псевдоним Салайман) родился 25 сентября 1914 года в селе Усть-Кане в семье крестьянина-бедняка...»

Это одна сторона давно стертой медали. С. С. Каташ без таких однообразных и канонических данных не может, как видно из его книги, сделать и шаг. А теперь перевернем «медаль», чтобы увидеть и убедиться, какие там стандартные картины. Касаясь оценок творчества поэтов, критик постоянно прибегает к многочисленным и опять же однотипным цитатам, в основном взятым из отзывов московских поэтов-руководителей творческих семинаров Литинститута на дипломные работы бывших студентов.

Вот, например, читаю на странице 51, слова, сказанные руководителем семинара писателем Н. Замошкиным: «Мне нравится сдержанность, спокойствие Адарова, будто подготовленные долгим воспитанием, нравится отсутствие сентиментальности, ясность взгляда. Это — от

действия природы Горного Алтая, от народной поэзии, ее воздуха, от суровости быта, долгой охотничьей памяти...». Полностью весь отзыв вслед за Каташом я приводить не стану, наш критик одним этим отзывом не довольствуется. На той же странице он переходит к цитированию высказывания Вероники Тушновой по поводу дипломной работы все того же автора: «Адарову чужды пышность и красивость, ему дороги подлинная красота...» и т.д. Цитата опять же утомительно-пространная. Но наш алтайский критик со своей стороны лишь добавляет:

«Высказывания московских товарищей не вызывают возражений...»

Согласившись с оценками «московских товарищей», С. С. Каташ страницу своей книги считает нужным полностью заполнить стихотворением А. Адарова «Моя песня». Так растет и ширится объем книги. Без чужого суждения наш исследователь, снова убеждаюсь, оказывается, не может.

И в другой своей работе — «Критик разностороннего дарования» — С. С. Каташ никак не может удержаться от цитирования чужих мыслей. Конечно, автора сборника понять можно — трудно пройти мимо высказываний такого авторитета, каким является в нашей многонациональной поэзии, скажем, Владимир Луговской. Но он, как говорится, едет, «не слезая» с Луговского, уж чрезмерно много эксплуатируя поэта: «...Так, в отзыве на дипломную работу Кокышева замечательный поэт Владимир Луговской дал блестящую оценку и по существу, очень точно определил характер его поэтического творчества такими словами: «Лазарь Кокышев — поэт-романтик... У него зоркий взгляд, он умеет отлично чувствовать жизнь, природу. Он влюблен в природу своего края, хорошо зная родной шум листвы, бег ручьев и крики диких зверей... Все его творчество наполнено светлым, романтическим, поэтическим чувством жизни».

Спешить не будем. Чтобы более зримо и документально увидеть стиль и методы исследовательской работы С. С. Каташа, позволим себе привести еще одну цитату из того же Вл. Луговского. Теперь наш критик, «анализируя» творчество Эркемена Палкина, оценивает его так:

«Руководитель творческого семинара, в котором занимался Эркемен, известный советский поэт Вл. Луговской дал высокую (Б. У.) оценку поэме и стихам. В своем отзыве он писал: «Эркемен Палкин — один из талантлив-

вых людей, которых я встречал за время моей работы в институте....».

Экономя место и время, я опять же до конца не привожу слова русского поэта, которые использованы С. С. Каташом. Но наш исследователь обойтись без цитаты из Вл. Луговского не может и не хочет. Он, дойдя до 122 страницы, продолжает все из того же отзыва:

«Вл. Луговской подметил и эту особенность творчества поэта: «На все у него особый угол зрения, свое слово».

После этих весьма приятных слов для алтайского поэта, наш критик-анализатор, по стародавней привычке не забывает вставить слово и своего отношения к этим оценкам, добавив: «Это, конечно, правильно». (Разрядка моя.— Б. У.)

Небезынтересно заметить, что в одном случае «...замечательный поэт Владимир Луговской», а в другом — «...известный советский поэт Вл. Луговской»... Творчеству Эркемена Палкина он «дает высокую оценку», а Лазарю Кокышеву «...дал блестящую оценку». В сборнике встретятся и такие строчки его автора: «На защите дипломной работы Эркемена выступили профессор В. М. Сидельников, поэт П. Дементьев, тоже по достоинству оценившие в целом творчество молодого поэта и его поэму».

Маленькая деталь: С. С. Каташ, интересно, о ком говорит, когда пишет «...поэт П. Дементьев?»... Кажется, в Литературном институте не работал такой поэт — П. Дементьев. Видимо, наш критик путает Валерия Васильевича Дементьева, написавшего отзыв на дипломную работу Э. Палкина, с каким-то П. Дементьевым.

Вот еще один привычный для нашего критика пример: «Прав был Вс. Иванов, отзыв которого на дипломную работу Эркемена Палкина мы привели выше...» Всюду сплошь и рядом «это главное», «прав был», «мы согласны» и т. д.

Книга С. С. Каташа «Литературные портреты» была издана Горно-Алтайским отделением Алтайского книжного издательства в 1971 году. А приведенные автором цитаты и оценки даны нашим поэтам в 1957 году, то есть тогда, когда все они заканчивали Литературный институт. В связи с этим возникает вопрос: неужели только этими высказываниями и отзывами на дипломные работы четырнадцатилетней давности можно оценивать творчество наших поэтов? Ведь с тех пор поэты как-то все же изменились в своих творческих поисках и находках.

Еще один довольно-таки странный взгляд С. С. Каташа: «Совсем недавно в Москве мне довелось познакомиться с бывшим проректором Литературного института, литературоведом А. А. Мигуновым. Узнав, что я из Горного Алтая, он вспомнил о своем питомце Борисе Укачине. Вспомнил в общем-то неплохо, сказав: «Талантлив, оригинален, но не собран...».

Соглашаясь с этой оценкой А. А. Мигунова, наш критик продолжает: «По-моему, в этой предельно краткой аттестации, данной ему его бывшим наставником, кроется то главное, определяющее творческую биографию поэта. Это и есть ключ к пониманию индивидуальности его творчества. Правильно сказано и о несобранности Укачина...».

Вот примерно так, при помощи посторонних, случайных слов и оценок «анализирует» наш критик С. С. Каташ работу современных, рядом с ним живущих и работающих поэтов и прозаиков Горного Алтая. И таким же весьма субъективным, «своим методом» он представляет наше творчество студентам филологического факультета Горно-Алтайского педагогического института, где вот уже много лет подряд преподает. Ему, как видно, чужды свои собственные мысли. Намного ведь проще и удобнее повторять высказывания «московских товарищей». Так безопаснее и привычнее, в особенности в литературной, как говорится, провинции, где все давно сказано и оценено до него. Все ли?

Короче говоря, наш критик-литературовед С. С. Каташ своим сборником «Литературные портреты» «...дал блестящую оценку». Остается лишь один вопрос: кому, чьему творчеству? Приведенные «яркие» примеры, мне кажется, дают «блестящую оценку» и его «Литературным портретам». Больше, лучше, точнее не скажешь и не оценишь эту его книгу, год рождения которой 1971.

«СОПЕРНИК»

Живя среди людей, работая более тридцати лет в родной алтайской литературе, случалось слышать и знать, немало смешных историй, быть свидетелем порой не безобидных курьезов и ситуаций. Об одном из таких курьезов, оскорбляющим честь и достоинство одного из моих собратьев по перу, не могу не вспомнить и тем самым еще раз как-то попытаться предупредить высоко-

поставленных лиц, у которых в руках всемогущая власть и которым зачастую нипочем принятые и утвержденные законы. Словом, подсказать, что ли, лишний раз, дабы подобные «тихие» издевательства не повторялись в будущем...

Одно время перед самым входом в большой зал бывшего Горно — Алтайского облисполкома висели «портреты» породистых быков, которых выращивали, очевидно, в одном из хозяйств нашего скотоводческого края. Под одним из них даже издали можно было прочесть, что кличка бугая «Поэт».

— На кого из поэтов Горного Алтая этот бык похож? — задавались язвительным вопросом отдельные особи из числа олицетворяющих в бывшей области власть, весело и иронично усмехаясь при этом.

— У нас такого упитанного и кучерявенького, кажется, нет! — нарочито сомневались и хихикали в ответ другие.

— Как то есть нет! — тут же подхватывали и опять вроде бы возмущались третьи. — Есть, есть один. Точь-в-точь такой... наших-то алтайских стихотворцев, считающих себя поэтами, при желании можно пересчитать на пальцах... Вспомните-ка, на кого действительно похож этот породистый бык?..

— У нас, пожалуй, нет таких могучих поэтов...

— А разве на местах бывают настоящие поэты?.. Настоящие-то, как принято говорить, с божьим даром, живут и работают в больших столицах. Скажем, в Москве, Париже... А руки и умишки наших даже не доходят до столицы края — Барнаула, не говоря уже о Новосибирске. Словом, у большой птицы должны быть большие крылья.

— Вы хотите сказать, что у нас нет птицы сильного и высокого полета, вроде поднебесного орла...

— Пожалуй, так ...

— А вот Лазарь Кокышев... Говорят, он очень талантлив...

— Вот-вот-вот, — расплылся в улыбке тот, который первым задал этот вопрос, на кого похож этот породистый бык. — Наконец-то, друг мой, ты приблизился к отгадке моей загадки. Лазарь Кокышев. Взгляни еще раз на этот рисунок. Такой же кучерявенький и... Нет я свою сокровенную мысль лучше закончу одним очень мудрым изречением: любить хорошее вино не значит держать его все время во рту. И смысл и тайну своей загадки, как ты

только что услышал от меня и понял, я сам тебе добровольно подсказал и открыл.—Он вновь радостно расхохотался, похлопывая приятеля по плечу...

Словом, этот «поэт» из породы парнокопытных еще долго красовался у входа в большой зал облисполкома, соперничая с живыми поэтами Горного Алтая. И никому и в голову не приходило, как это оскорбительно по отношению к литераторам, живущим и работающим под боком все того же облисполкома, как если бы быка или козла назвали, скажем, Председателем.

— Председателем кого или чего?

— Как кого или чего?.. Конечно, тех же породистых быков или козлов... А вы что думали — председателем облисполкома?..

Смешно и горько вспоминать сегодня об этом. Но надо признаться, что такого «соперника» самовольно не уберешь со стены. Не скинешь... Попробуй скинь его, этого «соперника»... Как говорится, рога и копыта не найдешь...

Не говорит ли этот «яркий» пример о том, как власти нашей бывшей автономной области понимали высокую, благородную роль литературы и к тому же «родных поэтов» родного нам Горного Алтая... К счастью, время не стоит на месте, а слухи и сплетни умирают... Не забывайте об этом, начальники-загадчики, помните, начальники-отгадчики и знайте, что жизнь коротка, а искусство вечно...

«Я ЖЕ НЕ ПИСАТЕЛЬНИЦА, ЧТОБЫ...»

В писательскую организацию из Литературного фонда СССР пришло письмо, в котором просили указать, кто из членов СП нуждается в получении жилья или в его улучшении. По этому поводу я, как уполномоченный литфонда СССР по нашей автономной области, должен был срочно отправить в Москву справку и в ней сказать о положении, сложившемся с долевым участием в жилищном строительстве. Документ этот должен быть подписан, кроме руководителя местной писательской организации, и в горисполкоме.

Прихожу к председателю горисполкома и показываю письмо. Тот, ознакомившись с ним, дает задание своей сотруднице Любови Иларионовне составить справку. Дого-

ворились, что я завтра зайду к ней и получу эту самую бумагу. Захожу.

— Справка не готова пока, — говорит мне Любовь Илларионовна, — мне нужны точные данные: кто, когда и какие квартиры получил. Эти документы хранятся в другом отделе, а заведующая пока отсутствует. Приходите завтра...

Не горит же под ногами земля, думаю. Можно и завтра получить. Но вообще-то наши писатели не так уж избалованы получением квартир, хотя у большинства есть над головой крыша, но нуждающиеся еще имеются. За последний год или два, кажется, никто не получил квартиры. Во всяком случае, сотрудник горисполкома ошибиться и перепутать не может. Справку можно было бы написать, даже не глядя в какие-то достоверные документы.

Прихожу на другой день. Любовь Илларионовна, взглянув на меня, чувствую, раздражается:

— Я же чистый экономист, понимаете меня, — объясняет она, — без точных квадратов и цифр я не могу вам дать справку. Та женщина, которую я жду, находится в отпуске. Она обещала зайти завтра, понимаете меня?

— Понимаю, — соглашаюсь я с ней, — тогда, может быть, мне завтра лучше вам позвонить?..

— Вот это будет правильно, — обрадовалась Любовь Илларионовна. — Запишите мой телефон, звоните завтра...

Я опять ушел ни с чем. И вспомнил об одном старом фильме, герой которого каждый день, сломя голову бегал в поисках одного из начальников, чтобы тот подписал какую-то очень нужную для детских яслей бумагу. Он бегал, пел и кричал: «Только подпись, только подпись...». И я оказался примерно в таком же положении. Но креплюсь. Не раздражаюсь и не ругаюсь...

Как договорился с Любовью Илларионовной, звоню ей на следующий день. Услышав о справке, она начальственным тоном кричит:

— Я же вам сказала ясно, русским языком, что я чистый экономист, понимаете меня... Мне надо точные цифры и данные...

— Но когда же появится та женщина с точными цифрами? — вынужден был перебить я Любовь Илларионовну.

— Вы понимаете меня, ведь я же вам русским языком сказала, что она находится в законном отпуске. Она у нас отдыхает. Вы понимаете меня?!..

— Но мне крайне нужна справка...

Любовь Илларионовна злым голосом выдохнула наконец-то:

— Вы понимаете меня, ведь я же не писательница, чтобы все эти цифры и факты взять с потолка!..— И со звоном, полагаю, бросила телефонную трубку.

Я улыбнулся, думая про себя: «Неужели все эти элегантные женщины из служебных кабинетов думают о нас, о писателях, что мы жизнь изучаем лишь глядя в потолок собственной квартиры? А где наши человеческие судьбы и многогодовые мытарства в поисках правды жизни и истины?»

ВСПЫХНУЛА НЕОЖИДАННАЯ МЫСЛЬ

Сажу дома. Смотрю телевизор. На экране идет фильм «Битва за Москву». Первые месяцы Великой Отечественной войны. Самые горькие, трагические дни для бойцов и для всей страны. Фашисты неудержимо и яростно наступают на Москву, ломая и разрушая все на пути, уничтожая наши села и города, унижая мирных жителей — стариков, детей и женщин. Наши бойцы отступают. Гибнут целыми взводами и ротами. Иссакают с каждым часом наши силы. Умирают, сражаясь героически, наши отцы и братья. Горько смотреть. Больно! Там и тут горят танки. Железо горит! В огромный, раскаленный огонь превращаются внутри него люди. Живые люди!..

И вдруг в моем мозгу неожиданно вспыхнули строчки стихов: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей...».

«Как же так,— вдруг подумал я, глядя на телевизионный экран,— как же так, а?.. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей!»...

Скажите мне, пожалуйста,— что дороже — гвозди или люди? И зачем из людей-то делать гвозди?.. Не знаю. Не понимаю... В этом крошечном аду кровавой войны из гвоздей надо бы делать людей! Людей не хватает. Нет, люди выдерживают, а железо горит, красным пламенем там и тут.

Спору нет, Николай Тихонов — большой поэт. Большой патриот Родины. Для победы он много сделал в годы войны. Но на этот раз, глядя на экран телевизора, не

могу согласиться с ним, чтобы «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей!»...

Странное дело. Пожалуй, нет такого критика в советской литературе, который бы за все ее годы не похвалил бы эти строчки поэта, не цитировал бы их в своих статьях и исследованиях...

ИЗДАЛИ, КАК КЛАССИКА...

В одном из столичных издательств запланировали под одной обложкой выпустить две мои повести — «Убить бы мне голод» и «До смерти еще далеко». Встал вопрос, как назвать книгу?.. Звонят мне из Москвы: «Дай название». Отвечаю: «Назовите по одному из названий этих повестей, которое вам больше нравится». Слышу голос редактора:

— Ни одно из этих названий не подходят.

— Почему? — интересуюсь.

Редактор молчит. Мнется. Тогда я предлагаю к двум повестям добавить еще несколько новых рассказов и сборник назвать как-то по-другому. Но редактор не соглашается, ссылаясь на то, что увеличится общий объем книги. Мол, я опоздал с этим предложением. В плане издательства одиннадцать авторских листов, и это утверждено во всех инстанциях. Изменить теперь никак нельзя. А вот книгу как-то надо назвать.

Тут мелькнула в моей голове мысль: «А не назвать ли книгу просто — «Повести»?

— Но вы же пока не классик, — смеется в ответ редактор. — Так издают у нас только классиков...

— А может быть, когда-нибудь и я стану классиком, — шучу и продолжаю в этом же духе. — Для чего тогда день и ночь я корплю над столом?.. Коль заранее я знаю, что ни одна строчка и ни одна книга из того, что я написал, не останутся жить в моем народе, зачем я так много мараю и трачу столь дорогую в нынешнем веке бумагу, а?..

Шутка шуткой, но издали меня все же как классика: Борис Укачин. ПОВЕСТИ.

Вот как бывает иногда. Жестокость издательского плана и чрезмерная осторожность некоторых его сотрудников сделали из меня «классика».

КТО И КАК СМОТРИТ НА ПРИРОДУ СТИХА

Несколько лет назад один алтайский поэт перевел на родной язык, как отмечает переводчик произведений великого японского поэта Басе и исследователь его творчества Вера Николаевна Маркова, «знаменитое в истории японской поэзии стихотворение»:

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.

Казалось бы, что тут особенного. Всего три строчки. Но над этими тремя строчками Басе, говорят, работал в течение нескольких лет. Он не один раз возвращался к первоначальному варианту, чтобы его переделать и отшлифовать, пока сам не удовлетворился.

В советском литературоведении по поводу этого японского трехстишья много различных мнений и суждений. В предисловии к прекрасно изданной в 1985 году издательством «Художественная литература» книге стихов этого замечательного японского лирика и философа Басе все та же В. Н. Маркова, касаясь этой стихотворной миниатюры, пишет: «Стихотворение похоже на монохромный рисунок тушью. Ничего лишнего, все предельно просто. При помощи нескольких умело выбранных деталей создана картина поздней осени... Кажется, что смотришь в воды реки, дно которой очень глубоко. И в то же время он предельно конкретен. Поэт изобразил реальный пейзаж возле своей хижины и через него — свое душевное состояние. Не об одиночестве ворона говорит он, а о своем собственном».

Другой наш поэт, прочитав на родном алтайском языке перевод, как сказано выше, этого японского шедевра, уверенной рукой написал: «Что это за стихотворение и что за ворон? Почему сидит на голой ветке? Ждет падаль, что ли, этот ворон?..»

Может быть, тот, кто переводил, не достиг своей цели, не дотянул? Возможно. Довести до уровня великого Басе, конечно, трудно. Скажем прямо, не каждому дан такой высокий талант и безукоризненный вкус. Но как бы он ни перевел, однако я хочу оправдать поэта-переводчика. Ясно, что он взялся переводить на алтайский язык эту миниатюру, только глубоко любя и понимая суть и сущность ее. Иначе бы он не заметил среди других творений Басе и этого трехстишья. Значит, поэту-переводчику

стихотворение чем-то было дорого и близко. Он, как и сам Басе, наверное, в малом увидел и почувствовал великое... А что сказать о поэте-оценителе? Вероятно, ему до чтения алтайского перевода не довелось как-то перелистать книгу Басе. А, впрочем, дело видимо в том, кто и как смотрит на мир и на природу стиха.

О ТОМ, КАК Я СТАЛ ОДНАЖДЫ АНГЛИЙСКИМ ПИСАТЕЛЕМ

Небезынтересных мелочей в жизни у каждого человека много.

Однажды я написал стихотворение «Малые народы» и в нем есть такие строчки:

Есть в каждом народе волшебная жилка:
родился ж когда-то в метельной пыли
по имени Тыко, по прозвищу Вылка
художник у н е н ц е в, у края земли!

(Перевод И. Фонякова)

Стихотворение это вошло в мой сборник «Голос снега», вышедший в местном издательстве на алтайском языке в 1975 году. По оплошности, полагаю, корректоров слово «н е н е ц» было перепутано со словом «н е м е ц». Таким образом, «президент Новой Земли», как Тыко Вылка иногда называл себя, не по моей вине, стал в моем стихотворении немецким художником.

Слова «н е н е ц» и «н е м е ц» по звучанию очень близки. По этой лишь причине их можно легко перепутать? Простительно? Но понятия «н е н е ц» и «н е м е ц» совершенно далекие друг от друга не только по масштабам географическим, но и социально-духовным, не говоря уж о языковых и количественных различиях этих двух народов. Народа и небольшого по численности племени, живущего в совершенно непохожих природных и жизненных условиях.

Путать ненецкого художника с немецким, конечно, очень неловко. Это не делает чести ни корректорам моего сборника, ни тем более аж двум дипломированным его редакторам.

А в другой раз, в том же 1975 году, в органе Алтайской краевой писательской организации СП РСФСР, в № 1 альманаха «Алтай», выходящим на русском языке

в Барнауле, напечатали мою повесть «До смерти еще далеко» в переводе А. Китайника. Завершая год, в своем последнем, четвертом номере, на последних страницах альманаха приводится список произведений, которые были опубликованы за прошедший год. В разделе «Проза» указана и моя повесть. Как было не рассмеяться, прочтя «Борис Укачин. «До смерти еще далеко». Повесть. Перевод с английского А. Китайника». Подчеркиваю: перевод не с алтайского, а английского...

Так я стал однажды английским писателем.

БУДУ БЕСПОЩАДНЫМ К СЕБЕ

После службы на дальневосточных рубежах в Советской Армии глубокой осенью 1959 года я вернулся домой и стал работать корреспондентом областного радиокомитета. Устроился я без большого труда, ибо еще до армии, после окончания средней школы, был приглашен в одну из редакций радио и зачислен в ее штат младшим корреспондентом. Правда, поработать удалось всего лишь месяц, ибо в середине июля меня призвали в армию.

Отслужив положенное, я, надо сказать, очень даже активно вторгся в литературную жизнь области. Писал безобразно много. Мои корреспонденции, очерки, статьи и стихи передавались по радио, печатались на алтайском языке в областной газете. Если сказать честно, я стал не равнодушным к причитающимся гонорарам. Будучи молодым и малоопытным журналистом, я тем не менее видел, какими путями, матерые, так сказать, «прожженные» журналисты и переводчики добывают его. А именно: одну и ту же корреспонденцию, или очерк сначала передают по радиоэфиру, затем печатают на страницах областных газет, а под занавес стараются эту же вещь опубликовать в литературно-художественном альманахе «В горах Алтая». Или литератор-алтаец переводит какой-нибудь удавшийся очерк своего русского товарища и под двумя фамилиями этот же очерк публикует уже на алтайском языке. Иногда бывали и такие случаи: скажем, какой-нибудь ответственный работник для «Блокнота агитатора» напишет на русском языке острозлободневный материал («Блокнот» этот выходил только на алтайском языке), а кто-то из работников нашего радио, редакции областной

газеты переведет его на алтайский язык и первый экземпляр или вариант отдаст, указав наверху фамилию его настоящего автора, в «Блокнот агитатора», а второй, глядишь, напечатает под своим именем в газете. На это в то время почему-то никто никакого внимания не обращал. Бывало, и мне поручали переводить такие срочные материалы. Однажды, это было в 1961 году, мне дали перевести для «Блокнота» корреспонденцию или статью одной ответственной работницы городского комитета партии. Разумеется, с заданием я быстро справился. В то время работа спорилась под моей молодой рукой. Писал, переводил очень много, очень быстро и, конечно же, очень плохо. Но тем не менее все проходило, все принималось редакциями и редакторами. Меня хвалили, считали, что я способный в этом деле человек. Поэтому многие русские журналисты и даже некоторые писатели предпочитали, чтобы именно я перевел их на родной язык.

Но моя страшная беда и позор начались с той самой корреспонденции о молодых работницах местной ткацкой фабрики, которую написала ответственная сотрудница городского комитета партии. Жажда ли славы, появившаяся ли тяга к гонорарам, а может быть, то и другое толкнули меня эту чужую корреспонденцию напечатать в областной газете под своим именем. В результате грянул один из моих самых горестных дней — коллективное обсуждение моего плагиаторства в радиокомитете. Этот день до сих пор черным углем позора горит в моем сердце. И по сейчас, когда все это вспоминаю, становится не по себе...

Мое «воровство» обсуждалось очень сурово. Среди присутствующих журналистов и литераторов, помню, особую активность и даже, как мне тогда казалось, ликование проявлял некий Федор Николаевич, очерки которого в свое время я отказался перевести на алтайский язык.

— Его надо гнать с работы! — хрипло кричал он. — Тяжкий его поступок — позор для всего комитета. Ты понимаешь, что опозорил нас всех перед лицом области?!

— Понимаю, — с трудом промямлил я. Тогда я еще не знал, что есть охотники поплясать на чужих могилах...

— Об этом грязном факте надо бы кому-то из нас написать хороший фельетон, чтобы все слышали и видели, — косо улыбнулся работавший тогда в радиокомитете старшим редактором один из членов Союза писателей.

в Барнауле, напечатали мою повесть «До смерти еще далеко» в переводе А. Китайника. Завершая год, в своем последнем, четвертом номере, на последних страницах альманаха приводится список произведений, которые были опубликованы за прошедший год. В разделе «Проза» указана и моя повесть. Как было не рассмеяться, прочтя «Борис Укачин. «До смерти еще далеко». Повесть. Перевод с английского А. Китайника». Подчеркиваю: перевод не с алтайского, а английского...

Так я стал однажды английским писателем.

БУДУ БЕСПОЩАДНЫМ К СЕБЕ

После службы на дальневосточных рубежах в Советской Армии глубокой осенью 1959 года я вернулся домой и стал работать корреспондентом областного радиокомитета. Устроился я без большого труда, ибо еще до армии, после окончания средней школы, был приглашен в одну из редакций радио и зачислен в ее штат младшим корреспондентом. Правда, поработать удалось всего лишь месяц, ибо в середине июля меня призвали в армию.

Отслужив положенное, я, надо сказать, очень даже активно вторгся в литературную жизнь области. Писал безобразно много. Мои корреспонденции, очерки, статьи и стихи передавались по радио, печатались на алтайском языке в областной газете. Если сказать честно, я стал не равнодушным к причитающимся гонорарам. Будучи молодым и малоопытным журналистом, я тем не менее видел, какими путями, матерые, так сказать, «прожженные» журналисты и переводчики добывают его. А именно: одну и ту же корреспонденцию, или очерк сначала передают по радиоэфиру, затем печатают на страницах областных газет, а под занавес стараются эту же вещь опубликовать в литературно-художественном альманахе «В горах Алтая». Или литератор-алтаец переводит какой-нибудь удавшийся очерк своего русского товарища и под двумя фамилиями этот же очерк публикует уже на алтайском языке. Иногда бывали и такие случаи: скажем, какой-нибудь ответственный работник для «Блокнота агитатора» напишет на русском языке острозлободневный материал («Блокнот» этот выходил только на алтайском языке), а кто-то из работников нашего радио, редакции областной

газеты переведет его на алтайский язык и первый экземпляр или вариант отдаст, указав наверху фамилию его настоящего автора, в «Блокнот агитатора», а второй, глядишь, напечатает под своим именем в газете. На это в то время почему-то никто никакого внимания не обращал. Бывало, и мне поручали переводить такие срочные материалы. Однажды, это было в 1961 году, мне дали перевести для «Блокнота» корреспонденцию или статью одной ответственной работницы городского комитета партии. Разумеется, с заданием я быстро справился. В то время работа спорилась под моей молодой рукой. Писал, переводил очень много, очень быстро и, конечно же, очень плохо. Но тем не менее все проходило, все принималось редакциями и редакторами. Меня хвалили, считали, что я способный в этом деле человек. Поэтому многие русские журналисты и даже некоторые писатели предпочитали, чтобы именно я перевел их на родной язык.

Но моя страшная беда и позор начались с той самой корреспонденции о молодых работницах местной ткацкой фабрики, которую написала ответственная сотрудница городского комитета партии. Жажда ли славы, появившаяся ли тяга к гонорарам, а может быть, то и другое толкнули меня эту чужую корреспонденцию напечатать в областной газете под своим именем. В результате грянул один из моих самых горестных дней — коллективное обсуждение моего плагиаторства в радиокомитете. Этот день до сих пор черным углем позора горит в моем сердце. И посейчас, когда все это вспоминаю, становится не по себе...

Мое «воровство» обсуждалось очень сурово. Среди присутствующих журналистов и литераторов, помню, особую активность и даже, как мне тогда казалось, ликование проявлял некий Федор Николаевич, очерки которого в свое время я отказался перевести на алтайский язык.

— Его надо гнать с работы! — хрипло кричал он. — Тяжкий его поступок — позор для всего комитета. Ты понимаешь, что опозорил нас всех перед лицом области?!

— Понимаю, — с трудом промямлил я. Тогда я еще не знал, что есть охотники поплясать на чужих могилах...

— Об этом грязном факте надо бы кому-то из нас написать хороший фельетон, чтобы все слышали и видели, — косо улыбнулся работавший тогда в радиокомитете старшим редактором один из членов Союза писателей.

— Товарищи,— опять как ошпаренный со стула поднялся все тот же Федор Николаевич,— я сперва не хотел говорить, но теперь, сидя тут и подумав, решил перед вами раскрыть еще одно его литературное воровство.

Все с ожиданием и недоумением посмотрели на Федора Николаевича.

— Что еще ты там нашел и вынюхал?— недовольно взглянул на Федора Николаевича председатель радиокomiteта, грубовато-строгий Николай Григорьевич. И тут почему-то испугался сам Федор Николаевич, сделавшийся вдруг заикой, тыкая и мыркая и теряя язык. Но его поддержали:

— Николай Григорьевич, вы своим служебным положением затыкаете рот честному человеку. Нельзя так.

— Нельзя так, Николай Григорьевич. Пусть скажет до конца...

Федор Николаевич снова выпрямился.

— Товарищи, мне кажется, он сюжеты к своим радиочеркам, в особенности к рассказам, берет тоже с чужих материалов. Вам известно, что он выписывает военную газету Дальнего Востока «Суворовский натиск»? Вот посмотрите, я вытащил из его стола один номер этой газеты. Например, вот очерк Сергея Тельканова во многих местах подчеркнут, отмечен пером Укачина. Тут что-то не то, товарищи...

— А какое вы имеете право рыться в моем рабочем столе?! — вдруг рассердился я.— Я не выписываю эту газету. Мне ее прислали товарищи. А в очерке, что я читал и подчеркнул, написано о людях того полка, где я служил.

— Шариться в чужом столе, конечно, это тоже непорядок,— мягко упрекнули Федора Николаевича.

Но он не унимался:

— За публикацию под своим именем материалов ответственного партийного работника все равно надо его... надо его исключить...

— Но он же пока не член Союза журналистов и так же писателей.

— Уволить с работы...

— Да, если с первых шагов молодой творческий работник занимается литературным воровством, то что от него ждать дальше, в будущем?..

— Но переводные материалы многие из нас так печатают,— сказал один очень активный переводчик и поэт.— Признаюсь, и я сам печатал некоторые такие статьи

и корреспонденции под своим именем. Правда, договорившись сначала с авторами.

— Это дело другое,— сказали переводчику и поэту,— ты договорился с авторами. А тут автор сама к нам позвонила и сказала, что наш сотрудник присвоил ее корреспонденцию...

— Договорился не договорился с авторами,— сказал тот же переводчик и поэт,— но я, чувствую, что дурно повлиял на молодого своего друга... Он, может быть, глядя на меня, работающего с ним рядом старшего товарища, поступил опрометчиво. Давайте на этот раз, за первый случай, ограничимся предупреждением по административной линии.

— Нет, дадим строгий выговор с последним предупреждением!— твердо сказал председатель радиокомитета.

Так решили и записали в протоколе собрания. И долго висел листок бумаги с моим выговором на доске объявлений. А я замкнулся и боялся прямо смотреть в глаза своих коллег. Долго стеснялся в особенности тех писателей, с которыми до этого дружил и общался. Мне казалось, что мой позор известен всей области. Было очень неудобно и стыдно перед женой. На какое-то время, сурово осуждая, от меня отстранились друзья-писатели и журналисты. Очерки и корреспонденции мои не то что не стали печатать в областных газетах, я сам перестал относить их туда. Чувствовал страшное одиночество. Долго не знал, как тут быть и что делать. Ко мне был по-прежнему добрым, доверчивым и ласковым только один человек на всем белом свете — мой первый сын, которому не было и года от рождения. Только он утешал меня и успокаивал. Но в глубине души все равно бушевал буран стыда и совести. Куда денешься, когда ожог-то на лице ощущается неутешным горем и болью? Куда спрятаться от людских глаз?

Труд и честная работа переродит тебя, воскресит вновь и обновит твою подпорченную совесть. Когда в твоей душе таится, не умер стыд — ты еще жив, ты — человек.

И скажу откровенно, что испытание позором родило вот эту вещь — маленькую поэму:

УЛЫБКА

Случается;

ты ошибся—

и этому сам не рад.

Случается:
 ты ушибся—
 и в этом сам виноват,
 О твердый угол эпохи
 жестоко
 локоть обжег...
 И вот, работу закончив,
 друзья собрались в кружок.
 Они тебя обсуждают,
 как ты обсуждал других,
 Они тебя осуждают,
 как ты осуждал других,
 Они на тебя взирают,
 безгрешны, светлы, чисты,
 Они похожи на солнце
 в сиянии правоты,
 Они безупречно правы—
 ты с этим согласен сам,
 Они похожи на солнце—
 и больно смотреть глазам!
 И если ты свой характер,
 гордясь, железным считал—
 Он плавиться начинает,
 упрямый этот металл.
 Он плавиться начинает
 на жарком огне таком:
 Со лба тяжелая капля
 падает на протокол!
 И сразу, словно преданья
 давно отошедших лет,
 Все доводы, оправданья
 растают — пропал и след,
 Ты попросту беззащитен,
 ты сник, побледнел и стих,
 Ты — словно в горах ягненок,
 отбившийся от своих!
 Стоишь на скрещенье взглядов
 и каждый, как штык, суров.
 ... Ты пишешь стихи ночами.
 Ты знаешь тысячи слов,
 А нынче из всех запасов
 осталась тебе одна
 Не слишком складная фраза:
 «Простите, моя вина...».

Стемнело.

Звезды над городом
 горят, смеясь и дразня.
 Подписаны протоколы.
 Ушли по домам друзья.
 И говор их оживленный
 вдали, отзвенев, умолк.
 Они бесконечно правы.
 Они исполнили долг.
 В добре и зле досконально
 и честно разобрались
 И всяческим частным, личным
 чувствам не поддались...
 Куда же теперь?
 Скорее
 домой, где печка тепла,
 Туда, где четыре глаза,
 четыре своих угла.
 Ты в дверь стучишься—
 за дверью слышится тишина,
 Безмолвная на пороге
 тебя встречает жена.
 Чем этакое молчанье,
 уж лучше была б гроза!
 Молчат, будто слиплись, губы.
 Жестоко молчат глаза.
 Молчат, обескрылев, плечи.
 Молчит и молчит жена,
 Как будто воздвиглась в воздухе
 невидимая стена.
 Куда же сердцу приткнуться?
 Где обрести причал?
 И вдруг в колыбельке
 лепет младенческий зазвучал.
 Проснулся твой сын!
 Улыбкой во всю ширину лица
 Встречает он, несмышлениш,
 тебя, своего отца.
 Он тянется из пеленок,
 словно цветок из трав,
 К тебе—
 и знать не желает,
 виновен ты или прав,
 Спокоен или взволнован,
 силен или сломлен ты...
 Он рвется к тебе,

он полон доверья и теплоты!
...И голову над кроватью
усталую преклоня,
Я чувствую наконец-то,
что жизнь прощает меня,
Что можно начать сначала,
новую взяв тетрадь,
Раздумывать, ошибаться,
искать, находить, терять—
И вновь приходить к истоку!
Спасибо тебе, сынок!
Ты вряд ли понять сумеешь,
как здорово мне помог.
Ты чмокаешь, засыпая,
беззубым и нежным ртом...
Сегодня не понимаешь—
уверен — поймешь потом!

(Перевод И. Фонякова)

ТЕТУШКА ТОП

В одно из прекрасных летних утр тетушка Топ сидела в прохладной юрте и шила из лисьих лап алтайскую национальную шапку. Она — прославленная мастерица шить такие шапки. Почти у всех девушек и молодых женщин, живущих в деревне Ябаган, головы украшают шапки, сшитые именно ею, тетушкой Топ. Она к тому же очень общительная и гостеприимная. Над ее очагом почти никогда не остывал толстопузый чайник с готовым и горячим чаем. К ней постоянно кто-нибудь да заглядывал — попить ее вкусный чай или просто посидеть, поболтать о том о сем или попросить сшить какую-нибудь обнову.

А сегодня утром, когда тетушка Топ сидела в юрте одна, к ней в гости вдруг пришел никто иной, а «деревенский поэт» Муклаш. Этого парня тут, во всем Ябагане, звали не иначе как «деревенским поэтом». Он не обижался, привык к этому своему прозвищу. Мало сказать привык, даже гордился, ибо очень любил поэтов и сам не упускал случая, чтобы написать стихи для местной стенной газеты. Кое-когда его стихи печатались даже на страницах наших областных газет.

Главная профессия этого самого Муклаша — тракто-

рист. И вот «деревенский поэт» и тракторист Муклаш вошел в юрту тетушки Топ, молча и тихо. Поздоровался. Переминаясь с ноги на ногу, постоял немного у порога. Потом, как бы боясь, сделав осторожно два-три шага вперед, сел на низкий стул-чурочку, что стоял по левую сторону очага, то есть на мужской половине юрты. Молча посмотрел на хозяйку, словно специально пришел наблюдать, как тетушка Топ шьет новую шапку. Тетушка Топ тоже взглянула на него.

— Что скажешь-закажешь, Муклаш? — поинтересовалась она.

— Голова болит, тетушка Топ, — признался «деревенский поэт».

— От чего болит головушка-то твоя, Муклаш?

— С похмелья, — потухшим голосом проговорил Муклаш и посмотрел вниз, ладонями обеих рук поглаживая и сжимая длинноволосую голову. — Осенью ваш стожок приволоку на тракторе...

— На тракторе, говоришь?

— Да, тетушка, на своем тракторе...

— Это хорошо, Муклаш, если на тракторе...

— Обязательно, тетушка Топ...

После этих обещаний хозяйка юрты отложила в сторону шитье, поднялась и откуда-то из-за посудного шкафа начала вытаскивать банки разной емкости, наполненные алтайской светлой аракой, вываренной из чегеня — квашенного коровьего молока, ставя их по ранжиру. Первой стояла трехлитровая, затем двухлитровая, рядом с ней литровая, а в самом конце очутилась поллитровая банка. До этого как бы уснувшие глаза «деревенского поэта» словно две птички встрепенулись и ожили.

— Вот, — худым морщинистым подбородком кивнула на банки тетушка и, едва заметно улыбнувшись краешком губ, сказала: — Выбирай, Муклаш, на твой вкус и желание.

Неизвестно вдруг почему, но Муклашу стало как-то неудобно. Поэтому он скромно указал на поллитровую банку:

— Дайте ту, крайнюю...

Тетушка Топ оставшиеся банки снова сунула куда-то за деревянный шкаф. А Муклаш дрожащими руками взял маленькую баночку и в два приема опустошил ее, сидя там же, на низком стуле-чурке. Закурил. Еще немного посидел. Посопел и тяжело повздыхал. А тетушка Топ, нет-нет да краем глаза поглядывала на гостя, продолжая

шитье, изредка прерывая работу и надевая недошитую шапку на кулак левой руки, чтобы вертеть ее пальцами правой и самой посмотреть, полюбоваться, может, заметить какие-то непредвиденные изъяны, если таковые обнаружатся.

— Тетушка Топ,— выдавил из себя «деревенский поэт»,— а можно ту, вторую с края, баночку, а?..

Хозяйка удивленно расширила глаза, покачала маленькой головой и, как прежде краем губ улыбнувшись, сказала:

— Я же тебе на чистом алтайском языке предлагала: выбирай, Муклаш, и пей. Ты сам, добровольно выбрал ту, которую залпом выпил, пока оглянуться я не успела. Разве забыл?.. Так что, Муклаш, я не виновата. Мне некогда вставать сто раз с места. Хватит — божогон! Иди... иди домой — ян...

«Ладно,— подумал про себя «деревенский поэт»,— следующую раз я покажу и проучу тебя, старая карга, как выбирать»,— нехотя встал с чурочки и ушел.

Прошло еще какое-то время. Муклаш опять появился к порогу тетушки Топ. Поздоровался. Постоял немного для приличия, а затем, как и тогда, опять сел на знакомый стул-чурочку.

— Что скажешь-закажешь, Муклаш? — теми же словами обратилась к нему добрая тетушка Топ.

— Голова болит,— застонал Муклаш,— осенью я ваш стожок трактором...

— Ясно-ярт,— оборвала его Топ,— скажи сразу, сколько тебе надо на этот раз?

Муклаш обрадовался и весело брякнул:

— На этот раз, тетушка Топ, хочу пить досыта.

— Хм, хм, досыта, говоришь? — переспросила она.

— Да, тетушка Топ, хочу досыта...

— Арака ведь не еда,— изменила голос тетушка Топ,— от нее сытым человек не бывает. Ею никто никогда не насытился,— продолжала старая,— если бы ты сказал мне, что хочешь три литра, то есть четверть, я тут же встала и вытащила бы... Просил бы еще больше, вышла бы сейчас из своей юрты, пошла к соседям-товаркам и выпросила бы в долг... Коль тебе надо пить досыта, такое количество я не могу добыть, Муклаш, «деревенский наш поэт», ясно?..

Муклаш слова сказать не успел, а тетушка Топ быстро и окончательно отрезала:

— Иди, иди отсюда, Муклаш и запомни, что аракой человек сытым не бывает. Все — божогон!..

— Но я, тетушка Топ, осенью на своем тракторе...

— Марш отсюда, молокосос! — грозно приподнялась и живо выпучила глаза тетушка Топ, — осенью... на тракторе... Это не твой трактор! Это и мой трактор!.. Я те покажу осень... покажу трактор!..

После этого случая следы «деревенского поэта» Муклаша, говорят, не появлялись у порога тетушки Топ, старой мастерицы по шитью алтайских национальных шапок из лисьих лап для юных девушек и молодых женщин-модниц из деревни Ябаган.

СЛУЧАЙ У АРЖАНА АДЫШТУ

Там, в устье бурливой реки Чолушман, откуда начинается знаменитое Телецкое озеро, на его правой стороне, из-под огромной скалы медленно сочится светлоглазый аржан — целебный источник Адышту. В тех «святых» местах я бывал не один раз. Пил воду из Адышту. Очень холодная вода, аж ломит зубы. Но, говорят, и очень полезная для здоровья. Поэтому-то сюда каждое лето приезжает много людей, надеясь избавиться от различных болезней и недугов. Правда, тут нет никаких курортных построек и удобств. Приезжают сюда, кто как может. Ставят палатки. Живут, кому сколько вздумается.

Кусты и тальники, что растут возле аржана Адышту, украшены, по местному обычаю, разноцветными ленточками и лоскутками. Это дань уважения и задабривания Хозяина горы и целебного источника. Некоторые местные жители, пожилые люди, верят, что Хозяин горы Адышту живет на ее вершине, под небесами. Он простым смертным не показывается. Но некоторые счастливчики будто бы видели его воочию. У него, как волны реки Чолушман, белая борода и сам он в белом одеянии.

Всем, особенно тем, кто приехал сюда просить помощи и лечиться, рекомендовано не шуметь, не кричать, не смеяться, не петь, а блюсти соответствующие дисциплину и порядок.

Когда подходишь к Адышту, нельзя не почувствовать устойчивого запаха железа и пороха, что ли. Побывавшие и живущие вблизи Адышту люди уверяют, что этот источник хорошо лечит головные и глазные боли. Но особенно мастерски сращивает переломы костей и суставов. Это возможно. Ибо в этом источнике немалая

концентрация серебра и меди. Охотники же свидетельствуют, что раненные в горах пулями и дробью звери тоже отлеживаются в подобных редких источниках, пока не выздоровеют и не встанут на ноги. А про Адышту, рассказывают, что нашли здесь однажды раненого дикого марала. Он приполз к этому источнику и несколько дней лежал в болотистой тине, затем поднялся и ушел, как ни в чем не бывало, в родные горы.

В окрестностях Адышту я видел брошенные гипсы и костыли. Мне говорили, что их оставили исцелившиеся тут от различных недугов бывшие больные...

Аржан Адышту, оказывается, был открыт еще в дореволюционное время геологами Всероссийского географического общества. О том свидетельствует жестяная бирка, что укреплена прямо на камне, из-под которого медленно сочатся капли и струйки этого чудесного дара природы. Но не только об этих фактах хотел проинформировать я своего читателя, хотя и они, думается, небезынтересны.

Меня однажды прямо-таки ошарашил и удивил совершенно невероятный случай.

Было это летом 1979 года. Я приплыл на теплоходе «Пионер Алтая» по Телецкому озеру в совхоз «Чолушманский» по заданию радиокомитета, где я в то время работал, чтобы написать цикл очерков о людях этого отдаленного и труднодоступного хозяйства. Закончив свои основные дела в совхозе, на обратном пути решил заглянуть к Адышту. А в летние дни эти места не пустовали. На полуостровке, рядом с аржаном, там и тут, как и в прежние годы, высились небольшие палатки. Когда я подошел к аржану, то возле него среди лечащихся бегали и суетились какие-то молодые люди с киноаппаратами. Они трогали, рассматривали те самые разноцветные ленточки и лоскутики ткани, повешенные на ветках кустов, редких деревьев и тальников, удивлялись, смеялись, расспрашивали у тех, кто приехал лечиться, для чего, мол, эти украшения, кому они предназначены. Видать, киношники-любители, к тому же весьма развязные и чрезмерно любопытные. Они начали снимать эти пестрые украшения. Некоторые выпрашивали у лечащихся алтайцев их национальные шапки и другие одежды, чтобы запечатлеть себя у «святого» источника.

И вдруг... Честное слово, вдруг сочившийся из-под камней и скалы источник-аржан, на удивление всем и даже к испугу некоторых, постепенно перестал сочить-

ся. Вода иссякла, что ли. Не идет и все тут. Разумеется, приехавшие лечиться люди начали ругать прежде всего киношников и гнать их. Да они и сами, кажется, испугались. Перестали галдеть и суетиться, а вскоре и вовсе ушли. Вынуждены были уйти. А воды нет. Куда она, интересно, делась?

Скажу честно, мне было не по себе. Как это так?! Ведь и я в свое время ухмылялся, слушая разные суеверные рассказы и легенды, касающиеся аржана Адышту и его Хозяина в белом одеянии.

Прошло более двух часов, как перестала биться и пульсировать вода из-под камней. Ошарашенные этим событием люди не знали, что делать и как быть. Молчали. Боялись смотреть друг на друга. Каждый, наверное, в душе винил себя. Но больше всего, конечно, тех веселых кинолюбителей.

.....

— Аржан! — кто-то вдруг робко прошептал.

И этот робкий шепот пронзил нас, как удар грома. Слава Кудая-богу, появилась вода — наша слеза и надежда! Божественный наш аржан!..

Случай редчайший. И этого момента у Адышту я никак не могу забыть. Но почему это случилось — объяснить не сумею ни себе, ни другим. Другие-то могут не поверить, поскольку в тот момент там не были. Но все же я решил поведать об этом. Почему?.. Мы же знаем, чувствуем, что в природе (не божественные) какие-то нам совершенно неизвестные загадки и тайны существуют. Вероятно, источник Адышту на какой-то миг замирает не впервые. У некоторых гор, видимо, свои вдохи и выдохи. Мы по стечению обстоятельств, может быть, оказались у Адышту во время его не совсем длительного вдоха. Горы ведь, как и люди-человеки, дышат, живут своей тайной жизнью.

Хочется верить, что такое случилось не от прибытия сюда тех суетливых и неугомонных киношников. А может быть, кто знает, от моего приезда туда случилось это?..

Но самое главное, что я хочу сказать по этому поводу, и в чем я уверен, так это то, что в этой неожиданной тайне сокрыт дух и одна из загадок поэзии. Как известно, впервые космос и космические просторы открыли не космонавты нашего двадцатого века, а за много лет и веков до них там побывали не кто иные, как великие поэты!

Идеями неисчерпаемости космической жизни, природы и Вселенной горел и постоянно мучился один из гениев

человечества Михайло Ломоносов, великий поэт и ученый. В своем «Вечернем размышлении», глядя на великое Северное сияние, вдохновился и единым дыханием мудреца из глубины души и неистового духа как бы выдохнул:

Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне — дна...

.....
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мыслями утомлен.

А как забудешь, как мимо пройдешь лермонтовского проникновения в космические миры:

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

Голос природы и Вселенной смогут услышать и понять только поэты! И в случае у Адышту, повторяю, одна из интереснейших загадок и явлений земной поэзии.

КАКОГО РОДА КАТУНЬ?

С давних пор пристально интересуюсь всем, что напишет Василий Субботин, читаю и перечитываю его стихи и прозу, особенно книгу «Жизнь поэта». Я с ним знаком. Иногда общаюсь. Строгий и добрый человек. Старший товарищ, у которого большой жизненный и литературный опыт. Словом, для меня один из уважаемых писателей.

И вот в № 10 журнала «Октябрь» за 1986 год появилась его новая работа — миниатюрные записи под общим названием «Подорожники». Очень интересная работа, доказывающая остроту чувства и зрения, нежность души и новизну подхода ко всему окружающему. И вдруг моя радость омрачилась!.. Василий Ефимович Субботин, чуткий всегда к слову и природе писатель, меня не то что огорошил, а даже как будто бы ударил неожиданно. Не веря своим глазам, опять и снова читаю одну из его миниатюр, касающихся моей родины — Горного Алтая:

«Как объяснили нам,— пишет Василий Субботин,— две реки текут по этому краю — мужественный, быстрый Катунь и медленная, величественная Бия. Свергаясь с гор, мутный, стремительный братец Катунь течет в долину, пока не повстречается с сестрой своей Бией и пока в своем дальнейшем течении обе реки не встретятся

с матерью своей — Обью. Объяснили: поэтому она и Обь, что обе-две реки эти сливаются в одну».

Вот и вся миниатюра. Но почему, с каких пор Катунь стала «...мужественный, быстрый»?.. К тому же «...мутный, стремительный братец Катунь течет в долину»?.. Почему слово «Катунь» под пером хорошего писателя стало вдруг словом мужского рода? Ведь с давних пор, с дореволюционного периода во многих произведениях русских писателей и исследователей истории, этнографии, всей культуры Горного Алтая пишется и поется «Моя Катунь», «Быстрокрылая Катунь», «Голубая Катунь», «Дочь Алтая — Катунь» и так далее. Если отныне ее переименовать, то надо будет заново редактировать целую гору художественной, исторической, научно-исследовательской литературы, где встречается слово «Катунь». С этим существительным женского рода употреблено немало слов известнейшими советскими прозаиками и поэтами в их романах, повестях, рассказах, стихотворениях, поэмах и песнях. Назову лишь некоторых: Владимир Зазубрин, Владимир Бахметьев, Всеволод Иванов, Вячеслав Шишков, Анна Караваева, Николай Рерих, Ефим Пермитин, Афанасий Коптелов, Сергей Залыгин, Василий Шукшин, Иван Ерошин, Илья Мухачев, Сергей Марков, Николай Рубцов и многие, многие другие.

Больших поисков не надо, чтобы показать некоторые примеры из художественной литературы. Они созданы разными авторами в разные годы. Вот коротенькое стихотворение «Катунь» Ивана Ерошина, написанное еще в 1927 году:

Резвая моя Катунь,
Белопенная река,
В летний полдень — облака.
Много ходит в ней добра,
Рыб, живого серебра,
Славная моя Катунь!

Открываю сборник «Стихотворения» известного поэта, прозаика, ученого Сергея Николаевича Маркова, изданный в серии «Библиотека советской поэзии» издательством «Художественная литература» в 1971 году, и нахожу стихотворение «Су-Ээзи — водяной дух», под которым обозначен год создания — тоже 1927.

Они утомили мольбами твой слух,
Искали легких удач,
Тебя я видел, сердитый дух,
И слышал Катунь плач.

Как видите, написано не «Катуня плач», а «Катуни плач», в родительном падеже женского рода.

О нашей красавице-Катуни очень много стихов и песен... «Катунь, Катунь — свирепая река! Поет она таинственные мифы», — писал в свое время Николай Рубцов в известном стихотворении «Шумит Катунь». В знании родного русского языка этим трем поэтам вряд ли откажешь. А сколько строк посвящено Катуни в нашей многоязыкой прозе. Возьмем, например, Сергея Залыгина — одного из дотошных знатоков природы Горного Алтая. В его романе «Тропы Алтая» мы найдем много прекрасных страниц о нашем крае, в частности, о той же Катуни: «Перевал Чике-Таман, — пишет романист, — а вскоре вслед за ним бомы вдоль Катуни напомнят путешественнику Кавказ...»

Рассказы, повести, киносценарии нашего другого земляка Василия Шукшина сплошь и рядом пестрят словом «Катунь». Наугад откроем его киноповесть «Живет такой парень» о шофере Пашке Колокольникове, и на первой же странице натолкнемся на такое описание Катуни:

«И еще есть река на Алтае — Катунь. Злая, белая от злости, прыгает по камням, бьет их в холодную грудь крутой яростной волной, рвет и рвется из гор...».

Видимо, Василию Ефимовичу Субботину, кто-то искаженно пересказал алтайскую легенду. По-алтайски мы произносим не «Катунь», а «Кадын», что в буквальном переводе на русский язык означает — женщина, госпожа. А также алтайцы скажут — Бий, Бий - Суу, а не Бия, как в русской транскрипции. Бий — это господин, князь, муж, командир, то есть лицо высокопоставленное, не женского, не среднего рода. Местные русские жители это знают. Также им известно, что Кадын — «это женщина». Этот факт — тоже одно из доказательств, что Катунь — женского рода. Что касается нашей алтайской легенды, то один из ее вариантов вот какой. Дочь Юч-Сюмера — высочайшего пика, короны Горного Алтая, быстрокрылая, шустрая красавица — Катунь — Кадын, решила состязаться с мужественным и непреклонным Бий-Суу, сыном величавой в северной части Горного Алтая горы — Абаган.

Условие такое — кто из них вперед добежит до широких, бескрайних белых степей. Заметьте, до широких степей, а не «пока в своем дальнейшем течении обе реки эти не встретятся с матерью — Обью», — как сказано у Василия Субботина. Спрашивается, откуда вдруг

взялась «мать-Обь»? Ведь до встречи и слияния этих двух бурливых горных рек — Катунь и Бии — не было же Оби!.. Она не мать, а скорее дочь Катунь и Бии, поскольку родилась и появилась после их «венчания».

К Оби мы вернемся еще. А теперь все же доскажу нашу легенду.

Самоуверенная Катунь, журча и играя, спустилась с вечных ледников трехглавого Юч-Сюмера — предводителя горного каравана, летя вниз по кручам, обходя скалистые глыбы поднебесных гор, расчищая себе дорогу, ударяя грудью и сметая всяческие преграды. Любуясь красотой окружающих гор, долин, иногда забыв о соревновании, останавливалась, чтобы послушать голоса кукушек и других бесчисленных веселых птиц зеленого лета.

Бий-Суу по пути только один раз остановился, чтобы отдышаться от быстрого бега. Больше ни разу не задерживался. А там, где спустившись с крутых отрогов Абагана, надумал сделать лишь на мгновение привал-остановку, образовалось огромное озеро. По-алтайски оно называется Алтын-Кель, то есть Золотое озеро. Оно, это озеро, как живое зеркало, и ныне сверкает среди гор Алтая. По-русски его зовут Телецкое. По нему ходят белые теплоходы, катая любопытных туристов нашего века со всего белого света.

Сын Абагана богатырь Бий-Суу был нрава сурового и не очень-то обращал внимания на всякие красоты. Он дальше после своей единственной передышки как стрела мчался к широким степям, чтобы скорее увидеть дочь Юч-Сюмера, прославленную красавицу Катунь. Но когда он примчался к месту, откуда начинаются бескрайние степи, то тут не оказалось Катунь. Повернуть назад стремительному и яростному богатырю не позволила инерция бега. Бий-Суу неудержимо помчался дальше через широкие степи, сам не зная куда...

Когда шустрая красавица Катунь с песней и радостью прибежала к началу степных просторов, то с великим огорчением узнала, что она опоздала. А Бий-Суу продолжает мчаться вперед, оставляя лишь брызги и прохладный дым под ясным небом.

Что же делать гордой и капризной красавице Катунь? Верх взяла ее непокорная гордость. Она решила — чем с позором возвратиться к отцу, лучше стать ей госпожой, то есть женой богатыря Бий-Суу...

Так говорит народ. Они слились воедино на веки

веков, чтобы на свете появилась великая река по имени Опоо, то есть ненасытная. Повторяю, образовав новую реку — Опоо, то бишь, нынешнюю Обь.

Суть этой легенды опять же подтверждает то, что река Катунь даже происхождением своим — женского рода. Видимо, русские первооткрыватели Алтая, услышав эту легенду, поняли и приняли ее и с тех давнишних пор так и повелось писать — Катунь.

В топонимических исследованиях о Горном Алтае и до Василия Ефимовича Субботина я не раз встречал в печати примерно такое же утверждение, что «обе — две реки» Бия и Катунь, слившись, образовали Обь. И это числительное «обе — две» образовало новое существительное — Обь. Но мне кажется, что это случайное совпадение и потому спорное. Мне думается, что истоки этого названия таятся опять же в первоначальном алтайском слове «опоо», а не в русском — обе — две. Кажется, даже очень убедительно и достоверно: слились обе реки и отсюда — Обь. Но это, как говорится, стечение обстоятельств. Случайность. Стихийное созвучие. А на самом деле от алтайского слова «опоо» — ненасытное — родилось русское слово «Обь».

ТАКОЙ ОБЫЧАЙ

(Два этюда)

1. НА ПЕРЕВАЛЕ

Восходят в гору старики,
И пожилые, и подростки
Вязать цветные лоскутки
К растущей на горе березке.

Так повелось у нас, таков
Обычай, созданный не нами, —
Обычай этот в глубь веков
Уходит далеко корнями...

(Перевод Г. Карпунина)

...С любого горного перевала Алтай перед вами открывается во всем своем величии, прекрасный как сказанье! От восторга и красоты сразу же перехватывает дыхание у человека, стоящего на головокружительной высоте. Везде, куда ни кинешь взор, — «зеленое море

тайги», широкие долины, узкие, с двух сторон сжатые скалами ущелья, голубые реки и звонкие ручьи.

... Горы и девственная природа Алтая восхищают всех, кто хоть раз взглянул на них.

...«Алтай своих целебных трав... Алтай своих святых основ, Алтай своих горячих снов,— в свое время покорил и вдохновил замечательного русского поэта Леонида Мартынова: — Алтай старинных колдунов, Алтай шаманских диких чар, Алтай автомобильных фар, Алтай воздушный, как ангар...»

О нашем, еще до конца неведомом и таинственном Алтае другой художник яркой кисти и талантливого слова Николай Константинович Рерих, посетив его в 1926 году, писал самые славные слова, идущие из глубины светлого сердца и души:

«Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Яркие цветы и успокоительны зеленые травы и кедры. Кто сказал, что жесток и неприступен Алтай? Чье сердце убоялось суровой мощи и красоты?..»

Ему же, великому художнику-алтаелюбу и путешественнику принадлежат следующие слова высокой правды и очарования: «Алтай является не только жемчужиной Сибири, но и жемчужиной Азии».

С древнейших времен в этих местах жили и живут алтайцы. О наших предках, то есть о ранних кочевниках Алтая, писали многие великие умы разных времен и земных широт. Самые первые сведения о жителях этой окутанной колдовством и легендой земли, как свидетельствуют ученые, можно найти даже в «Истории» Геродота (@ в. до н. э.).

Многие исследователи, в том числе В. Радлов и Н. Грязнов, считают, что Алтай является древнейшей прародиной тюркских племен.

Хуннский или гуннский отрезок времени считается начальным этапом этногенеза современных коренных жителей Горного Алтая. А древнекитайские источники подтверждают, что из хуннов вышли племена теле, а от них — нынешние алтайцы и некоторые тюркоязычные народы и народности, населяющие ныне всю обширную территорию Сибири.

Говоря о религии родного народа и отвечая на вопрос: «Кто же, скажи, алтаец, твой бог?» — как — то в одном из своих стихотворений я писал:

Предки молились рекам, горам,
Большим деревьям, живому огню.

Для них вся природа была как храм,
И я к ней тоже любовь храню.

(Перевод И. Фонякова)

...Да, действительно так и по сей день. Алтайцы — пантеисты, считающие и верующие, что природа на самом-то деле живая, думающая, дышащая, действующая и следящая за человеческими деяниями и поступками. Алтайцы — бурханисты. А Бурхан, по мысли того же Н. К. Рериха, Майтрея, говоря иначе — Будда будущего.

Этот «всезнающий» и «просветленный» Будда-Бурхан должен явиться миру, когда окончится текущий цикл мира, и принести народам всеобщее благоденствие и счастье.

...Бурханизм представляет собой сплетение различных идеологических влияний — ламаизма, христианства, шаманизма, национального эпоса алтайцев и т. д. Бурханисты проповедовали, например, жизненно важные и необходимые для людей принципы:

- Не руби молодой лес...
- Не кури...
- Не злоупотребляй аракой-водкой...
- Не коли в пищу молодого скота...

...Бурханизм — один из ранних и интересных веток нашего мировосприятия. Он особенно сильно проявил себя в начале нынешнего века, а точнее в 1904 году. Вообще-то алтайский Олимп язычества населен большим количеством божественных существ, из которых выделяются злой Эрлик и добрый Юлген, выше их находится творец всех остальных духов «Юч-Курбустан» — бог богов, создатель Вселенной, бурханисты как раз верят и молятся верхним богам-Кудаям, при этом считая всемогущими богами Солнце и Луну, духов гор — Туу-Ээзи, рек — Суу-Ээзи и т. д. Несмотря на то, что с 1828 года, созданная в Горном Алтае Алтайская духовная миссия всячески боролась против нашего, с древнейших времен понимания и почитания окружающей природы и небесных светил, тем не менее большинство алтайцев, в особенности в южной части Республики Алтай, остались по-прежнему язычниками-бурханистами. Живая природа — вот наш Бог, так сказать, начало всех начал — Огонь, Вода, Солнце и Луна.

...Вот горный перевал. Обычно любой путник — Алтай-Кижин — человек Алтая, предпочитает непременно остано-

виться и сделать привал у Курее-таш — сооруженной из камней в виде конической пирамиды или квадратно-круглой пармы, обращенной фасадом на восток. Это место моления, древнейший знак почитания духов, — самого Солнца-Бурхана и Бога-Алтая — Алтай-Кудая. Возможно, что на многих перевалах не окажется подобных пирамид, но и в этом случае все равно останавливаются, чтобы привязать к ветвям лиственницы или березы ленты в основном белого, желтого или сине-голубого цветов. После чего угощают и задабривают различной едой Туу-Ээзи и великого Бурхана-Солнце. Затем ту сторону, откуда появляется великое светило Солнце, окропляют молоком и молочной водкой-аракой, прося у горных духов и Хозяина перевала доброго пути, дальнейшего благополучия и счастья, здоровья себе и всему, как алтайцы говорят и понимают, белому скоту... Из еды: — из курута и быштака-сыра обычно режут различные фигурки животных: ягнят и козлят, коров и телят, коней и жеребят, чтобы их оставить у подножья священного дерева или на камнях Курее-таш... Пусть будут довольны духи всех алтайских гор и Хозяин этого перевала, пусть над вечным Алтаем сияет и неугасимо светит Солнце-Бурхан!

В белый шелк небесный одетый зимой,
В синий шелк небесный одетый летом,
Вечный кедр Алтая, зеленый мой,
Дай привал устроить на месте этом!
Величавый, стройный, стой, процветай,
Пой под ветром, как живая струна.
Родина у нас одна — Алтай,
И судьба с тобой у нас — одна.

Средь сплетенных с небом ветвей твоих
Добрые птицы пусть ночлег находят.
У сплетенных с землею корней твоих
Добрые люди пусть ночлег находят.

(Перевод И. Фонакова)

2. У ЦЕЛЕБНЫХ ИСТОЧНИКОВ

...Вот родник или аржан-суу. На берегах растут зеленые кусты, березы и другие ветвистые деревья. Люди, чтобы избавиться от каких-либо болезней и очиститься телом, специально приезжали и приходили к таким целебным источникам. Надо, думаю, отметить, что в советские годы за эти «хождения» не то что просто устно порицали,

а репрессировали ни в чем не виновных, даже неграмотных простых пастухов и охотников, за их веру отрывали от родной земли, отправляли, как говорится, «не в столь отдаленные места», где многие из них бесследно исчезали...

В настоящее время этот древний обычай вновь возобновляется. Ныне всем понятно и ясно, что на дворе совершенно другое время. Сейчас за это никто никого не наказывает...

Перед тем как пить из того или другого «божественного» и «живого» источника, а также умыться, от чистого сердца веря, надеясь и прося помощи у Хозяина аржан-Суу, опять же к ветвям привязывают разноцветные ленты. Причем эти ленты должны быть из нового и однотонного материала. Опять же по обычаю бурханистов окропляют молоком или той же водкой-аракой поднебесные дали и восточную сторону. Угощают едой Суу-Ээзи — Хозяина и Духа священного, целебно-лечебного родника...

С той же благой целью в бурлящий поток аржана в советское время, вероятно, стали бросать разные монеты. В древности, говорят, так не делали. Это, видимо, выдумка и веяние нового времени. По мнению старых людей, этого не следует делать и ныне.

Считаю необходимым заметить, что многие современные люди, не сведущие в символике настоящих бурханистов, к ветвям березы, кедра и других разнообразных растений привязывают лоскутки разной окраски, не говоря уж о грязных носовых платках и даже (сказать стыдно!) портянках! Они совершенно не имеют представления ни о каких святынях, просто бездумно хулиганят, подражая друг другу. А может быть, кто знает, сознательно насмеваются над верой и миропониманием исконных жителей древнего Алтая?.. Особенно это относится к нашим нынешним многочисленным гостям — туристам...

...Между тем, ленты алтайцев-бурханистов, несомненно, символизируют лучи Солнца, Луны, радуги и цвета вечного Неба: белые, желтые, синие, оранжевые и зеленые. Темные цвета никогда среди лент-кыйра не найдешь! Темные — противоречат символам и заповеди «белой веры — Ак-Янг», то есть того же Бурханизма.

Иногда среди лент-кыйра встречаются волосы из конской гривы. Интересно, почему такое допускается? Издревле алтайцы коня считают самым благородным и чистым из домашних животных. Он — создание самого Бога-Бурхана. Его сравнивают с белым жемчугом —

самой высокой драгоценностью. Конь — крылья человека, — властелина земли. Как в таком случае, действительно, ему хвалу не вознести! Он — всегда друг и товарищ алтай-кижи. Ведь только он мог в прежние времена сделать близкими далекие пути, низкими — высокие горы, хребты и перевалы! Поэтому-то почет и особое уважение коню — творению самого Ак-Бурхана. Вот почему конские волосы изредка заменяют ленту, украшая ветки деревьев: березы и лиственницы. Но чаще всего этим пользуются те путники, которые не специально ехали к местам моления, а просто, может быть, по иным причинам и делам...

Вообще-то, очень поэтична вся символика алтайских бурханистов! Посмотрите даже на те же кисточки-чачак, украшающие конусообразные шапки алтайцев. Разве окраска этих кисточек не напоминает переливающиеся цвета радуги, что возникли под таинственным небом, где «живут» великие Бурханы-светила — Солнце и Луна.

Ни в злых, ни в добрых духов гор
Теперь-то мы не верим вроде.
Так почему же до сих пор
Обычай этот жив в народе?

Да потому он жив в наш век,
Обычай этот, что и ныне
Природу-мать чтит человек
Превыше всяческой святости.

(Перевод Г. Карпунина)

1991 г.

УНОСЯСЬ В БУДУЩЕЕ, ВОЗЬМИ С СОБОЙ ПРОШЛОЕ

В 1869 году в Казани, в университетской типографии, впервые в истории моего жизнелюбивого народа была напечатана «Грамматика алтайского языка». Это огромное событие в жизни «алтайского инородца», как говорили и писали до революции о нас. И не только в дальнейшем культурном и духовном развитии Горного Алтая, но и других тюркоязычных народов Урало-Сибирского региона, поскольку по образцу именно этой грамматики позднее были созданы грамматики и на других языках.

Об этом радостном и ярком факте из истории родного народа я вспомнил, читая интервью Валентина Распутина (журнал «Огонек», № 43, октябрь 1986 года) — «От роду и племени», в котором он, говоря о памяти и преемственности поколений, отмечает такую деталь:

«...Я там был (в Мексике — Б. У.) и меня это тоже поразило. Приходить на кладбище и просить защиты у умерших — для них необходимость. В Мексике смерть чтут, она там нечто вроде культа, которому поклоняются. Там же, в Мексике, я видел памятники народной песне. Представьте: памятник любимой в народе песне! Разве это не прекрасно, разве это не говорит о красоте и величии национальной памяти...»

Действительно, очень интересно! Говорят, что в Грузии имеется памятник первому букварю для детей. Мне кажется, что имена людей, которые причастны к поддержке и воплощению этой прекрасной идеи тоже должны навеки остаться в памяти народа.

Героическая жизнь одного человека, происхождение рода, семьи — все это, в конце концов, сливается в единую историю страны и народа. Поэтому, рассчитывая на это, наверное, мои предки раньше наставляли своих детей и внуков, чтобы они непременно знали до седьмого колена своих дедов и прадедов. Если в пути встретится незнакомец или случайно зайдет в твой аил путник из других отдаленных мест, поздоровавшись, прежде всего спросит — «Кто отец, из какого рода-племени, как зовут деда, прадеда» и так далее. А ныне мы, потомки тех же алтайцев, встретившись где-нибудь в пути или в деревне, иногда даже позволяем себе не поздороваться друг с другом. Хуже того, нынешняя молодежь знакомится и женится, едва узнав имена друг друга, не интересуясь, из какого он или она рода-племени, кто родители, чем занимаются. Им достаточно мало-мальски познакомиться, побыть однажды вдвоем на случайной вечеринке, поплясать, потанцевать и все. Кто-то скажет, что эти случаи частные. Но ведь из этих частных и сугубо как будто бы единичных случаев складывается семья, общество, народ и память, то есть целая история веков.

Возвращаясь к началу этих заметок, скажу, что в 1969 году исполнилось ровно сто лет со времен выхода «Грамматики алтайского языка». Как вы думаете, встретили мы эту прекрасную юбилейную дату нашей родной культуры и развития родного языка?.. Уж лучше промолчим о памятнике, посвященном первой «Грамматике алтайского языка». Общественность областного центра, прежде всего партийные и советские органы, интеллигенция — учителя школ, преподаватели Горно-Алтайского государственного педагогического института, деятели литературы и искусства, к стыду своему даже забыли об

этой светлой и по-настоящему праздничной дате. Ну что ж! Все естественно, ибо убежден, что многие из моих земляков давно и напрочь забыли вековое наставление наших мудрых предков: «Уносясь в будущее, возьми с собой прошлое».

СТИХИ ПОД ТРИБУНАЛОМ

«... Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, а потому надо желать одной правды и искать ее... и, даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее...»

Ф. Достоевский

Из будущей новой книги «Прогноз погоды», которая готовилась к изданию, я отобрал подборку стихов и отдал в редакцию газеты «Алтайдын Чолмоны», выходящую на алтайском языке. Стихи эти появились на четвертой полосе газеты 20 апреля 1988 года. Как любой автор, я был рад очередной встрече с читателями. Но никак не ожидал чрезмерно шумного ажиотажа по поводу именно этой публикации. Однако спустя два дня, то есть 22 апреля, раздался звонок из писательской организации.

— Приходите в писательскую организацию, — говорит мне Токшын Торбоков, молодой в то время литературный консультант, — будет заседание бюро.

— Ведь я не член бюро, — отвечаю, но тем не менее интересуюсь, — а по какому вопросу ваше бюро?

— Приходите, — настаивает Торбоков, — узнаете.

Прихожу и вижу в кабинете тогдашнего ответственного секретаря писательской организации, Бронтоя Бедюрова, Д. Белекова (бывшего инструктора отдела агитации и пропаганды бывшего Горно-Алтайского обкома КПСС), С. С. Каташа (доктора филологических наук, преподавателя педагогического института), писателей Паслея Самыка, Эркемена Палкина, Эзендея Тоюшева, Дибаша Каинчина и, разумеется, Торбокова. Не было почему-то лишь Аржана Адарова... Одним словом, бригада Бронтоя Бедюрова. Выясняется, что вопрос сегодняшнего бюро писательской организации непосредственно касается лично моей персоны. Причина тому — появившаяся в газете

два дня назад подборка моих стихов. Мне не помнится, чтобы в истории писательской организации когда-нибудь до этого были подобные «творческие мероприятия». Нет, были, конечно. Но несколько иного порядка. Мы дружно обсуждали те или иные рукописи перед сдачей их в типографию. А когда эти рукописи становились книгами, то о них мы обычно не вели никаких разговоров. Словом, забывали, считая — дело сделанным. А тут что-то новое... Наконец-то, подумал я про себя, начинаем обращать свои взоры на свежие публикации. Хорошо ведь, когда сразу по горячему следу! Надо же когда-нибудь начинать и вести чисто творческие разговоры по выходу новых сборников стихов, рассказов, повестей и романов. Будет еще лучше, если делать это совместно с читателями.

Увы! Моим добрым надеждам не суждено было сбыться. Оказывается, мои коллеги по перу так спешно собрались для того, чтобы как можно больнее укусь и облить меня грязью, попытаться обвинить в политической слепоте и неблагонадежности, в пресловутом национализме, то есть в разжигании национальной вражды между народами, живущими в Горном Алтае. Коллеги весьма дружно и активно атаковали меня. Чувствовалось, что у каждого из них личный счет ко мне. Мол, там-то, по поводу того-то ты критиковал меня, писал внутренние отрицательные рецензии для издательства и так далее. А теперь наконец-то крепко попал в наш капкан. Не отвертись!.. Аккуратно протоколировалось все, что говорилось. Более того — все выступления записывались на магнитофон. Для этой цели специально был приглашен журналист из местного радиокомитета. Говорили много и долго. А я сидел среди этих неимоверно громкословных патриотов и непогрешимых «интернационалистов», верно-подданных бюрократическому аппарату обкома партии, и думал о том, что (хотя я не пророк) пророков всегда побивали камнями... Христа, к примеру, распяли, Ганди долго сидел в тюрьме и был убит руками фанатиков. Толстого отлучали от церкви и предавали анафеме, и так далее, и так далее...

Между тем «линчевание» продолжалось. Меня обвиняли в том, что я не участвую в общественных делах, что только пекусь о себе и много издаюсь, «якаю» и хвастаюсь. Не в ногу с ними шагаю. Бедюров, например, безапелляционно заявил: «Наши и твои позиции совершенно разные!»

Забегая вперед скажу, что все это можно прочитать в протоколе заседания бюро, опубликованного в той же газете «Алтайдын Чолмоны» от 18 мая 1988 года и в № 3 альманаха «Эл-Алтай» — органе писательской организации. Ребята, как видите, работали очень и очень активно. Надо же срочно помочь обкому КПСС и облисполкому! В борьбе за марксистско-ленинскую непорочность.

«Заседатели» не только указывали на мои «идейно-художественные и творческие ошибки», но заодно от них крепко досталось и тогдашнему редактору газеты С. С. Тюхтеневу, который не присутствовал на этом бюро.

Члены бюро и приглашенные после этого утомительно долгого и нервного для меня заседания пришли к единогласному решению: опубликовать для всенародной гласности полный текст протокола на страницах вышеуказанных мною печатных органов.

Идя домой, размышляя о «работе» сегодняшнего бюро, вдруг неожиданно я вспомнил, где-то вычитанную фразу, по-моему принадлежащую Александру Трифоновичу Твардовскому: «Талант — это наказание...». И, поверьте, от этого мне стало на душе легче, а может быть, даже радостнее.

Я решил, что разговор о моих стихах исчерпан. Ан нет! Я глубоко ошибся. Откуда же мне было знать, что во время нашего заседания, оказывается, параллельно шел весьма крутой разговор по поводу этих же стихов в другом, так сказать, более высоком и ответственном месте — на бюро тогдашнего Горно-Алтайского обкома КПСС.

Результат работы этого бюро меня очень сильно огорчил: утром следующего дня стало известно, что за публикацию подборки моих новых стихов редактор газеты «Алтайдын Чолмоны» тов. С. С. Тюхтенев получил строгий выговор с занесением в учетную карточку. Больно, что за меня пострадал человек!..

Мне думается, что именно такими официально-намеренными приемами в нашей стране «воспитывали» редакторов газет, журналов и издательств, наводя на них страх, убивая в них, может быть, первоначальную смелость. А они, в свою очередь, чтобы сберечь себя и свое рабочее место постепенно становились осторожными и очень боязливыми. Вот почему за все советские годы, в особенности в период победного шествия социалистического реализма, рождались и широко пропагандировались

романы-«кирпичи», произведения однодневки, вроде «Кавалера Золотой звезды» С. Бабаевского, и тому подобные.

... Возвращаясь к своей подборке, скажу, что разговоры и разнородные толки на этом вовсе не кончились! Волокита тянулась «дальше... дальше... дальше!..»

На другой день идеологический секретарь Горно-Алтайского обкома КПСС тов. Алушкин Б. К. и первый секретарь горкома партии тов. Леонтьев В. А. провели еще одно заседание: теперь уже в редакции газеты «Алтайдын Чолмоны», собрав весь ее коллектив. Меня туда, разумеется, не приглашали, поэтому точно не скажу, что там конкретно было. Но общую суть знаю: «воспитательная работа» местных «вождей» и коллектива редакции шла вокруг да около тех же стихов. Один из сотрудников этой редакции мне сказал «по секрету» о том, что первый секретарь горкома партии Владимир Александрович Леонтьев, выйдя на трибуну, потрясал над головой подстрочниками моих стихов. Мне стало, не скрою, очень любопытно. Захотелось узнать, кто сделал эти подстрочные переводы? Нельзя ли взглянуть на них? Может быть, выполняя задание партийно-политических органов, эти услужливые рабы-подпевалы допустили какие-то ошибки и неточности?.. Слово-то ведь светится по-разному. Кто и как его повернет, под какой луч какого прожектора его поставит.

Постоянные «охотники» за мной, старающиеся терроризировать меня и нанести психический удар, «ура-патриоты», раболепствующие перед партаппаратчиками, их глаза и уши, их зондеркоманда, вдруг да умышленно исказили смысл моих произведений при подстрочном переводе?..

Прихожу к «идейному» секретарю обкома КПСС тов. Алушкину. Кстати, своему однокашнику по областной национальной средней школе и говорю ему:

— Борис Кундулеевич, у меня к вам лишь одна просьба: покажите подстрочники моих стихов?

Но мой бывший друг и соклассник отказал наотрез, мотивируя, что подстрочники выполнены квалифицированными литераторами.

— Тогда,— улыбнулся я,— скажите, пожалуйста, кто же они, ваши столь «квалифицированные литераторы»?

— У нашей партии много верных литераторов-коммунистов,— холодно ответил тов. Алушкин, явно давая понять, чтобы я поскорее показал ему спину, а не ехидные на этот раз глаза и ухмылку.

Я же не ради праздного любопытства намеренно старался узнать имена тех, кто так сильно усердствовал,

поспешно сделав подстрочные переводы неугодных им моих стихов, ибо догадывался, кто из этих «ефрейторов» верой и правдой служит командно-бюрократическому аппарату. Все они, как правило, внешне держатся достойно и благостно, чисто выбриты и непременно при галстуках, стараются выглядеть вечными трезвенниками, будто бы вечерами не глушат ту же водку и другие весьма крепкие зелия. И тем не менее за власть и за высокую зарплату, за комфортабельную квартиру и другие блага они готовы продать и облить грязью родных матерей. О таких я как-то писал:

Распознавай гнилые души,
На лоск наружный не смотри:
Навоз хотя подсох снаружи,
Но запах свой хранит внутри.

(Перевод И. Фонакова)

Между тем, эпопея с моей публикацией и на этом не кончилась. Она все дальше тянулась и каверзно продолжалась. Теперь уже по восходящей лестнице.

Тогда Горно-Алтайская автономная область входила в состав Алтайского края. В субботу 7 мая того же 1988 года в краевом центре, в «стольном» городе Барнауле, была встреча деятелей литературы, искусства и средств массовой информации с первым секретарем крайкома партии тов. Поповым Ф. В. Туда во главе с тов. Алушкиным Б. К. поехала-потянулась целая армия «деятелей» культуры из Горного Алтая. Понятно, что среди участников этой «большой» встречи, кроме меня, были, конечно, и наши члены СП. Известно ведь, что земля полнится слухом. Мои братья (братья ли?) по перу — участники этого совещания с большим удовольствием и даже с неудержимым рвением, поднимаясь на трибуну, оповещая всех о том, что с публикацией в «Алтайдын Чолмоны» моих несчастных стихов едва не взорвалась пороховая бочка в весенних горах голубого и подоблачного Алтая, что мы чуть ли не оказались в положении Нагорного Карабаха. Вот как можно тупыми силами ортодоксальных партийцев из маленького мышонка сделать большущего слона, в жажде, как говорится, подложить свинью своему чем-то неугодному собрату!

Я отнюдь не фантазер. Я — реалист. Потому все факты, изложенные в стихах, не с неба ясного свалились. Они замечены автором и взяты из самой действительности, из живой жизни. Коль мы на самом деле хотим переделать жизнь и в ней самого человека, то не должны бояться

и проходить мимо острых явлений, притворяясь слепцами, будучи зрячими. Хватит! Охваченные страхом, и так очень долгие годы мы ведь на все прикрывали глаза, дружно скандируя только — «Ура» и «Вперед!»...

Опыт жизни доказывает, что круговая порука не всюду и не всегда выигрывает. Не всегда большинство бывает правым, особенно, когда это касается вкусов и тайн любого вида искусств. Не об этом ли красноречиво говорят горькие судьбы таких писателей, как Михаила Булгакова, Андрея Платонова и других. Позже многие из нас дружно поддерживали хрущевых и брежневых, проклинания Пастернака и Солженицына как «предателей родины». А как они «предавали родину» — разве большинство из нас что-нибудь знали? Нет, мы, будучи взрослыми людьми, как пионеры-школьники всегда были начеку, чтобы немедленно, как только из Кремля раздастся команда: «Будьте готовы!» — послушно крикнуть: «Всегда готовы!»

Скажите, а что мы знали об академике А. Д. Сахарове? Сегодня все хором признают, что и Пастернак, и Солженицын, и Сахаров — все они великие умы страны и эпохи. Большинство, опять же ничего не зная, ни строчки из их произведений не читая, методом хорового пения примкнули к нынешним почитателям. Мало у нас в стране людей с собственным взглядом на все окружающее. Неужели у большинства из нас твердокаменная совесть?.. Таковы плоды работы номенклатуры КПСС...

Кто-то может подозревать, что Укачин намерен уподобить себя великим и всемирно известным людям. Нет и нет!.. Вовсе не так! Я хочу лишь спросить у своего поколения — у друзей и недругов, — почему мы не помним и так быстро забываем страшные уроки прошлого? Почему мы привыкли и даже стараемся жить и действовать по трафарету пройденных лет?..

Я живу открыто. Мне нечего утаивать от людей и окружающего мира. Как бы ни было мне тяжело, но говорю то, что думаю, чувствую и вижу, ибо правда выше всего. Она бессмертна! И как бы ни казалось навеки убитой или глубоко ни была зарытой, все равно когда-нибудь всплывет наверх и возьмет свое... ❖

Итак, в поисках правды, а не оправдания, я свои «скандально-крамольные» стихи решил отдать русским поэтам для перевода. Конечно, долголетний опыт и работа в литературе научили меня понимать, что очень трудно найти адекватные слова при переводе с языка на язык.

Будь даже творение самого величайшего поэта, но на другой язык его совершенно точно перевести, на мой взгляд, невозможно. Но утешаешься тем, что кто бы ни переводил твое произведение, все же основная идея, стержневой смысл никуда не денется — останется живым! Хочу подчеркнуть: особенно, когда дело касается литературы малочисленных народов, когда речь идет об идейно-художественных разногласиях, то самым верным арбитром является оценка и праведный суд многоопытного читателя, так сказать, большой литературы. Я воспитывался на традициях устного творчества алтайского народа, затем на великом опыте русской литературы. Поэтому с давних пор привык свои литературные часы сверять с правильностью и правдивостью этих традиций.

... Наконец, ко мне из Москвы и Ленинграда прилетели мои стихи, переведенные на русский язык Татьяной Бек и Ильей Фоянковым. Переводы понравились. Я их, спустя какое-то время, прочел по Всесоюзному радио, опубликовал в газете «Алтайская правда» и «Литературке». Со стороны многонациональных читателей, хорошо понимающих и знающих русский язык, не услышал никаких нареканий и отрицательных эмоций. Наоборот, когда стихотворение «Человек в президиуме» появилось в «Литературной газете», в Горном Алтае опять проснулись, зашуршали и заерзали. Многие, вероятно, в моем описании каким-то боком увидели свои образы, свои черные тени. Узнали самих себя!.. Стали донимать меня:

— «Человек в президиуме» — это кто?

— Кого ты в этом своем опусе имеешь в виду?

— А в стихотворении «Орденоносец» опять кого-то чернишь...

Однажды мне домой позвонила жена одного высокопоставленного чиновника и нервно-сердитым голосом стала защищать мужа, доказывая, что он безупречно честный и благородный человек. По ее весьма напористому голосу я почувствовал, если я окажись рядом с ней, то она, как разъяренная тигрица, напала бы и тут же на клочки разодрала бы автора злополучных стихов. Как мне быть? Как отделаться от этих настойчивых нападок. И на помощь ко мне пришла народная пословица. Я стал на их телефонные звонки и вопросы отвечать и отбиваться встречным вопросом:

— Что, на воре шапка, что ли, горит?

Замолкали. Видно, погружались в непривычные размышления или в привычный экстаз, когда поминают меня «тихим добрым словом»...

Вот такова довольно длинная история одной из моих публикаций. А стихи эти, не буду ложно скромничать, родились в моей груди мучительно и больно. Некоторые из них предлагаю читателям книги «На мой взгляд...» в переводе Татьяны Бек.

ЧЕЛОВЕК В ПРЕЗИДИУМЕ

Далеко-далеко от «родных огородов»
Он опять принимает значительный вид,
Выступая от имени «малых народов»,—
И уже по привычке с трибуны кричит,

Прославляя «родного, старшего брата»
И равняясь на «русский великий народ»,
И глаза округляет то грозно, то свято,
И клянется, что с партией в ногу идет!

«Наша нация — горсточка»,— он объясняет.
Говорит, что умрет, если вымрет народ,
И при этом бумагу слезой орошает,
И с мольбою глядит, и не скажешь, что врет...

Но, однако, народ представляющий ныне,—
Он хвастливо гарцует на лучшем коне,
И везде разъезжает в шикарной машине,
И живет, не печалась о завтрашнем дне.

Даже в самые страшные годы эпохи
Он спокойно царил, величав как луна...
У сирот отбирая последние крохи,
Он и досыта жрал, он и пил допьяна!

Он большие таланты травил клеветой,
Он в рабов обращал их, держа на краю.
«Ты поешь не по нотам—за это зарюю...»
«Ты не в ногу шагаешь—за это убью...»

— Кто сегодня первейший поэт на Алтае?
— Неужели неясно? Естественно, я.
— Кто главнейший ученый на Горном Алтае?
— Это я исключительно. Слышите, я!

— Я — алтайского духа прямой выразитель,
Я — культуры алтайской неслыханный ас,
Драматург, и прозаик, и мэтр, и учитель,
Я — повсюду, и мне не спуститься до вас.

Не желаю ни критики знать, ни укора—
Среди вас ни один меня не превзойдет...
Я — великий политик. А знанье фольклора
Вообще поднимает меня до высот.

Я веду агитацию в полном объеме,
Я слыву за границею за знатока—
И об этом прекрасно известно в обкоме,
И со мною считаются в местном ЦК!

На груди его — и ордена, и медали,
И они ослепляют рабочий народ.
...Лишь порою минувшего времени дали
Его мучат бессонницей ночь напролет...

«Ты нас ложью чернил — мы тебя не забудем»,—
Голоса раздаются, страшны и тихи.
«Мы живем, абсолютно ненужные людям»,—
Упрекают и плачут его же стихи.

Он подобную «музыку» выгонит с бранью,
Он на улицу выйдет, вальяжен и прям...
Без него не бывать никакому собранью—
Он пролезет к начальству с грехом пополам.

О, как ярко сверкает начищенный орден,
О, как любо ему на трибуне стоять!
Его голос взмывает — крылат и свободен:
Чтобы мы услышали опять и опять:

Перестройка и партия... Ленин и братство...
И на дружбу народов — особый нажим.
К перестройке пристроился

— о святотатство!—
И проворно жонглирует словом чужим.

И — вчерашний доносчик, палач, вышибала,
И губитель, и ямокопатель, и тать—
Он сидит на трибуне серьезного зала
И отнюдь не желает ее покидать

Словно это не он, а раскормленный беркут,
Что заметил добычу — мышонка внизу...
И от ярости хищные глазки не меркнут:
Упаду, придавлю и с собой унесу.

Ну а если сбежит, догоню как умею,
И пути прегражу, и — хвала палачу—
Придушу, и сломаю несчастную шею,
И с безудержным хрустом живьем проглочу!

Он сидит на вершине, исполненный спеси,
Его крепко гранитная держит скала...
Он по-прежнему хочет взлететь в поднебесье,
Но однако с годами слабеют крыла.

Не подняться уже, не взлететь над скалою...
Не она ль его держит, заботясь о зле?
Он, навеки отравленный силой былою,
Не прикован ли намертво к мертвой скале?

ОРДЕНОНОСЕЦ

Друг наш, награжденный орденом,
Вмиг преобразился гадко—
Орден, накануне выданный,
Стал опасным, как свинчатка!

«Железяка не ломается,
Если очень раскалится,—
Так и дурень перехваленный
Даже смерти не боится»,—

Это говорят в народе нам...
Вот и друг наш благочинный—
Знай размахивает орденом,
Как свинчаткой иль дубиной!

ДВА КЛАДБИЩА

На высоком Алтае, в глухом отдалении,
Два погоста в одном существуют селении.

Два погоста стоят молчаливо и глухо.
Два кладбища, как две разновидности духа.

На одном мусульмане почили по чести,
На другом же — алтайцы и русские вместе!

То, что в жизни своей мы не скажем словами,—
Жизнь сама говорит, не таясь перед нами:

Даже после кончины, в покое треклятом,
Мы — алтайцы и русские — все-таки рядом.

ГДЕ ТЫ, НАРОД?

(Диалог с журналистом Николаем Витовцевым)

— *Первый вопрос к вам, Борис Укачинович, такой. Сейчас идет перестройка, и мы видим, какой остроты достигают подчас споры о судьбах нашей страны. Что беспокоит и что волнует в последнее время лично вас?*

— Я литератор. И думаю, что мне можно сейчас быть в некоторой мере снисходительным по отношению к тем собратьям по перу, которые после апреля 1985 года ушли с головой в проблемы экономики, партийного строительства, юриспруденции, исторической науки и так далее. Перестройка в этом смысле на меня никак не подействовала. Я по-прежнему озабочен вопросами развития национальной культуры и, в частности, проблемами родной алтайской литературы.

Литература требовала во все времена свободы, она ее воспевала. «Художник не прощает никому — ни богу, ни царю и ни народу — навязанную временем ему гнетущую и злую несвободу». Так сказал незадолго до смерти, в 1986 году, поэт Михаил Львов, он же Рифкат Маликов. Поэт не может и не должен зависеть от обстоятельств. Иначе какой же он поэт? Он должен писать так, как ему велит сердце. Пусть пишет — а прав он или не прав, рассудит народ. Мы до апреля 1985 года писали в строгих рамках, для нас были очерчены границы, и переступить через них было почти преступлением. Мы чувствовали себя как в тесной деревянной колыбели. Если ребенка не вытащить вовремя из такой колыбели, он вырастет калекой или недоразвитым. Для нормального роста нужен простор.

— Попробуем перейти от образных сравнений и метафор к конкретным примерам...

— Хорошо. Булгаков, Платонов, Набоков — это конкретно? Не знаю, что чувствуют другие, когда читают сейчас и перечитывают их творения, а я испытываю чувство стыда. Ведь печатаем то, что написано давным-давно. А еще я испытываю страх — смогу ли, успею ли вернуться к самому себе и буду ли говорить так же искренне, честно? Внутренний цензор еще сидит в каждом из нас и лукаво советует: это напечатают, а вот за это...

Легко сказать: прозрение, а мы входили в литературу, даже не догадываясь, что есть Есенин, Ахматова, Волошин... Наша трагедия — учеба только на таких «шедеврах», как «Счастье» А. Павленко или «Кавалер Золотой Звезды» С. Бабаевского, на стихах А. Жарова или А. Суркова. Нас учили: писать надо так и только так! Легко ли переучиваться, когда тебе за пятьдесят? Как признаться в том, что среди написанного тобой много пустого, лишнего? И как отказаться от прежних учителей?

Знаю, что снова навлеку на себя гнев моих командиров, и, может, снова будут меня печатно и устно бить, но я обязан сказать только правду.

— Если говорить о путях развития алтайской литературы, что было до сих пор, на ваш взгляд, основным тормозом?

— Страх и оглядка на официальную идеологию. Это на самом деле страшное явление: от понимания роли литературы, скажем, первыми лицами области очень многое зависело в прежние годы. Да и сейчас зависит. Ведь как было: сидит где-нибудь в аиле в окружении слушателей кайчи, исполняет под топшур героическое сказание, а в это время заходит неуч (без разницы — алтаец или русский) и лепит на него ярлык: шаманство! И везут бедного кайчи куда-нибудь в Коми или в Магадан...

Помню, даже в пятидесятые годы заставляли прославленного сказителя А. Калкина писать всякие покаянные письма. И никто не мог его защитить. Боялись: «А что скажет обком?». И до сих пор народ наш перепуган теми ужасами, что творились во времена сталинских «троек»...

— Но ведь столько времени уже прошло, вы не преувеличиваете?

— К сожалению, это правда. Сталинский дух долго еще

не даст прийти в себя алтайским горным духам. До последнего времени мои земляки при посторонних людях боялись произносить даже свои пословицы, остерегались рассказывать сказки. Страх еще не изжит. Очень трудно работать фольклористам. Старые люди не понимают, зачем являются к ним люди с записными книжками, а в последнее время и с магнитофонами. Может, подослал кто? Память народа затравлена, и мы должны видеть истоки этой беды.

У нас в свое время работал первым секретарем обкома Ю. П. Гордиенко. Я недавно читал его книгу «Ойротия» и там споткнулся об одну фразу: русские былины представлялись этому человеку восхвалением царизма, а наши сказания — одами ханской власти. Что тут добавить? Кайчи Н. Улагашев был истинным выразителем духа народа. К сожалению, заставили и его петь хвалебные песни сталинскому режиму. Пели Сулейман Стальский и Джамбул Джабаев... Вины у этих старцев, я считаю, нет. Виновато время. Художник Г. Гуркин посвятил одну из картин выборам в Верховный Совет СССР 1937 года. И был убит. Я не понимаю людей, которые судят художников от имени народа. Для начала, мне кажется, надо их вернуть народу. А пока этого нет, у людей нет и веры в успех перестройки.

Это мы твердим: перестройка, перестройка... А все руководители на местах — прежние. Мы открываем для себя новые вершины в литературе и изобразительном искусстве. А у них кругозор все тот же — Безыменский, Гладков, Налбандян, Чаковский...

— В последнее время все чаще говорят о том, что среди сибирских литератур все более достойное место занимает год от года алтайская литература. Вы разделяете такую точку зрения?

— Это смотря где говорят. Я скажу так. Если уж мы взялись ругать застойное время, то останавливаться на полуслове никак нельзя. Надоели старые перепевы: вот, мол, у алтайцев 23 писателя. А в Татарии их двести! Что из того? Доходит до смешного: с умным видом рассуждают о том, сколько писателей и художников приходится у нас на тысячу жителей. В Киргизии тоже, наверное, много писателей. А знаем одного Чингиза Айтматова.

Для меня творчество Чингиза Айтматова в некотором роде идеал. Один писатель смог пробудить самосознание целого народа. А разве не было у него завистников,

разного рода «доброжелателей»? Сколько угодно! Ругали даже за то, что он стал писать по-русски. Время прошло, и всем стало ясно: войти в мировую культуру можно, лишь освоив один из языков этой культуры. Айтматов шел на самопожертвование, и он оказался в итоге прав.

На русском языке пишут Юрий Рытхэу, Владимир Санги, Фазиль Искандер, Юван Шесталов. У них — громкая слава, но тут надо смотреть глубже: каждый из них, даже творя на другом языке, восславил свой народ. Считаю, мы в большом долгу перед своим народом. Мы избалованы вниманием переводчиков, соглашаемся часто даже с их произволом. Может быть, пришла пора кому-то из нас писать и по-русски. Или вступать в творческое состязание с перечисленными писателями — или совсем не писать. Не может и не должно быть писателей областного уровня.

— *В национальном театре с успехом идет ваша пьеса «Мен кем?» («Кто я?»). Недавно авторитетная комиссия из Москвы назвала этот спектакль лучшей работой театра. Чем вызвано ваше обращение к театральной драматургии?*

— Тем, что я захотел напрямую обратиться к зрителям, вернее, к народу. Поэма «Кто я такой?» была напечатана еще в 1966 году. Многие тогда смеялись: что за вопрос, ты же Укачин! Я переживал, ведь у меня вопрос поставлен совсем о другом. Прошли годы, и я увидел, что стихи слабоваты. Захотелось продолжить тему, а тут как раз режиссер Н. Баштаков предложил сделать инсценировку по мотивам моих произведений. Работать с ним было интересно.

— *А что осталось вне сцены? Из чего складывался этот спектакль?*

— Трудно сказать... У меня душа болит оттого, что дети, особенно в городе, перестают любить родной алтайский язык. Они не любят, мне кажется, животных, деревья и цветы не любят. Из деревни молодежь рвется в город. А что там? Общежития, дискотеки, другая жизнь... Но я не могу идеализировать и тех, кто живет в деревне. Молодежь не знает, как охотиться на зверей и как орешничать. В тайге местные жители подчас ведут себя как приезжие. Раньше, бывало, у голодного охотника дети пухнут от голода, а он видит беременную маралуху — и отпускает ее. Был в старину и другой закон: нельзя убивать двух зверей в одном месте. А теперь? Из-

за пантов бьют маралов с вертолета... Не приезжаем браконьеру, а своему, местному, подавай автомат! Народ стал другой. Мы отрубили корень прежнего уклада жизни, прежнего миропонимания, народной этики.

Раньше в аиле можно было проходить только за спиной гостя. Теперь — где угодно. В аил могут сейчас войти, не разбирая, где мужская и где женская половина. Перестали говорить «вы» матери и отцу. Потеряно самое святое — уважение к Человеку и Природе. Раньше ударить коня по голове считалось позором для мужчины. А чтобы чабан мучил овец — о таком и не слыхивали. Теперь бывает всякое... Где ты, народ? Кто я и куда иду? Хочу, чтобы над этими вопросами задумался каждый.

— Здесь мы подходим к другому вопросу, без которого не обойтись в нашей беседе. Что конкретно предлагаете вы для совершенствования межнациональных отношений?

— Для начала скажу, что все нынешние беды испытывают в равной мере все другие народы нашей страны и, пожалуй, труднее всех сейчас русскому народу. Но я — алтаец, потому и говорю о болях своего народа и надеюсь, что меня поймут правильно. На мой взгляд, Горный Алтай чисто формально входит в состав края. Мы почему-то привыкли, что в Барнауле нет наших постоянных представителей. Известно ведь, что алтайцев много и в Барнауле, и в Бийске, и в сельских степных районах. Наверное, кто-то должен заботиться о них и на краевом уровне.

Известно, что в Москве при ВЦИКе было в свое время наше представительство, и тогда многие вопросы решались куда проще и оперативнее. Пришло, видимо, время заново открывать это представительство. Так считают в облисполкоме, и мы, писатели, это мнение поддерживаем.

Далее. Конституция СССР гарантирует: от Горного Алтая избирается пять народных депутатов СССР, фактически же мы избираем долгие годы троих депутатов, а еще двоих нам «предлагают» Москва и Барнаул. Справедлива ли такая разнарядка? В ходе нынешних выборов споры по этому поводу заметно оживились. Надеюсь, что к следующим выборам разнарядка будет отменена.

— Газетный номер с вашим стихотворением «Человек в президиуме» люди зачитывали до дыр. Всех интересовал вопрос: кого конкретно Б. Укачин имел в виду?

разного рода «доброжелателей»? Сколько угодно! Ругали даже за то, что он стал писать по-русски. Время прошло, и всем стало ясно: войти в мировую культуру можно, лишь освоив один из языков этой культуры. Айтматов шел на самопожертвование, и он оказался в итоге прав.

На русском языке пишут Юрий Рытхэу, Владимир Санги, Фазиль Искандер, Юван Шесталов. У них — громкая слава, но тут надо смотреть глубже: каждый из них, даже творя на другом языке, восславил свой народ. Считаю, мы в большом долгу перед своим народом. Мы избалованы вниманием переводчиков, соглашаемся часто даже с их произволом. Может быть, пришла пора кому-то из нас писать и по-русски. Или вступать в творческое состязание с перечисленными писателями — или совсем не писать. Не может и не должно быть писателей областного уровня.

— *В национальном театре с успехом идет ваша пьеса «Мен кем?» («Кто я?»). Недавно авторитетная комиссия из Москвы назвала этот спектакль лучшей работой театра. Чем вызвано ваше обращение к театральной драматургии?*

— Тем, что я захотел напрямую обратиться к зрителям, вернее, к народу. Пьеса «Кто я такой?» была напечатана еще в 1966 году. Многие тогда смеялись: что за вопрос, ты же Укачин! Я переживал, ведь у меня вопрос поставлен совсем о другом. Прошли годы, и я увидел, что стихи слабоваты. Захотелось продолжить тему, а тут как раз режиссер Н. Баштаков предложил сделать инсценировку по мотивам моих произведений. Работать с ним было интересно.

— *А что осталось вне сцены? Из чего складывался этот спектакль?*

— Трудно сказать... У меня душа болит оттого, что дети, особенно в городе, перестают любить родной алтайский язык. Они не любят, мне кажется, животных, деревья и цветы не любят. Из деревни молодежь рвется в город. А что там? Общежития, дискотеки, другая жизнь... Но я не могу идеализировать и тех, кто живет в деревне. Молодежь не знает, как охотиться на зверей и как орешничать. В тайге местные жители подчас ведут себя как приезжие. Раньше, бывало, у голодного охотника дети пухнут от голода, а он видит беременную маралуху — и отпускает ее. Был в старину и другой закон: нельзя убивать двух зверей в одном месте. А теперь? Из-

за пантов бьют маралов с вертолета... Не приезжому браконьеру, а своему, местному, подавай автомат! Народ стал другой. Мы отрубили корень прежнего уклада жизни, прежнего миропонимания, народной этики.

Раньше в аиле можно было проходить только за спиной гостя. Теперь — где угодно. В аил могут сейчас войти, не разбирая, где мужская и где женская половина. Перестали говорить «вы» матери и отцу. Потеряно самое святое — уважение к Человеку и Природе. Раньше ударить коня по голове считалось позором для мужчины. А чтобы чабан мучил овец — о таком и не слыхивали. Теперь бывает всякое... Где ты, народ? Кто я и куда иду? Хочу, чтобы над этими вопросами задумался каждый.

— Здесь мы подходим к другому вопросу, без которого не обойтись в нашей беседе. Что конкретно предлагаете вы для совершенствования межнациональных отношений?

— Для начала скажу, что все нынешние беды испытывают в равной мере все другие народы нашей страны и, пожалуй, труднее всех сейчас русскому народу. Но я — алтаец, потому и говорю о болях своего народа и надеюсь, что меня поймут правильно. На мой взгляд, Горный Алтай чисто формально входит в состав края. Мы почему-то привыкли, что в Барнауле нет наших постоянных представителей. Известно ведь, что алтайцев много и в Барнауле, и в Бийске, и в сельских степных районах. Наверное, кто-то должен заботиться о них и на краевом уровне.

Известно, что в Москве при ВЦИКе было в свое время наше представительство, и тогда многие вопросы решались куда проще и оперативнее. Пришло, видимо, время заново открывать это представительство. Так считают в облисполкоме, и мы, писатели, это мнение поддерживаем.

Далее. Конституция СССР гарантирует: от Горного Алтая избирается пять народных депутатов СССР, фактически же мы избираем долгие годы троих депутатов, а еще двоих нам «предлагают» Москва и Барнаул. Справедлива ли такая разнарядка? В ходе нынешних выборов споры по этому поводу заметно оживились. Надеюсь, что к следующим выборам разнарядка будет отменена.

— Газетный номер с вашим стихотворением «Человек в президиуме» люди зачитывали до дыр. Всех интересовал вопрос: кого конкретно Б. Укачин имел в виду?

— Скажу больше. У меня есть еще стихотворение «Орденосец» — о том, как важный человек сделал из своего ордена, по сути дела, свинчатку, стал этой наградой унижать других людей. Такого всемогущего человека, как в этих двух стихотворениях, у нас в Горно-Алтайске, конечно, нет. И чтобы не было впредь, собственно, я и писал эти стихи. Это — как предупреждение. Выведен собирательный образ, а люди читают между строк и понимающе кивают друг другу головами.

Вспомнил другой случай. Лет пять назад в «Звезде Алтая» начали печатать мой рассказ «Единственный сын». Героем я взял инженера «Сельхозтехники». Рассказ, правда, безобидный, безо всяких намеков. Как вдруг звонок инструктора обкома в редакцию: рассказ запретить. Пришлось идти к первому секретарю, доказывать: инструктор — это еще не обком. Убедил. Рассказ был продолжен в газете, а мне было смешно и грустно: начальство «Сельхозтехники» даже до обкома дошло, чтобы «запретить вредную статью...»

— Будем считать, что такие недоразумения в прошлом. Сейчас работать, наверное, легче...

— Величайшее из всех заблуждений последнего времени — связывать внутреннюю работу писателя с внешними переменами. Недавно меня вызывали в обком партии, снова учили уму-разуму. А потом был обеденный перерыв. Думаю, дай схожу к ним в столовую. А там сидит милиционер: «Вы кто такой?» Я говорю: Укачин. «А пропуск у вас есть?» Нет, говорю, пропуска у меня нету. Вот так и живем... Питание — по пропускам, за закрытыми дверями, а на соседней улице красный лозунг: «Перестройку начни с себя». Но это так, к слову.

Шел уже третий год перестройки. В газете «Алтайдын Чолмоны» появились мои стихи. Обычные стихи, каких в центральных изданиях — тысячи. Они бы прошли и у нас незамеченными, если не подняли бы в обкоме страшный шум: национализм, вредная идеология и прочее в том же духе. Народ, как всегда, молчал. Шумели на первых порах одни аппаратчики. Если стихи вредные, то почему же молчал народ? К слову сказать, молчали не все. В противовес казенному мнению пришли письма и статьи с поддержкой моей поэзии. Увы, не печатали только тех, кто громил меня и требовал наказать. Прием, надо сказать, не новый: когда нет аргументов, вовремя пустить в ход ярлыки. Я не собираюсь сейчас хвалить свои стихи.

Меня интересует: почему так? Где у нас настоящая гласность, где плюрализм мнений? Почему того же «Человека в президиуме» можно опубликовать только в Барнауле или Москве?

— *Не секрет, в Горно-Алтайской писательской организации долгие годы нет единства. В чем, на ваш взгляд, причина?*

— А где, в каком коллективе, в какой творческой организации вы найдете абсолютное единство?.. Междоусобные бои и стычки были и будут, мне кажется. Достаточно обратиться к периодике 1974 года, когда шла беспримерная травля писателя Александра Солженицына, чтобы понять: даже великий талант беззащитен, если он противостоит воинствующей серости. Стыдно читать статьи и памфлеты того времени. Ведь даже если такая большая и многогранно талантливая писательская организация, как Московская, поступает так безоглядно-жестoko, то нечего и говорить о нас, провинциалах. Ведь всем известно: если в Москве режут ногти, то на периферии рубят пальцы.. И нас, писателей Горного Алтая, призывали в том году к резкому осуждению «антисоветчика и клеветника» А. Солженицына. Но мы, к счастью, воздержались.

* Если честно, наши писатели идут иной раз на что угодно, только бы издать свою книгу. Надо ли говорить о том, какие подводные течения и страсти сопровождают выход в свет той или иной книги? От зависти, брат, освободиться, вероятно, никак невозможно. Но тем не менее, надо каким-то образом облегчать выпуск книг... Ведь среди нас нет своего Твардовского или Чингиза Айтматова. Чем талант меньше — больше зависти, злости и никчемной ссоры и возни. В Горном Алтае ныне уже 23 члена Союза писателей СССР, а своего литературно-художественного журнала до сих пор нет. Нет и самостоятельного издательства в автономной области! При таких условиях жить тихо и мирно, как вы понимаете, очень трудно. Но вопреки всему, мне кажется, от всех нас требуется только одно и самое главное — любовь к своим читателям. Для того, чтобы завоевать их любовь и уважение, надо создавать честные, выстраданные книги о нашем времени.

АВТОБИОГРАФИЯ

Я падал много раз:
То споткнешься на ходу,
То поскользнешься на льду,
То наткнешься на беду.
Я падал много раз.
Благословляю те места,
Где падал много раз.

Я плакал много раз:
То мама грудь не давала мне,
То я ее ждал в чужой стороне,
От большого горя рыдал,
От большой радости тоже рыдал.
Словом, я плакал много раз.
Благословляю те места,
Где я плакал много раз.

Еще немало я проживу,
Падать и ушибаться буду.
Вставать и подниматься буду.
Возмущаться буду.
Восхищаться буду.
Еще немало я проживу.
Благословляю те места,
Где дорога моя пролегла.

(Перевод Б. Слуцкого) .

СОДЕРЖАНИЕ

Моя самая долгая книга или авторское слово к читателю.	5
Автопортрет. Стихи. <i>Перевод Т. Бек</i>	11

I

НА МОЙ ВЗГЛЯД

У правды одно лицо (Диалог с корреспондентом газеты «Алтайская правда» Григорием Кудряшовым).	14
Письмо к потомкам.	18
Песня — неповторимый мир кочевников (Из выступления на пленарном заседании международной встречи советских и монгольских писателей в г. Горно-Алтайске).	22
Со времен «Джамили» (К 50-летию Чингиза Айтматова).	28
Книга любви и удивления.	34
Постоянство (О Георгии Васильевиче Кондакове).	40
Слово живое и мертвое (Выступление на научно-практической конференции «Актуальные проблемы алтайского языка на современном этапе»).	45
«И пришло наше время».	50

II

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Алтын-Кель: час до беды.	56
Спешите делать добрые дела.	63
Единственное дерево Кош-Агача (Заметка).	71
Хранители семейного очага.	73
Завтра тоже будет завтра (Из выступления на съезде учителей Горного Алтая).	83
Будь человеком, человек!.	89

III

ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ

Заветный адрес (О литературном институте имени А. М. Горького).	98
У могилы Льва Николаевича Толстого. Стихи. <i>Перевод Б. Слуцкого</i>	103
Слепой поэт. Стихи. <i>Перевод И. Фонякова</i>	104
Тулан—месяц возрождения (Об алтайском кайчи Николае Улагашеве)	105
Доброта раненого камня (О Кайсыне Кулиеве).	125
Первое письмо поэту Кайсыну Кулиеву, отправленное	

с дороги. Стихи. <i>Перевод И. Фонякова.</i>	148
Второе письмо поэту Кайсыну Кулиеву, отправленное в день возвращения в Горный Алтай с северного Кавказа.	
Стихи. <i>Перевод И. Фонякова.</i>	150
Вместо третьего письма поэту Кайсыну Кулиеву — надпись на его книге «Трава и камень», присланной мне из Чегемского ущелья. Стихи. <i>Перевод И. Фонякова.</i>	151
«... Верный мечте и труду» (О Сергее Маркове).	152
Долгожители (О братьях Аднае и Айылчи Туймешевых).	161
Заклинание Медвежьей головы. Стихи. <i>Перевод И. Фонякова.</i>	176
Двадцать песен любви и печали о материнском сердце.	
<i>Перевод Ст. Куняева.</i>	180
Поэт с рысьими глазами (О Борисе Слуцком).	189
Гори, сияй, звезда полей (О Николае Рубцове).	211
Письмо Николаю Рубцову. Стихи. <i>Перевод И. Фонякова.</i>	232
Сажать розы — необходимая боль (О поэте Эжене Веверисе).	234
Быть самим собой (Об Арсении Тарковском).	251
Тень Рериха. Стихи. <i>Перевод Ст. Куняева.</i>	264
Свет души друга (О Флоре Васильеве).	265
«А счастье у писателя есть...» (О Юрии Казакове).	280
Профессор из Сайдыса (О Сазоне Суразакове).	295
Причастность (Об Александре Смердове).	307
Посещение. Стихи. <i>Перевод И. Фонякова.</i>	321

IV

ТАВРО, ИЛИ ШТРИХИ К БИОГРАФИИ

Золотые часы	324
Илья Сельвинский сердится (<i>Защита диплома в Литинституте</i>). . . .	329
Характеры (<i>Рассказ в стихах</i>) <i>Перевод.</i>	336
Не умирайте, люди. Стихи. <i>Перевод И. Фонякова.</i>	338
Бертольд Брехт и перечисление алтайских радостей.	344
Радости алтайца. Стихи. <i>Перевод И. Фонякова.</i>	346
Что позорит алтайца. Стихи. <i>Перевод И. Фонякова.</i>	349
«...И почему м о й , а не н а ш скот...».	352
Аджимушкой, Аджимушкой	357
«... Дал блестящую оценку».	362
«Соперник »	366
«Я же не писательница, чтобы...».	368
Вспыхнула неожиданная мысль.	370
Издали, как классика.	371
Кто и как смотрит на природу стиха.	372
О том, как я стал однажды английским писателем.	373
Буду беспощадным к себе.	374
Улыбка (<i>Поэма. Перевод И. Фонякова</i>).	377

Тетушка Топ.	380
Случай у аржана Адышту.	383
Какого рода Катунь?	386
Такой обычай (<i>Два этюда</i>).	390
Уносясь в будущее, возьми с собой прошлое.	395
Стихи под трибуналом.	397
Человек в президиуме. Стихи. <i>Перевод Т. Бек.</i>	404
Орденосец. Стихи. <i>Перевод Т. Бек.</i>	406
Два кладбища. Стихи. <i>Перевод Т. Бек.</i>	406
Где ты, народ? (<i>Диалог с журналистом Николаем Витовцевым</i>).	407
Автобиография. Стихи. <i>Перевод Б. Слуцкого.</i>	414

Борис Укачинович
Укачин

НА МОЙ ВЗГЛЯД

Публицистика, очерки,
стихи, воспоминания,
литературные миниатюры

Перевод с алтайского

Художественное оформление

В. Кошкарлова

Макет художника В. Еврасова

Художественный редактор

В. Еранкин

Технический редактор

М. Сафонова

Корректор

Л. Кайгородова

Сдано в набор 27.09.1993 г. Подписано к печати
15.01.1996 г. Формат 84х108 1/32. Бумага типограф-
ская № 1. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.
печ. л. 21,84 0,84 вкл. Уч. изд. л. 23,972 0,853 вкл.
Тираж 1500 экз. Заказ № 3891.

Алтайское книжное издательство

Министерства печати и информации

Российской Федерации

656015, Барнаул, пр. Ленина, 76.

Горно-Алтайская республиканская типография
659700, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 35.



300002